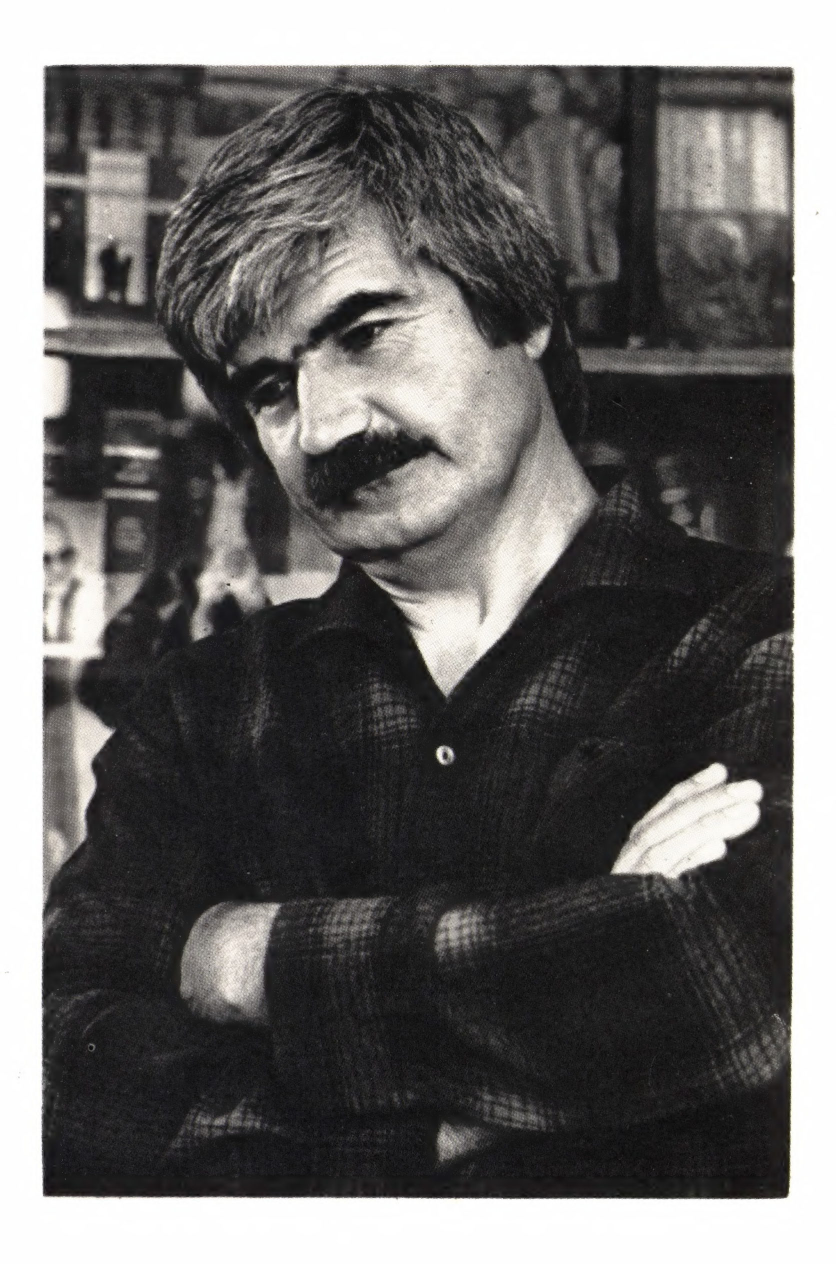
ГАРИЙ НЕМЧЕНКО

Крестнику Саше от д. Валеры 1987 год



ГАРИЙ НЕМЧЕНКО

ПОВЕСТИ

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1986

Р2
Н50

Оформление художника
Р. Вейлерта

Н $\frac{4702010200-149}{028(01)-86}$

Повести

ЗИМНИЕ ВЕЧЕРА ТАКИЕ ДОЛГИЕ...

Раньше-то я зимы боялась пуще огня. Чем такую ораву, какая у меня была, кормить? Во что одевать-обувать?

Летом он и яблоко сорвал, и гороху стручок разломил, и морковочку выдернул да помыл, и лучок с квасом — за первый сорт. А зимой?

Кинулась — того нет, другого нет. Один раз, снег только что выпал, бегу по соседкам первая, из одной калитки в другую, со двора во двор, — чашку муки кукурузной на оладики занять. Обратно иду, как глянула: вся дорога истоптана — и вкривь, и вкось. Кто увидит, и спрашивать не будут, куда ходила: ясно.

Ой, не любила зиму — летом он с утра до вечера босиком да в одних трусах, а в холода?

Сашку я в первый класс всю зиму на руках таскала. Снегу почти не было, одна грязь, так я тряпошные туфли ему пошила — верх из ситца, а подошва суконная, я у бабушки Мусохранихи одну полу от немецкого френча за два яичка выменяла. До порога донесу, а там — побежал. Когда сильно грязно, что и в коридоре, бывало, не пройти, я в окно стучу, кто-нибудь откроет, а я на подоконник его поставлю: полезай!

А потом звонок с уроков, а я уже жду у крыльца. Как конь.

А без топки сидеть все холода? Забьются по углам, как воробушки, жмутся. А я стану посреди хаты, думаю: и правда — дети мои, дети, да куда мне вас дети?

За что ее тогда было и любить, зиму-то?

Сейчас-то мне эта пора, может, больше всего потому и нравится, что душа, как никогда, спокойная: потратить еще ничего не успела, все есть — и картошка уродилась одна в одну, и огурчиков, помидорчиков засолила

хороших да крепких, душистые будут да с хрустом, и зимних яблок ведро в капусту положила, и моченых арбузов с десяток припасла, и лесные груши до сих пор под кроватью лежат. Коля станет есть — запах и на улице слышно. Компоту — сначала считала банки, а потом и со счету сбилась, а что этого варенья, так не знаю, кто только его будет и кушать. Детям все не отправишь, а нам с Колей много ли надо — засахарилось да затвердело. Я себе уже сказала: все, Нюра, больше не вари, пока старое не съедят.

Дров тоже хороших запасла, привезли с гор, да еще кошель костры, мужчина один продавал, мы еле с Колей перетаскали, — чего еще?

Вьюга, холода, а ты сиди у печи да грей плечи.

Вот он, внучок, в школу уйдет, а я и сижу.

Да о чем только не передумаешь, о чем только не вспомнишь — или потому что зима да делать нечего, или потому что — старость?

Темнеет рано, а вечера такие долгие. Коля с улицы вернется, или загоню его, спать уложу, а потом выйду на улицу, посреди двора стану да прижукну...

А морозец, снег по садам как будто корочкой возьмется, тишина кругом, и собаки все в будках, только деревья зябнут, а в небе лунно да холодно. Когда ни одной зирочки тебе не видать, а когда вызвездит, что и глаз не оторвешь. Голову задерешь да и глядишь, глядишь вверх, а потом голову повесишь на грудь да и заплачешь... чего?

Кабы знала.

Может, потому что дети только грозились, да никто не приехал, все некогда, все как-нибудь в другой раз... Может, потому что жизнь уже кончается, осталось всего ничего — не свеча, а огарочек.

А поговорить особенно не с кем. С бабами около Степановны другой раз остановишься, а чтобы целые вечера просиживать, — такой моды у меня теперь нету. Зато когда ребята мои приедут, тут я вволю наговорюсь, тут выскажусь! Или человек попадется, кто слушать горазд, — ну, тогда берегись...

А ты молодец, что приехал, поживешь, у меня тут спокойно, если я токо тебе своими растабарами не помешаю.

Не помешаю, говоришь? Любишь слушать?

Ну, тогда оставайся у Анны Панкратьевны насовсем.

— Это, знаешь, чего я рассмеялась? Да вспомнила, как я недавно тут смалилась, — и смех, и грех!

Принесла мне соседская девочка записку из школы, директор меня вызывает, Эдуард Лукич. Ну, у меня сердце оборвалось: ясно, опять Колька, сукин кот, нашкодил, — за хорошим не позовут!

Оделась, иду, а у самой лицо уже горит, руки трясутся. Вот, думаю, досталось на старости лет: то я к учительнице со слезами, то она ко мне с плачем! Да другим благодарность на красивой бумажке, спасибо, что хорошо воспитали, да Почетные грамоты одну за другой, а мне доброе слово хоть бы раз!

Ах ты ж, Колька, думаю, Колька, — у отца вон жизнь как пошла, неужели и ты — за ним?

Хоть дорога недлинная, а я и передумать столько успела, и потихоньку наплакалась. То Колю ругаю, а то отца его, младшего своего, Сашку... разве ж, думаю, можно матери своей брехать, Сашка?

Он же тогда вернулся из Новочеркасска — ну, все, говорит, мама, в фотографический техникум поступил! А я рада! От, говорю, хорошо, от умница, сынок, — ты посмотри, как наш Пачин-старик живет! И на свадьбу его зовут, и на крестины зовут, да почет, да работа не грязная — птичка вылетела, а ему десятка в карман, вон сыну своему дом отгрохал какой. От, говорю, Саша, молодец, — а он смеется! Оно и понятно, думаю, — радый!

А потом проучился три года, послали в Якутию. Год там живет, домой не едет, другой, третий. Работы, пишет, мама, у меня много, хожу по тундре с каким-то прибором, одни олени, никого больше не вижу. А я тогда думаю: а какого ж там черта, в этой тундре фотографировать, если там людей нету?

Он не отвечает, а потом, когда уже в отпуск приехал с Лидой, с женой, смеются оба: никакой он, Сашка, оказывается, не фотограф, одно название и похожее, а работа у него совсем другая — от там, где никто еще не был, ходить да карты по географии составлять.

Да вот это и доходился, пока Лида зимой в полынью не провалилась да не померла, а Коля теперь у меня, а он все один да один в этой тундре, да шут его знает где, далеко — выучила мама сыночка, около него пожила!

От иду я тогда в школу, разволновалась, что и доро-

ги не вижу, да как поскользнусь! Хорошо еще, что упала на бок.

Встала, отряхиваюсь, да вот, думаю, эти чертенята дорожку раскатали — ну, куда по ней старому человеку! Обойду, думаю, школу с той стороны.

Прихожу на другой угол, а там у них дорожка еще лучше, как зеркало, блестит да ровная — ну, куда? А Эдуард Лукич, думаю, ждет. Что делать?

Махнула я в сердцах рукой и пошла. Да только и шагу не успела ступить — ка-ак гепнусь! Аж стекла небось в этой бедной школе задрожали — старуха-то я еще при теле.

А у самой искры из глаз, да больно, да обидно — еле поднялась. Стою, чуть не плачу. С боку-то крупу еще отряхнула, а что там, думаю, у бабки на спине! И голова совсем не соображает — ну, куда идти?

Ах вы, думаю, аггелы, — да это ж они нарочно тут дорожки пораскатали, чтоб старые люди, вроде меня, пройти сюда не смогли, а они б тут тогда что хотели, да то и делали! От, думаю, и правда, молодежь — ни сердца у нее, ни жалости, ни уважения к старшим — ничего, неслухи дальше некуда, только по улице гайдают да шерсть на собаках бьют — от это и все у них дело!

Иду домой, плачу — веришь, — чуть не кричу! Ну, что мне с ним делать? Дать, думаю, Саше телеграмму, чтобы приехал да забрал, — одна я больше не справлюсь. Это ж надо, бабку в школу не пропустили!

А потом чуть успокоилась, стала о другом: да разве Саше там мед — по тундре по этой ноги бить? Небось не так себе гуляет, не лындает! А ты тут нюни развесила — к директору она, видишь, пройти не смогла — от горе!

А-а, думаю, бодай вас, да не на ту бабку напали, эта бабка военная, она по старым деньгам еще сто сот стоит.

С утра-то я в школу побежала и управиться не успела, так теперь золу из печки выгребла, выбрасывать не стала, в ведре так и оставила, пусть стоит. Печку хорошенько протопила, а назавтра встала, еще петухи утрешние сны досматривали. Снова золу выгребла — полное ведро. И пошла к школе.

А утро морозное, далеко слыхать, — сначала соседские собаки затявкали, потом в других кварталах забре-

хали, потом слышу, чуть не по всей станице уже гавкают. А я иду, как партизанка!

И токо подумала, хорошо, что никого нету навстречу, — вдруг Дуся Абрамова, и чего только ее нечистый вынес в такую рань, в станице у нее внуков нету.

Куда это ты, говорит, Нюра, — с ведром?

А я думала, людей не будет, так и сбрехать ничего не приготовила.

А она — ну, куда?

Да так, говорю, тут, до одних, — да шагу скорей!

Слышу, догоняет, от нечистая сила, какая настырная да привязчивая, — она утром на улице встренет, так от нее и к вечеру не отцепишься! Запыхалась: ой, Нюра, говорит, да может, где что давать будут, так ты скажи, я домой вернусь да тоже ведро возьму, а ты там пока передай, что я — за тобой!

Хотела я обругать ее да от-то и отвязаться, а потом вспомнила, что у нее мужа убили, да осталась с детьми, как и я, да тоже билась да колотилась, и спекулировать тоже бралась — токо она раззява еще хуже меня. Вспомнила я все — да разве ж, думаю, она, Дуська, виновата, что жизнь у нас была такая?

Да говорю ей: Дуся, да разве сейчас уж так плохо мы живем, что надо в три часа подыматься да за каким-то чертом идти в очередь? Да разве война или голодный год?

Она подумала и говорит: гля, а и правда! От мы, бабы, какие сумасшедшие стали — это ж другой раз сидишь дома, а сердце как заноет — вот, думаешь, я тут сижу-рассиживаюсь, а там, может, что дают!

Ой, да это я, говорит, наверно, со сна!

А я ей тогда: будить тебя не стану, еще рано, спи давай, а я побежала!

Да больше, спасибо, никого не встретила, и сторож в школе еще спал, и техничек не было, этих бедных, тоже небось еще спали да страшные сны про этих архаровцев видели...

От я полведра золы на одну дорожку высыпала, полведра на другую, все — как и не было! То блестело под луной, а то погасло.

Ну, думаю, теперь наша Анна Панкратьевна в школу пойдет, как те космонавты по ковру!

Оделась утром получше, пошла.

А директор Эдуард Лукич вышел навстречу, посадил в кресло и говорит: я насчет вашего внука.

Я ждать не стала, пока он выскажется, и пошла сама — и правда, говорю: и такой он у меня, и сякой, и немазаный. Не знаю, говорю, что и делать. А он хитро прищурился да и говорит: а верно, что были у вашего Коли все основания бояться! Я тогда роток — на замок. А он говорит: подрался он с одним восьмиклассником, а я стал сам разбираться, у нас на этого восьмиклассника уже давно жалобы были. Гляжу теперь: ваш внучек, оказывается, прав. Он за малыша со второго класса заступался, у которого этот здоровый дурак отнял двадцать копеек, что на завтрак. А Коля ваш это, говорит, увидел да стал требовать, чтоб он назад отдал, а тот не отдает да Колю за лицо, а тот тогда ему в нос, и пошло... А двадцать копеек в снегу потеряли, так ваш Коля малышу этому свои отдал. Я, говорит, ему наказываю, драться нехорошо, но сейчас ты правильно поступил, за маленьких надо заступаться, нельзя в обиду давать, а он, Коля, вздыхает: надо-то, говорит, надо, да как бы мне бабушка ремня не дала. Услышит, так, думаете, будет разбираться?

Так я, говорит, потому вас и пригласил, чтобы все это объяснить да заодно поговорить о вашем Коле, он мальчик лучше стал, такой внимательный, старается. Мы, говорит, понимаем ваши трудности, Анна Панкратьевна, — да так дальше хорошо, да так складно! И мы, мол, вам всегда поможем, надейтеся как на каменную гору. И вы нам, говорит, помогайте. Я знаю, что вы молодец, в школе бываете часто и с учителями, говорит, у вас всегда мир да согласие — спасибо вам! А Коля ваш мальчик хороший, очень, правда, подвижной, так сейчас и время такое, и все дети такие...

Да вежливый, да внимательный: до дверей проводил и там прощается, руку взял да и погладил — я чуть не в слезы!

Вышла на улицу. Вот, говорю, бабка, — и тебе радость!

А у детей как раз перемена. Гляжу, кто бегает, кто кричит, а кто около ледяной дорожки стоит и голову опустил, на золу на мою смотрит.

А я тогда за себя как взялась. Ах ты ж, говорю, дура старая, неразумная! Мало того что из ума уже начала выживать, с детишками связалась, так ты еще и душой зачерствела. Все тебе кажется, что они развинченные, да слишком много бегают, да кричат, да дерутся, а старших не слушают да не уважают!

А ты была — не развинченная? А хоть чуть когда посидела? Да ты было когда на минутку закроешь рот, папаша говорит: наверно, и правда, тихий ангел пролетел, что даже наша Нюра примолкла! А у тебя ж всегда как шило в одном месте — да прости, господи, меня, грешную, хуже любого парнишки была, и всех била, и у самой синяки не выводились, да какая противная да вредная — стыдно вспомнить!

Один раз вместе с подружкой моей, с Марфушой Ковалевой, пошли купаться, а около речки была запруда, коноплю в ней вымачивали. А на берегу много в суслонах стояло, уже сухая. От мы взяли и поспихали ее обратно в запруду, всю до одного снопа туда постаскивали! Хозяин приезжает на бричке забирать, а мы вот они, еще стоим на ней в воде, еще топчем. Увидали — да от него через протоку. А он коня распрягает, чтоб штаны не снимать, — да за нами. А тут ил по колено, вода намыла, конь вязнет, пока он на ту сторону перебрался — мы уже на этой. Он на этой — мы с Марфушкой уже на той! Гонялся он так, гонялся, а потом видит, что дела не будет, кричит: пусть за тобой, Нюрка, лучше отец твой погоняется — он тебя быстро! И поехал на нас папаше жалиться.

Правда, папаша меня за всю жизнь и пальцем не тронул. Зато мать дала духопели!

А я тогда что сделала? Из дому — раз, и пропала. День меня нету, два меня нету, три. Ходят по речке, ищут. Слышу, мать кличет: Нюра, да ты хоть отзовись, что живая! Я отозвалась — надоело уже. Тогда она кричит: да иди домой, Нюра! А я из-за протоки кричу: принесите мне большую чашку кутьи и железную ложку, от тут поставьте, а сами уйдите, тогда, может, завтра приду.

А что им делать? Сварила мама да принесла. А я поела да еще день не являлась, от так!.. Хорошо, что хоть Коля ещё не пришел да не услышит!

А думаешь, потом хоть чуть поумнела?

Папаша как-то говорит: смотри, Нюра, я там на потолке веревки сложил, не дай бог, не трогай, это будем осенью солому вязать. А я все повытаскивала, да качелей в роще понаделали, да целыми днями на них гайдаем, а потом я на этих веревках спустилась под висячую кладку да ночью жду, а кто идет, а я: у-у-у! Так по станице и слух был, что «склиз» под кладкой завелся,

такой вроде человек, мокрый да склизкий, станет щекотать да задушит.

Папаша потом за веревками кинулся, а их уже и след простыл.

А ему, думаешь, не обидно, он сам работник был золотой, бондарь каких поискать, вся станица стояла к нему в очереди кадушки делать — так ему, бедному, и дня не хватало. Как лунная ночь, так работает, как туч нету — опять. Все клепки строгает да тешет, все на утро себе работу готовит — обруча бить.

От слышу, ночью он опять работает, а мама стоит около него, спрашивает: да что с ней, с чертовкой, делать? Выпорю, говорит, опять, как сидорову козу, — всю зиму на печке пролежит, а присесть — не присядет.

А он помолчал, помолчал, потом говорит: да не надо! Давай подождем. Шестнадцатая вода, она все вымоет...

А теперь стала правильная бабка да строгая. Да мой же ты, думаю, детка, на этого дурака здорового кинулся, а потом двадцать копеек потеряли, так он этому мальчишке свои отдал. Да это ж я его за маленьких заступаться-то и учила!

Да на другое утро еще раньше поднялась да взяла тяпку да ведро — вот тогда бы меня кто увидел!

Да сперва золу эту свою отгребла, а потом воды натаскала да полила — ровненько!

А потом у Коли и спрашиваю: а чи есть у вас где покататься? Он говорит: а то нет! Сначала, правда, какой-то злодей дорожку испортил, а кто-то другой потом взял и сделал.

А я думаю: да один и тот же.

А он говорит: от, бабушка, законная дорожка!

А я ему: ну и катайтесь на здоровье!

ОДИНОКИЙ ВОЛК

— Люди в войну кто чем промышляли, а мы с Аришкой Бескараваевой решили на яблоках барыш взять, их в тот год, как никогда, уродило.

Осенью с хуторов на тачке возили, дома у Аришки целый склад — у тебя, говорит, Нюра, не будем держать, у тебя дети. Повытаскивают — и сама не заметишь. Одним словом, уговорила. Оставили все у нее, а зима пришла, отпрошусь в больнице, да оклунок на горб,

и в Невинку, сорок километров пешки. Там на станции поезда с бойцами долго всегда стояли.

От мы свои оклунки поставим у ног, я яблоки достаю, а она кричит, зазывает, да считает деньги, да складывает.

А она, правда, опытная была, всю жизнь на базаре, с нею не прогоришь: баба такая добрая, что ложки вымоет, а юшку обратно в борщ выльет. И глаз у нее наметанный, как уцепит какого тюхтю, так и давай: и детей много, и мужики погибли — хоть мот на шею. Один смеется, не первая, говорит, рассказуешь, уже ученые, слышали, а другой уши развесит да деньги отдаст, а яблоко не берет: да спасибо, говорит, женщины, да отнесите лучше детям — не надо!

Он еще не договорил, а она уже отвернулась от него, уже другому рассказует, а мне совестно, прямо не могу, да как вспомню еще, что у нее брат с немцами ушел, а муж где-то в тылу отирается, — тогда и вовсе!

Скажу ей: Аришка! Да а не грех?

А я, говорит, что — отымала? В карман, говорит, к нему лазила? Он сам деньги отдает, по доброй своей воле, ну и возьмем, раз он такой хороший, все равно он их или пропьет, или в карты проиграет.

А у меня душа ноет! Кого молоденького, как наш Миша, увижу, или раненого да больного, или какого жалкого — я ему лишнее яблочко сую потихоньку, а она — ну, такая зараза — все видит. Нюрка, говорит, смотри — останешься ты в убытке, а у тебя дети, ты первая плакать и будешь, мне что? Ты их от тут жалеешь, а тебя, интересно, кто потом пожалеет, когда будешь без Феди без своего биться да колотиться?

А я в это время бумагу за Федю уже получила, что без вести пропал, да только не поверила. Это он-то, думаю, да пропадет? Не такой человек. А он, как знал, предупредил: ты не верь. Он же, как нас освободили, заскакивал на два дня с повязкой на руке, легкое ранение. Я гляжу на него и плачу, а он стал так, плечи расправил, да красивый же, да большой: чего ты, спрашивает, слезы льешь? Да лучше посмотри на меня: разве могут меня убить? От дурочка, я же слово знаю, я заговоренный, двадцать лет жили, ты меня каждый день заговаривала — да куда тут немецкой пуле? Да смеется, да обнимает, да одной здоровой рукой от так возьмет, над землей приподымет, да кружит, а медали на ру-

бахе звенят — у него тогда уже вся грудь была в орденах.

Не плачь, говорит, дурочка, уж если Сталинград да Курскую дугу танкист прошел, теперь не помрет, теперь долго жить будет, и ты, если что, никаким бумагам не верь: получишь, что убитый, — это меня с кем-то перепутали, хоть и трудно, говорит, меня перепутать, а все равно могут: война да спешка. Получишь, говорит, что пропал без вести, так и знай: ушел на особое задание. Главное, ты детей береги, а я приду — куда денусь?

А я тогда и подумала: наверно, знал, раз предупреждал. Да с кем из бойцов разговорюсь: вот может такое быть — танкист и на особое задание? А они: может, тетка, на войне все может, раз сказал человек — значит, жди. Кто вот так поддержит да посочувствует, а я ему — яблоко. Ой, говорю, да спасибо — да дай бог вернуться домой и вам!

Гляжу, товарка-то моя супится, а потом говорит: смотри, Нюра, не обижайся, я с тебя высчитывать начну — ты как хочешь.

А я уже и до этого стала замечать, что мне она вроде меньше дает, чем себе оставляет. Молчу, а сама думаю: да как же так? Я и тачку таскала одна, а раз еще и ее сверху яблок перла, когда она ногу подвернула. И тут. Идем в эту Невинку, идем, она схватится за сердце: ох, остановилось! Ох, сейчас упаду! Баба квелая. А я и ее оклунок себе на горбяку, да лишь бы она за мной поспевала — бегом! Сорок километров — на станцию придешь, вся в мыле.

А она мне все равно меньше и меньше дает: да что ж, думаю, такое?

Потом один раз стали деньги в уборной делить, а у нее в рейтузах резинка внизу лопнула, а оттуда тридцатки и посыпались.

Я тогда руками всплеснула и говорю: ай-яй-яй, Ариша-а! Да как же тебе не стыдно? А она подбирает их с грязи, спешит, да, видно, разозлилась. А что — кричит. С тобой только так и надо, с раззявой. А деньги это мои, потому что я свою половину продаю, а ты свою раздариваешь. Я долго терпела, а теперь больше не хочу, надоело, давай от-то разойдемся, да и все!

Да первая из уборной, а я за ней, а она не смотрит — пошла! Я кричу: Ариша! Да ты куда? Она: у меня тут знакомые, я сегодня к ним ночевать пойду. Спрашиваю:

а я? А ты как хочешь. Я с тобой больше дела не имею. И идет. Да как же, кричу, не имеешь, а яблоки, что у тебя дома остались? А она обернулась, глаза вытаращила: какие, говорит, яблоки? Тебе не стыдно? Да разве мы, говорит, не все продали да не все раздарили?

У меня тут как что оборвалось. Села от так на скамейку, да голову взяла руками, да сижу, вроде у меня и дел никаких нету, вроде ни о чем и не думаю.

Потом очнулась, спохватилась, на часы на вокзале глянула, а дело уже за полдень, уже бы давно домой надо бежать. Хоть она и трусиха, Аришка, а все живая душа рядом, уже не так страшно. А как я теперь одна, да вдруг ночь захватит в степу — так и вышло!

Вот бегу, а мороз все крепче, метуха по степи начинается, все кругом затянуло, и луны не видать — я тороплюсь, взмокла. На гору наверх выскочила, уже бы и огоньки должны быть внизу, а их — ни одного, мга, метет по долине, идет с гудом.

Я еще быстрей.

Тут по буграм-то мне все знакомое, бегу напрямки, спотыкаюсь да в снегу вязну. Вдруг как в спину меня ударило: чую — кто-то за мною следом! Стала ни живая ни мертвая, потом потихоньку оглядываюсь. Собака... Да большая!

Я уже и обрадоваться хотела, а тут меня в ноги ударило: да то ж волк!

А он стороной обошел и впереди меня сел.

Ну, все, думаю. От тут тебе, Нюра, и конец. Косточки найдут завтра, а может, и не найдут, как метель подымется, — так и пролежишь в катавалах, на этих буграх до весны — от это и вся твоя могилка!

Бежать, думаю, а куда? Все равно догонит. Стою!

А он сидит и на меня смо-отрит.

Сколько я стояла пеньком, не знаю, потом вроде попробовала чуть в сторону податься, а ноги подламываются, идти не хотят.

А волк снова мне наперерез! Куда я, туда и он.

Да так и доходились с ним: то был шагов за двадцать, а то уже руку протяни — от он! И все на меня смотрит.

А со мной, не знаю, что такое случилось: упала перед ним на колени да как заплачу! Да браткой его называю, да так жалобно кричу: да за что ж ты хочешь меня обидеть? Я и так уже обиженная, дальше некуда! И муж,

кричу, у меня погиб, и старший сын раненый пришел, Миша, не знаю, выживет или нет, и дети сидят не евши. И Ариша меня сегодня облапошила. Была бы я одна, еще ладно, а то ведь съешь меня — детей осиротишь, отца у них уже нету, а теперь — и мать...

Я глаза подымаю да смотрю на него: а он старый-престарый! Кожа да кости, шерсть клочьями да в колтунах, а глаза красные да закисли, и волос на бороде седой, прямо белый, как от мороза. Да пасть раскрыл, как будто зевнул, а я гляжу — да у него и зубов вроде нету!

Тут-то я и скумекала: да это ж он одинокий бродит, себе смерти ищет! Дедушка еще мой рассказывал — как только станет волк дряхлый да больной и ноги уже не кормят, — так сам идет на дорогу в степи, чтоб люди его убили. Стая-то его уже не принимает, уже никому не нужен!

А мне чего-то так жалко его стало, да и себя тоже, кого больше, не разберешь, я и говорю: ну, ты тогда потерпи, сейчас у каждого оружие — да неужели никто тебя не убьет? Да, говорю, го-осподи! Или некому и зверя убить, или не до тебя людям.

И как заплачу в голос!

А он морду приподнял да так жалко как завоет: ву-а, ву-а, ву-а!

Зверь, а как будто понял.

О-хо-хо, охохонюшки, нету дома нашего Афонюшки, как мама моя, покойница, говорила! Про эту войну токо начни вспоминать.

Что с яблоками дальше? Так у Аришки, у этой змеи, и остались? Не-ет, я тебе тогда доскажу.

Я пришла тогда, сама не своя, маме рассказываю, а она говорит: да не связывайся ты с ней, дочка! Да как-нибудь проживем. Как-нибудь перебьемся. Я и Мише сказала: не очень переживай. Пенсию ему сегодня отказали.

Эх, как я это услышала, как стукнуло у меня сердце, стою, задыхаюсь, зубы сжала, ты веришь, разжать не могу. Да что ж, думаю, такое? Да есть она где, правда, или уже и нету? Сын здоровье на фронте оставил, сколько орденов мальчишка принес, а пенсию отобрали — и ладно?

Не-ет, думаю, Нюра, если ты будешь так жить, то как раз — детей вырастишь! Да так тебя и куры заклюют!

Ну, с пенсией, слава богу, разобрались через месяц, а с яблоками дальше вот что.

На другой день говорю я Володе: а ну, пойди у тети Ариши кошоночка незаметно поймай да мне принеси.

Пошел он с сумкой — принес. Ага, думаю, — есть!

А ночью маму беру с собой, да ей пустой чувал, себе чувал, да каталку в руку, у меня тяжелая была, а кошонка за пазуху, пошли.

Пришли к ней во двор, за дверями потихоньку стали, от я его вынула, а он мяв!.. мяв!

Слышу, она подошла к двери, стала и слушает, а потом потихонечку: кися! кися!

Слышу, засов тихонечко потянула, да скрии-ип... А я тогда дверь на себя, да в одной руке каталка, а другой ее за грудки — черк!

А она — бух на колени, прямо тут, в сенцах: Нюрочка, да бери что хочешь, токо не губи! Я тогда: а ну, мама, бери мешок, держи, она яблоки будет сыпать!

Толкнула ее к кладовке, она открывает, лампу зажгли, а там еще этих яблок — на год продавать!

От мама мешок держит, Аришка яблоки нагребает, а котенок у ней об ногу трется, трется, а она его — толк, он аж отлетел!

Два оклунка нагребли, я говорю: давай третий мешок.

Она спрашивает: а кто с вами еще? Я говорю: а ты? Она говорит: Нюра, да я женщина больная!

А я тут слышу, мама моя бурчит: да тебя, Аришка, еще и каталкой этой не прибьешь, ишь, дуры, не поладили и меня в грех ввели!

Насыпаю третий мешок, а она говорит: Нюра! Да ты видишь, что я плачу?

Да я видела, говорю, как ты и в Невинке плакала, говорила, что мужа убили, а он карточку прислал, ряшка больше, чем до войны!

Поддала я им потом с мамой по оклунку, сама взяла — понесли!

Утром дети просыпаются: мама, да откуда у нас стоко яблок?

А я говорю: от верблюда! Ешьте, сколько душе угодно, спекулировать больше не понесу... От и Коля с улицы пришел, сапогами скребет об чистилку, все-таки приучила!

Сумку в сенцах поставил и возится теперь там, и возится. И к бабке не ходи, и не гадай: двойку принес — точно. Когда пятерку, тогда он дверь в комнату расшагакает, портфель закинет: бабушка, я сейчас! И — во двор.

Я нарочно кричу вслед: а что принес? А он весело так: а ты, бабушка, открой да посмотри! Я потом удивлюсь: да неужели пятерку? А он орлом глядит: а ты думала — что?

Федя мой был точно такой.

С охоты вернется, еще бахилы с себя не снял, обмундирование это охотничье не скинул, дверь открывает да мне под ноги — лису! А голос радостный. Куда мы, кричит, мех будем девать? Плечи, понимаешь, болят — носи и носи! Была бы не такая красавица, уже и не брал бы — а то ишь, огневка, аж в хате посветлело!

А когда вернется пустой, тогда в сенцах тоже и возится, и возится, все снимает с себя, да сопит, бычится. Я дверь сама открою: ну, заходи, чего ж там топтаться? Заходит, молчит, только хмурится.

Я другой раз нарочно скажу: ишь, расстроенный какой — ну, бросил бы! А он как вскинется: что ты, мать! Заяц — трус и тот на капустку охотится! Ушла, понимаешь — уж больно далеко до нее было. Да она и лиса-то — не мех, а смех, шерсть колтунами да вся в репьях.

А Коля — ну, вылитый дед. И характер весь. И привычки. Ну, откуда берет?

Другой раз задумается, одну бровь дугой выгнет, другую — вниз и вроде на плечо себе смотрит. Я как гляну: ну, вылитый Федя! Тоже было насопится, нахмурится, а потом как молния в глазах, да кудрями тряхнет: эх, горе — не беда!

А у Коли тоже — и волос вьется.

От я сижу, гляжу на него да потихоньку и плачу. Он вскинется: бабушка, ты чего?

Ничего, говорю, ничего, играйся!

А сама думаю: и полынь без кореня не растет, а то — человек...

Пойду-ка его позову, а то будет пыхтеть там еще час.

СТАРАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА

— Дарью Степановну сейчас встретила, учительницу — она до войны еще Мишу учила, а потом и Володя у нее был, и Саша...

Глаза красные, остановилась — плачет!

Говорит, от прокурора иду.

У нее старший сын в Мурманске, военный, офицер уже да красавец! Тут, как приедет, вся станица за ним. А младший не удался. Учился, да бросил. Тут баклуши бил-бил, сидел на шее у матери, а потом завербовался да уехал на Север. Оттуда с женой вернулся, да такая нравная попалась, да с гонором — Дарью Степановну как невзлюбила! А он у нее на поводке.

Сначала вместе жили, а потом отделились, дверь между половинами заколотили, и она не здоровается, когда дочка родилась, Милочка — Дарью Степановну не подпустила и близко.

Выхлопотали ясли, а у девочки экзема на личике, дерет, а доглядеть некому. Так Дарья Степановна от-то в яслях каждый день от зорьки до зорьки, да щеки драть не дает, на руках носит, да примочки делает, да кровь перелить сдает, невестка до сих пор так ничего и не знает, думает, само прошло.

Меня как-то давно еще воспитательница из яслей встретила, совсем молоденькая, наша она, только безродная, в детдоме росла. Разговорились, она такая хорошая да умница, и мне говорит: да кабы не Дарья Степановна, не знаю, что бы мы одни и делали. И за своей внученькой досмотрит и других: и покормит, и в сухинькое переоденет, и по головке погладит. Да мне бы, говорит, такую маму, так я, неверующая, каждый день бы на коленях стояла да бога благодарила!

Горе видела, так соображает, а эта, видишь — какая ягодка!

Теперь уже Милочка большенькая стала, все понимает, так дома на Дарью Степановну и не смотрит, а в садике ждет ее не дождется да на шею бросится: бабинька!

А тут как-то Дарья Степановна в больнице неделю пробыла, а Милочка ее увидела потом дома да вроде шепотом, а сама громко — дите оно дите и есть: бабинька, кричит, а ты уже не больная? Сегодня придешь?

А мать услышала да все поняла. Да как начала скандал!

Пошла в садик да воспитательнице кричит: чтобы ее и ноги тут не было, моей свекровки! А Дарья Степановна и говорит: ну, как бы она меня не пустила, Люда — она у меня была с первого класса?

И опять ходит.

А эта у дочки выпытала — долго ли дитя обдурить?

Да теперь к заведующей: требую, чтоб не пускали больше бабку!

А Вера Ивановна тоже ее ученица, Дарьи Степановны. Да говорит ей: ой, да вы, ради бога, осторожней!

Она все равно подследила! Да тогда к прокурору.

От он Дарью Степановну и вызывает.

Иду, говорит, от слез дороги не вижу, думаю: да и он же у меня учился, прокурор теперешний — Юра. Правда, мальчик был грубый да неласковый, да какая тогда, правда, ласка, после войны, отца нету, а их пятеро. Да неужели, думаю, меня не поймет?

Пришла, рассказывает, а он усадил меня и говорит: Дарья Степановна! Я знаю, что дома у вас неладно, и как вы дальше будете жить с сыном да невесткой, тут вы, пожалуйста, подумайте сами. И я бы, говорит, еще очень хотел, чтобы вы всегда знали: пока я в этом кабинете хозяин — пускай кто только попробует вас обидеть.

Я, говорит, заплакала, а он руку мою взял, да поцеловал, и спрашивает: да неужели вы могли подумать, что я вам скажу что другое?

Так она такая радая, Дарья Степановна, да снова сейчас расплакалась, да мне говорит: я, Нюра, хочу еще годика два пожить, пусть не больше. Программа, говорит, сейчас в первых классах такая сложная, а Милочка, она ну такая понятливая, когда к ней с лаской, все на лету. А как ругать начнешь, у нее все из головы, станет и стоит. А она вот так не разберется, невестка, начнет бить, да Милочке тогда и школа станет — не школа!

Так я, говорит, уже сейчас девочку готовлю, ты бы посмотрела, как она читает да как пишет! А по арифметике, говорит, я сама, Нюра, уже отстала, там теперь эти иксы проклятые — так что ты думаешь? Каждый день хожу на уроки, да все внимательно слушаю, да запоминаю.

НИ КОНЦА, НИ КРАЮ

— Ты хоть и не смеешься, что зимой сидят, а про себя небось думаешь: от выносливые эти сплетницы, и мороз не берет! Ты строго не суди. Я сама, если бы не внучек, все вечера с ними просиживала, да слушала, да сама говорила, да семечки лузгала, а чего? Волки и те вместе на луну повыть собираются, а то — люди. Как не потолко-

вать, как другой раз не посудачить, а где? Молодые в кино да в клуб, а куда нам, старым бабам? От это и все наше место, лавочка под плетнем у Степановны. Зять ее, когда выпьет, начнет выкаблучиваться: чем каждый вечер от так языком бить, вы, мамаша, лучше б радио да телевизор. Так-то, конечно, так. Со стороны баб наших послушать — ничего мудрящего вроде и не скажут, золотого слова не вымолвят, а только если понимать хорошенько, то у них тут, может, самый серьезный, скажу я тебе, в жизни разговор — куда тут радиу, куда телевизору?

Вот смолоду оно все в новость. Случилось что с тобой, а ты себе на замет: вот как это и бывает, ага, ясно! Хоть сейчас в дураках очутилась, зато потом свое возьму: опыт! И все с каждым разом вроде умнеешь, и все про себя думаешь: от так жизнь мне шишек набьет — ох и хитрая я буду под старость. И все до капельки тогда мне будет понятно, и все загадочки я поотгадаю и самую главную тоже отгадаю, а ведь есть же такая главная загадка, обязательно есть: зачем живет человек на белом свете? Зачем радуется? Зачем печалится? Зачем дорогой ценой за все платит?

А потом жизнь идет себе да идет, и вот дело вроде к концу, никуда тут не денешься, а у тебя, как и давеча, только глаза разбегаются да ум за разум заходит: от жизнь так жизнь! Нету у нее ни конца, ни краю, нету никакого предела, и чем ты старей, тем лучше только одно и видишь: ну да — нету! И загадку эту главную уже отгадать не стараешься, не с нашим умом, и тебе теперь хоть бы только одно узнать: да добрая эта загадка или злая? На радость она человеку или на горе?

О том каждый день, старики, и судим — и всяк в отдельности, и вместе, когда сойдемся, а то не так?

Летом под плетнем, а зимой холодно, так поближе к огоньку, у печки. Одно время, когда Коленьки не было, у меня собирались. Придут с семечками, я говорю, да давайте на пол, я потом замету, а они как будто жару придают, семечки, тут и пошел кто про что!

У этих баб, что мужья с фронта не вернулись, много ли потом было радости? Много счастья?

Станем было жалковать, а потом кто-нибудь говорит: ой, бабы, да хватит — чего нам к людям за горем идти, если дома свои плачут?

Да сидим, а за окном ненастует, да по земле потащиха, кругом хурта, не дай бог в степи одному, — а у нас тихо

да теплочко да только бодылки от подсолнуха в печке потрескивают — то ли не радость?

Тут и поговорим, тут и попоем, и поплачем...

А сейчас мне и некогда, а все другой раз остановишься, да послушаешь, да схватишь что, а потом думаешь и день и другой — вот как оно в жизни бывает!

Недавно я спешу, а меня Феня остановила, соседка, рассказывает.

Одна женщина, говорит, потеряла сына во время войны, три годика было мальчику. В Армавире под бомбежку попали, ее ранило, а когда очнулась, нету, и все. Куда делся? Не знает никто. Она сама откуда-то из-под Ленинграда, да только, когда там освободили, домой не поехала, здесь осталась: знаю, говорит, что он живой, чует сердце, все равно я его найду. И все по городам моталась — и туда, и сюда, куда только, бедная, не ездила, где только не искала, у кого только не спрашивала.

А недавно, говорит, поехала в Ростов, идет по улице, вдруг, видит, мальчик в колясочке, ну, копия ее сын. Как две капли. С ней тут что-то случилось, бросилась на колени: Павлик, кричит! А старушка, что его везла, говорит: какой же он Павлик? Он Боренька. А она плачет навзрыд, свое доказывает: это Павлик, он у меня в Армавире пропал, под бомбежкой. Тут люди собрались, успокаивают, да что вы, говорят, гражданочка, вашему-то теперь должно быть за тридцать, а этот вон совсем крошка. А до нее ничего не доходит, бьется, люди около коляски ее держат, а эта старушка, что маленького везла, говорит: а может это отец мальчишоночки вам сын? Его и правда Павлик, и он детдомовский, безродный, а Боренька на него — как две капли. Пойдемте к нам, мы тут рядом.

Пришла, она альбом с карточками достает да этой женщине показывает. Та как глянула — ну, конечно, он, а то кто! Да плачет!.. А эта, теща, себе: да был бы, говорит, наш Павлик живой, от бы радовался, что мамочка его нашлась...

Эта говорит: как? А разве его нету?

А старушка еще громче: нету, говорит, полтора месяца, как схоронили, у него, говорит, еще с войны в голове осколок, и сначала ничего, а потом пошел и пошел беспокоить, и вот схоронили недавно, только что сороковой день отметили, еще и посуду соседям не отнесли. Ой, господи, да разве не жалко?

Я забыла, куда и шла, стоим с Феней, льем слезы да

и говорим: повезло этой женщине, что хоть концы-то нашла! Или уж лучше бы так, бедной, и не знать, что живой был, да только что помер?

Да только захочет жизнь, она и в мирное время таких узелков навяжет, так людей позапутает, что только держись! Я тебе о наших Стрижновых никогда не рассказывала?

Врачи, он хирург, а она глазная, оба внимательные да хорошие. И симпатичные, и умные — такие люди, что цены им не сложить, а вот одна беда: детей не было.

А тут как раз приехали в нашу больницу молодые практикантки, да такие же были среди них, что к ней не цепляйся — она сама от тебя не отстанет. Вот он, Николай Иванович, и связался там с одной ветренкой. Сначала так, вроде ничего серьезного, дальше — больше, в потом Дору Семеновну бросил да с тою, с молоденькою, уехал.

Как они там жили, один бог знает, только через год эта вдруг приезжает с ребеночком, к Доре Семеновне на квартиру пришла: на, говорит, сама воспитывай, это твоего старого дурака дочка!

Девочку на диван положила, а сама повернулась да дверью — хлоп!

А что Доре Семеновне делать? Поохала да поахала, а там давай растить да воспитывать. С полгода одна билась, а тут Николай Иванович приезжает да перед ней на колени. Она расплакалась, и стали жить.

Да и что ж ты думаешь? Ну, как так и надо было такому случиться — им ведь только дитенка и не хватало: то дружно жили, а теперь и вовсе водой не разольешь. И девочка такая справная да хорошая, кто не знает, поглядит и Доре Семеновне: да вылитая мама! Вот уже восьмой год, и счастливей их троих как будто вообще нету. Врачи наши как-то в компании выпили да разговорились, кто-то затронул невзначай, а Дора Семеновна смеется: да где она, говорит, раньше была, эта ветренка, — столько ждали?

Где тут — хорошо, где худо? Попробуй-ка разберись.

ДАЛЬНЯЯ ПОЕЗДКА

— Ну, вот, пожалилась я тебе, а ты, глядя на меня, уже и сам пригорюнился. И чего? Слушать слушай, да близко к сердцу не принимай, а то подумаешь еще, что у меня и

всегда глаза на мокром месте. На самом-то деле, знаешь, какая я боевая? Знаешь, какая бедовая? Да храбрей меня нету — лишь бы только первый испуг прошел.

Когда Колю ездила забирать.

Сначала поездом несколько дней, а потом по воздуху. До самого Якутска хороший эроплан, большой, совсем не кидает, а до того поселка, где Саша тогда жил, уже поменьше, только с двумя моторами.

От садимся мы, а летчик и говорит: обязательно всем привязаться, потому что будет болтанка. А оно и правда, — как начало нас гайдать! Да сразу еще терпимо, все больше вроде подкидывало, мне так сперва даже интересно: ну, вниз бросало бы — это бы еще туда-сюда, а почему вверх? А потом он проваливаться как начал! И падает, и падает, хоть кричи, и прямо уходит из-под тебя — что ты тут будешь делать!

А летели несколько баб да два или три мужчины, а остальные — ребятенчишки из интерната, или якутята, или еще кто, косоглазенькие такие, человек тридцать, да с ними учительница. Сперва вроде сидели спокойно, все по-своему лопотали да хихикали, а как начало нас посильней швырять, тут сперва один в плач, за ним другой в слезы, да как пошли реветь. Тут уже и девчушка эта в синей жакеточке, и летчик потом вышел: да дети, да успокойтесь, да все в порядке, а они как сговорились, кто громче — кричат в голос! Тут и так не знаешь, куда себя деть, да они еще, как будто ножом по сердцу.

А меня одна молодая женщина еще в большом самолете учила: вы, говорит, тетечка, если что, начинайте про себя считать, тогда и время быстрей пройдет и ничего не заметите, а я зажмурилась да шепчу: тридцать один... тридцать два! Тороплюсь, как будто кто за мной гонится. А счетовод с меня!

Чуть за сто зашла, и тут вдруг как ум за разум. Сбилась, не могу припомнить, как дальше, ну хоть убей! И как затрясет меня, как в голове застучит: ну все, от тут он сейчас и грохнется!

Ты веришь, руки-ноги отнялись, сердце стало, дышать нечем: ну сейчас, думаю, ну, сейчас!

А потом как разозлилась! Да что ж это он только потому и упадет, что ты, дура безграмотная, со счета сбилась? Да если бы все падало да разбивалось только потому, что ты дальше ста не знаешь, дак это давно бы уже и все наши, какие есть, эропланы попадали и все поезда с рельс

посходили. А ведь летят же? А ведь не сходят? Ах ты ж, говорю, дура бестолковая, нет, детишек этих помочь успокоить, дак ты и сама уже в панику — ну нет!

Да отвязалась тогда, встаю, а меня кидает! Эта, в жакеточке: вы куда, тетя? Если плохо, ходить не надо, там бумажный кулечек. А я ей — нет, говорю, моя детка, самой мне уже лучше, пропусти-ка меня к моим вещам, сейчас я тебе помогу.

А у меня чемодан да кошелка. В чемоданчике то да се, а в кошелке яблоки. Боялась холода, дак я сумку вывернула да старым платком шерстяным обшила, а корзинку ватником по бокам, чтобы не замерзли. В поезде раскрытые везла, а перед тем как на мороз выйти, хорошенько зашила суровыми нитками. Рву теперь, что есть сил, разодрала, а потом яблок накидала прямо в подол да одною рукою придерживаю, а второй за спинки за эти цепляюсь, чтоб с ног не упасть.

Добралась к первому мальчишке либо девочке, их и не разберешь — на, покушай тетиных яблок! Да второму — ну-ка, держи!

А яблоки у меня в тот год уродили! Особенно «джонатан». На елку, ей-богу, вешать да только любоваться!

Они и смотрят. Да один замолк, потом другой, третий, а четвертому еще не дала, а он уже затих, вроде ко мне тянется.

Я один подол раздала да скорей обратно. Тороплюсь, веришь, коленки потом все черные были, никогда еще, ей-богу, так не сбивала. Добежала до вещей, да опять в подол, да обратно.

Каждому по яблоку дала, а они не едят, только смотрят. Да ешьте, мальчики, ешьте, девочки, — а они только глазенками лупают, а потом один — в карман, другой — за пазуху. Да, милые вы мои, вот, скажут, тетка пристала! Когда по второму дала, тут только попробовать и решились. Да тихо так стало, только хрум... хрум!

Летчик из кабины выходит да шапку на затылок: о, кричит, да тут, я вижу, пассажиры мои неплохо устроились!

А у меня в руках как раз три яблока. Одно я этой девушке в синей жакеточке, а эти два ему: берите, говорю, вам, да товарища своего угостите.

А до Саши приехала, он помогает раздеться да вещи поставить, а потом потянул носом да над корзинкой нагнулся: о, говорит, мама, да ты или яблоки тут везла? Да,

везла. А где ж они? Да, говорю, где? Если бы довезла, неужели бы ты их сам съел, товарищам не раздал? А он смеется: раздал бы. Ну, вот, говорю, и мать у тебя такая.

САТАНЫ

— Я и сама другой раз, грешница, — как что не по мне, так сразу: от молодежь пошла. Да только я не со зла, а так, само вырывается, наше-то бабье дело какое: хлебом не корми, а дай высказаться.

Бывает, скажешь от так, а потом невольно и призадумаешься: да и правда ли, что мы были хорошие, а они теперь — оторви ухо с глазом?

Про себя я не говорю, я такая Лелька-атаманша была, что до сих пор за голову возьмусь и глаза закрою: да неужели и правда это я? Начнешь других девок да парубков вспоминать, с одной улицы да с одного кутка, а потом думаешь: да нет, кто какой уродился, да кто в кого удался — вот и все дело.

Вон у моей двоюродной племянницы, у Поли Постниковой, два сына, один от другого на год старше. А разве подумаешь, что братья? Да ни в жизнь.

Старший, Юрка, пьет же и пьет. Поля все ларьки обошла, продавщиц упросила: не давайте Юрику вина! От они и перестали ему наливать. И что ж ты думаешь? Занял у брата денег, у Толика, да купил себе мотоцикл. И ездит теперь водку пить в другую станицу.

А возьми ты, другой брат, Толик. Да против этого архаровца — как тихое лето!

Еще до армии женился, да с женой душа в душу, не дети у них, а ангелочки, да из части ему до сих пор письма шлют, да все стены дома грамотами с работы обклеены. А теперь Поля план ему отделила, строиться начал: так в четыре часа, говорит, встанет, свет включит на улице, и строгает себе, и тешет, никогда не стукнет, не грякнет, а как только все проснутся — тогда уж и гвозди бить. Поля говорит, скажу ему другой раз: Толик, да ты не считайся, когда и постучи, а то до работы не успеваешь. А он: да что ты, мамочка, на то еще вечер будет!

Вот тебе от одной матери, от одного отца, одинаково росли, одинаково воспитывались — разве поверишь?

Мне Поля жалится, плачет, ну, в кого, а я ей говорю: да не в кого, что ли? Ты его деда, Афанасия, хорошо не

знала, так вот и спрашиваешь, а кабы знала, так тебе и все ясно.

Из бедных, а в шибаи вышел, скот перекупал да продавал, семью бросил, с другой женщиной сошелся, с барыней. В станицу едет, вроде детей проведать — да ни крошки им, ни одежки, а на краю степи остановится, с коня слезет да шляпок с подсолнуха надерет, семечек молодых нашелушит, набьет полные карманы. Дома потом мальчишатам в ручонки сует: нате, поклюйте, привез гостинца! Копейка вместе с семечками кому попадет, он ее себе обратно в карман, а жинка, бедная, плачет, слезами заливается!

А он на коня да и поехал.

А конь — что змей.

То через один плетень на нем, то через другой. Где огород потопчет, хозяин кричит, а он жменю серебра вынимает — на тебе! Так хозяин на коленках ползает, остальное дотопчет.

А он коня потом за цепку на дверях от шинка привязывает, гладит его по холке да говорит: смотри, говорит, Афанасий Семеныч пить будет в шинке да гармошку слушать, а ты никого больше не пускай, не хочу и видеть.

От конь стоит, так вроде смирный, а только кто не знает — на ступеньки, а он за плечо зубами — цап! Или еще хуже — задки.

А тот пьет себе, да гуляет, да гармониста целует, одно — деньги в карман ему пхает, а жена, бедная, пошлет детей пятачок попросить — может, он выпьет, так добрей, — а они стоят перед шинком, как сиротки, тоже коня боятся.

Он потом выйдет да верхи, на них даже и не глянет.

Подумаешь от так, старое переворошишь, так потом уже и на теперешнюю молодежь поменьше грешить начинаешь...

Это вот сосед у меня, Никифорович, раньше был мастер на это дело. Одно только и слышишь: да разве это парни и девки? Да это сатаны! Работать не хотят, а только гулять да гулять, и старших не уважают, и оскорбят тебя всяко, и обзовут, и гадюку повесь — утащут. Да разве это молодежь? Таких, говорит, уродила мама, что не примет и яма!

А особенно если слух пройдет, что у кого-нибудь велосипед увели, тут его за руки не удержишь. Около каждого двора останавливается, кричит: слышали? Опять ли-

сапет около хлебного украли. Пацан Менжулов токо поставил, пошел булку хлеба: вышел — а лисапет уже как хмыл съел. Разве молодежь? Сатаны да бандиты! А я вот, говорит, помню в девятнадцатом году. Разорили тогда пана Заруцкого, он в том доме жил, где теперь нарсуд. Дак лисапет его, говорит, на улице коло двора валялся, пока не поржавел да совсем не пропал. И никто не брал! А теперь? Сел на чужой да и поехал. Мне вот шестьдесят семь, я еще работаю, а они? Вон Симоненковы пацаны. Залезли ко мне в огород и давай шматовать все подряд!

А я каждый раз это слышу и думаю: да что ж это он дураков из нас делает? Один он все помнит, а другие старые люди — нет? И чего он на молодежь? Так было, так будет: постарел, так и начал охать — все не по нам! Да еще праведника из себя корчит, ишь, трудяга! Нашелся стахановец, всю жизнь сторожует. Да рядом живем — или у меня глаз нету? А что до Симоненковых — ну, пристал, думаю, до людей как банный лист!

Они и так несчастные, отец бросил, а их четверо, да хорошо — старший кролей развел, так они этими кролями и живут. А тут и правда, случилось, Никифорович этот подкрался да и поймал среднего в огороде и костылем и побил. Да кричит, ругается, а я тогда тоже мальчишке говорю: Витя, да разве можно? А он как заплачет да мешок передо мной вытряхнул: тетечка, да я ж только траву кроликам, больше ничего, от смотрите, это мы с Мишкой поспорили, кто больше принесет, а у Никифоровича огород бурьяном зарос, волки водятся!

А я гляжу на траву: и правда! Щерица, да калачики, да куст амброзии, чего он ее только и рвал. Никифоровичу говорю: связался черт с младенцем. Зачем бить? Да ты бы ему спасибо сказал, что он амброзию дергает, а то тебе уже скоро из стансовета штраф принесут.

С тех пор уже почти два года прошло, а он все Симоненковых воровством попрекает да глаза колет... ну, подожди, думаю, у самого рыльце-то в пушку, я тебя выведу как-нибудь на чистую воду!

Обмороковала, жду случая. Да так мне повезло!

Около Степановны бабы, как всегда, вечером собрались, я около них остановилась, да Шура Симоненкова с собрания с родительского бежала, тоже стала, да еще...

А он идет.

Да еще издалека-а кричит, и голос радостный, как будто счастье какое привалило: да чи вы слышали? Сейчас

у младшего мальчишки Хабарова лисапет украли! Поставил около аптеки, токо матери побежал за лекарством — уже нету!

И опять за свое: а я вот помню, в девятнадцатом, когда прогнали пана Заруцкого...

А я его перебила и говорю: от ты стал, Никифорович, рассказывать, а я тут и вспомнила — разве ты сам забыл?

Да тогда ж все пробовали сесть на этот велосипед, да покатиться, да все падали, чуть не поубивались. И ты его на улице подобрал потом, сел да хотел было поехать — и тоже чуть не убился, мы ж тогда, девки да молодые бабы, и домой тебя, побитого, отводили — ну, помнишь?

Он от так усами зашевелил и говорит: ну и что? Это другое дело. Я ж его не украсть хотел, я только хотел спытать, как они, паны, на нем катались!

Я виду не показываю, а сама рада, от, думаю, Нюра, да ты прямо молодец — в точку попала!

Вот в том-то и дело, говорю, что ни один леший на нем кататься тогда не умел, потому и валялся, пока не заржавел, а если тогда да умели бы на нем ездить? Да на части бы его разорвали, и ты, Никифорович, первый, — или нет?

А он хмурится, хмурится да опять усами, как таракан: ты меня, Нюра, не позорь. Мне вон шестьдесят семь, а я все работаю, не бросаю...

Правильно, говорю. И не бросишь! Потому что ты, говорю, за нее, за эту работу, держишься, как вошь за кожух, тебя оттуда, с производства, не вытряхнешь. А хочешь, я скажу почему?

Гляжу, насторожился.

А мне тут как раз не спалось несколько ночей, а Коля ворочается, вот я все встаю одеяло поправить. Да один раз поправила, глянула в окно, а он мешок заносит во двор. Да на вторую ночь, прямо как по заказу, а он — опять с мешком, это в два часа ночи!

Теперь и говорю: правильно. Ты ее не бросишь, работу, пока весь инкубатор к себе не перетащишь — стыд и срам!

Гляжу на Никифоровича, а на нем уже лица нет. Усы опустилися, рот раскрыл и стоит.

Я тогда говорю: от здесь с нами Шура Симоненкова, ты бы сказал, Никифорович, да разве плохие у нее дети?

А он только руками от так: да что ты, мол? Да кто это говорит?

Да, а молодежь, говорю, разве нынче плохая?

А он глаза вытаращил да сказать не может, а как-то так: ци!.. ци!.. ци!..

Чего ты. говорю, зацикал?

А он выговорил наконец: цены, говорит, ей нету, такой молодежи!

Потом рукой махнул, плюнул — и ходу от нас, да так быстро. Только у калитки оглянулся да кричит: сатаны! Лавочку вашу хотело хулиганье вчера унести, а я защитил, от дурак, — теперь сам ее с корнем вырву!

РУЗВЕЛЬТОВО КУШАНЬЕ

— Ох ты, горе ты мое лукавое, а не Колька! Ужель бабушка тебе плохих блинов напекла? Да эти блины — ты плакать потом станешь — вспоминать! В общежитии в каком-нибудь будешь сидеть за неприбранным столом да пустой чай похлебывать, а друзья скажут: да чего это у тебя — слюнки? Вроде бы и не с чего! А ты скажешь: да бабушкины блины я, ребята, вспомнил.

Дай только бог, чтобы по-другому как вспоминать не пришлось...

До войны-то мы уж как хорошо жили. Вот я на белый хлеб масла сливочного от такой слой намажу, а сверху варенья: да съешьте, дети! Из гусачка пирожков настряпаю да больших в русской печке напеку — и с творогом, и с рисом, и с яблоками, да с изюмом, а что пампушек с медом да маком, а что хворосту, так и хрустит на зубах, наделаю, а что оладьев напеку мягеньких, прямо пушистых, а что тех сырников! Все такое вкусное, что за уши не оттянешь, все свеженькое, тесто на молочке да на яичках, сдобное да с ванилью, сырого съешь — и еще хочется. А они тогда что? Еще ничего не пережили. Они капризы строить до коника выкидывать: не хочу!.. Сколько можно одно и то же — в горло уже не лезет!

Сашка тогда еще в люльке, а Володя уже большенький был, ему шестой, вот он и приноровился. Суну ему что вкусненькое, а он не станет спорить, как другие, а сразу: спасибо! И за сарай бежать. А там размахнется — да в картошку закинул. А я-то не знала. Съел, говорю? От умница! Да еще ему даю, в руки пхаю, да другим его в пример ставлю: вот как надо лопать, как Вовка! А он забежал опять за сарай — кидь! Да и пироги мои туда, и блины мои туда, а я радешенька: да хоть один не капризничает, уж как ест хорошо!

А ночью собаки у нас по картошке как кавалерия. Да чего они, думаю, там бегают? Чего им там, в огороде, надо?

А потом немца прогнали, наши пришли, а я уже все, что можно было, продала: голод. Не знаю, за что браться, не знаю, за что хвататься, а они — дай да дай!

А Володечка, вижу, утром вскочил чуть свет, еще глаза не продрал, в огород бежит и ходит там по картошке, ходит, угнется от так и смотрит в землю, как будто что ищет. Я ему кричу: Володя! Да что ты там потерял? Он говорит: да гдей-то тут пирожок с фасолью лежал. Я сначала не поняла. Да кто б, говорю, тебе его туда положил? Иди спи, еще рано. А он и на второй день. И на третий. Все утро по картошке блукает, все ищет. Чего ты опять, спрошу? Да тут, говорит, где-то должен быть блинчик. А я поняла: да это ж ему снится! Обняла его: Володя, говорю, да ничего тут нету, собаки давно все поели, ты посчитай, говорю, деточка, уже сколько это прошло, как мы хорошо жили, это ж тогда еще и папка у нас был живой, откуда ж там что останется, ты подумай. А он свое: я, мама, токо сейчас этот пирожок видел — он такой, надкусанный, от масла от постного блестит, и муравьи по нему ползают.

А Сашка уже говорить стал, вот его старшие дурачки и научили. Он целый день на печке сидит, а припечек я картинками обклеила, хорошие картинки, цветные: и куры там, и коровы, и пчелы... Вот он пальчик свой маленький приставит: корова, корова, дай молока! Не даёсь? — И — стук по ней кулаком. Да с таким это злом. Потом опять: кулица, кулица, дай айцо!.. Не даёсь? И бьет, аж печка гудет. Пцел, пцел, дай мед! А я и плачу и смеюсь: да ты, говорю, хоть знаешь, какой он, мед-то! Да ты еще и не знаешь и не ел! То не давали — была у тебя золотуха, а теперь, говорю, дал бы — да голодуха...

А в сорок четвертом как уродили у меня помидоры да лук! В доме — ну ничего больше, а этого добра — завались. От я на зиму насолила, а потом натолку в чашке, да лука туда накрошу, да подсолнечным маслом капну. А больше ни картошки, ни хлеба. Ешьте, дети, ну ешьте. А они сидят, надулись, как сыч на крупу.

А Миша, старший, тогда уже хоть немножечко отходить стал, уже малость оклемался, и слышать вроде начал. От он первый тогда ложку берет. Смотрите, говорит, а то вам еще и не достанется!

Ест да приговаривает: лук — он от семи болезней помогает. И кто ест лук — того бог избавит от вечных мук. Это ж в тридцать третьем, в голодуху, Федя научил его своим прибауткам. От он теперь и давай: только ангелы с неба не просят хлеба. Хлеб да вода — казацкая еда. Да только куда все сразу: подавай, мама, сегодня воду, а хлеб на завтра оставим!..

А они сидят, носы повесили, не смеются.

Он тогда вроде серьезно: смех смехом, а зря вы не едите, большая ваша ошибка. Это ж от какая вкуснятина, если кто понимает. А полезная! Недаром же президент Рузвельт в Америке только ее и ест. Одни толченые помидоры. Чего другого ему, говорит, принесут, домашней, говорит, колбаски, гоголю-моголю или даже ихней американской тушенки, а он — так вежливый, а тут кулаком об стол: а где мое любимое кушанье? И уже бегут, несут толченые помидоры с луком! В Америке, говорит, оно так и называется: «Рузвельтово кушанье».

А они уши поразвесят, как-никак старший, он же с фронта пришел в черных очках, медали на рубахе звенят. А может, правда?

Да один ложку возьмет, другой...

Потом уже мы так его и стали звать: «Рузвельтово кушанье». А что в обед будем? Рузвельтово кушанье, что ж. А вечером? Да его же.

Так и осталось.

Теперь вот съедутся другой раз Миша, да Валерка, да Володька, да и Сашка, глядишь, время выберет. А чего бы нам такого на закусочку? А давай-ка, говорят, браты, попросим нашу мамку сообразить нам Рузвельтова кушанья да пирогов с молитвой да с таком! И смеются, и ржут, как жеребцы. А потом едят с хлебом да хвалят, да аж за ушами трещит, кабы не желудок, ей-богу, сама бы ела! Чего ты, Коля, бабушку за рукав?.. Чего-чего, громче? Рузвельтово кушанье и ты ел бы? И пирожки бы с молитвой ел?

Э-эх, ты, дурачок-дурачок, так и не понял ничего — кому ж это я старалась рассказывала?

СТОЛЬКО ЛЕТ, КАК ОДИН ДЕНЬ

— Я от баб услышала еще года три или четыре назад, и с тех пор у меня из головы не выходит... Вроде бы у одной женщины, она в Спокойной живет, муж тоже без вести

пропал, а детей куча, не то шесть, не то семь. От она все его ждала, не верила, что погиб, а с детьми, как могла, колотилась, нужду терпела такую, что стыдно сказать, а только ни беды, ни пабедки ее с ног не сбили — всех и выкормила, и в люди вывела.

А это недавно приезжает в Спокойную человек, уже совсем пожилой. Разыскивает эту женщину, говорит, что с мужем с ее служил в одной части. А ее как раз нету, или внука повезла, или еще что, а дома старшая дочка, вместе живут, от он ей и говорит: с папашей с вашим мы в госпитале подружились, а потом в одну часть попали, только я писарем был, из-за ранения, а он пехотинец. Вот он мне и приказывает: если убьют меня, ты ни в коем случае не сообщай, что погиб, — напиши, пропал без вести. Так, говорит, надо. А то получит она, говорит, бумагу, что в живых нету, крылья сразу опустит, и все пропало — куда ей с шестью детьми? Замуж ее все равно никто не возьмет. А так она все будет надеяться да меня ждать, да, глядишь, как-нибудь и перебьется... и все, говорит, фотокарточки мне ваши показывает!

А потом приносят мне сведения, кто погиб, и про вашего отца тоже читаю: такой-то. Я куда-то звонить, на передовую: а это, спрашиваю, точно? А там говорят: да точней не бывает. А я, говорит, все равно еще и сам съездил, посмотрел и карточки ваши взял — вот они.

Да смотрю на эти карточки и думаю: да пусть меня потом хоть под трибунал, а я последнюю волю исполню. Да так и написал: без вести. И сколько лет, говорит, мучила меня совесть: а вдруг да не надо было? А теперь скоро помирать — дай, думаю, съезжу да сам все посмотрю!

Ну, дочка угостила его, сама поплакала, посидели они, а она потом говорит: все правильно отец рассудил, пусть земля ему пухом, и вам, дядечка, большое спасибо, что вы так сделали, только давайте маме про то не говорить, что он убитый, — она его до сих пор ждет!

Мне бабы рассказали, а я теперь нет-нет и опять: да а не придумал и мой Федя какого-нибудь писаря попросить? И детей у меня было много, и характером я тоже такая: надежду дай — я тебе черта сломлю, а без надежды? Он и сам всегда говорил: главное — это головы не вешать, а как голову повесил — уже пропал.

И что еще мне душу смущает — уж больно настойчиво он меня убеждал, что всякое может на фронте случиться. Когда нас освободили, а он приехал, и говорит:

да дурочка, там такая неразбериха, на фронте, да ты бы знала! А он же веселый был, да лихой, да насмешливый — о чем ни начнет, так и не поймешь никогда, где правду говорит, а где смеется.

На войне спешка, могут и не разобраться. От пришлют тебе бумагу, а ты и начнешь слезы лить, а я в это время буду у нашего повара добавки просить. Или может, мне какое важное задание, чтоб ни одна живая душа не знала...

И вот уже сколько лет, а тебе — как один день: да все ждешь, да все думаешь, да все себя убеждаешь — чего только в жизни не бывает, разве не так?

ТЕПЛЫЙ УГОЛ

— Чего я сегодня такая сумная? Старому человеку много ли надо — у него глаза на мокром месте. Горе какое — плачешь: до чего, думаешь, она жестокая, жизнь-то? Радость какая — опять в слезы. Да как же, думаешь, хорошо, что и добро у нее тоже немереное, не кончится, видать, никогда.

Ну, это так, к слову. А про нонешнее я тебе тогда издалеча: люди тут одни жили, у нас на улице, а я с ними соседилась. Потом продали они дом и уехали. А я иду мимо ихнего двора, вдруг слышу, собака их, Жулик, как заскулит да на улицу через плетень, чуть с ног не сбила. А за ним новый хозяин выскакивает, с палкой.

А я тогда стою да чуть не плачу. Как же это, думаю, и я, дура старая, не сказала им, не предупредила, что грех живую душу не определить, на произвол бросили. Да новому этому хозяину говорю: а чего вы его гоните, Жулика? Хорошая собака, может еще и вам пригодится. А он только плечами пожал: я, говорит, свою собаку за триста километров привез, из Староминской, а эта, видать, не нужна никому.

Я вздыхаю, молчу, а тут гляжу, сын этого нового хозяина кота Артура в руках несет, да за калитку.

А я тогда кричу: да что ж вы делаете, хозяин? Да этому коту цены нету!

А он смеется: оно, говорит, и видать!

А я хожу целый день сама не своя. Вечером пришла я к ним под двор, потихоньку кличу: Артур, кыся, Артур! А он вертится уже вокруг ноги да своим хвостом по ло-

дыжке. Я ему: пойдем, говорю, до нас, будешь у меня жить — и ты при доме, и нам с Колюней все веселей. Пойдем!

Так след в след за мной и пришел, так с тех пор у нас и живет... Артур! А ну-ка, иди сюда, кыс! Нет, не придет. Он сначала сидел, когда я рассказывать начала, а потом понял, что про него, и ушел. До чего умный кот. Вот веришь, сидим мы с ним днем, я вяжу, а он напротив песни поет: мур-ры-мур! Скажу ему: чтой-то я устала, придремну чуток. Только на бок, как он тут же — раз, и замолк. Только сидит молча и на меня смотрит. Вот я полчасика отдохну, проснусь, еще глаза не открыла — молчит. А только глазами луп, как он снова: мур-ры-мур!.. Кто б его учил? Да никто. Просто такой обходительный да душевный.

Оно и Жулик — собака умная, да куда мне его, и так наш Колька-то гайдает с утра до вечера, а с Жуликом небось и совсем школа пропала, — ну, куда?

Так я Жулика и не взяла. Стал он бездомным. Кто косточку даст, а кто кипятком ошпарит. Похудал весь, озлился.

А кот Артур у меня. Сначала всех мышей переловил, потом крыс. А я уже знаю, когда он пошел в сарай охотиться: уж тут у него и усы торчат, и шерсть на загорбке вздыбилась, и шаг до того ловкий да тугой, и хвостом важно играет. Идет и как будто сам собою любуется — такой кот.

Бывает, другой раз и поругаю его — нарочно приспособилась, чтоб Кольке-то доставалось поменьше. И ворчу на кота, и ворчу, пока мальчишонка-то в школе. Уже и самой надоест. Ну, думаю, слава те господи, выговорилась бабка, внука теперь пилить не будет.

А кот, он понимает, что я ему выговариваю: лодырь ты, говорю, лытай-лентяюга! Вот, говорю, сусала какие наел, а до дела не больно придатный, тебе б только на припечке лежать, а там хоть и травушка не расти. И грубый ты бываешь, Артур, нечуткий...

А он слушает-слушает, а потом фыркнет — да и пошел. До-ол-го нету. А потом принесет крысий хвост и около ног моих от так и положит. Ах ты ж, говорю ему, моя ты умница, ах ты ж, говорю, мой работничек золотой, мой ты защитник. Уж я тебя за это молочком! Налью в блюдце, а он на него не глянет, а только на меня от так посмотрит, ровно сказать хочет, чтоб я перед ним повини-

лась, — и пошел. Хороший кот, я и раньше так думала, а теперь и подавно, вот слушай.

Сколько он у меня — вот уж год? Считай, больше. И только одно мне было про него непонятно: почему это в комнате никогда не ночует? Как вечер, так он у порога мяукать да в дверь когтями скрестись. Когда стану говорить: да чего ты, спал бы себе на половичке под печкой, чем плохо? Нет, ему на улицу надо. Криком кричит, прямо из себя выходит, да сначала жалобно, а потом уже вроде злится. Коленька другой раз забалуется, начнет его не пускать, так он прямо кидается! Так в комнате ни разу и не ночевал. А я недавно возьми да и подумай: а что, если подследить, где наш Артур-то спит?

Как-то с вечера была во дворе, уже стемнело, вдруг показалось, вроде кто-то под крылечко — шмыг. А там у меня опилки лежали да всякое тряпье. Ага, думаю, вот ты, Артурушка, и поймался! Утречком заглянула туда, его самого уже нету, а в опилках такие лежаки, как будто там не один кот, а целое общежитие. А я — любопытная! А ну, думаю, еще подслежу!

Встала нынче еще раньше, тихонько крадусь. Кто б увидал — и смех, ей-богу, и грех! На коленки стала, гляжу: милые ж вы мои! Уже декабрь на дворе, снег да холод, а они клубочками посвернулись, да морды в хвосты попрятали, спиной друг к дружке прижались, да так и спят. Артур да Жулик.

Я от них, чтобы не разбудить, потихонечку, да в сарай, да щелку в дверях оставила, села напротив, жду. А сама слезами заливаюсь! Вот, думаю, кот собаку в беде не покинул, а как же мы?.. Да дай бог, чтобы каждого сиротку люди обогрели, да никто никого в горе не бросил, дай бог каждому теплый угол, когда на дворе темень, да снег, да холодный ветер.

Сижу за дверью на скамеечке, жду.

От вижу, Артур первый вылезает из-под крыльца, потянулся, глянул кругом. За ним Жулик вылез. Хвостом виляет, рад форменно!

До калитки рядком дошли — это ж он, думаю, провожал его, как хозяин. А там Жулик на улицу побежал, а наш Артур постоял, посмотрел ему вслед — и домой.

А я, дура старая, целый день плачу.

Да надо, думаю, сказать Жулику, чтоб не скрывался, не прятался да где попало не мотался, пускай приходит и живет, чего ж теперь?..

— Опять парень соседский приходил, за ружье спрашивал: тетя, может, продадите? А я ему: да нет, детка, нет. Пусть оно лежит, а Коля вот подрастет да, может, и надумает, как дед, охотиться, и будет оно ему — как подарок.

Я тебе никогда про это ружье не рассказывала?

Феди моего. Берег как зеницу ока. Я-то не понимаю, вроде оно старинное, и ствол у него длинней, теперь таких и не делают, и сталь особая, вроде с каким узором. Это мне Павлуша Филимонов говорил, а он первый охотник тут, он толк понимает. Оно-то последнее время у него было, у Павлуши. Да и вообще с этим ружьем чего только пережить не пришлось — оттого мне и дорого.

Федя мне письма с войны такие бодрые писал, дак мы, веришь, чуть не до последнего дня все думали, что немцы к нам не придут. Я и не успела спрятать ружье как следует. Кинулась в последний момент, тавотом погуще смазала, тряпками обмотала, да в мешок. И в саду под яблоней закопала.

А немцы в начальной школе устроили лазарет, а кругом по дворам у них — хозяйство, то брички стоят, то машины. Гляжу, один лошадей ведет ко мне в сад да под яблоню, где я ружье припрятала, ставит. А кони здоровые, битюги, копытами бьют, землю роют!

На другой день, слышу, конюх в окошко стучит. Выхожу, а он: матка!.. Матка! И рукою машет: пойдем!

Ни живая ни мертвая — иду.

Подходим к яблоне, где кони привязаны, гляжу, а они там уже целую яму копытами выбухали, мешок мой уже надорвали, и в дыру видать край ствола. А я думаю: будь ты проклято! В первый день как пришли, два верблюжьих одеяла забрали, говорят, холодно, мол, в горах, и перину в лазарет унесли. И даже коврик на стенке висел, и тот содрали. А теперь, выходит, добрались и до ружья! Да половина беды, что заберут, а как, не дай бог, пришьют, что сдавать не захотела?

Немец на него пальцем показывает, да что-то гуркотит, а я от так за подбородок взялась, как дурочка, да говорю: гля-а-а? Да что ж это такое там закопано — от интересно!

Он опять гуркотеть, а я ничего не понимаю, плечами жму, и все свое: ну надо же! И откуда оно тут могло взяться, вы, случайно, не знаете?

Немец пальцем себя в грудь, чуть не кричит: егерь!.. егерь! А потом руки выкидывает, вроде в кого-то целится, потом на кольцо свое показывает на руке, потом — на меня. А я опять за свое: думаете, это наше? Да откуда ему у нас взяться, у нас и стрелять никто не умел сроду, и муж у меня, говорю, тихий да такой смирный, что тележного скрипу и того боялся!

И дура дурочкой представляюсь, и плету — откуда что и взялось.

А он сперва ботинком колупнул, потом нагнулся да весь мой мешок из земли и выворотил. Присел на корточки, развернул и глаза вытаращил, и головою от так: о! — говорит — о!... Карош-карош!

Глянул по сторонам и давай обратно заматывать.

Ну, все, думаю, вот тут Фединой тулке и конец.

А немец опять мне что-то толкует: пригнется, вроде копать собирается, а потом руку тянет: подай, мол! А я плечами жму: не понимаю!

Он рассердился, а потом в сердцах сплюнул, пошел в сарай сам. Оттуда, гляжу, выходит с лопаткой. Остановился над ружьем, сад оглядывает, потом опять мне рукой: пойдем!

Подошли с ним к плетню, там у нас ясень рос, он ружье рядом на землю положил, френч снимает, рукава на рубахе засучивает, а у меня сердце бьется, вот-вот выскочит.

Он лопатой ударил, а я рот раскрыла, хочу воздуху глотнуть и не могу. Да кто ж это, думаю, подсмотрел да на меня донес? Копнул как раз на том месте, где у меня зарыт бо-ольшой такой эмалированный рукомойник, а в нем и Федины документы, и грамоты и карточки с орденами, и портреты Ленина да Сталина.

Не дай бог, думаю, выкопает — вся биография там, и рассказывать ничего не надо!

А он или заметил, как я в лице переменилась, или так что почувствовал, отошел шагов на пять вбок, давай там копать.

А я, ты веришь, вся в холодном поту, платье к спине прилипло. Это что ж еще такое надумал? Зачем ему? Может, как-нибудь по-особому хочет поиздеваться?

И все потом боялась да мучилась, а когда они отступали, думала, заскочит да откопает, себе заберет, — нет, ничего больше не случилось. Когда немцы ушли, я сразу за лопату — и в сад.

А тут вскорости и Павлуша Филимонов вернулся. Рана у него вроде легкая, а все не заживала, так и остался дома. От он как-то приходит под двор. Сперва вокруг да около, а потом: а Федино ружье у тебя целое или нет? А как же, говорю, сберегла. А у него аж голос сел: вынеси, говорит, я хоть на него гляну. А хочешь, говорит, только скажи, я мешок пшеницы тебе тут же.

А они с Федей вроде и корешевали, а все я чувствовала, что спор между ними: один удалой, а другой еще больше; один удачливый да рисковый, а и другой не отстанет... И жалко мне стало Федю.

Павлуша, говорю, как же так? Значит, раз ты пришел, то хочешь попользоваться, когда Федя еще воюет? Поскреб он затылок да и ушел. А тут бумага на Федю.

День я пластом лежала, думала, уже и не поднимусь, уже и не встану, да только как не встать, если дети. Хожу, от слез дорогу не вижу, а жить надо.

Тут же Миша вернулся, его надо поддержать, и мы уже все, что можно и что нельзя, продали — хоть по миру иди.

Вот встаю я один раз, выхожу из хаты, а у нас около порожка два чувала пшеницы...

Поплакала я, покричала, а вечерком замотала ружье в тряпку да Павлуше и отнесла.

К нему потом откуда только не приезжали, чего только за ружье не предлагали — куда там! А два года назад стал он слепнуть, встретила его, а он жалится: убью перепелку, а где упала — не вижу̀, хорошо, что собака принесет, а теперь уже и носить не носит — попадать, видно, перестал.

Ну, теперь, думаю, продаст. Он не такой мужик, чтобы у него какая вещь без дела лежала, он, Павлуша, хозяин, а оставлять ружье ему некому — две дочки и обе бездетные.

А он как-то опять под двор, и ремень через плечо. Куда это, говорю, Матвеич, собрался? А он: внук-то твой дома? А ну, кликни.

Вышел Коля, здоровается, а Павлуша снимает с плеча ремень, протягивает ружье в чехле: на тебе, внучек! Держи. Твое это.

Коля не понимает, а у меня враз слезы, аж глазам больно.

Сели с Павлушей в палисаднике на скамеечку, а он говорит: иду позавчера, а навстречу он, Коля. Я как глянул:

ну, вылитый Федя, когда мальчишком был, — мы ведь с ним с малолетства знались и парубковали вместе. Да гляжу теперь на него, веришь, не могу оторваться, а он увидал: чего вы, дедушка, смотрите? Да засмеялся, а улыбка опять — чисто Федина. А я пришел потом домой, лег на койку и думаю: свершился, говорит, круг жизни...

Так и осталось ружье у нас.

Я другой раз вытащу, тряпочкой оботру, а потом сяду, гляжу на него: вроде бы бездушная вещь, только и того, что живые люди в руках держали, а сколько вокруг него было всякой человеческой думки — и как Федя его любил да берег, и о чем тот немец думал, когда перепрятывал, и как я изболелась, не хотела с ним расставаться, и как у Павлуши вдруг сердце-то ворохнулось, когда увидал он Колю...

Да и говорю себе: может, и Коля, когда большенький станет, в руки его возьмет да и вспомнит, что ему про это ружье бабушка рассказывала.

ФАЭТОН

— Папаша мой был иногородний, а мама казачка. Вот в девятнадцатом году, когда белые пришли да мужиков пороть начали, мы и пошли к ее отцу прятаться.

А он механик по паровым машинам, и летом и зимой по экономиям ездил...

Раньше был у него бегунок, тележка такая в одну лошадь, брыкушка — на ней и в дождь, и в метель. Бурку накинет и пошел. Или в тулуп закутается, что и глаз не видать, — по-ехал! Мама, покойница, рассказывала, все говорил: ну, это я пока молодой. А к старости обязательно куплю себе фаэтон. И купил, механик был — цены не сложить.

Мы тогда уже девовали, так он нас с Марфушкой Ковалевой по станице катал. Сама повозка плетеная, к ней медная приступочка, а верх кожаный, в складки собирался да назад откидывался — куда там!

Едем было на этом фаэтоне, как барыни, ни на кого и не смотрим, хорошо, что кошель высокий — цыпок не видать.

И кони у дедушки были хорошие, ухаживал за ними да берег!

А когда стали белые снова отходить, от он и говорит Ване, моему брату: бери-ка ты мой фаэтон да езжай с глаз подальше — в кукурузе спрячься и пережди, пока они не пройдут. А то, не ровен час, останемся мы без лошадей.

Ване тогда пятнадцать было, а из себя рослый да здоровый, наша порода — все крупные.

Хорошо, говорит, дедушка, ладно, а тот коней выводит, запрягает в этот фаэтон да Ване наказует: ты смотри, внучек, не оплошай! Запомни, что без отца и без матери казак — еще не сирота, а без коня — круглый.

А он строгий был, дедушка, все его боялись. Спрашивает у Вани: ты все понял? А тот: да что вы, дедушка, и не беспокойтесь, спрячемся, ни одна живая душа не увидит.

Сколько раз мы потом этот разговор вспоминали! Как в воду глядел наш Ваня: ни одна живая душа и правда с тех пор его не видала. Махнул кнутом — и как сквозь землю.

Кода наши вернулись, папаша с дедушкой всю кукурузу за станицей стоптали, все хутора объездили, все перевернули, так хлеба не ищут, как они Ваню искали, — пропал, нету!

А в пятьдесят пятом году летом приходит ко мне под двор почтальон дядя Митя и говорит: Нюра, папаше твоему письмо!

А он уже старый был, дядя Митя, да чудаковатый, я на него смотрю: или шутит, или уже совсем из ума выжил? Да и говорю: дядя Митя, окстись! Где он, мой папаша? А он глядит на меня через очки: ты думаешь, дочка, я старый, так совсем уже ничего не помню? Папаша твой еще до войны помер, а письмо ему и в самом деле пришло — кому ж мне его отдать, как не тебе? Да знаешь, говорит, откуда? Мне на почте сказали, из Бельгии письмо, это там, за Германией, еще черт-те где.

Достает он из сумки конверт, да такой красивый, белый с голубым рубчиком, и марки не наши, — мне протягивает.

А я вдруг оробела и говорю: дядя Митя! Да може, вы прочитаете? А он: ну, давай. Должно, смеется, я раньше тебя твоего папашу увижу, так я ему все перескажу.

Разрывает он этот конверт, я и слышу: «Добрый день и час, дорогие мои папаша, мамаша, а также сестры Поля, Дуся и Нюра! Пишет вам ваш сын и брат...»

Дядя Митя читает, а я сижу, слезами умываюсь: да бедный Ваня!

Сколько воды утекло, сколько лет пролетело, теперь пишет: расскажу, почему я тогда домой не вернулся...

Он тогда уехал со двора да в кукурузе и спрятался. Тут дождичек заморосил. А он что — мальчишка! Взял да и поднял верх, а того не подумал, что его над кукурузой видать. А белые как раз мимо шли по дороге. Да в кукурузу, да за вожжи, а он тогда в плач: что ж вы делаете, меня дедушка убьет. Они говорят: ну ладно. Тогда сам довезешь нас до Армавира, а там вернешься. Он с ними и поехал. А в Армавире по ним ударили, а они — давай вези дальше, а он и дальше повез — Майкоп, потом Екатеринодар, а дальше, пишет, уже и не помню, где только не был да чего только не повидал!

Хочу, пишет, уехать, а они не пускают, кони нужны, он тогда ночью, без разрешения, а его поймали да побили, другой раз уехал, его опять остановили, уже шут-те где, забрали с собой. Кабы не дедушкин фаэтон, убежал бы, да как его бросить, если дедушка приказал беречь пуще глаза?

И очутился наш Ваня в конце концов аж в Крыму. Тут они его отпустили, и он собрался, а фаэтон цыгане украли. А эти, кого он вез, его снова встретили да смеются: как же ты домой без фаэтона? Да с тебя дед три шкуры за него спустит. Поедем, говорят, с нами, а там заработаешь да с таким фаэтоном домой вернешься, что дед ахнет. И на пароход пихнули — он с ними и поплыл.

Сначала в Турцию, потом в Югославию попал, а потом завербовался на шахты, в эту Бельгию, думал, заработки. Да все, говорит, ждал: вот-вот разбогатею, вот-вот, да так и не разбогател, а теперь уже и жизнь прошла, стал прибаливать, а все на этой на шахте. Пускай, пишет, простят мне и папаша, и вы, мамаша, что так получилось. Всем, пишет, поклон до родимой земли, а кто живой — пусть отзовется...

Побежала я тут по всей родне, да у меня все собрались, читаем это письмо и плачем: от куда человека занесло! Да пропади он пропадом, этот фаэтон, пропади они пропадом, эти кони, бросил бы да ушел сам — да кто ж знал? Теперь, говорим, вот как локоть кусает. Да уж теперь поздно!

Что делать? Надо письмо писать. Хоть и далеко, а своя кровь — зовет!

Решили всю родню до кучи позвать да фотографию сделать, и старых, кто остался, и молодых, что уже без него наросли.

Он, бедный, потом пишет: да как же я горько плакал, когда читал ваше письмо! Как же я вам завидую, что вы вместе все да так хорошо живете!.. А я бы, говорит, одни черные сухари каждый день ел, только запивать бы из нашего колодца, да лучше в лохмотах бы ходил — да только по родимой сторонке... ой, да он такие письма писал! До сих пор как кто придет из нашей старой родни, а я достану: а ну, Коленька, прочитай, внучек! И он читает, а мы сидим, хлюпаем.

Один раз пишет: слушаю радио, что русские говорят, написал туда письмо, попросил, чтобы передали песню «Ой, Кубань, ты наша родина...». Прислали ответ: ждите. Ждал-ждал, пишет, а потом, как только заиграли, плохо с сердцем, да «скорую помощь» жена вызвала, да еле отошел.

Потом пишет: снились мне сегодня дедушкины кони, только без фаэтона. Гладкие да красивые, гривы распустили, ржут, по степи несутся, а степь зеленая, я за ними, да никак не догоню, в густой траве падаю... Проснулся посреди ночи и горько заплакал.

Звали мы его в гости, он все собирался, все хлопотал, чтоб разрешили выезд, потом наконец пишет: уже получил паспорт — теперь скоро ждите. И опять — ну как в воду канул!

Почти с год прошло, получаем письмо. Уже не от него, от каких-то его знакомых, тоже русские. С прискорбием, пишут, сообщаем, что ваш родственник Иван Алексеевич Жуков скончался пятнадцатого сентября одна тысяча девятьсот шестьдесят пятого года в столице Бельгии, в городе Брюсселе.

А я теперь часто письма достану, карточку его на стол положу да и сижу, думаю: да знал бы старый дедушка Жук, что этот его фаэтон завезет нашего Ваню на край света!..

Коля другой раз станет говорить: от вырасту, стану, бабушка, я капитаном, да уеду далеко-далеко, да буду тебе оттуда письма писать, чтоб не скучала. А я и скажу: глупенький! Это пока маленький, так оно вроде интересно, а побольшеешь — и начнешь тосковать, как наш дядя Ваня в той Бельгии...

Наша порода, мамина, все долго живут, а он моложе

меня, — да, ты думаешь, не жил бы он еще, если бы один там не тосковал да горе не мыкал?

Да себе думаю: да как бы там другой раз круто ни было, а уж одно то хорошо, что на родной стороне живешь, в родную землю ляжешь...

НОЧНЫЕ ГОСТИ

— Скажу себе другой раз: от уж скоро и глубокая старость. А зачем ты, Нюра, свой век изжила — ты знаешь?

Начнешь мозговать — чего только не припомнишь, кого только в своих думках около себя не соберешь: и папаша с мамашей тут, и мой Федя, и другие люди, и кто еще есть, и кого давно уже нету — все! И кто мне добро делал, и кому я его делала, и кто меня обижал, и кого я обидела. Набьются, полная хата. С кем поговорить, о ком подумать, на кого только посмотреть — голова разболится.

А они каждый свое, и тот вроде прав, и этот, а я тогда вздохну: ни вы мне, видно, не поможете, ни я вам не помогу.

Да всю свиту провожу потихоньку, а себе потом говорю: да либо ты слишком дурная, что не можешь сообразить, либо дюже умная, что об этом хлопочешь. Кто тебя думать-то заставляет? Не думай.

Недаром же говорится: длинная думка — лишняя печаль.

Ну, не думай.

И тогда лежу без сна, слушаю...

То метель завьется около порога, зашерошит снегом. То ветер ставню с крючка рванет, зашатает, железом заскоголит. То яблонька под ветром наклонится да веткой по инею на стекле — шорх!.. Шорх!

А потом Коля заворочается, встану его накрыть, да стою, гляжу, какой он уже большой да красавец, да тогда и говорю себе: от это, девка, и вся твоя думка, зачем жила. Да ты радуйся, что такой мальчишонок, да проси бога побыть около него еще хоть немножко — вот это и все твои заботы!

Укрою да думаю: а не хитришь ты с собой, Нюра? Ну, пускай ты только для него и живешь, а он зачем? А другой? А третий? А все люди? Уж если есть у человека доб-

рая душа да светлый разум — неужели не с целью? Или нам только хочется, чтобы так оно и было?

Ой, думаю, Нюра, да тут голова нужна не твоя. Может, наше дело, и правда, только вырастить их, а уж они-то во всем разберутся, дети наши да внуки, — вон они какие дотошные теперь пошли, какие ранние.

Заберусь в постель, снова угреюсь.

А на улице холод, метель вьется, да веточка по стеклу: шорх-шорх!.. Шорх-шорх!

1972

ПЛОХОЙ СОН

А. Плитченко

1

Мама сидела на скамеечке, мокрой тряпкой обдирала грязновато-прозрачную кожуру с молодой картошки и кидала ее в эмалированный тазик с водой, а напротив нее на перевернутом, давно почерневшем ящике с пробитым боком примостилась Митина крестная. Утро было солнечное и, несмотря на ранний час, очень теплое, но крестная куталась в старую кофту из коричневого плюша и в теплый платок. Зябко поеживаясь, протягивала исхудавшие руки и говорила жалобно:

— Гля, гля, как пальцы трусятся — ай-йя-я! Как будто курей крала.

У мамы лицо красное, опухшее, словно она проплакала ночь; и Митя спросил, откусывая от неспелого яблока, которое он только что сорвал мимоходом:

— Чего, ма, опять голова?

— Да сегодня нет.

— А чего, мам... такая?

Мама словно бы очень удивилась:

— Какая?

— Ну, грустная, ма...

И тогда мама сначала закрыла глаза, потом руку к ним поднесла, будто еще плотней прикрывая, а губы ниже ладони дрогнули и стали кривиться.

— Н-ну вот, — сказал он, — ну во-о-от, ты чего это?

Мать убрала руку, и глаза у нее теперь были полны слез — словно для того их и прикрывала, чтобы слез незаметно собралось побольше. Как маленькая, сглотнула и проговорила тихонько:

— Сон про тебя плохой видела...

— Страшное дело! — беззаботно сказал Митя, нарочно с хрустом откусывая от яблока.

— Да кабы ж только ей, Митечка, — слабым голосом проговорила крестная. — А то ж и мне про тебя плохой сон, да такой плохой, хуже некуда... Меня вот под утро так схватало, так схватало, ну прямо — край. До сих пор не отошла, приподнимуся, да и снова падаю, приподнимуся — и снова, нет — встала все одно. Пойду, — думаю, — Марьюшке расскажу про Митю, да хоть узнаю, живая чи нет, а то мы уж такие, что спать ложисся и не знаешь, чи встанешь еще, чи это и все... — Голос у нее совсем было задрожал, но она не заплакала, как мама, а удержалась на самом краешке, словно переждала минуту, а потом опять подняла на Митю светившиеся полузабытьем и тусклой болью глаза и медленно покачала головой. — Плохо-ой сон!..

— Страшное дело! — снова повторил Митя, и уже один тон его, насмешливый и решительный, должен был ясно сказать двум старым женщинам об отношении Мити ко всякого рода предрассудкам.

— А ты, Митечка, с нас, со старых людей, не смейся, а лучше головой своей подумай, — слабым голосом сказала крестная.

Он стоял, продолжая насмешливо улыбаться, блаженно щурился на солнце, которое пробивало красным большие акации за домом, нарочито медленно потягивался, высоко приподнимая локти и туда-сюда поводя голыми, еще не успевшими остыть после сна плечами, длинно зевнул, прикрывая глаза с такой силой, что слезы выступили. И красные эти, расплывающиеся в акациях островки с иглами света, и яркую пестроту гладиолусов перед стеной фруктовых деревьев, и алые пятна густых черешен, над которыми пугалом высоко висел его старый, еще студенческий пиджак, и свежую синь утреннего неба — все это он видел теперь сквозь подрагивающую в прищуренных глазах пелену из этих, от здоровья и бодрости выступивших, слез. Мир, который он видел, был почти игрушечно красив, спокоен и тих, но Митя давно уже отделился от него; на душе у него еще с первыми словами матери о дурном сне разом сделалось тревожно, одиноко и жалостно — будто сказали ему то страшное, о чем он и сам давно догадывался, давно подозревал, будто, его не спросясь, безжалостно прочитали ему его, Митин, приговор... Не стало теперь

утренней тихости заросшего свежей зеленью дворика, не стало благости мягкого, еще не жаркого солнца, а были холодный удар ножом под лопатку и коротко стучащий навстречу свирепый электропоезд, от которого уже не уйти; было безумие в глазах других пассажиров и перехваченное дыхание самого Мити, было смятение в салоне большого самолета, умершей в полете птицей падающего с сумасшедшей высоты; были поникшие тела в раздавленном тяжелым грузовиком легковом автомобиле — и среди них безжизненное уже, с размятым лицом, с последним хрипом на губах Митино тело; был серый змеящийся гриб, который безмолвным взрывом вырастал не только над Митей — над всем миром...

И когда Митя перестал потягиваться, перестал поворачиваться туда-сюда, а бросил вниз руки и, словно от опасности, замер, тогда оборвался трагический хор, с нарастающим напряжением сопровождавший Митю от сочного хруста яблока в руке до глухого, из-за дальности, ядерного взрыва, — этот хор оборвался, и вместе с ним оборвалось еще что-то у Мити внутри, и он уже холодновато сказал:

— Я вот одного не пойму. Ну даже если и плохой сон... сплошные страсти господни. Зачем человеку-то об этом говорить? Чтобы только настроение ему испортить?

И мама, всего полкартошки успевшая тряпочкой ободрать, пока Митя прошел через столько нелепых случайностей, пережил столько оборвавших его жизнь катастроф, — мама сказала, пряча обиду:

— Да как же зачем, Митечка? Да чтобы ты знал, да был бы чуточку осторожней — вот зачем.

И крестная подняла на Митю измученные ночной бессонницей выцветшие глаза и подтвердила слабо, но категорически:

— А то ж как!

Митя запустил огрызком в огород и отошел от них молча.

В летней кухне на столе стоял квас, который мама завела для Мити. В трехлитровой банке с бурым настоем и с размокшими сухарями поднимались вверх пузырьки воздуха. По марлечке, обтягивающей горло и слегка провисшей, ползали пчелы.

Из-под полотенца, под которым стояла чистая посуда, он взял перевернутую чайную чашку, поставил на край стола, а банку опустил вровень с краем и, наливая, накло-

нил одним духом. Сухари тут же забили марлю, и квас полился короткой кривой струей. Одна пчела сорвалась в чашку и вертелась теперь под этой струей в глубине, словно кипела там, а остальные поднялись вверх и, недовольно жужжа, летали около Митиного лица.

«В глаз как тяпнет сейчас, так и будет плохой сон! — с готовностью подумал Митя. — Подойду и скажу: «Вот и сбылся...»

И тут же понял, что он на это согласен с доброй душой, пожалуйста, и еще понял, что хитрит сейчас сам с собой, выбирая для себя несчастье поменьше — так же, как выбирал мальчишкой. Тогда считалось, что споткнуться на левую ногу — будет счастье, и его дожидались обычно подольше, не засчитывая всякие мелкие радости и прибытки, зато, споткнувшись на правую, что предвещало беду, тут же выискивали для себя мелкую неприятность, чтобы не случилось беды побольше.

И Митя подумал с иронией к самому себе, что пчелиный укус в зачет, пожалуй, не пойдет.

Он поставил банку и вытащил из ящика стола ножик, чтобы достать пчелу, которая, трепеща крыльями, плавала теперь на поверхности.

Вот если бы его укусила эта пчела — тогда могло быть хуже... Митя ехал сюда в одном купе с молодым башкирцем, его звали Зуфар; и это он рассказал Мите, что надо очень осторожно есть пчелиные соты: надо хорошенько смотреть, когда ешь обрезки, чтобы с ними не попалась тебе пчела, потому что, если попадется она да укусит внутри гортани, — считай, ты погиб... Опухоль закроет дыхательные пути, и тут уж никакой профессор тебя не спасет.

Но это уже не грозило Мите. Кончиком ножа он приподнял пчелу над чайной чашкой и стряхнул на помидоры, которые росли рядом с кухней.

Правда, около его лица все еще вились остальные пчелы, но это было уже не так страшно.

«Я просто закрою рот, да и все, — решил Митя. — Как она туда влетит? А может, башкирец врет...»

И тут он снова подумал о себе иронически: ну что это такое — дался ему этот плохой сон! Что это вы, Дмитрий Васильич, не стыдно?

Да только не так-то просто было себя уговорить; ему уже представлялось другое: как он прыгает в воду с обрыва вниз головой — он ведь хотел сегодня прыгнуть, —

а там камни или карч, притащила вода, и рука у Мити подламывается, и он бьется головой... «Стоп, хватит! — подумал Митя. — Надо просто отвлечься — и все».

Но отвлечься сразу Митя не смог; он только перевел этот разговор с собой в иную плоскость: «А почему это плохое, которое может случиться, почему оно должно быть действие непосредственно физическое? Как будто нынешнего человека только так можно огорчить. А вот как зарубят в «Советском писателе» твою книжку!.. Может, зря ты все-таки не подождал?»

Митя ехал поездом, а до станции добирался автобусом, так что у него было время подумать, и все-таки эта поездка домой снова показалась ему чуть странной и как будто загадочной.

Началось это, пожалуй, еще в прошлом году. Под осень мама написала Мите письмо, обижалась, что так и не привез он ей летом Егорку, жаловалась на свое одиночество да на плохое здоровье.

Егорка был тогда у Наташиной матери, но Митя решил об этом не говорить, а сказать лучше, что мальчишка должен сейчас посидеть дома, врачи опасаются осложнения после болотной лихорадки. Однажды Егорка и в самом деле умудрился такой лихорадкой переболеть.

И Митя собрался и поехал один.

Телеграммы он не давал, никто его на автостанции не встретил, и на двери, когда он пришел домой, висел замок. Он поставил чемодан в летней кухне и пошел бродить по двору. Мама уже выкопала картошку и сжала кукурузу, огород опустел, и Митя ходил среди начинающих желтеть деревьев, срывая то высушенную солнцем, совсем сморщенную сливу, то чудом уцелевшее одинокое яблоко.

На грядках тоже почти все было убрано, там и здесь лежали кучки сохлого бурьяна, и жасмин, который отделял грядки от цветника перед домом, совсем пожух от жары, но грядка цветов сочно зеленела, и они цвели так же буйно, как цветут обычно только в самом начале лета.

Митя пальцем потрогал под ними землю и покачал головой: ну конечно, тут мама все продолжает поливать — земля только сверху была сухою. Потом он сел на каменные ступеньки и долго сидел, глядя на цветы и даже издалека ощущая сухой и теплый их аромат, ду-

мая о том, как должно быть хорошо отдохнуть здесь вечерком, когда над темнеющими садами восходит красная луна, а кругом мерно позванивают сверчки, и в холодеющем воздухе начинает слышаться тонкий запах ночной фиалки.

«Конечно, — думал он, — это уже в привычку у мамы вошло — потихонечку ныть да жаловаться. Скучновато ей — это да, но зато как покойно тут, да тихинько, да красиво... Эх, ты, все мы не понимаем своего счастья, пока оно у нас есть...»

И он решил, что зря, пожалуй, бросил дела и приехал, что Наташа права, что к жалобам старой матери надо относиться спокойней — мало ли чего ей тут со скуки покажется...

Денька через два Митя сидел на скамеечке за домом, в тени, читал газету, которую принесли маминым квартирантам, когда около калитки остановилась соседка, окликнула маму:

— Марьюшка! Да чи ты ничего не слышала?

— Не-ет, — сказала мама, подходя, и голос у нее уже заранее дрогнул. — Случилось что?

— Да, дядя Коля Мануйлов помер, сегодня хоронют.

И мама испуганно всплеснула руками:

— Да ты что, Нюся!.. И правда?

Митя газету повыше приподнял, чтобы они лица его вдруг не увидели. «Отчего же, — думал он, — дяде Коле Мануйлову и не помереть, если ему сто лет в понедельник?» Он, Митя, еще пацаном бегал, а дядя Коля был совсем сухонький да седой, и даже в очках ничего не видел, и уже тогда еле таскал тощую свою почтальонскую сумку. Крикнешь ему: «Дядь Коля, дай понести?!» И он снимает ее: «Пожалуйста», — и ты неси хоть квартал, а хоть два, пока следующий какой пацан у тебя не отберет или у него не попросит.

«Вообще-то он добрый был, дядя Коля Мануйлов», — подумал Митя, вспомнив это все и тоже слегка опечалившись.

Когда вышел он из-за дома, мама с ножницами стояла среди цветов, одной рукой придерживая у груди уже срезанные георгины, задумчиво смотрела на них, и он спросил, удивившись:

— Кому это ты, ма?..

— Да ты не слышал? Нюся Шашурина приходила — дядя Коля Мануйлов помер.

Он не понял.

— Ну и что?

А мама как будто его не понимала:

— Как — что? Цветов ему отнесу.

Митя попробовал уточнить:

— Ма, это почтальон?

— Ну, а какой же еще?

И тут только он заметил, что лицо у мамы опухшее, уже покрасневшее от слез.

Потом он пошел с бидончиком за пивом и, не доходя до палатки, услышал вдалеке медленные звуки похоронного марша, попытался определить, где играют, чтобы обойти стороной, свернул на главную улицу и прибавил шагу.

Музыка стихла, и он подумал, что молодец, все верно определил, как вдруг оркестр грянул за углом, совсем рядом, и оттуда вслед за гробом, который несли на плечах, медленно стал выкатываться на шоссе длинный людской поток.

Митя мог бы еще успеть перейти улицу, да не захотел, мальчишкой он никогда не переходил дороги перед покойником: говорили, что шишка на лбу вырастет, если перейти. А тут у него пустой бидончик в руках, чего уж переходить, чего омрачать старому человеку последний путь.

Он проводил глазами ничем не обитый гроб, над краем которого видны были только цветы — наверно, здесь лежали и мамины, — потом сочувственно посмотрел вслед небольшой кучке родственников, которые шли, взявшись под руки и то и дело поднося к глазам белые платки, кивнул машинально знакомому трубачу — без него, сколько он помнил, не обходились ни одни похороны, — и тот ответил Мите серьезно и торжественно, поведя трубой вверх и вниз.

А мимо уже пошли люди, знакомые Мите и незнакомые; и кого здесь только не было: пожилые бородачи с наборными поясами поверх пожелтевших от сырости в сундуке белых рубах, и аккуратные старушки с палками, в косыночках горошком, в темных кофтах да в черных юбках почти до земли, прижимающие к боку тщательно свернутые старинные свои шали, и пожилые люди, и детвора, и парень с велосипедом, хозяйки с корзинками, и двое стекольщиков, одетых в рабочее, с черными своими сумками, из которых торчал инструмент.

Музыка, удалившись, играла уже заметно тише, а они все шли и шли, и процессии, казалось, не будет конца.

Митя думал, что где-то здесь идет, наверно, и его мама, однако не увидал ее, как ни всматривался.

Дома его встретила крестная. На половичке, постеленном на теплые ступеньки, она сидела, пригорюнившись.

— А где мама? — спросил Митя. — На кладбище пошла?

— Ага, — усмехнулась крестная, — с нас такие как раз ходоки — кто будет потом домой вести?

— А где она?

— Да где — лежит...

И Митя понял, почему это ставни в доме уже прикрыты.

— Спрашивается от-то, — проговорила крестная, — нужен он ей, энтот дядя Коля Мануйлов — теперь лежать?

— А может, он родственник какой? — спросил Митя. — Тут же у нас на каждой улице?..

— Да какой там родственник — так, пришей кобыле хвост. А ей хуть кто помрет, а усе равно жалко. Дядя Коля — она несет; Иван Степанович помер — председатель колхоза, что с отцом до войны дружил, — она цветы режет да несет; фотограф Пачин помер — «Он, — говорит, — еще у фате меня сымал», — она и ему. Какой-то человек на том краю станицы помер, никто там и не знает его, только грубки клал хорошо — и вам же вот клал, да все закурит и рассказывает, как в плену был, а вся семья под бомбежкой, — дак она и ему... А потом лежит с сердцем три дня, а я возле нее глаза открою, да усю ночь, а потом приступ, да соседки за Дусей бегут, чтобы эту ей камфару. Скажу ей когда: «Маня!.. Да не сажай ты их больше, те цветы, да ну их к черту!» А она: «А вдруг дети приедут, да им — радость». А много вы от-то приезжаете? Много той радости — аж некуда!

Митя промолчал, за сигаретами полез, а крестная вздохнула, вытянула над коленями дрожащие пальцы. Она все время их нет-нет да вытянет — по ним давление узнает. Поглядит, поглядит, как они трясутся, а потом: «А сичас, дажно, усе двести...»

— Оно и дядя Коля этот бедный, — начала, словно тут же маму и оправдывая. — Вот век исжил!.. Всю жизнь в резиновых тапочках да с сумкой. Он же от-то почтарем был, когда письма еще раз в неделю давали... Народ сбежится в субботу до почты, это раньше было — на бетон пойти, больше асфальту нигде не было. Вот сбежится на-

род на бетон, кто семечки, а кто уже гопака. А он с порожек: «Бедаревым!.. Карпенковым!..» И потом, когда часто стали носить — тоже он. Он же и бумагу принес за отца твоего... Пришел, сел ут-тут на порожки и еще раньше матери и заплакал. — Голос у крестной задрожал, от подбородка она понесла к глазам край белого платка. — Тут токо стань успоминать — господи!.. И письма от тебя да от Танечки — кто?.. Тоже дядя Коля Мануйлов. Когда сразу два принесет, а она догонит его — или огурцов ему в сумку, или яблок... Ему люди у-то понадают, он так и ходит. А то неправда?.. Она говорит: «А что ж дядя Коля Мануйлов и цветов на могилку от людей не заработал? Заработал же?»

А Мите уже хотелось плакать.

Сколько он вспоминал потом этот день, все представляя, как тоскливо матери в пустом доме, как бесконечны и тяжелы ей думы о нем, и о сестренке, и о собственной ее жизни!.. Она не раз говорила Мите:

— Ой, да не нравится мне теперешняя твоя работа!.. То раньше на свежем воздухе да на воле, да скоко надо сделал и спокойненько себе спи, ни о чем не думай. А сичас? И день, и ночь — про одно и то же... Это какая нужна голова?!

Митя раньше удивлялся, как просто она об этом говорит, как верно судит, а теперь он вдруг понял, что ничего в этом удивительного нету, это ведь тоже мамина черта — за все переживать да обо всех денно и нощно думать.

И как, должно быть, страшно ей знать, что неминуемо приближается и ее час, вон сердце какое слабое, и что она может умереть, так и не повидав напоследок Митю да Танечку, — неужели они такие жестокие, неужели так и ничего и не понимают?..

И похороны дяди Коли Мануйлова представлялись ему уже чем-то значительным; когда он вспоминал их теперь, ком подкатывал к горлу, — это ведь, хороня старого человека, каждый раз сама себя провожает в последний путь уже отжившая свой век, вырастившая его, Митю, станица...

А неделю назад Митя сидел с Егоркой на диване, смотрел телефильм, который сделали знакомые ребята, и неожиданно увлекся. Егорке было скучно, он то и дело приставал к отцу, игрался, и Митя то поглядывал на него иногда, то, не глядя, поводил головой, то просто рукой трогал, а потом посмотрел вдруг — да и замер. Егорка,

словно малый щенок, лежал на спине, скосив на Митю глаза; и столько в них было и детского лукавства, и открытой преданности, и доброты, что у Мити дух захватило от любви к мальчишке, от страха при внезапно пришедшей мысли, что он, Митя, может вдруг его потерять...

И тут же Митя вспомнил одинокую свою мать, от которой уже давно не было писем; и ему показалось вдруг, что и точно она сейчас очень больна и, как всегда, скрывает это, просит никому не писать, — и он всю ночь потом не мог от этой мысли избавиться, и чего только не передумал, а утром сказал Наташе очень решительно:

— Ты знаешь, я еду к маме...

Настолько решительно, что она, удивившись, только плечом дернула: «Как хочешь, конечно!»

И так же коротко сказал он об этом редактору в «Советском писателе», добрейшему человеку, который вот уже третий год упорно пробивал Митину книжку, и тот удивился тоже и руками развел:

— Как это прикажете понимать?.. Накануне, можно сказать, решающего сражения...

— У меня мама очень больна, — сказал Митя.

И, говоря так, сам он нисколько в этом не сомневался, он уже весь был во власти предчувствия, ему хотелось только одного: поскорее сесть в поезд.

Стоя вечером у черного окна и глядя на отлетающие назад огни, Митя думал, что с книжкой, пожалуй, опять ничего не выйдет, — ну и что ж, пусть это будет как бы плата ему за его нечастые наезды в станицу; и если его отсутствие и точно повредит делу, что ж, это будет лишь маленькая Митина жертва, на которую он пошел ради мамы.

Думать обо всем этом было Мите и горько и радостно, и душа его наполнялась нежностью к матери и любовью, но потом, когда она, счастливая, хлопотала вокруг него и всхлипывала, то и дело говоря: «Вот спасибо, приехал, надо же!», он вдруг устыдился нежности этой; и когда она спросила, что это он так неожиданно, Митя сказал как бы между прочим:

— Да так... Чего-то не работалось, дай, думаю, поеду — может, дома...

И, приехав к больной своей матери из-за смутного порыва любви к ней, и жалости, и страха за нее, сам он не захотел теперь видеть ее страха, как бы открывавшего Мите и хрупкость собственного бытия его, и собственную

его в этом мире незащищенность. Поэтому невольно для себя попытался он подыскать теперь маминому плохому сну какую-нибудь внешнюю причину и тут же, конечно, нашел ее.

В самом-то деле все плохие сны в мамином доме — всего лишь из-за громадных подушек, сказал он себе, всего лишь из-за этих подушек, на которых так неудобно спать.

Ничего такого особенного не имелось в доме у Митиной мамы, никакого такого богатства, зато были эти громадные, как старинный сундук, никем еще не обмятые подушки, приготовленные в приданое младшей Митиной сестре. С общежития еще привыкший к тощим, с казенным штемпелем на наволочке подушкам, привыкший к ним теперь в поездах да в гостиницах новых сибирских городов, в которые он любил приезжать, первую ночь дома Митя всегда маялся, потому что на такой, как у мамы, подушке удобнее было не лежать — около нее удобнее было сидеть, облокотившись или привалясь к ней спиной.

И нынче, в первую ночь дома, его тоже мучили дурные сны — правда, ни один из них он не запомнил, — просто ощущение осталось такое, что были они тревожны, а вечером на второй день он попросил себе другую подушку, и мама, огорченная, достала из сундука небольшую, по крайней мере раза в четыре меньше.

— Это, мам, от подушек твоих такие сны, — примирительно сказал теперь Митя, снова подходя к матери и крестной.

Но мама, видно, не примирилась еще с его нечуткостью, голос у нее был обиженный:

— Лидия Васильевна, жена главного врача, сама приходила ко мне мерки снимать. «Слышала, — говорит, — Марья Антоновна, что таких подушек, как у вас, ни у кого другого в станице нету...» Люди приходят хоть посмотреть, а тебе никак угодить не могу.

Митя рассмеялся.

— Можешь, ма, можешь...

— И что тебе в моих подушках?

Митя слегка, будто невзначай, тронул ее за плечо:

— Ладно, ма, я пошел...

— Ты б мне чобору нарвал на горе, — попросила Митю крестная. — А то ходишь там зря... А завтра троица, я в хате посыплю да хоть подышу, как будто в степу...

— Во-от оно! — догадался Митя. — А я вчера гля-

жу — один пожилой человек на велосипеде да с мешком... Второй... Я спрашиваю: «Чего это вы его рвете — уж не кроликам ли?..» А он говорит: «Ага, кроликам...»

— Да, троица, я тебе говорю, — снова объяснила крестная. — Возьми тоже чувал да и нарвешь — и мне, и матери.

— Ой, мне не надо, — быстро сказала мама. — У меня и без него голова...

— Ну мне одной...

— Я в сетку тебе нарву, — пообещал Митя.

— Да хуть и в сетку.

Митя вернулся на кухню и снял с гвоздя авоську. Положил ее в задний карман светлых вьетнамских штанов и опять сказал:

— Ну пошел...

— Пробежись, — как будто позволила крестная. — Пробежись...

Мама, перестав обижаться, сказала торопливо, не успев даже придать голосу нужной строгости:

— Да смотри осторожней!

«А может, я и не вернусь больше», — с мимолетной печалью подумал Митя и тут же снова себя упрекнул: да что это?!

На улице не было ни души, только шли, мирно гогоча, мимо соседского двора гуси, и вожак их косил на Митю маленьким черным глазом.

Теперь было как бы два Мити: один сочинял на ходу всякие невероятные истории, где он непременно должен был погибнуть, а другой, так и оставшийся выше предрассудков и неясных предчувствий, — этот другой все укорял первого да насмешничал.

«Займись-ка делом, — сказал второй не без ехидства — Лучше займись-ка. Дыши глубже, руки опусти свободно...»

2

Митя прибавил шагу, свернул за угол и с горки, с которой мальчишкой катался на санках, сбежал уже бегом. Тропинка здесь, как и в детстве, была очень узкая, и через тонкие брюки он почувствовал, как бьют по ногам высокие кусты колючки.

Он прыгнул через маленькое болотце внизу, в русле

давно пересохшего ручья, и кеды его тяжело шмякнули о край грязи. Митя отер подошву о траву и прыгнул потом еще раз, перескочил на тропинку.

По тропинке навстречу ему старуха с хворостинкой в руках гнала уток, и, чтобы не распугать бабкиного стада, он снова перешел на шаг.

Тропинка эта шла по краю лужка, на котором, сколько он помнил, пацаны всегда играли в футбол, и теперь здесь тоже стояли хлипкие, из тонких жердей ворота, и между ними были и густая, еще не выбитая босыми ногами ровная трава, и ямки, и бугры, и совершенно целые, успевшие слегка подсохнуть коровьи лепешки — по ним было видно, что здесь не играли уже дня три. А справа от тропинки — внизу, ближе к реке — густо шел молодой и сочный, но уже крепкий ивняк, и сквозь сплошную его высокую стену солнце виднелось совсем крошечным и не очень ярким осколком. Вода, которой он еще вчера был затоплен, уже отошла и угадывалась теперь только где-то в глухой и влажной его глубине, где перелетали с места на место и гомонили скворцы.

Давно, еще при Мите, здесь тоже была лужайка, но потом в два-три года ее всю смыло во время паводков, а чуть пониже река ударила в сады, намечая себе путь в станицу, и тогда здесь насыпали дамбу и укрепили ее плетенными из толстого прута и набитыми тяжелым булыжником кошелями, в которых весною и осенью так хорошо и уютно было прятаться от ветра. Тогда, при Мите, ивовые колья только-только пошли ростками, а потом это место в один год занесло илом и здесь враз поднялись кусты и, казалось, незаметно выросли в большую и красивую рощу — дальше она продолжалась уже по обе стороны дамбы, резко поворачивающей к реке, и здесь были теперь и непроходимая сырая чащоба, и крошечные полянки, и поросшие камышом да кугой глухие болотца.

Он вспомнил, как в последний большой паводок здесь, в саду, остаток которого еще виднелся теперь за плетнем, Дудниковы не успели отпустить с цепи своего кобеля, и он лепился на будке, уже захлестнутой черной водой, и жалостно выл, а безногий дядя Коля Дудников сидел в своей коляске и молча плакал, и утирали слезы женщины и покрикивали на тех мужиков, которые только делали вид, что порываются спасти кобеля.

Их с Толькой Ерохиным тоже не пустили бы, само собой, они не стали и пытаться пройти с улицы; они кое-

как пробрались через соседний сад, от дерева к дереву бросаясь через тугой вал стылой воды, которая была им уже по грудь. Около будки Толька обхватил одной рукой яблоню, другую протянул Мите, и Митя цепко держался за нее левой, пока правой расстегивал уже скользкий ошейник.

Кобель этот был злющий, раньше не раз выгонял их из сада, куда они с Толькой, бывало, наведывались больше в поисках приключений, чем из-за любви к витаминам. Потом, когда вода ушла, все успокоилось, и собака снова неприступно восседала на цепи под яблоней, за которую держался в паводок Толька, они решили провести один опыт.

Они залезли в сад и сами окликнули кобеля и потихоньку пошли к будке — что этот неподкупный страж станет делать? Неужели он все забыл?..

Собака рванулась на цепи и негромко взлаяла, а потом вдруг тихонько заскулила, упала на брюхо, поползла им навстречу, помахивая хвостом... Она так преданно смотрела на них снизу, что им с Толькой сделалось стыдно, и они подошли к ней, не сговариваясь, и каждый потрепал ее по лохматой башке, а потом они, также не сговариваясь, пошли из сада, так ничего и не тронув, и собака все смотрела им вслед счастливыми глазами, а они оборачивались и кивали ей и свойски подмигивали, и на душе у них было радостно и легко.

«А что, пожалуй, мы были тогда ничего ребята, — подумал Митя, чуть-чуть растроганно улыбаясь теперь и тому далекому времени, и дружку своему Тольке, с которым он давно уже не виделся. — Да, да, ничего, жило в нас, видно, что-то такое... И днем тогда мы ничего не боялись».

Он дошел до поворота дамбы, впереди до спуска к реке на каменистой тропинке никого не было, и Митя побежал, пытаясь делать прыжки подлиннее и набирая дыхание... Он бежал все быстрей и быстрей, уже часто дыша, готовясь в конце дамбы сделать последний рывок, — и вдруг ему показалось, что за ним кто-то гонится, но он сначала не обернулся и даже не сбавил темпа, зная наверняка, что это и в самом деле только кажется, относя это исключительно на счет мнительности своей и воображения, — теперь ему все будет казаться то одно, то другое. Но топот

сзади и хриплое дыхание вдруг послышались ему ясно, и Митя на бегу оглянулся и еще неловко пробежал боком, отступая с дороги и останавливаясь.

Человек, догонявший его, тоже приостановился, пошел медленно, глядя на него в упор, но улыбаясь как будто виновато, и Митя уже узнал его и ожидал с интересом.

— Хух ты! — передохнул тот, мотая головой. — Да это ты, Митьк?

— Да вроде я... дядя Степан, — проговорил Митя и стал слегка приподнимать руки в стороны, чтобы отдышаться. — Вроде я, здравствуйте!..

Тот слегка покачнулся, наклонился к Мите, неровно дыша.

— А я думал, Толик наш бежит, — сказал виновато. — Так ты вроде и непохожий, а сзади...

Митя даже слегка руками развел: ну вот, видите!

Наконец-то им с Толькой повезло! После десятого Толик поступил в летное, и они с тех пор не виделись, все бывали дома в разное время, только приветы передавали друг другу, через родных, и теперь Митя обрадовался, что тот в станице.

— Так он дома? — спросил Митя. — Надолго? Ну хоть раз вместе — вот хорошо!

— Да д-давно уже, — ответил дядя Степан, запинаясь.

«А я тоже хорош! — подумал Митя. — Четвертый день дома, и у мамы не узнал, в самом деле...»

Он вспомнил, как она вчера сказала сама:

— А чего ж ты за Толика не расспросишь?..

Но тут как раз просигналила у ворот машина, и эти ребята, с которыми он познакомился в свой прошлый приезд, ввалились во двор. Эх, жаль, не знал он, а то бы они сразу заехали за Толькой, у них и место ведь было — почти целый день вчера разъезжали на «Волге» вчетвером!..

— Да мама мне только хотела сказать... а я тут... Забили па́мороки! — виновато сказал Митя.

— А откуда она знает? — удивился дядя Степан. — Она небось еще и не видала его, нашего Толика, он и не ходил на ваш край. Он тут вот, с Урупа никак не могу выгнать, — и он повел небритым подбородком. — Не видал его тут?

— Да нет, я сам только что... А за рыбой он ходит?

— А как жа!
— И что — ловит?
— Толик-то? — удивился дядя Степан. — А ты что, уже забыл его?..
— Да почему?
— А чего ж спрашиваешь? Как будто не помнишь, какой он рыбак!.. Конечно, ловит — еще б!.. Да он с удочкой родился! Вчера полведра принес — одни усачи!..
— На удочку?
— А то на что?..
Митя руки потер:
— Значит, сходим!.. Эх, на ночь бы... с закидушками!
— Ага... Сейчас я его... — Дядя Степан рукавом вытер губы и поднес ладони ко рту. — То-о-ли-ик!.. То-о-ля!
Голос у него жалко дрожал.
— А ну — ты, — попросил дядя Степан, снова сильно кривясь.
Митя выдохнул раз и другой, набрал воздуху побольше и тоже приложил ладони ко рту.
— Та-ля-на-а-а!.. — закричал он громко и сам услышал вдруг в своем голосе ту позабытую интонацию детства, с которой они издалека кричали друг другу или совсем давно, еще мальчишками, друг друга вызывали из дому. Митя улыбнулся, стараясь не смотреть на дядю Степана, и когда снова подносил руки к губам — словно прикрывал эту улыбку ладонями. — То-о-о-ля!
Никто не отзывался, только откуда-то из-за реки, от изрезанных оврагами круч на той стороне пришло эхо, короткое и глухое.
Митя обернулся к дяде Степану.
Тот стоял, все так же морщась, кривя не то в горечи, не то в усмешке худое лицо, покачивался, сжимая кулаки, а мутные, по-старчески закисшие глаза его смотрели теперь недобро, и Митя услышал на зубах у него нетвердый скрип.
— Может, вместе поищем? — предложил.
— Ага, где ты его?.. За станицу куда-нибудь подался... Это у тебя уже, гля, брюхо!.. А он и сичас на ногу легкий, где ты его найдешь?
— Знать бы, конечно, куда он...
Дядя Степан снова скрипнул зубами.
— М-мой Толик для меня, знаешь!..
Он поймал Митю за плечо, лицо его теперь покачивалось около Митиных глаз.

— Побегу я, наверно, — сказал Митя. — Передайте Толику, сегодня зайду. Да вот позавтракаю в восемь и зайду.

Дядя Степан качнулся к нему, обнимая, поцеловал, оставив на щеке влажный след, который неприятно было чувствовать и который Митя стер тут же, незаметно ткнувшись щекой в плечо.

Он отстранил дядю Степана и побежал, обернулся скоро и поднял руку:

— Не обижайтесь!..

Толькин старик стоял на том же месте, и плечи у него тряслись — плакал.

«Не может быть, чтобы Толька напоил старика, — подумал Митя. — Наверно, ушел, а старик без него увлекся...»

«А странная штука — школьная эта дружба, — подумал теперь Митя. — Сначала она словно бледнеет и меркнет и словно бы отступает на дальний план, и сама себе часто кажется смешной, и сама себя чуть ли не начинает стыдиться — под напором впечатлений из того широкого и яркого мира, в который входишь ты после школы. Но потом, когда ты хоть и не так много поживешь, да наошибаешься вдосталь, когда ты многое с грустью поймешь, — тогда тебе откроется исподволь и настоящая цена мальчишеской дружбы, и в мыслях твоих ты станешь к ней возвращаться все чаще и чаще, потому, наверное, что немного на свете есть чувств более, чем она, бескорыстных и самоотверженных».

У них с Толиком, пожалуй, так оно и было: сначала года два они переписывались почти регулярно, хоть письма и с той и с другой стороны были все больше иронические — каждый будто посмеивался над ними обоими. А потом они обменивались письмами по разу в год: сначала Митя получал весточку и не отвечал очень долго, затем, как будто спохватившись, писал Тольке предлинное послание, и теперь уже тот не торопился с ответом. Последние два-три года они не переписывались вообще, но как раз в это время Митя все чаще и чаще стал вспоминать и детство, и те места, в которых оно прошло, и стал вспоминать Толика — вспоминать все это было и радостно и грустно, и он почему-то был уверен, что Толик теперь тоже думает о детстве все чаще, — может быть, для каждого человека настает такая пора...

Не так давно, после очередного наплыва тревожащих

душу воспоминаний о детстве, Митя надписал Толику Ерохину один из двух оставшихся у него экземпляров своей последней книжки, которая вышла еще три года назад. Правда, отправить так и не успел, замотался; книжка эта так и осталась у него на полке около письменного стола, рядом с самым первым маленьким сборничком, который он не отправил Толику еще очень давно, — сборничек этот вышел еще в Магадане, и Митя на фотографии там, смешно теперь посмотреть, с рюкзаком, ружьем, и собакой — со всеми атрибутами романтической своей первой профессии.

«Жаль, что я их не захватил, — подумал Митя, — да ладно, скажу, что сначала, по молодости, хотел было собрать ему целую библиотеку из своих книг, да только не рассчитал, не так это оказалось просто».

Дамба повернула теперь налево, вниз по реке, и откосы ее были выложены здесь железобетонными плитами, сваренными одна с другой по углам. Плиты внизу еще не просохли, но вода отошла от них уже далеко, много упала против вчерашнего, хотя нисколько не посветлела — казалось, жидкая глина тяжело льется через плотину, сплошная глина бушует и крутится, вырываясь рядом из шлюза.

Митя остановился на мосту, глядя вниз, на быстрый мутный поток, который стремительно исчезал у него под ногами; стоял долго, глядя на желтую воду, ощущая невольное желание прыгнуть, потом плюнул вниз, как мальчишка, и белый кружок слюны беззвучно шлепнулся на воду, и волна кинула его на себе под мост. Митя попробовал проводить его взглядом как можно дальше, перегнулся и, уже поднимая голову, увидел, что стоит как раз над промежиной, которая разделяла пролеты бетонного ограждения. Промежина эта была совсем узкая, никак не больше сантиметров пятнадцати, но Митя шагнул от нее вбок, отступил, опять припоминая, что в детстве тоже не любил стоять около этих дырок в мосту, и, проходя, посматривал на них с невольной опаской, будто какая-то сила могла столкнуть его через них в реку.

«А интересно, — подумал Митя, — надо будет спросить у Тольки: как он себя чувствует дома? Что он — и тут летчик первого класса со стальными тросами вместо нервов или такой же щенок, как я?..»

Митя иногда очень странно чувствовал себя дома.

После геологического своего института за шесть лет он прошел пешком, проехал на лошадях всю Сибирь —

от Юго-Западной до Северо-Восточной, — и чего только за это время не повидал, чего только с ним не случалось и тогда, и после, когда каждый сезон он выезжал в поле уже от НИИ. Потом, когда иной раз у него появлялась возможность поехать от какого-нибудь тоненького молодежного журнала, командировки он выбирал самые рискованные, и сейчас его, пожалуй, испугать чем-либо было бы не так просто, но вот здесь, дома, он навряд ли решился бы темной ночью пройти из одного угла огорода в другой. То есть, конечно же, он прошел бы, и тот, кто послал его, предположим, — тот и тени бы не заметил на Митином лице, да только наедине с собой Митя оценил бы шуточный этот маршрут, и правда, как психологически сложный. Стыдно сказать, выходя ночью во двор, он почти всегда невольно оглядывался, и не оглядывался лишь тогда, когда запрещал себе это, пристыжая.

Чего он боялся? Митя и сам бы на это не ответил. Просто здесь, в мамином огороде за старыми деревьями, за кустами винограда, неровно освещенными луной, до сих пор жили мальчишеские его страхи, до сих пор бродили призраки детских лет; и, посмеиваясь над собой, все-таки он чувствовал себя здесь почти так же, как когда-то очень давно, когда, сжимая в похолодевшей руке обломок кухонного ножа, он пробирался в дальний угол сада и ровно в полночь закапывал там пикового туза — это надо было сделать, чтобы научиться волшебству.

Летом шестидесятого на Алтае, когда из-за дурной погоды они актировали один день за другим, он пошел побродить с карабином, и молнией у него в щепки разнесло приклад...

Грозы Митя не очень-то боялся и до этого, а тут, как ни странно, перестал бояться вообще, считая, что разбитого карабина с него, пожалуй, совершенно достаточно. И теперь, где бы гроза ни заставала его, Митя принимал ее как выпавшее на его долю редкое зрелище — величественное и всегда вдохновляющее.

Нынче, когда он приехал домой, над станицей то и дело проносились буйные июньские грозы — дальние отголоски стихий, бушевавших выше, в горах за перевалом. Митя любил смотреть, как сражаются с ними батареи противоградовых отрядов, которые стояли за станицей по обе стороны вверх и вниз по реке.

В эти дни солнце нещадно пекло с утра, копилась внизу тяжелая духота, а в полдень высоко над станицей

собирались холодные, стального цвета облака, подбитые снежной белизной.

Облака эти безмолвно клубились и перестраивались, темнели, собирались в тучу, и густая эта багровая туча начинала медленно разворачиваться, глухо ворча и открывая черное свое грозовое чрево, в разрывах которого где-то очень высоко стыла голубая пронзительная синь.

С дальних холмов за станицей один за другим слышались тугие хлопки зениток, и туча, вот-вот готовая обрушиться градом, начинала медленно светлеть и распадаться, и, легкая уже, уходила под ветром дальше или проливалась обильным дождем.

Однажды Митя, засмотревшись, долго сидел на каменных ступеньках, а потом, когда пошел дождь, открыл дверь на веранду, и стал в проеме, поглядывая наверх. Там все мощней и раскатистей грохотал гром, ливень опустился стеной, и кусты и деревья перед домом, шелестя, вздрагивали и клонились. Тугими порывами бил ветер, тяжелые стенки дождя покачивались, и тогда в босые Митины ноги как будто швыряло крупной холодной дробью.

Зенитки все еще били, но за каждым ударом, точно в ответ ему, сверху блистала молния, и на землю сыпался треск и грохот. Это был словно поединок с богами, и Митя стоял, завороженный этим зрелищем и совершенно забывшийся, и вздрогнул, когда вслед за молнией, ударившей близко, вслед за сумасшедшим ударом грома мама крикнула испуганно за его спиной:

— Митя!.. Да что ж ты стоишь, как она тебя не убила!.. Сейчас же захлопни дверь!

И он закрывал дверь с бьющимся сердцем, закрывал неприятно ослабевшими от страха руками — ему вдруг отчетливо вспомнился другой удар молнии, тот, когда у него разбило приклад, и сейчас он как будто переживал это заново, словно это случилось только что, — и переживал совсем по-другому...

Конечно, тогда ему здорово повезло, но он принял это, в общем, как должное — а как же иначе?

Он тут же вернулся в лагерь и, посмеиваясь, показал разбитый приклад начальнику партии, своему другу, и тот, проговорив: «Ну, за это не грех», — достал фляжку, а потом и другую, и они крепко выпили, так в общем-то и не сказав, за что они пьют, а только друг другу понимаю-

ще улыбаясь и подмигивая. А назавтра начались маршруты, и надо было спешить. Они работали с утра до ночи, и случай этот без всяких особых переживаний был тут же забыт Митей с поспешностью молодости, и его — и сам он, и другие — припоминали только тогда, когда на базе где-нибудь надо было похвастаться бывалостью — «А вот у нас было дело...».

А сейчас страх, задним числом пришедший так издалека, затопил его целиком; и ему вдруг представилось, и как его, Митю, хоронят, камнями выкладывая могильный холмик, и как начальник партии пишет маме письмо, и как мама рыдает над этим письмом, а вокруг нее толпятся грустные родственники с больною крестной во главе...

Он стоял, облокотившись о высокий подоконник, будто продолжал теперь смотреть в окно, но глаза у него были прикрыты, а улыбка, когда он попробовал усмехнуться, получилась не очень уверенная.

— Дверь настежь и стоит — да разве ж можно? — с укором все выговаривала мама. — Рази я тебе не рассказывала, как у нас прошлым летом пастуха убило?

И Митя, твердо считавший это прямой изменой себе, в следующий раз все-таки грустно смотрел на грозу через окно на веранде.

А сны?

Самому ему снились яркие сны, часто цветные, почти всегда причудливые и странные. Пестрый мир своих снов Митя любил и некоторые из них по нескольку лет помнил, но грустным и тревожным снам, которых всегда тоже было достаточно, никогда не верил, хотя многие из них помнились ему очень долго.

Почему же мама да крестная разговором своим о плохом сне так растревожили его сейчас?

«Что-то, наверное, в этом есть, — подумал он теперь, по крутому проселку, отвернувшему у моста от шоссе, поднимаясь в гору и глядя на жаворонка, который бежал впереди него. — Какая-то связь с детством... с мамой, может быть... Видишь, как она о тебе беспокоится, и сам невольно начинаешь о себе думать... Что-то есть!..»

Жаворонок перед ним все бежал и бежал, не взлетая, иногда оглядывался, оборачиваясь и вытягивая головку с остреньким хохолком, как будто кланяясь ему и приглашая его за собою и дальше, а потом, выпрямившись, семенил снова, и Митя шел и шел за ним, крупно шагая.

Так они поднялись на гору, и здесь жаворонок наконец взлетел и, трепеща крыльями, пропал, набирая высоту, а Митя, сделав ладонь козырьком, постоял, провожая его, а потом свернул с дороги и медленно пошел по целику.

Тут, на краю горы, была многолетняя толока, и сейчас, несмотря на прошедшие дожди, трава здесь стояла сухая и жесткая, здесь и росли-то больше корявая пастушья сумка да подорожник, седой полынник да степная мята, желтая сурепка да тощий, с мелкими сиреневыми головками осот, оплетенный белыми цветками повилики.

Зато дальше степь набирала сок, густела, там начиналась пестрая чересполосица полей да покосов, кое-где уже светлела свежая стерня, и яркие эти, разных оттенков зеленого цвета полосы тянулись по отлогим холмам и обрывались на их вершинах, а за ними поднимались горы повыше, и там уже не было ни полей, ни покосов, были только солнцем освещенные сейчас светлые взлобки, между которыми прятались синие тени. Взлобки эти вздымались круче и круче, тяжелыми глухими валами катились они вверх и останавливались у края темной гряды на горизонте, на которой в утренней дымке щетинился небольшой косяк леса.

Он вышел на поле, где лежал еще не успевший пожелтеть скошенный недавно ячмень, и побежал между двумя рядами валков. Стерня здесь пока не подсохла и мягко никла под кедами. В холодноватом от росы утреннем воздухе был растворен поднимающийся из-под валков парной травяной дух, и Митя взахлеб дышал благостным этим живым духом, дышал яростно, как будто наполняя легкие еще и про запас, который должен остаться у него для ходьбы между стадами пропахших бензином и горячим асфальтом машин в большом городе.

Митя уже хорошо разогрелся, он чувствовал пот на спине и под мышками, и лицо его тоже было теперь в поту и горело, а руки и ноги стали тяжелыми, и весь он будто потяжелел, но это была приятная тяжесть, подрагивающая от гудящей по ней упругой силы, и он теперь шел на тугих, схваченных усталостью ногах, но усталость эта была летучей, она уже пропадала, уходила с каждым его шагом, оставляя после себя словно бы пустоту — предвестие легкости.

Сердце его снова билось гулко и ровно, и вместе с полнотой физической нагрузки к Мите пришло щемящее чув-

ство душевной полноты и пришло жадное ощущение жизни, существования своего этим благостным летним утром, с его красками и запахами, с его растворившейся в степи тишиной, и он подумал опять, какое было бы счастье радостное это и хрупко-тревожное ощущение бытия, от которого ни с того ни с сего можно вдруг горько и неутешно заплакать, какое было бы для него счастье передать это ощущение в обыкновенных строчках, навсегда оставить его на бумаге, и ему опять захотелось за стол, и он подумал, что сегодня, может быть, ему все-таки удастся хорошенько поработать.

Лучшим что Митя написал, был он обязан тихой своей станице. Это она давала его стихам грусть и нежность, от нее были в них и жар ковыльных степей, и прозрачная осенняя печаль, и неожиданный среди ровного напева подъем — все было от нее, но, странное дело, хорошо писалось Мите лишь вдалеке от дома, здесь он только смотрел и прислушивался, здесь бродил, полный стихами, и они заставляли сердце биться предчувствием их рождения...

Теперь мама освободила для него маленький стол, и Митя сразу положил в ящик побольше бумаги и несколько ручек — словно должен был так много написать, сколько ни за что не напишешь одной рукой, — и стол отнес в сад, поставил под старой со спиленным верхом грушей.

После завтрака он садился за этот стол, доставал чистую бумагу и долго смотрел потом, как подрагивают на ней пятна света и тени, смотрел, как поодаль еле заметно покачиваются под ветерком большие матовые яблоки, как дальше, высоко над черешней тихонько шевелит концами рукавов распятый на палке старый его пиджак. Иногда прилетали синички и славки, садились совсем близко, скакали с ветки на ветку и занимались всякими своими неторопливыми делами, совершенно не обращая на Митю внимания. Потом из картошки вдруг выпрыгивал на стол бледно-зеленый кузнечик, сидел недолго, пошевеливая усами, как будто отдыхал, и снова прыгал вниз, в картофельную ботву, а сверху по невидимой своей лесенке уже спускался на бумагу серенький паучок, и вокруг, с хрястом пробивая листву, с груши шлепалась уже начинающая тяжелеть падалица.

Неслышно приходила мама, в железной большой миске приносила черешню, ставила ее на угол стола и уходила

тихонько, а Митя принимался есть, как будто нехотя, и, поглядывая по сторонам, наблюдая эту почти невидимую жизнь деревьев и растений вокруг, маленьких птах и жучков, незаметно съедал все и, над городским своим житьем как бы издеваясь, отмечал про себя: «На рупь съел».

На стол заползали мураши и через одинокие перечеркнутые строчки один за другим безошибочно бежали к железной миске, в которой оставались косточки и капельки сока, суетились там, торопились обратно, и через пять минут по начавшей от солнца желтеть Митиной рукописи уже пролегала большая муравьиная дорога.

Митя все хотел написать о том, как шевелятся на бумаге эти солнечные пятна вперемежку с тенью, как бегут по ней муравьи, как он сидит здесь, притихший и как будто чужой, и смотрит на птах, которые здесь — свои, как мама приносит ему черешню, как покачивается на ветру старый его пиджак, на который она будет грустно глядеть потом, когда Митя опять надолго уедет, как на стол падают сверху падалишные груши — как будто ставят точку на этих его стихах.

Но стихи все не выходили, а вместо них вчера неожиданно написался белый стих об автоматических дверях в метро.

Митя всегда с грустным сочувствием смотрел, как, робея, толпятся перед этими дверями пожилые, не по-городскому одетые женщины, нагруженные горой покупок из «Детского мира», как решаются наконец они пройти, как неловко и не вовремя суют пятачок, и стихи были как раз о том, как двери эти с точностью хорошо отлаженного сортировочного механизма будто нарочно отбирают в столичной толпе русых и курносых, с растерянными глазами людей из далеких маленьких деревень — из деревни Семеновка, из деревни Касьяниха, из деревни Большой Родничок...

Другие стихи не шли, да Митя и не удивлялся: он уже привык увозить отсюда только груды набросков. Стихами они становились в другое время, в другом краю...

Он снова вспомнил о Толике: уж точно, Ероха-то найдет способ надолго оторвать его от стола!

Митя представил, как они лежат на песочке у реки, как на траве сидят у ночного костерка, хлебают горячую ушицу из усачей да голавчиков, как неторопливо идут рядом по станичному парку... Митя помалкивает, погляды-

вая на своего друга, а тот по привычке щурится: «Что это вы, Дмитрий Васильевич, принялись вдруг о небе расспрашивать? Когда-то вы предпочли ему землю. »

Лет восемь назад Толик прислал ему письмо откуда-то из-под Красноводска. Посмеиваясь над нелегким своим житьем в пустыне, писал, как ребята с дальних бомбардировщиков, пролетая над бесконечными песками, не упускают случая бросить вниз традиционную шутку: «Эй, мальчики, а вы, поглядеть, неплохо устроились — вон какой пляж себе отхватили!..»

Мите нравилась эта шутка, за ней виделись и опасная работа, и мужественное достоинство одиночества, и неизбывный юмор — за нею виделся Толик, такой, каким он хотел стать и, наверное, стал.

Мите казалось, что он отлично представлял сегодняшнего Тольку Ерохина, но вдруг эта уверенность сменилась боязнью: все-таки столько лет, а время — оно может многое изменить... Ему стало чуть-чуть тревожно от предстоящей встречи, возникла радостная и сладкая тревога, внезапно пришедшая как будто очень издалека, из мальчишества, и в ней были и счастливое замирание сердца, и тайный страх уронить себя в глазах друга, и прозрачная чистота ощущений. «Ох ты, а ведь это все виновата степь ранним летом, и эти цвета и запахи, — подумал Митя, — и наша станица, какая тут работа, здесь надо вглядываться, припоминать, прислушиваться и к степи этой, и к себе, и думать, как думается только тут, — и ясно, и светло.

Теперь он на Крайнем Севере, — подумал Митя. — Надо будет спросить, какую он отхватил себе там лыжную трассу».

3

Он дошел до вершины полного холма, где обрывалось ячменное поле и начинался сплошной зеленый забор кормовых трав, повернул вправо и снова вышел на дорогу.

Проселочная эта дорога, еще не совсем просохшая после дождей, вела в некрутой лог, а оттуда поднималась на другой холм — повыше, и он побежал вниз сначала неторопливо, но вес его все больше и больше себя обнаруживал, придавая ускорение, какого Митя и сам не хотел, — кеды его уже крепко шлепали по туго на-

катанной бричками да легковыми машинами влажной земле.

Внизу, справа от дороги, продолжали тянуться выпасы, сейчас там бродило небольшое стадо, а чуть поодаль от него сидели в траве две женщины.

Сначала Мите заметны были только головы их в темных платках, но вот из густой травы они приподнялись выше, а потом он увидел, как женщины торопливо встают и бегут ему наперерез; и по тому, как они бежали, выбрасывая вперед в руке палку и неловко подскакивая в высокой траве, он понял, что это старухи, и, зная свою станицу, догадался вдруг, почему они так спешат, и, останавливаясь, не удержался от смеха.

Когда Митя подошел, они уже стояли рядком обочь дороги и смотрели на него с одинаковым любопытством — одна круглолицая, с румянцем во всю щеку тетка, уже пожилая, полная и грудастая, одетая в потерявший свой цвет армейский бушлат, другая — остроглазая, с желтыми морщинами на маленьком худом лице старушка в зимнем пальто, широком и длинном, из-под которого едва виднелись очень тонкие ноги в шерстяных домашних чулках и в ботинках.

Митя поздоровался первый, и они ответили ему почти разом, старушка поклонилась, с интересом продолжая не то что смотреть на Митю, а как бы за ним следить, а потом приподняла руку, поведя ею вокруг, спросила певуче:

— Ой, да или вы тут что потеряли?

— Да нет вроде, — рассмеялся Митя, радуясь про себя, что не ошибся.

— А мы глядим, нáсается человек по степи и нáсается, — хрипло объяснила полная тетка. — Туда-сюда, туда-сюда! И день, и другой... Наверно, думаем, чего ищет.

— Да нет, не-е-ет! — продолжал Митя смеяться.

— А потеряли, дак признайтесь, не бойтеся, — мягко посоветовала остроглазая. — Тут наш край скотину пасет, дак мы всему миру скажем, чтоб присматривались... Или кто чужой подымет, дак мы знать будем да вам перекажем.

— Да нет же, спасибо, — все смеялся Митя, поднося ладошку к глазам. — Ничего я не потерял.

— А чего же бегаете?

— Я раньше много ходил, — стал Митя объяснять,

закусывая губы, — работа ходячая была, а тут в последнее время засиделся, вот даже толстеть начал.

Полная согласилась хрипло:

— Да вы-то справный.

— А тут воздух какой, — пытался объяснить Митя. — Красота!

Старушка поинтересовалась:

— А вы из станицы, наш, чи приезжий? А то я вот гляжу на вас...

— Да так-то здешний, свой вроде, — сказал Митя.

— А чьи вы?

— Бедарев я... Марьи Антоновны.

Худенькая старушка всплеснула руками, и даже палка ей не помешала.

— Марьюшки? То я и гляжу — знакомый вроде человек, вроде наш... Значит, точно. А меня вы не помните?

Митя сделал вид, что пытается припомнить.

— Вы все на наш край бегали, а дед-то мой в райздраве конюхом тогда был, а у него серый жеребец, почти белый такой, яблоками... От вы придете во двор...

Он уже понял:

— За волосом на лески!

— Да. «Дайте, дядечка, коней в речке искупаем, жарко им!» А он говорит: «Знаю я!»

— С Толиком Ерохиным приходили.

— А они ж наши соседи были.

— А я Толика так со школы еще и не видал, — сказал Митя. — А сейчас дядю Степана встретил на дамбе, отца его.

Глаза у старушки стали печальные.

— И он вас до Толика небось звал?

— Как же — друзья...

Старушка предупредила мягко:

— Не вздумайте пойтить.

— Обязательно пойду! — с шутливой непокорностью прервал Митя.

— До Толика?

— Ну да...

— Дак, а где он, Толик? — спросила старушка как-то очень жалостно. И сама ответила, медленно качая головой: — Толика не-ету — погиб!..

— Толик погиб?

И старушка подтвердила печально:

— Толик, детка... Погиб.

— Да только сейчас... Ну как это — погиб?

Старушка, не торопясь, поправила под косынкой волосы, медленно вздохнула, оперлась на палку обеими руками, как будто приготавливалась говорить очень долго, и начала протяжно-жалостным голосом, печально и словно торжественно:

— Да как?.. Выполнил он там какое-то задання, а ему ж у-то и подполковника, и Красное Знамя дали... Карточки домой присылал — куда там!.. А потом же доверили ему какой-то новый самолет, да большой, у одного его такой в частях и был. А он на нем полетел. А самолет или неисправный, или чего — и загорелся. От все с парашютом попрыгали, а одному глаза обожгло, он ничего не видит, а Толик же и взялся ему помогать... Да и допомогался у-то, что ни одного, ни другого... Только ж сели на землю, а он этого, что без глаз, на себя да уходить, а самолет возьми и взорвися, а их железяками обоих...

Полная снова прохрипела:

— Да хуть бы один, а то два.

У Мити ослабли плечи, невольный стон, который он попытался сдержать, колючим комом стал в горле, запер дыхание... Он прикрыл глаза и, поведя головой, мыкнул глухо и коротко, как от физической боли.

— А телеграмму получили Степан с Феней, она говорит: «И я поеду». А он же ей наотрез... «Мало мне, — говорит, — Толика, дак еще тебя буду хоронить, ты там помрешь...» Так и не узял, да уехал, да Толика там похоронили. Вернулся, а она тут померла, Феня... Он и ее схоронил, миру было!.. А потом умом же и тронулся. Усё ему кажется, что Толик ихний по Урупу бегает — у-то вы ж там бегали мальчишатами, где болотина была, дак ему и кажется.

— И светло, и тёмно — ходит, людей пугает, — добавила полная, хрипя. — Хорошо, как наш кто, да знает, ну а если не знает кто?..

Митя все стоял молча, сложив руки на груди и глядя в землю, невольно покачивая головой и припоминая теперь и мутный, вспыхнувший вдруг безумием взгляд дяди Степана, когда он посмотрел на Митю, скрипнув зубами, и горькую его, беспомощную усмешку, и какой-то надлом, и все те приметы неухоженности, которые в отце Толика уже выдавали бродягу. А он-то принял его за пьяного!

— Да какие ж молоденькие вы погибаете, — все так

же протяжно и жалостно вела старушка, — такие молодые... И пожить ничуть не успеете, а уже нету, оглянуца не успеите, на свет божий насмотреца, а уже нету!.. Рази не обида?.. Я вот старая какая, детишек пугать, как обиззяна, а спроси меня кто: «Да ты, Стеша, чи нажилася?..» — «Ой, да нет, скажу, да не нажилася, да дайте ищё хуть чуть!»

— А им? — хрипло поддакивала пожилая тетка. — Жить бы да жить... Чего у-то не хватало?

— Да и то, старая какая, а дли себе — усё девочка, усё девочка!.. Что учера было или позаучера — ну ничевошеньки в голове не остаеца, а что раньше-то было, када маленькая — ну, кабутто учера!..

Митя медленно поднимался в гору, и на душе у него было смутно и горько; мысленно он все возвращался туда, на дамбу, где он еще стоит рядом с Толькиным стариком и, забавляясь, радостно кричит: «Та-а-ляна-а-а!..»

Почему все-таки мама ничего ему не написала?..

«Нет, она написала, — подумал Митя, — написала. Это, верно, как раз и было в том письме, конечно, в том...» И ему сразу вспомнилось, как Игнатюк бросает на мешки с хлебом черную полевую сумку, а один конверт протягивает ему, Мите: «Эт, Василич, тебе!..» И Митя сует письмо в карман ватника — потом прочитает, — и берется за шест, усаживается поудобнее, а Игнатюк, поддав газу, с форсом разворачивает лодку встречь волне, и лодка кренится и летит, оставляя после себя длинный шлейф расступившейся воды... И почти тут же резкий толчок в днище, проломленная доска, которую вода под тяжестью груза приподняла и выперла наверх...

Только на берегу, уже отходя от свинцовой усталости, Митя подумал, что Игнатюк выплыл с полевой сумкой в руке, где лежала почта для всей партии, а он, Митя, одного своего письма не успел вытащить из кармана ватника, когда стаскивал его уже в воде. В сторожке на берегу, когда они сидели в чем мама родила и пили спирт, Митя сказал об этом Игнатюку, и тот, усмехнувшись, спросил: «А правда, Василич, говорят, что ты теперь против прежних-то денег получать стал втрое меньше?.. Что ж это за работа у тебя такая: ни грошей на ней не заработаешь, ни мускулов не наживешь... Отвык, Василич?.. Бог с ним, с письмом, скажи спасибо, что еще сам выплыл!»

Ему всегда было неприятно вспоминать черную, тя-

жело кружившую его тогда ледяную воду, но теперь, снова это припомнив, он поморщился от горькой досады на себя: и тонущая лодка, и ледяная вода — какие это мелочи по сравнению с горящим бомбардировщиком, который в любой миг на куски может разлететься от страшного взрыва!.. Сколько минут, зная это и, должно быть, невольно ожидая этого всем своим существом, Толик упрямо гнал машину к земле? Три? Пять? Десять? А не хватило ему, судя по всему, лишь нескольких секунд...

Оставляя за собой черную полосу дыма, пронеслась наклонно к земле тяжелая машина, и Митя невольно съежился, как будто ожидая взрыва, и, чувствуя, как у него кривится лицо, с силой зажмурился. Ах ты, Ероха, Ероха!..

Теперь он снова вспомнил, как мама вчера сказала: «А чего ты за Толика не расспросишь?..» И он понял только теперь, что в голосе у нее, и верно, было удивление, словно мама осуждала его за то, что он слишком быстро успел позабыть своего погибшего друга...

Ну конечно, таким тоном мама и спросила его, точно!

Мите все хотелось почему-то оглянуться назад: он знал, что женщины стоят на том же месте и, глядя ему вслед, рассуждают неторопливо, что вот надо же, о-хо-хо, были друзья, вместе ходили в школу, с удочками бегали по перекатам — и вот один уже почти год, как в земле, а этот не знает, куда силу девать, на́сается себе по степи. Что кому на роду написано, это так!..

Мите вдруг опять стало одиноко и тревожно, как тогда утром, когда мама сказала ему о дурном сне, и, чтобы заставить себя забыться, он тряхнул головой, упрямо рванулся вперед, побежал снова, и тут же ему сделалось стыдно, остановился, переходя на шаг... Ему бы сейчас, притихнув, посидеть где-либо в сторонке... Неужели торопливый бег времени настолько приучил нас к потерям?

И тут жалость схватила его за горло, Митя почувствовал, как передернулось лицо, губы готовы скривиться, вот-вот вздрогнут плечи; и вдруг он глубоко в себе уловил, что ему и самого себя сейчас было почему-то очень жаль, и заплакать он был готов еще и от этой жалости к самому себе; и когда он понял это, ему вдруг стало стыдно за себя, и он, все осознав, резко оборвал в себе стран-

ную эту, лицемерную жалость — он не хотел ее, она была как бы изменой их дружбе, которая всегда была искренней, которая никогда не знала ни задних мыслей, ни недомолвок. Пусть и остается такой теперь навсегда!

Митя вспомнил, как он, улыбаясь, надписывал для Толика Ерохина книжку, как улыбался он и потом, когда случайно натыкался и на нее, и на другую книжку, роясь на полках. Ему казалось трогательным уже то, что они есть, эти две надписанные книжки, о которых сам Толик и не подозревал.

А отправить их он так и не собрался, все откладывал и откладывал; все ведь думалось, что времени впереди еще очень много, ему ведь еще и совсем недавно так казалось, когда у Тольки, у подполковника Ерохина, все было уже в прошлом...

И опять безмолвно пролетел, клонясь к бескрайним снегам, горящий бомбардировщик с черным хвостом дыма, и опять, как бы ожидая взрыва, Митя невольно прикрыл глаза.

Странное овладевало им чувство, когда снова и снова думал он теперь о своем погибшем друге; и Митя пока не мог разобраться в этом чувстве, не мог дать ему названия, он только одно лишь знал уже определенно: с этим чувством жить ему станет сложней...

На самой вершине холма начиналось поле пшеницы, огороженное висевшей на бетонных столбах толстой проволокой, и Митя свернул с дороги и медленно пошел к этой ограде, около которой он вчера отдыхал.

Отсюда хорошо было видно удобно лежащую в долине станицу, белые стены среди затопившей все густой зелени и разноцветные пирамиды крыш — там рыжую черепицу, там серый шифер или белизной сверкающий цинк, а дальше рябила потонувшая в садах пестрота красных, и малиновых, и темно-вишневых пятен, придавая разнокалиберному скопищу домов празднично-счастливый и почти игрушечный вид.

За станицей опять вздымался пологий подъем, снова тянулась вверх, окутанная утренней дымкой, веселая чересполосица разных оттенков зелени, подчеркнутая сверху синеватой кромкой хребта, над которой уже наливалось теплом белесое небо. Справа долину замыкали только эти из-за изгибов реки как будто сходящиеся вдалеке отроги, а слева над темно-зеленой цепью ближних холмов белым призраком вставала на горизонте гряда

снеговых гор с холодными голубоватыми пиками, а еще дальше за ней виднелась бледно-розовая от солнечного света ледяная шапка Эльбруса; и все эти горы и холмы справа и слева, горы и холмы ближние и дальние, маленькие и очень большие — все они как будто загораживали и отделяли от остального неспокойного мира тихую и ласковую станицу, в неспешной полудреме замершую под приветливым солнцем.

Навалившись грудью на проволоку, Митя жадно смотрел вниз; но чем дольше он смотрел, тем ближе подкрадывалось к нему ощущение одиночества, и жалость опять тонко щемила ему душу, и снова он жалел не только своего погибшего друга...

И Митя, давно поставивший за правило говорить с собой, не кривя, и в ощущениях своих разбираться с честностью, вдруг подумал, что в этом, пожалуй, все-таки нет ничего оскорбительного для Толика, и нету того, что унижало бы его, Митю, самого — разве, оплакивая кого-то, мы не плачем каждый раз и по себе?.. Разве, кого-то хороня, каждый из нас не присутствует и на собственных похоронах?

И, подумав так, он приподнял было голову, словно объясняя это не только себе, но и кому-то другому, неведомому, кто иногда смотрит на нас пристальными глазами нашей совести, — он приподнял было голову, но тут же уронил ее на руки, лежавшие на проволоке, и, больше не стесняясь себя, заплакал вдруг безутешно и горько, как не плакал уже давно...

Он плакал и о Толике, и о детстве, которое ушло навсегда для них обоих и в которое нельзя вернуться не только мертвому, но и живому, и плакал о себе, маме своей, которая не пережила бы его, Митиной, смерти, и о Толькином старике, и о своем маленьком сыне — обо всем дорогом, чего не хотелось бы ему покидать, и обо всем дорогом, что может, не спросясь, покинуть вдруг его самого.

«А странно, — подумал он потом, приподнимая голову и не утирая летучих своих слез, в которых неизвестно чего было больше: то ли горечи — оттого, что человек беззащитен в несчастьях и смертен, то ли благодарной радости, что многие из этих смертей и несчастий самого Митю пока миловали — странно: в нас умирает сначала ребенок, потом подросток, юноша, потом тридцатилетний, полный сил, человек... Это что — время учит

нас умирать?.. Или научить этому ничто не может; и когда завершится некий цикл, и мы похороним в себе и ребенка, и юношу, и всех, кем были мы потом, принять ее мы по-прежнему не будем готовы?..»

«Ладно, — сказал себе Митя, — что это ты, в конце концов... Просто хорошо бы пожить чуть подольше, чтобы успеть сделать то, без чего вся твоя жизнь до этого разом потеряет свой смысл, чтобы сделать то, чего, может быть, не успели сделать другие, те, кто не дошел, не доплыл, не долетел...»

Это всегда приходило не спросясь, и теперь, как будто всему вопреки, Митя снова ощутил прилив приподнимающей душу уверенности в том, что сделать ему, если безжалостно не вмешается случай, предстоит многое. Теперь он чувствовал это все чаще, что-то будто звало его, что-то заставляло теперь жертвовать многим из того, чем был счастлив он раньше, он заметил в себе какую-то перемену, почувствовал вдруг, чутко уловил какой-то внутренний свой рост — предвестие зрелости. Наверное, до нее было еще далеко, но теперь она как бы приоткрылась ему, теперь он знал наверняка, что она придет, дело только во времени, надо терпеливо ее ждать, и она придет непременно, как непременно приходит всякий день впереди.

И как здоровому яблоку, чтобы поспеть, надо еще долго сопротивляться ветру, и слушать шелест листвы, и качать на себе малую птаху, и умываться дождями да чистой росой, и греться под щедрым солнышком, так и ему, Мите, надо жить, не уклоняясь ни от чего, испытывая все предназначенное и ни в чем не изменяя ни себе, ни людям. И тогда Мите, может быть, удастся выразить в словах тот удивительный и чуть грустный и щедрый мир, который давно живет в нем самом.

Слушай, — сказал он себе, — а может быть, это ты просто выпрашиваешь себе побольше дней впереди?.. Жизнь молишь оставить тебя, берешь отсрочку у больших несчастий, у смерти?.. Кто написал нам на роду долгие дни и безоблачное счастье?.. Это мы сами пророчим себе свет и ясность и бестревожную жизнь, пророчим, никого не спросясь, а потом вдруг начинаем добиваться призрачных гарантий. И счастье мы всегда принимаем, как должное, нимало ему не удивляясь, и всегда отвергаем беду, и часто не верим даже тому, что уже слу-

чилось, все убеждая себя в том, что несчастье просто ошиблось дверью...

И, конечно же, ты не одинок. Наверно, почти каждый, рассчитывая на долгую жизнь, оправдывает это большою целью, не выполнив которой не может он окончить земные дела: кому-то надо победить раковую клетку... кому-то, уже бездетному, вырастить внука... Или есть и такие, кто прямо говорит: «А дай мне, бог, поболтаться еще немножко по белу свету, посмотреть, что будет дальше?..» И как знать: может быть, эти последние все же искреннее других.

Для Мити, не любившего однозначности, это был как бы замкнувшийся круг и был перепад мысли к иронии, он усмехнулся над собой. Все, наверное, куда проще — может быть, и правда, в этих своих родных местах, в этой летней степи он что-нибудь потерял — что?..

Митя вспомнил, как вчера вместе со здешними своими друзьями — один из них был райисполкомовский работник, двое других — врачи — он поехал на дальние хутора, в предгорья, и его посадили впереди, чтобы ему было удобней смотреть. И он все смотрел, узнавая, казалось бы, давно знакомые места и не узнавая и как бы открывая их заново.

Долина впереди все сужалась, ближе подступали зеленые холмы, а выше них по отрогам с обеих сторон тянулся теперь сплошной лес, и Митя вспомнил Сибирь, и завздыхал, и растрогался.

Гравийная дорога с правой стороны была сильно выбита, их «Волга» то и дело приседала на колдобинах и все забирала влево, на более ровную встречную полосу, и Митя, настроившийся на лирический лад, сказал:

— Хотите, братцы, одну глубокую мысль?.. Почему дорога туда накатана гораздо хуже, чем оттуда?.. А вот почему. Потому что туда едут пустые самосвалы да вот начальство, вроде вас, на легковых, или замотанные отпускники да тощие студенты. А обратно мчатся машины с зерном, с молоком, вон с мясом да с шерстью, и у тех же отпускников оттуда — уже брюшко, а у студентов — чемодан, набитый салом. Туда везут меньше, чем оттуда вывозят, — вот в чем дело!

— А ты за нас не волнуйся! — Сидевший за рулем райисполкомовский работник, Михаил Прокофьевич, рассмеялся. — Не волнуйся, нам тоже кое-что остается!..

В следующем хуторе они купили свежей, еще пар-

ной, баранины. За хутором свернули и по берегу маленькой речушки поехали вверх, в горы, и остановились на великолепной полянке, и Прокофьич из деревянного сундучка в багажнике достал баночки и склянки со специями и шампуры, длинные, как шпаги.

Все остальное было похоже на священнодействие, но Митино участие в нем выразилось лишь в том, что он таскал и подбрасывал в костер толстый сушняк.

— Ты потрогай баранину, потрогай, — подмигивал ему Прокофьич. — Она еще теплая, ты видишь, не остыла, мы теряем всего пять—десять градусов, а потом на угли ее, на жар...

Когда шашлыки были готовы, первый шампур отдали Мите, и подгоревшая корочка, которой схватилось мясо, хрустнула у него на зубах, и пахучий сок, терпкий от перца, обжег ему нёбо, жар и дымок вместе с мясом, вместе с тающим жирком были у него во рту, и Митя мычал от удовольствия и постанывал, а ребята посмеивались. Они блаженствовали, лежа на раскинутом в траве брезенте, и вели неторопливую, полную сознания собственного достоинства беседу, а потом поднялись наверх, к пещерам, к выбитым в громадных скалах пустым «окнам»; и Митя стоял у самого края зеленой пропасти, на дне которой виднелась крошечная их «Волга», и изумленно оглядывался — он никогда не думал, что места эти так сказочно красивы.

Нездешние ребята, приехавшие сюда после института, знали теперь его родину гораздо лучше его самого, еще крохой — с сумкой для колосков — обошедшего здесь все поля; в ней давно нашли они ту благополучную и свободную для себя страну, которую ищет себе всякий человек. И они знали большие города, и знали все маленькие причерноморские поселки, и у них были деньги, и они читали хорошие книжки и знали и понимали многое из того, что понимал Митя, и были счастливы и нечаянной радостью, и своим здоровьем, и красотой здешних мест, и удачно прожитым днем, и своей работой.

А чего надо Мите?

Разве не мог бы и он жить в этой станице, и мама была бы счастлива, и Егорка ходил бы в ту школу, где парты вытерты еще его, Митиными, штанами, и Наташа спокойненько работала бы себе экономистом где-нибудь в Межколхозстрое...

Он смотрел вниз, неизвестно чему усмехаясь.

Ему вдруг показалось, что среди пышных станичных садов рядом с белыми домами — на лестницах, закрытых рядном, на брошенных в огороде половиках — под утренним ветром уже лежат белые и почти такие же большие, как сами дома, пуховые подушки, и лежат выброшенные на солнце громадные перины; и весь день они будут лежать, вбирая в себя сухой полуденный жар и горячие запахи разомлевших трав и деревьев; и до прохладной полуночи потом будут они жечь плечи и обволакивать тебя духмяным настоем лета. Ах ты, счастливая ты, маленькая станица!

Или невозможно к тебе вернуться, так же, как невозможно вернуться в детство? Или Митя не понимает пока оставленного ему судьбой счастья — вернуться? Потому что у других счастья этого не будет уже никогда...

Он постоял на холме, глядя вниз, на станицу, на противоположный склон долины, на далекие снеговые горы, и серый, с красными языками огня, бомбардировщик бесшумно пронесся теперь над черепичными крышами, над тихими садами, над зелеными извивами реки, на которой они с Толиком пропадали мальчишками, и неслышно сел где-то на еще не сжатых полях.

Мите показалось, он знает, что это за чувство, которое будет ему сопутствовать: просто он теперь остается единственным хранителем их дружбы, общего их детства, общих мальчишеских помыслов, как другие люди, которых он, Митя, не знает, остались хранителями многого другого, что связывало их с Толей Ерохиным и что никак не должно умереть вместе с ним. «Это так, — подумал Митя, — память о друге, — как эстафета, которую мы несем десятки лет; и чем нас, может быть, меньше, тем больше остается на каждого — пожалуй, так».

Незаметно для себя он голову приподнял выше, и руки свои почувствовал, и в скулах ощутил твердость.

Женщины были все на том же месте, опять поджидали Митю, и, не добегая до них, он перешел на шаг и приближался к ним, поглядывая еще издали и думая, о чем же спросят они его на этот раз. В том, что они заговорят с ним снова, он не сомневался ни капельки и,

подойдя поближе, уже поглядывал на старшую, словно прислушиваясь, и она покачала головой и улыбнулась ему нарочно виновато:

— Ой, да вы не ругайтесь на нас, делать, скажете, бабкам нечего, дак у-то они... Гаша вот говорит: «А может, обманывает нас, что ничего не потерял?.. Скрывает что? Или чего стесняется?..» Стоим вот, морокуем...

— Да нет, что вы! — усмехнулся Митя, и усмешка его вышла грустной. — Ну, ей-богу, ничего я не потерял.

— А то Гаша вот говорит: «Да если похудать хочет, дак что у них, дома, работы нету? Марьюшка одна целый год колотится, бедная...»

— Да, может, оно, когда бегаешь, дак лучше, — словно оправдываясь, прохрипела вторая. — Это мы тута между собой...

— Ой, да оно тоже — дома да дома, — подхватила старушка, словно оправдывая Митю. — А рази не охота у-то побегать? Бегали б мои ноги, дак и сама б у-то, как телок весной...

— Меня крестная за чабрецом послала, — неожиданно для себя сказал Митя.

— От так бы сразу и говорил! — прохрипела полная тетка, явно теперь удовлетворенная. — А то... так! Вихорь, вихорь на воду!

— А кто у вас, моя детка, хрёстная? — наклонилась к Мите старушка.

— А теть Шура Карпенкова, — сказал Митя.

— Ы-и-их, больная она тоже! — пожалела старушка. — А я ее помню, когда она еще девовала — хорошая была, и коса — ут такая!

— Болеет, — вздохнул Митя.

— Дак тут его, чобору, моя детка, не будет! — как будто спохватилась старушка. — Энто туда, к Урупу.

— Наверно, там и нарву, — согласился Митя. — Спасибо!..

«Ну что, стыдно? — говорил он себе, уходя и снова спиной ощущая на себе взгляды. — Вот так тебе, брат, с твоими нездешними замашками — бегом от инфаркта. Конечно, разве это по-крестьянски — нáсаться по степи без всякого толку!»

Он подумал, что дома, и верно, много всякой работы, но попробуй-ка отбери ее у мамы!

Чего только не переделал Митя, когда был мальчишкой, во всем помогал; мать перед соседями им гордилась, все говорила: «Посмотрел бы отец, какой из Мити вырос помощник!» Но теперь она почему-то ничего не давала Мите, никакой работы — может быть, оттого, что сама привыкла вертеться с утра до ночи, лишь бы не сидеть сложа руки, лишь бы не думать о нем, о Мите, да о сестре. Как-то странно — мама жила в громадном доме, но все у нее блестело, все было вымыто, вычищено до блеска, накрахмалено — все будто в ожидании было: вот-вот вернутся в дом дети... Но оставались никому не нужными громадные эти пуховики, которые дыбились на кроватях почти до потолка — Митя все мотался туда-сюда, и в Москве они то сначала ютились в плохонькой комнатенке у Наташиных родственников, то жили теперь который год в старом деревянном доме, который уже давно должны были снести, — они и согласились на квартиру в нем лишь потому, что перед сносом им должны были дать две комнаты в новом. И несколько лет в общежитии жила в Краснодаре Митина сестра, только что закончившая вечерний институт, и мама посылала ей письма до востребования.

И громадный огород тоже стоил маме трудов, и здесь тоже все было продергано и прополото, и каждый клочок земли был ухожен и чем-то занят, и по картошке, которую сажала мама между деревьями, шла еще кукуруза, а по кукурузе вилась фасоль, и здесь, и там тянулся укроп, хрен зеленел в углу тугими листьями, и висел на плетне буйный хмель, и была специальная грядка гороха, которая почти всегда пропадала, — сажала мама на тот случай, если приедет внук, — и все это мамины руки, все это ее спина. И она сушила яблоки и абрикосы, в печке на золе пекла груши, солила, мариновала, закрывала в банках компот, чтобы всю зиму потом ходить на почту сдавать посылки да таскать на автостанцию зашитые белым холстом корзины, провожать людей с передачами для Татьяны да Мити...

И был у мамы большой цветник, тоже, как и огород ее, многоярусный, и чего здесь только не тянулось к щедрому солнцу, чего только почти круглый год не цвело, и курортники приходили к ней смотреть георгины, и из дальних концов станицы шли меняться семенами да клубнями; некоторые маму так и называли: Марья-цве-

тошница. И у Мити с детства осталась привычка к цветам; и когда случались деньги, он набирал их где-нибудь среди суеты у метро в Москве или на роскошном южном базаре, и всегда удивлял теток тем, что знал, как любой из цветков называется, и смело вступал в разговор о том, как лучше держать цветы, чтобы стояли подольше, да стоит или не стоит бросать в воду сахар, да что теперь можно кидать вместо аспирина.

— А вы, что ж, сами?.. Откуда знаете? — спрашивали у Мити.

И Митя ждал этого вопроса и говорил как бы между прочим, но с внутренней радостью:

— У меня мама — цветошница!..

Но, как бы отделяя ее от всех тех, кто стоит на базаре да выдергивает из ведра по цветку — ты им на хороший показываешь, а они тянут который похуже, — да деньги то и дело пересчитывают: бумажки в один карман, мелочь — в другой, Митя все-таки добавлял каждый раз, гордясь:

— Только она не продает цветы — для себя...

Тогда он еще и подумать не мог, какой стороной вдруг обернется для него мамино увлечение цветами...

«Наверное, маме просто необходимо, — подумал он теперь, — и подниматься до света с больной головой, и с мокрой повязкой на висках полоть картошку, и, задыхаясь от жара, томить груши, и на коленях скрести полы, и таскать на почту эти тяжеленные посылки с бланком, который уже заполнил соседский мальчишка; наверное, это необходимо, чтобы тянулась вверх среди картошки кукуруза, чтобы цвели цветы и рос этот на всякий случай посаженный горох, дом блестел бы только что покрашенными ставнями, как будто кого-то ожидая, — иначе как не затосковать маме, как не расслабиться да не слечь. Наверное, необходимо, потому что все это вместе для нее и есть — ждать...»

Вчера Митя полдня убеждал ее, что полоть он не разучился, днем прополет, пожалуйста, и огурцы и все остальное, заодно и позагорает; и сегодня он встал рано, в половине шестого, а мама уже успела по холодку прополоть все то, что он вчера собирался потихонечку сделать за день...

Из жесткой травы у дороги, испугав Митю, выпорхнула перепелка, тут же неловко упала, запрыгала, волоча крыло, и Митя невольно сделал за ней шаг и, тут же остановившись, улыбнулся.

«Знаю, знаю, — сказа он перепелке, — не нужны мне твои детишки, я пошел, а ты собирай их... Зачем ты их к дороге вела?»

Перепелка все старалась, подпрыгивая, все делала круги, задевая траву крылом, а Митя быстренько пошел дальше, чтобы ей потом меньше работы, оглянулся — теперь она сидела, притихнув, но к птенцам пока не летела, продолжала хитрить.

Митя засмеялся и кивнул перепелке издалека, повел головою вбок — туда, где в траве должны были остаться ее малыши: иди, мол, не бойся! — и ему отчего-то стало радостно, на него снова накатило ощущение внутренней полноты, какого-то в эту минуту почти ощутимого физически душевного равновесия.

Он остановился, оглядывая и траву у себя под ногами, и степь вокруг, и высокое небо и как будто благодаря окружающий его сейчас утренний мир и за ласковую его тишину, и за красоту, которые обновляли душу, возвращая ей и свежесть чувств, и ясность полузабытых ощущений.

«Жадный мы народ, — сказал себе Митя, — неуемный, никогда мы не замрем, чтобы шепнуть себе потихоньку: «Вот сейчас я, несмотря ни на что, счастлив!..»

И опять бесшумно, как степной орел, стремительно пронесся к земле большой самолет...

Митя остановился у края обрыва.

Внизу были рыжие кручи, поросшие бурьяном и травами, голые пятачки чернозема, провалы и трещины, а потом большая зеленая площадка с еще одним ярусом круч, под которыми далеко внизу билась и кипела желтая вода с белыми гребешками на острых волнах.

Слева и справа по реке рябили перекаты, блестели заводи, рассекали мутную воду маленькие и большие островки, поросшие тальником да кугой, и русло то спокойно лежало среди зарослей, растекаясь на рукава, то собиралось снова и узкими и тугими дугами обходило крутые выступы рыжих круч.

Митя стоял довольно высоко, и шума воды ему не было слышно, даже около плотины желтые буруны кипели и подпрыгивали совершенно безмолвно.

А под ногами у него рос чабрец.

Он был низенький и густой, и Митя срывал его пучками и складывал в авоську, приминая, чтобы вошло больше. На ладони у него оставались серо-зеленые полосы от размятой травы и от земли, которая попадала в руку, когда чабрец вырывался с корешками.

Митя подносил серо-зеленую эту ладонь к лицу. На ней был терпкий запах летней степи.

Набив чабрецом авоську, Митя еще постоял, глядя на реку, на сверкающие ее излучины, на черные осыпи у себя под ногами, на рыжие кручи. Чуть слева от него, внизу, на обрыве, под которым на Урупе всегда была яма, уже сидел мальчишка, и отсюда он казался совсем крошечным, рубашка его белела среди травы неярким пятном.

«Ну вот, ты будешь не один», — сказал себе Митя.

Он и раз и другой проследил глазами то расстояние, которое отделяло его от мальчишки, как бы намечая себе дорогу, потом прыгнул вниз, на черную осыпь, и она поползла у него под ногами, но он уже скакнул ниже, еще и еще, и скачки получились один длиннее другого, это были какие-то гигантские шаги, которыми они с Толиком, еще пацанами, перескакивали здесь с кручи на кручу; и теперь Митя еле успевал взглядом наметить себе внизу пятачок, от которого можно оттолкнуться, прыгал и приседал потом и одной рукой хватался за траву, чтобы удержаться подольше, выбирая следующий уступ. Очутившись на краю высокой кручи, он бросился вбок, побежал по крутому склону, обрываясь, круша кедами и осыпая сухую глину, и начал сползать, царапая ладонь, которой все пытался задержаться, и ноги у Мити уже подрагивали, и ему начинало казаться, что какая-то сила заставит его сейчас оторваться от крутого склона и выпрямиться и вдруг бросит его вниз головой...

И тогда он прибег к испытанному еще с детства способу и потом, перестав съезжать, перевалился на бок и свободной рукой провел по своим вьетнамским штанам, под которыми саднили царапины.

Продолжая лежать на боку, Митя поглядел на мальчишку.

Тот сидел все так же к нему спиной, — наверное, шум воды снизу заглушал шорох под ногами у Мити.

Митя привстал и дальше начал спускаться уже помедленней, вышел потом на тропинку, которая вела вдоль реки, и пошагал к обрыву.

Теперь мальчишка увидел Митю; он смотрел на него, слегка повернувшись, и продолжал откусывать от большого яблока, которое держал обеими руками.

Мальчишка был, кажется, знакомый, только Митя не знал чей. Вчера, когда он шел проведать крестную, он тоже встретил этого мальчишку; тот стоял среди улицы с жидкой хворостиной в руке и хлестал ею по тугим бокам большого красного петуха, и петух не отступал, а только подпрыгивал, клокоча и задирая вверх голову с гневным глазом, и тяжелый его гребень покачивался, и тряслась малиновая борода.

— Зачем дразнишь? — строго спросил Митя, замедляя шаг.

— А я его и не дразню, — возразил мальчишка очень спокойно. — Я этого кочета просто лупцую.

— Еще хуже, — упрекнул Митя. — Что он тебе сделал?

— Значит, дядь, сделал, — рассудительно уверил мальчишка, снова отягивая петуха. — Знаете, как он меня бил до прошлого года?.. Он и щас не уходит, вот видите...

И Митя лишь руками развел, удивляясь странным этим счетам, которые сам он уже успел позабыть, и пошел, смеясь, а петух все подпрыгивал перед мальчишкой, все не уходя, но и не решаясь больше напасть.

Теперь Митя увидел, что пазуху у мальчишки распирает от яблок, нижний ряд уходил под рубахой даже за спину, и Митя догадался, что это за яблоки, и, подмигнув, по-свойски спросил:

— Уже успел, говоришь?..

— Я немножко, — сказал мальчишка, глядя на Митю дерзкими зелеными глазами.

— Слушай, тут и сейчас яма?

— С ручками, с ножками, — серьезно сказал мальчишка.

— И с кочережками? — уточнил Митя.

— И с кочережками! — так же серьезно согласился мальчишка.

— А карчей тут нету? — продолжал расспрашивать Митя, глядя на мутные буруны, которые стремительно неслись, закручиваясь у берега в тугие воронки. — Ничего вода не притащила?

— Не-а, дядь... Чистенько!

— А ты купался?

— Да каждый день, дядь, всю жизнь...

— Ты-то, конечно, — неопределенно сказал Митя, глядя на облупленный его нос, на черные от загара плечи.

— Что, дядь, промерить? — Зеленые глаза у мальчишки зажглись.

Митя вспомнил, что у них это тоже считалось доблестью, промерить воду для какого-нибудь взрослого толстяка: проплывая здесь раньше него, как будто вместо него подвергая себя опасности, ты в собственных глазах становишься храбрее.

— А плавать умеешь?

Мальчишка только сплюнул и отвернулся с независимым видом.

— А сколько тебе?..

Мальчишка уже высыпал на траву яблоки, вынув рубаху из штанов, и они покатились по траве, а на животе у него, когда он стащил рубаху, Митя увидал круглые отпечатки и прилипший к телу зеленый лист.

— Не смотрите, дядь, что я маленький, — сказал мальчишка. — А так — скоро десять...

Митя развел руками:

— Большой человек!

Мальчик подошел к обрыву, заглянул вниз и стал отступать спиной, чтобы разбежаться, потом остановился и спросил доверчиво:

— Дядь, а вытащите, если буду тонуть?

Митя поднял руку:

— Стой, может, лучше не прыгать?

— Да не-е, дядь, — потянул мальчишка, тут же успокаивая его. — Я и без рук могу... это я так...

— Вытащу, конечно, — пообещал Митя. — Погоди, я вот даже разденусь.

Он быстро снял кеды, стащил штаны, оставшись в плавках да в легкой рубахе-распашонке, подошел к обрыву и остановился на страже, а мальчишка разбе-

жался, подпрыгнул и, дрыгнув ногами, бросился вниз головой, и еще раз дрыгнул уже на лету, — кажется, это было «козликом».

В воду он вошел, почти не ударившись животом, и почти без шлепка, без всплеска, тут же вынырнул и, поднимая руки над бурунами, закричал Мите:

— Смотри-и-ить!..

Он снова скрылся под водой и вынырнул уже подальше, его быстро сносило, и он, словно подпрыгнув вверх, глотнул воздуху, и опять остались над бурунами только ладони, а потом юркнули вниз и они, и, появившись снова, он закричал уже издалека:

— Не доста-ю-ю!..

Его относило далеко, он старался на совесть, и Митя сказал себе: «Ну теперь тебе грех, брат...»

Мальчишка медленно карабкался на обрыв, полз по крутяку, поглядывая на Митю издалека, словно приглашая следить за ним, а Митя сел на краю обрыва, опустив ноги над водой и задумавшись.

Он уже несколько дней собирался прыгнуть с высокого этого обрыва, сидел здесь утром и вчера, и позавчера, и потом уходил, так и не прыгнув. Мутная вода, говорил он себе, совсем грязная, ну куда это, в такую воду? И он понял, что боится прыгать, и вчера дал себе слово прыгнуть сегодня обязательно, какая бы там вода ни была, хоть слеза, а хоть сплошная глина, и прыгнул бы, чего там. А тут мама утром с этим своим дурным сном, и крестная, конечно, тут как тут — тянули их за язык!..

Странно, мама почти во всем понимала его, и, правда, она очень тонко все чувствовала, несмотря на то, что не умела и расписаться как следует; часто поражался Митя и удивительной щедрости ее, и доброте, и пониманию красоты, и особому какому-то деревенскому такту, который был, может быть, чуть грубее и проще, но куда человечнее и искреннее того, что скрывается порой под заученной улыбкой и интеллигентными словами; поражался и многому другому, что составляет достоинство человека, особенно почти отрешенной от себя ее справедливости; он знал, что и правдоискательство его — от нее, от мамы, и воображение — тоже от нее... Воображение, конечно, вот в чем дело! Оба они тут хороши!..

Но ведь могла бы мама и промолчать, скрыть, при-

снилось там что-то — и ладно, мало ли что человеку может присниться!

«Нет, — подумал он, — мама лишь рассказала мне сон, а я взялся размышлять. И смотри-ка, вон сколько всего уже передумал, и я ведь только скрывал это от себя, а сам еще утром, когда услышал об этом плохом сне, тут же раздумал отсюда сегодня прыгать. Тут, брат, тебе целый механизм с обратными связями и с чем хочешь...»

Посмеиваясь над собой ли, над мамой ли, он представлял: сидят себе мама и крестная и рассуждают, что он, Митя, хоть и совсем взрослый уже, а все такой же беззаботный да, как раньше, доверчивый.

Мама говорит: «Спрашиваю: «А чего ж тебе Наташа положила с собой в дорогу?» — «А ничего, — говорит, — я — в вагон-ресторан...» От так бросит вещи и пойдет в этот ресторан, будь он трижды неладный, да поел, пришел, а вещей уже и след простыл...»

И крестная добавляет: «А то, думаешь, не украдут! Это у нас раньше, поедешь за солью после войны, крючками узлы вытягивали, а сейчас и уркаганы вон какие образованные, по десять классов, да в чистом — и не подумаешь!.. Он бабы рассказывали: «Ехал, — говорят, — человек с женой, дети. Ну и еще ж какой-то к ним подсел. Подсел же и говорит: «От жуликов у поездах развелось!..» А человек этот: «Да ну, гдей-то они?.. Давно усех уноймали». Ну спорить же начали: этот говорит: «Нема», — а другой: «Сколько хочешь!..» Потом этот же человек вышел кудай-то там, а тот, что про жуликов, жене его и говорит: «От он не верил, а давайте-ка поглядим, что будет делать, когда увидит, что чемодана вашего нету?!» Ну жена ж у-то смеется: «Га-га!», дети — со смеху: «Давайте!» А он берет чемодан. Да у-то и все!.. Приходит же этот человек; жена к ему: «А гдей-то наш чемодан?..» Он кинулся, а потом и говорит: «Дура ты, дура!.. Да рази не видела, что он жулик?..»

Мама рассуждает: «Да этот человек, хоть, видишь, какой спокойный, связываться не стал... А наш Митя? Да он же обязательно его догонит да за чемодан, а тот вытащит ножик да пырнет...»

И крестная поддакивает: «А то не пырнет?..»

Это же в нескольких сериях кино снимать можно, сколько всего им представится, пока они вот так посидят да повздыхают! А потом — всякие сны, потом: «Да ты, Митечка, поосторожней, сон про тебя плохой...»

А за всем этим — беспокойство, вечная за детей тревога, вот что такое плохой мамин сон!.. И желаешь ты того или не желаешь, а святая эта тревога хранит тебя — вон как хитро это жизнью устроено!

«А я, пожалуй, приду-ка, да обниму ее, да извинюсь», — сказал себе Митя, и ему стало очень спокойно и радостно оттого, что он так вот просто все смог очень хорошо и, пожалуй, правильно себе объяснить.

Он встал и, снимая с плеч рубашку, смотрел на мальчишку, который шел, держа сложенные ладони внизу живота, и нарочно постукивал зубами, как будто пугал Митю, которому предстояло то же самое; и Митя глядел на его мокрые, взъерошенные волосы, на измазанный в мутной воде подбородок, с которого еще падали грязные капли, и ему подумалось, что мальчишка сядет сейчас на краю обрыва, и съест еще неспелое яблоко, и бросит в воду огрызок, и сам не будет сейчас знать, как он счастлив, поймет это он только через два-три десятка лет...

— А вода... не грязная? — спросил Митя.

Мальчишка искренне удивился:

— Да вы что, дядя?

— А яблоко дашь потом?

Тот небрежно дернул плечом:

— Мои, что ли?.. Берите хоть все.

Митя встал на краю обрыва лицом к воде, чтобы тело ощутить, потянулся до хруста, улавливая в себе все-таки легкую дрожь.

— А ты меня вытащишь? — спросил, откашлявшись и через силу мальчишке улыбнувшись.

— Не-е, что-о вы! — покачал головой мальчишка. — Вы, дядь, наверно, тяжелый.

— В общем-то, да...

Мальчишка вдруг посмотрел на него так, словно увидал впервые.

— А вы не летчик?

— Я?

Голос у Мити дрогнул, сердце замерло на секунду, ударило сильней.

Тот все смотрел на него, смотрел пристально, как будто с надеждой:

— Не летчик, дядь?

Построжавшее вдруг лицо мальчишки готова была

осветить радостная улыбка. Митя понял это, он словно уже увидел счастливую эту улыбку восхищения, и сердце его снова перебилось, он сказал, пытаясь взять себя в руки:

— Н-нет, понимаешь... Я — нет.

Глаза у мальчишки разом потухли, взгляд, скользнувший по Мите, сделался не то чтобы равнодушным, а слегка снисходительным, и Митю вдруг тонко тронуло ознобом, и душа его трепетом зашлась не только от нахлынувшей снова скорби — зашлась от внезапного вдохновения, в котором боль стала вдруг озарена высоким смыслом непрерывности жизни и непобедимого ее торжества. «Нет, — подумал он, — мы все равно остаемся на земле, просто этот пацан еще не знает, что и в нем теперь живет Толька, а мы остаемся; то, чего мы сообща достигли, остается, дух человеческий остается жить и память, чтобы обращаться к ней и черпать верность и силу; а мы остаемся в грохоте стальных машин и цветении трав; и навсегда остается страна нашего детства, в которой после нас поколение за поколением поселяются другие мальчишки, и навсегда остается Родина, которая хранит и наши дела, и помыслы, и хранит могилы своих сынов и светлую память о них, и хранит все: строгий прищур того, кто уже ушел, и улыбку живущего, и черты тех, кто родится потом, после нас...»

Мальчишка позади хрустнул яблоком, звучно потянул в себя и брызнувший сок, и капли воды с губ.

— Ладно, — сказал Митя, преодолевая волнение и переходя почему-то на тот джентльменский язык, которым любили говорить они с Толькой. — Я постараюсь не поставить тебя в щекотливое положение!..

Тот вытянул шею:

— Чи-о-о?

— Того! — сказал Митя. — Смотри, как надо прыгать!..

Он отошел не очень далеко, и разбежался, и почувствовал, уже отрываясь, как под ногами у него вздрогнул обрыв, потом близко увидел мутную воду с белыми гребешками, как о самом главном лихорадочно вдруг думая, что подбородок будет у него такой же грязный, как у мальчишки, потом вода обожгла всего его острым холодком, а живот припекло, все-таки шмякнулся, и он, крепко зажмурившись, как будто уже этим защищая себя от удара, вытягивал под водой руки еще и еще, и

только одним пальцем коснувшись чего-то шероховатого, сказал себе: «Хватит, давай-ка!» — и пошел вверх, выкинулся из воды стремительно и, выныривая еще, сильно мотнул головой, залихватски откидывая с лица мокрые волосы, — когда они уже носили чубы, всегда так выныривали, мотнув головой, — и солнце сверкнуло в глаза сквозь капли, тугая волна ударила в ухо, вода пахла сырой глиной, и Митя поплыл, сильно загребая и набирая в рот и фонтаном выплевывая, уловил в себе нарочитость, с которой он все это делал, в свою очередь мальчишке показывая теперь, на что способен, и опустил ноги, работая одними руками и глядя вверх на обрыв.

Мальчишка стоял, повернувшись к нему белым пятном пониже загорелой спины, выкручивал трусики...

1970—1971

КОНЕЦ ПЕРВОЙ СЕРИИ

1

Электричка гукнула, отходя, отпугивая тех, кто перебегал перед ней на другую сторону, и он, оглядываясь, увидел позади неплотную, но длинную — уже втянутую от платформы в проспект — толпу, всю на одно — обветренное холодами — лицо.

Подрагивали в морозной роздыми брезентовки с воротниками торчком, захватанные полушубки и ватники, покачивались солдатские ушанки, плыли платки и кепки, выныривали и скрывались тут же чулком закатанные на лбу шерстяные шапочки сварных, и по стертой до блеска горбатой наледи чиркали глухо десятки ног — растоптанные валенки и сбитые кирзачи, и войлочные ботинки, и вон где-то там не спешат унты из собачьего меха, а рядом сиротятся резиновые ботики.

Он шел первым, и все как будто торопились за ним, как будто он вел их; и, отворачиваясь, он самому себе усмехнулся, потому что и в самом деле мог бы вести примерно столько, да лет пять назад не захотел, и правильно сделал.

Тогда на последнем году нашили ему старшинский галун, и он понял, что будут уговаривать на сверхсрочную, и не ошибся, и отказался сразу и напрочь — к нему после этого даже относиться стало похуже стройбатовское начальство. Но разговоры о сверхсрочной и вся эта агитация остались у него в памяти близко, и он иногда припоминал все, и тогда душу его шевелило что-то, смутно похожее на радость, и он был доволен — как будто рассматривал награду.

Теперь он первым вышел на маленькую площадь перед кинотеатром, где стоял памятник строителю-вете-

рану с шапкой из снега на чубатой голове, и прибавил шагу еще, повернув к гастроному.

Надо бы забежать и в хлебный, да это потом, в хлебном очереди никогда почти не бывает, зато пол-литра взять в гастрономе через пять минут не протолкнешься. Тут всегда после смены давка.

Самому пить не хочется, да только как же с незнакомым человеком без бутылки поговоришь — оно и не получится ничего. Правда, Зубр этот, Виталий Сергеевич, может быть, и непьющий, да только навряд — интеллигенты в очках и шляпах нынче тоже хлещут ее будь здоров.

Двери в магазин, несмотря на холод, были распахнуты, в тамбуре уже стояли ребята кучками, и на подоконнике сидел бригадир Петька Глазов с дружками, видно, уже успели сброситься, теперь покуривали — за этими никогда не поспеть.

Он кивнул Петьке, и Петька дернул лобастой головой и подмигнул — всегда всем подмигивает, как будто договаривается о чем-то. Ему, может, иначе и нельзя, ему и верно со всеми ладить надо, потому что из жуков жук.

Носком валенка ткнул в нижний край внутренней двери, и половинка ее с выбитым стеклом со скрипом бросилась туда и обратно. И те, кто за ним шел, тоже так: кто локтем придержит, кто плечом подтолкнет — с мороза неохота и руку из кармана вытаскивать.

Очереди уже выстраивались и у касс, и вдоль прилавков, но он успел почти первым, два восемьдесят семь назвал с разбегу, но потом вернулся и, подавая мелочь сбоку поверх стекла, добил до «Столичной».

Разница — пустяки, да все человеку приятнее будет — вроде, если «Столичная», ему и уважения больше.

В очереди в отдел было человек пять, но около переднего вились дружки, зубоскалили с этой страшилой Нинкой, с продавщицей.

Тот, что брал, спросил:

— А водка свежая?

Нинка игриво заудивлялась:

— Как это — свежая?..

— Да вот вчера три бутылки у тебя взял, выпил, дак стошнило... Видно, несвежая была!..

Эти зареготали, а Нинка так и присела за своим прилавком.

Конечно, чего ей спешить? Она спешить не будет.

Она и бетонщицей была — не больно торопилась. Семен Волков не знал, как ее сбыхать. Тут-то послаще — вон уже раздобрела как!

— Ы, ты-ы! — сказал он первому, задирая голову над стоящими впереди.

— Ой, Коля Громов опять торопится, — запела Нинка, увидев. — И куда ты всегда торопишься? Не женился еще, Коль?

Эти первые уставились на него, один кивнул — только незнакомый что-то. Он отвернулся, ни слова не говоря. И когда брал поллитру, на Нинку не смотрел тоже, хоть она все тараторила, — и все: женился или нет — что у нее, думает, то у всех на уме.

Отведя полу бушлата — сменял осенью у демобилизованного солдата на совсем новенькую «москвичку», потому что к бушлатам этим еще в стройбате, да и после, когда на стройке донашивал, очень привык, — на ходу сунул бутылку в карман ватных штанов, но там оказалась рулетка, не полезла бутылка; а когда стал перекладывать в другой карман, носом к носу столкнулся с начальником участка своим, с Шидловским.

В хорошем полушубке Шидловский, шапка на нем из пыжика, в кулачке перчатки зажал — сверху шерсть, а на ладонях — кожа, такие перчатки. На работу всегда, как к бабе, ходит.

Остановился, повел головой, и глаза все шире, как будто затем туда-сюда и водил, чтобы вытаращиться получше.

— Что это вы, Громов? — спросил как будто даже с испугом. — Вы же у нас, кажется, не любитель? — Наклонился поближе, двумя пальчиками из кулачка с перчаткой пуговицу на бушлате потрогал. — Или, может, горе какое?..

И голос — кы-ык дал бы по морде! — такой участливый, будто скажи, что горе, — заплачет.

Громов разом вспотел, захотелось лоб обмахнуть — бутылка и во второй карман никак не влезала. Промычал что-то — и сам бы не объяснил что.

— А то зайдемте ко мне, — Шидловский ласково предложил. — Жена чего-нибудь вкусненького сообразит, она у меня на этот счет!.. Посидим, побеседуем... Глядишь, и на душе у вас посветлеет.

Личико у Шидловского под мохнатой шапкой почти игрушечное: щечки такие румяные, зубки, когда улыб-

нется, маленькие, ровные, белые такие пребелые зубки, а глаза под тонкими бровями не то серые, не то голубые, остренько так, внимательно смотрит из-под очков, и весь он против Громова такой собранный, такой чистый да аккуратненький...

Голову наклонил, скосил глазки, и в них непонятный какой-то смешок — смотрит на Громова, ждет...

Теряется Громов, не знает, что ему делать, когда Шидловский вот так. Это как в дурном сне: мучает тебя, бугая, кто-то злой, маленький, совсем никудышный — размахнись, от него только мокрое место, да нет, не размахнешься, оцепенел, только головой по подушке с боку на бок да скрип на зубах...

— Так, может, не откажете в любезности, Громов?

— В город я, — выдавил он, почти изнемогая. — Дружок меня там ждать будет... Человек один... Познакомиться...

— Что ж, тогда не настаиваю, — пожал Шидловский плечами. — Только мой вам совет: на эту штуку, — глазами стрельнул на карман бушлата, куда Громов, наконец, поллитровку определил, — налегайте не очень. Как раз, может быть, завтра у нас с вами работа — к Степан Никитичу объясняться пойдем...

И опять Громов замычал, и лицо прямо-таки повело, словно от нестерпимой боли.

— До завтра, Громов...

Он выдавил:

— Ыгы...

Вышел из магазина и бушлат на груди рванул, и жиденький шарф на шее раздергал...

С этим Шидловским у них закавыка вышла.

Когда отдали их управлению строить коровники в Микешине, Шидловский предложил сколотить комплексную бригаду побольше, да тем и обойтись. Начальству что — еще как согласилось: летом и своей работы полно, вся стройка, считай, летом, к зиме — вся сдача. Бригадиром сунул туда Шидловский его, Громова, сказав, что мужик надежный, что нянек ему, Громову, не надо, что даже и без мастера обойдется — не впервой. И он, дурак такой, сначала даже обрадовался: фронт большой, склад, договорились, под боком, никто под ногами болтаться, мешать тебе не будет.

Сначала оно и вправду пошло неплохо, хорошо даже, можно сказать, — до тех пор, пока плотники его да ка-

менщики с местным народом не перезнакомились. Потому что тут растащиловка началась такая...

Попьют вечерком в какой избе самогону, а наутро, глядишь, тот хитрячок, что угощал, подъезжает к коровникам на телеге, если еще не на машине, спасибо, и без всякова-Якова начинает на нее кирпич накладывать, битый — в сторонку...

Какая-нибудь бабенка соленых огурцов принесет чашку — обратно с доской под мышкой идет.

Громов стал со своей бригадой и так и сяк — какой к черту хозрасчет при таком воровстве! — да только трудно у него получалось: его ребята давно что к чему понимать привыкли, а с новыми, что из разных бригад, как с бору по сосенке, — никакого сладу.

Эти по двое-трое все особняком, все отдельно, то ржут, то шушукаются, а бригадир подошел — молчок. Будто из часа в час то ж да про то ж: как половýю лагу или стекло — за самогон...

А Шидловский то ли пронюхал про это дело, то ли знал, что так оно и пойдет — воробей-то он стреляный, давно в прорабах, — только попиливать Громова стал: «Нехорошо!.. Непорядок!» Собрание в бригаде провел, всех стыдя и о рабочей чести говоря очень складно.

— Трудно вам, Громов, с таким народцем, — сказал, когда тот после собрания провожал его до машины, обговаривая работу на завтра. — Ой как трудно — понимаю... Не говоря уже об ответственности — совести никакой! Но ничего не поделаешь: помощи не ждите, на стройке сейчас завал... А за коровники за эти с нас со всех, как за наиглавнейший объект, голову снимут...

Тут как раз шифер завозить начали, в день по нескольку машин принимали.

И странную штуку стал Громов замечать: к вечеру шифера много, заметно штабельки вырастают, а к утру они вроде поменьше. Пересчитывать не пересчитывал — куда к черту пересчитать: где одна на одной лежат, а где в прислон составлены, — только с вечера как-то приметил: там травинку бросил на штабелек, тут щепочку, а где пакли шматок прикрепил; если крайнюю шиферину взять — свалится пакля.

А утром и точно: ни травинки тебе, ни щепки на месте, а пакли шматок на земле, и кто-то сапогом вдавил его в глину. Отовсюду понемногу, выходит, взято.

Дело уже к осени было, по ночам подмораживало.

Громов увидел теперь подстывший след от грузовика, который вел к тем штабелькам, куда вчера самосвалы вовсе не подъезжали.

Неужели кто машинами грабит?..

Хотел он дежурство в бригаде установить — сторожа нанять нельзя было, отказали в управлении, — а потом плюнул: дежурный тут как придавит с вечера, так до утра, а ты себе ночью майся, об этом думай.

Последнее время он и так часто оставался в Микешине ночевать, один раз даже пропустил связь с Зубром с этим, Виталием Сергеевичем, а тут привез из дому подушку да старый бушлат, набил стружками матрац и поселился в маленькой бытовочке при коровнике — тут уже и пол был, и двери, только в окна сквозило: стекла в ту пору еще не вставили.

Первую ночь почти всю прислушивался, вставал раза три и в сапогах на босу ногу хозяйство свое обходил, и вторую тоже, но ничего такого подозрительного не слышал и не видел, а на третью — работы было днем через край — уснул как убитый; и почти под утро уже приснилось ему, будто приехали за шифером на машине и грузят, и будто он выскочил, да только догнать не смог.

Оторвал голову от подушки, думая: обидно, что не догнал, хоть и во сне, и там надо было по шее, и вдруг и точно — мотор!

Выскочил на улицу босиком, побежал по мерзлому.

За углом коровника бортовая с пригорка спускается, притормаживает, подмигивает красными огоньками.

— Сто-ой! — заорал. — Кто там?..

Кинулся с пригорка наперерез — и вдруг увидел, что машина вовсе не в город поворачивает, поворачивает она как раз обратно — на соседнюю Знаменку.

До Знаменки дорога — хуже поискать, осенью тем более, а дальше теперь, после дождей, машины и совсем ходить перестали. Значит, в Знаменку поехал грузовик, куда больше?

Он бросился за ним, не раздумывая, уж больно злой был.

Только дурака свалял, что не вернулся сначала за сапогами. Все равно, куда бы ушла машина, если одна ей дорога — в тупик?

А то до сих пор страшно вспоминать, как бежал босиком. Холод собачий был, лужи ледком уже позатягивало. Сначало резало ноги, а потом и замечать перестал,

совсем задеревенели. О сучки да коряги посбивал в кровь — только утром и увидал. Падал несколько раз в темноте, измызгался; как не застудился — и посейчас непонятно.

Догнать машину думал на полпути, есть там один участок, который пройти не так просто. Нет, не догнал, и пришлось отстать, потому что дальше дорога пошла вроде получше.

Мелькнули в последний раз и скрылись за смутно белеющими березками красные огоньки, остались только низовой туман, хлябь да колкие предутренние звезды над головой.

К кому в деревне завернул грузовик, определил он по размятым болотцам. Когда пришел ко двору, селезенка екала, как у того коня, и ноги подкашивались — ходить-то работа у бригадира ходячая, весь материал выбивай себе сам, а бегать не бегал давно, чего бегать.

Машина стояла с притушенными фарами, работала на малых оборотах.

Под крыльцом избы ярко горела лампочка, кружком стояли в свете несколько человек: кто пил, запрокидывая голову, кто похрустывал огурцом, кто цигаркой дымил.

Калитка отворилась без скрипа, его заметили только тогда, когда первого оттолкнул, входя в круг.

Этот, которого он оттолкнул, обернулся с набитым ртом — и Громов замер: Валька, что Шидловского возит, Гринько!

Громов, кажется, успел прохрипеть что-то, в бога, прежде чем хрястнул Вальку в лицо, Валька грохнулся, в глубине двора взлаяла хрипато, рванулась на цепи собака, и кто-то уже замахнулся на Громова, но он и этого успел ткнуть под дых, и этот тоже упал, скрючился под ногами.

С крыльца приподнялся бородатый дед в старой шляпе и в телогрейке на плечах, и на землю попадали у него с коленей шматок сала и луковки.

— Что делашь, что делашь, нечиста сила?!

Широкоплечий мужик приподнял с земли то ли обломок доски, то ли штакетину, отводя ее вбок, шагнул к Громову; и тогда он схватил за черенок прислоненную к крыльцу лопату и, тоже занося ее откинув в правой руке, спиной пошел к кабине.

В кабину забарабанили, когда машина была уже дале-

ко за деревней. Громов притормозил, и Валька тяжело спрыгнул из кузова, плюхнулся в грязь.

— Слышь, Коля, подожди, — жалобно сказал, вцепившись в дверцу руками в обсохлой грязи. — Ну дай поговорим, чего гонишь?..

Он впустил Вальку в кабину.

Тот зажег свет, повернул к себе верхнее зеркало, сунулся к нему разбитой мордой. А потом упал головой в колени.

— Кончай! — прикрикнул Громов.

И Валька заплакал в голос, словно дите.

Теперь его, видно, развезло, он неловко подергивался, умащивая голову на руках, потом приподнимал ее, туда-сюда мотая над коленями, и опускал снова, голосил безысходно, давился слезами горько, так что Громову почему-то стало тревожно, почувствовал, что нет, не пьяные это слезы, хоть и прорвались они у Вальки после стакана водки.

— Больно, что ли? — спросил негромко.

Валька покачал головой.

— Дак чего ж... не баба...

Валька сглотнул слезы.

— Обидно, гадство... Отвези да отвези! А на хрена мне это дело?.. Дрожать каждый раз... Ну в техникум устроил... ну математику помог сдать...

— Кто — «отвези»?

— Да кто-кто? Шидловский!

— Ты!.. Не заправляй! Знай край, понял?..

— Ничего я не заправляю, — сказал Валька, успокаиваясь разом. — Вези в милицию, чего там... И им скажу... «Поезжай, — говорит, — сегодня последний раз, а то Громов на той неделе ночевать в коровник перейдет — тогда все...»

И тут Громов промолчал. Потому что и в самом деле сказал Шидловскому недавно: «Воровство большое, Юр Михалыч... Возьму-ка да переберусь с понедельника».

А сам раньше перебрался, потому что душа болела. Как знал...

Только что ж это получается: собрание проводил, стыдил тут всех: «Матерьял не бережете, воровство развели, стыд и срам... За сто грамм честь советского рабочего продаете... Никогда не придем так к светлому будущему». И про будущее про это — полчаса...

Перемешалось все у Громова в голове.

Отдал Вальке баранку, сам рядом сел. У коровников сказал:

— Поезжай пока, потом разберемся, что ты тут мне наплел...

Да только зря.

Дня три не было в Микешине ни Шидловского, ни Вальки с ним, и он все ждал их, бродил среди работы как потерянный.

А потом прикатила Шидловского машина, и Громов из пустого окна выглянул, прячась за стенку: хотелось почему-то посмотреть на Шидловского раньше, чем говорить с ним начнет, посмотреть так, чтобы тот его не видал...

Только не было в машине Шидловского. И другой шофер сидел вместо Вальки.

— А чего Гринько? — Громов спросил подходя.

— А я почем знаю, чего? — ответил шофер, устраиваясь на сиденье поудобней и надвигая на глаза козырек маленькой кепки. — Рассчитался — вот чего...

— И... куда? — задрожал Громов.

— Да мне вот предлагали в отдел кадров начальником, — лениво начал тот балагурить из-под надвинутой кепки. — Зря не пошел... А то б всех расспрашивал: куда, милок, навострился?.. Километр, он везде одинаковый... И руп тоже.

— А Шидловский где?

— Тут разве нету? — оживился шофер. — Тогда я поехал... Он мне: «К трем в Микешине будь... Может, там захватишь». Теперь к дому надо, на вокзал везти...

— Тоже... со стройки?.. — у Громова сорвалось.

— Ага. А тебя заместо него... Уже и приказ есть. «Заслужил», — говорят. Только вот морда... — наклонился к Громову, спросил с неподдельным интересом: — Тебя никто по ней — кирпичом?.. Не со зла, а так, для интереса... Что крепше?..

— Тебя как человека!.. — обозлился Громов.

— Ну если как человека, то на Черное море едет... Руководящее здоровье поправлять, — хрустнул косточками, закладывая ладони за голову, туда-сюда поводя надвинутым своим козырьком, пропел:

Т-там м-море Черное — песок да пляж...
Увидишь девочку... дак рядом ляжь!

И заржал радостно:

— Хорошо придумал?.. Это я только щас!..

В тот же вечер съездил Громов на стройку, сходил в общежитие к шоферам. Всех троих соседей Гринько застал дома, лежали на койках, рассуждая, куда податься — на танцы или в кино.

— Чего, может, должен тебе остался? — спросил, почти не поворачивая головы, худощавый парень, на волосах которого красовался капроновый чулок — у кого только выпросил. — Считай, что он тебе прощает...

— Да ладно тебе, Валька не такой, — другой в разговор встрял. — Только уехал, точно, по-чудному... «Сестренка, — говорит, — телеграмму дала — мать при смерти...» Мать-то у него на Кубани, а сам — на Восток...

— За живой водой...

— Техникум, дура, бросил — год всего и оставалось-то...

— Там поступит! — махнул рукой парень в капроновом чулке. — Иксплататор пообещал же ему документы выслать...

— Кто-кто? — не понял Громов.

— Иксплататор, — снова аккуратно коверкая слово, повторил тот. — Начальник, которого Валька возил... Тоже работенка была: даром, что на бортовой, а ночь-полночь — нету...

Громов оживился:

— Шидловский?

— Да бог его знает...

Второй подтвердил:

— Шидловский, точно. Я его сразу узнал — вон там фотография его в газете, — приподнимая голову, кивнул на тумбочку. — И статья про него — вон там...

Громов схватил газету, присел в ногах у этого, в капроновом чулке. О чем говорили ребята, не слышал, впился в лицо Шидловского на фотоснимке. Маленькие глаза начальника и с фото смотрели решительно — точь-в-точь такой был Шидловский, когда бригаду Громова в последний раз чехвостил за бесхозяйственность. И столько недоступной строгости было у Шидловского во взгляде, что Громов даже тут глаза отвел, не выдерживая, и будто краснеть начал.

Всегда так, когда Шидловский рядом: так себя чувствуешь, будто он знает то, чего тебе, охломону, не дано знать и, как ни старайся, дано не будет, будто на его плечах — обо всем забота, а ты у него только под ногами

болтаешься — умеет он, прохиндей, смотреть по-особенному строго!

Рядом с фотографией статья. «Жизнь на переднем крае» — так статья называлась. В ней про то, как Шидловский лет пятнадцать назад пришел на строительство, не имея профессии, как работал, не покладая рук, как закончил вечерний техникум, а потом институт, как стал прорабом — да не простым, а каких поискать.

Любят его и уважают, хоть не из добрячков. Потому любят, что справедливый он человек, принципиальный. За славой не гонится, похвалы незаслуженной не терпит.

«Не подкопаешься, понял!» — тоскливо подумал Громов.

— Откуда знаешь... вышлет документы? — спросил у худощавого.

Тот плечами пожал:

— Уши-то есть. Слышали. Он же Вальку провожал, этот ваш друг, да и рассчитывал он его сам. Морда-то у Вальки была — страшно посмотреть...

— Перед этим он, видно, мешок подразвязал с кулаками...

— Ну да... — кивнул худощавый. — Мы говорим: «Может, тебе подкинул кто?..» — «Да нет, — говорит, — с мотоцикла... С другом поехал, а тот выпивши...»

— Брешет, конечно.

— ... а теперь, мол, рассчитываться надо — как пойду?.. Так этот, Шидловский, и книжки его в библиотеку оттащил, чтобы обходную заполнить. И заявление его в отдел кадров — сам... Вальке бы на две недели волокиты, а он — вот... Там правильно про него написано: мужик-то он, видно, заботливый, хоть и вкалывать Вальке приходилось...

Съездил потом в Знаменку Громов, хотел посмотреть, лежит ли в том дворе шифер, да в Знаменке, видно, тоже не дураки живут.

Новый дом — его он увидел в глубине двора только теперь — стоял непокрытый, хоть зима была уже вот-вот, а шиферу и следов не видно.

Раз и другой прошел Громов мимо двора, мимо бородатого дедка в шляпе, который стоял, грудью навалясь на старенькую калитку.

Дедок косился на Громова, и тот возьми да так прямо и бухни:

— Шифер где?

— Какой такой шифер?! — вскинулся дедок. — Ничего не знаю!

— Да я ж вот... морду бил за него... Вот тут и бил...

— Каку таку морду?.. Ничего не знаю!

— А ты с крыльца вон привстал... Закуска попадала...

— Кака така закуска?..

Вот и весь разговор.

2

На лестничной площадке второго этажа дверь слева — как всегда почти — была приоткрыта, но Громов сначала этого не заметил, вздрогнул, когда его окликнули:

— Зайди, Коль!..

— Ну чего? — сказал он недовольно, уже поставив ногу на первую ступеньку выше.

— Да ты зайди, зайди...

— Ну чего? — опять сказал заходя.

Рита стояла, не смея к нему приблизиться, спрятав ладони под мышками, и лицо у нее все еще было бледное, и совсем бескровные губы, только брови над тихими голубыми глазами чернели ярко — накрасила уже брови, Громова поджидая.

И он заметил все это и грубовато сказал:

— Чего вот... на сквозняке.

— А у меня там все закрыто, в квартире, — сказала Рита. — И платок я накинула...

— Вижу, платок...

— Воды нет на твоем этаже, — сказала Рита.

— Откуда ей быть...

— Так и холодной нет...

— Вот гады! — сказал Громов.

— Я потому и жду... Ты приходи. Холодной у меня тоже нет, но горячая — не очень горячая...

— Ладно, — сказал он, — раз нету...

— Я и говорю, — кивнула Рита, и в тихих ее глазах колыхнулась робкая радость.

Громов мрачно сказал:

— Я только... это... Ну, некогда мне...

— Конечно, что ты, — быстренько проговорила Рита.

«Обратает она меня, вот как пить дать, обратает! — думал Громов, поднимаясь на свой, на пятый. — Вода вот, то да это тебе... Точно, обратает!..»

Перед своей дверью он вытащил бутылку, зажал под мышкой и достал из кармана связку ключей, на которой рядом с громадным самодельным, от тепляка, висели три поменьше — от его квартиры. Один из этих трех тоже был самодельный, и замок себе Громов тоже сам смастерил — не потому, что боялся за вещи, никаких таких вещей у него и не было, — сделал потому, что за аппаратуру боялся: вдруг раскурочат?

Заберутся в квартиру чисто по ошибке, а тут, глядь, стоит себе такая штука — и раскурочат или вообще унесут. Вон как у электромонтажников: только отвернулся — уже половины панели нету или узла целиком, если поменьше. Оно и не нужно, может, да берут просто так: вдруг и пригодится это, непонятно что. А ты потом неделями заново все собирай и рацпредложение вноси: как обойтись без того, что украли.

По коридорчику в валенках и в шапке еще прошел Громов до двери в комнату, заглянул: аппаратура была на месте. Только потом стал раздеваться.

Чистые вещи выкинул он сначала из пузатого шкафа белого дерева на кожаный, с высокой спинкой диван, который служил ему и кроватью, потом штаны новые надел, а остальное вместе с полотенцем да бритвой сложил в спортивную сумку. Ритка и купила ему эту сумку. А то раньше ходил он с этажа на этаж, перекинув все через руку, и на него глазели. С сумкой вроде, и правда, глазеют не так, а может, просто привыкли.

— А я чаю поставила, Коль, — сказала Рита, когда он вышел из ванной, все еще вытирая голову краем висевшего на плече полотенца. — И суп у меня есть — правда, вчерашний, и колбаса... Может, поешь? А то вдруг пить будете, чего на пустой желудок?

— Не, — сказал он твердо, — спешу...

— Время-то у тебя еще есть... Почти час лишний.

Рита остановилась перед ним, сложив под подбородком маленькие, в сетках морщин от извести кулачки, глянула на Громова снизу и еще подошла ближе, и кулачки дрогнули, а потом ладони легли ему на грудь, и тоже вздрогнули.

— Может, на секунду останешься, Коль?..

А руки, осмелев, скользнули выше, уже на плечах, на шее эти сухие Риткины руки, и сама она совсем близко, примяла о него грудь, уже не смотрит, ткнулась головой под подбородок, совсем обняла.

— Какой ты хороший в этой рубашке, Коль...

Он ей положил руки на плечи, чтобы отстранить, но так она встрепенулась под его руками, что против его воли стали они мягче и бережней, и задержались, и начали вдруг наливаться ласковой силой.

Приламывая Риту, беря ее левой под спину, он опустил правую руку почти до ее коленей, приподнял легко и пошел в комнату, а она все прижималась к нему тесней и тесней...

...Риту он увидел впервые два года назад, когда перебрался из общежития в этот дом.

Девки из его бригады вызвались помыть в новой его квартире и пол, и окна, но он не позволил, решил все сделать сам.

Только воды не было, как и сейчас, ни горячей не было и ни холодной, и он с двумя ведрами спустился на второй этаж, постучал в одну дверь, потом в другую. Другая — это была Риткина.

Воды он набрал, и Рита, узнав, что один, отвела девочку к соседям и пришла ему помогать, но он не дал работы и ей, только спускался в тот день с ведрами еще и раз, и другой.

Потом они здоровались, да и только, и он все угрюмо отмалчивался. И вдруг Рита стала поджидать его на площадке или за приоткрытой дверью.

— Знаете, Коля, у вас опять нет воды... Подружка прибегала ко мне из дома напротив.

С работы она всегда возвращалась раньше, чем он, но он никогда не подумал бы, что это из-за него, не знал бы, да и все, если бы не бабка Шевченчиха, что живет рядом с Ритой.

— Иди-ка, голубь, сюда, иди-ка, — позвала она его однажды, прежде чем он постучал к Рите. — Иди, что я тебе скажу...

Закрыла за ним дверь, прямо в коридорчике зашептала:

— Ты, может, голубь, сам не понимаешь, потому что здоровый, да дурной, дак я скажу... Знаешь, голубь, где Рита, бедная, работает?.. Вот где моя невестка, дак еще черт-те где дальше. Это тебе — сел на ляктричку, да повезли. И с производства так. А за ними автобус приходит, когда конторских, говорят, уже развезут. Хоть плачь, хоть кричи, на час позже. И все ждут. И она, голубь, раньше ждала... А теперь? Лыжи она себе справила,

да через гору прямиком — как не страшно-то?.. Ты только с бабами поговори, что творится кругом. А чего, голубь, торопится? Бабка Шевченчиха не брешет — тебя ждет!

— Иди ты! — не поверил Громов.

— Куда это мне идтить? — грозно спросила бабка подбоченясь и тут же к Громову нагибаясь слегка и отводя назад сухонькую ладошку. — Я в своёй квартире! Я дома!.. И Петька мой никогда меня невестке в обиду не даст, будь она хоть раззолотая!.. А на твоем бы месте пришла бы я домой пораньше да поглядела, брешет бабка, чи нет?.. У тебя и окна туда выходют, на гору... Там, где дети да эти здоровые дураки спортсмены катаются, это сбоку, а она всегда ближе их — прямо ездит. Там и лыжница проложённая! — И закончила, будто снова искренне удивляясь: — Здоровый, да дурной!

Никто никогда особенно не ждал Громова, может, потому и послушал он бабку, пришел однажды домой пораньше и стал у окна...

Сначала так стоял — в одной руке кусок колбасы, в другой — хлеба краюха. Жевал, возвращался к столу, чтобы в соль колбасу ткнуть, назад приходил, посматривал в окно, посмеиваясь про себя: «Чертова бабка, поверил ей, дурак, понял!» — снова отрывался.

Вечер был ясный, и белые горбы сопки под закатным солнцем алели чисто, в роздыми стоял березняк на вершине, а внизу, на взлобках, уже начинал синеть неплотный туман; и Громов, которому не часто приходилось присматриваться к тихости и красоте вокруг, залюбовался невольно и перестал жевать, и заволновался почему-то; и волнение это усиливалось, когда думал о Рите.

И совсем странное что-то с ним стало твориться, когда увидал на единственной, вдалеке от раскатанных гор лыжне маленькую одинокую фигурку, когда понял, что это вправду она и есть, Рита...

Сначала удивился — все-таки не ждал! — и тут же улыбнулся снисходительно: будто и не было у него сомнения, будто иначе и быть не могло, будто очертя голову и должна была из-за Громова, из-за него, мчаться Рита на лыжах. Как иначе?

И вдруг — откуда взялось! — стыдно ему стало за это свое самодовольство, и пришла радость, незнакомая ему тихая радость; росла она, захлестывала, щемила

душу тревожно и счастливо; и было в ней и забытое ощущение юности и доброты, и нежной жалости ко всему, и почему-то жалости к самому себе — жалости почти до слез.

Он резко отшатнулся от окна, когда Рита почти у самого уже подъезда воткнула в снег палки и, снимая варежки, глянула вверх.

Переполняясь ощущением силы, заходил по комнате крупно, заметался из угла в угол; и ему было некуда деть себя в этой маленькой комнатушке, и некуда было деть свою радость и готовность свою немедленно сделать что-то большое и доброе, и некуда определить свою силу... Тяжелые его руки жадно искали работы; он то отталкивался от стены, то хватался за спинку стула, постоял у белесого своего шкафа, растопыренными пальцами сдавливая угол, и грохнул вдруг сбоку громадным своим кулачищем, и доска хрустнула, проламываясь, а Громов посмотрел на свой онемевший кулак и рассмеялся тихонько.

И вдруг как будто кольнуло: да почему он так?! Разве не могла Рита спешить по своим делам? Может быть, вовсе не из-за него? Что для нее Громов — вот свет в окошке!

И задохнулся от подступившей обиды, от почти ощутимой боли, как будто она ему уже изменила.

Схватил пиджак, бросил, помчался по лестнице в расхристанной на груди домашней рубахе.

А Рита с платком на плечах уже стояла на площадке, облокотившись на перила, смотрела вниз.

Услышала топот, глянула вверх испуганно.

И многое, видать, было написано у Громова на лице, потому что все поняла Рита, заплакала...

Он топтался около нее, не решаясь руку протянуть, чтобы утешить.

— Ну вот — увидют еще...

— И пусть увидят, — тихонько сказала Рита.

А Громов волновался все больше; и, когда вошли в квартиру и Рита захлопнула дверь и стала, прислонившись к ней спиной и глядя на него все еще сквозь слезы, он шагнул к ней, и она рванулась и осталась в его руках, затихая...

Он никогда не спрашивал Риту о том, как жила до него; это уж снова досужая бабка Шевченчиха рассказала ему, что был муж у Риты несамостоятельный,

попивал и ее поколачивал, а потом и девок водить домой начал. Три года назад, перед тем как Рите родить, завербовался, и с тех пор ни слуху о нем, ни духу...

А Рита прощала Громову и молчаливость его, и грубость его иногда, и то, что не спешит он ее на долгое обнадежить.

Все хорошо было у них и ладно с виду, и соседи относились теперь словно к мужу с женой.

Все хорошо бы вроде и ладно, если бы не Ритина дочка Зина.

Возилась с ней сердобольная бабка Шевченчиха, потому что в саду места не было, только через пять лет, по всем расчетам, подойти могла очередь, когда девчонке во второй класс. У нее и оставалась Зина, когда Громов задерживался у Риты, и он сначала даже не замечал ее, даже не думал: есть ли она, нету ли...

А потом однажды остался он у Риты ночевать, и она не будила его утром, потому что был выходной, и Громов проснулся оттого, что кто-то тянул его за волосы.

Когда открыл глаза, увидал, что на подушке рядом с ним сидит Зинка, таращит на него глазенки, что-то бормочет...

А рядом Ритка стоит счастливая.

Что такое случилось с Громовым, непонятно.

Только отнял от волос ручонки, встал, молча ушел.

Рита с тех пор и виду не подает, хоть он и видит — мучается. А у него появилась эта тревожная мысль: обратает она Громова. Женит на себе — это точно!

Хотя почему бы и не жениться ему, если душой к Ритке словно прирос?..

Когда заболела она недавно, Громов не меньше самой ее напереживался. И под окошком в больнице выстоял сколько, и по магазинам, чтоб вкусненького купить, набегался. Сказали Рите, что хорошо бы ей в область съездить, есть там толковый специалист, и Громов тут же без содержания взял, из горла, считай, вырвал, сам Риту повез. А в гостинице мест нет, все забито, какое-то важное совещание, и Громову пришлось искать квартиру для Риты, и он каким-то чудом нашел, самому до сих пор не верится...

Она в те дни так на него смотрела, столько в ее взгляде было добра к ним обоим и жалости, что у Громова сердце начинало как-то странно перебиваться, и он поч-

ти задыхался от счастливой благодарности к Рите, в глазах у него начинало щекотать, и надо было отворачиваться, чтобы незаметно провести по ним согнутым пальцем...

И все-таки мрачнел Громов, когда думал о том, чтобы жениться.

Он и сам бы толком не объяснил, чего он боялся — боялся обмана, что ли, не такого, чтобы Рита его обманула, нет, зачем это ей, а какого-то обмана от жизни боялся: вот пока вроде хорошо, а потом — раз, и на́ тебе, все прахом!.. Все казалось ему, что за минутами скупой радости ждут его дни горя и забот, так уж это устроено, никуда не деться.

Да и все-таки Зинка... Хотя Зинка-то, бедная, маленькая, при чем?.. Сам без отца, без матери вырос, понимать бы многое должен...

Э-эх ты, один мужик Громов, да в нем-то еще десяток!..

3

Он приоткрыл глаза и взглянул на Риту сбоку, но она тут же накрыла их ладошкой левой руки, которая была у него под головой, и он зажмурился, но потом взглянул снова и сквозь подрагивающие ее пальцы снова увидел близко ее щеку с неярким, но горячим румянцем, и все еще затуманенные минутами ласки тихие ее глаза. Он уже вернулся из этих минут, она только возвращалась, и он лежал тихо, как будто дожидаясь ее.

Когда она отняла руку, он покосился на часы, стоявшие на этажерке у противоположной стены, хотел сделать это незаметно, но Рита перехватила его взгляд, попросила шепотом, как будто стыдясь этой своей просьбы:

— Полежи, Коль, успеешь...

— Шидловского сейчас, — сказал он, чтобы как-то объяснить эту всегда пугавшую Риту торопливую его деловитость. — В магазине встретились...

— Помнишь, я тебе про Наташку рассказывала, про Алешину? — заговорила Рита, оживляясь и подкладывая подушку повыше под голову. — Ну, что ездила в область соревноваться?.. Кто лучший маляр, помнишь?

— Дак что?

— Наташка Алешина теперь работать не будет... учить будет по бригадам. Она первое место заняла, повезло, да?

— Ну дак что? — упрямо сказал Громов. — Чего от нее? Я про Шидловского...

— Ну что он не человек, что ли?.. Ну случилось. Ведь и рабочие...

— Ты мне... рабочие! — горячился Громов. — А сама ты украла?

— Не обо мне же мы говорим...

— И я нет... Вот! И то двое...

— Ой, Коля, много ли?

— Других нету?.. Мы что — самолучшие?

— Не лучшие, конечно, да как за людей ручаться?

Самое тут и было больное место...

Видал Громов: кто-то там балуется, ворует... Но зато другой так честность блюдет, что рядом с ним о воровстве и подумать-то стыдно!.. Тот же Петрухин, бригадир, или прораб с соседнего — татарин Рамзанов, или вон Крепкогонов Иван — да мало ли!

Да только в том-то вся и штука: на Шидловского тоже раньше разве подумал бы?..

А теперь Громов и этим временами не верит. Сидели недавно в управлении у начальника, и Громов зырк все да зырк на Рамзанова, мужик-то тот добрый, на него всегда посмотреть хорошо.

А тот перегнулся к Громову через стол, смеется:

— Чего так на меня уставился, Коля-Николай?.. Как будто я украл у тебя что!

С подозрением смотрел на него Громов, выходит, вот оно!

Ритка была единственным человеком, которому он все рассказал, хоть и не ожидал от нее какого-нибудь такого совета, и она все поддакивала ему в его немногословных рассуждениях о Шидловском; но когда она, как ему показалось, принималась защищать начальника, у Громова это вызывало злость, и злость эта ставила все на свои места, и все тогда было ясно и просто.

Крал Шидловский?.. Ну крал. Дак чего ж тут, туда его!..

Брать на себя перерасход, наводить тумана́ в конторе? С таким, мол, народом и правда... Сами не дали сторожа, чего теперь без толку ляскать? Теперь подписать

убытки, да и дело с концом! В первый раз, что ли? Все грамотные.

А тогда и самому ножик в карман, да поздно ночью на край поселка...

Работягу, правда, жалко, у него и так денег мало. Ну зато государство богатое. Решетку вырвать, что у кассирши, да аванс для всего управления — в карман.

Нельзя, что ли, если Шидловскому можно?..

И опять вспоминал Громов и то собрание в Микешине, на котором его бригаду стыдил Шидловский за растащиловку, и тот случай, когда комсомольский патруль у старика Богданова досточки в электричке поотбирал...

То и воровством-то считать нельзя — так, работал старик дома, больше для удовольствия. Он краснодеревщик сам, а тут, в опалубщиках, работа грубая, ума, что там ни говори, много не надо. Вот старик Богданов досточек в перекуры напилит, свяжет ладненько — и с собой. Тому, глядишь, полочку, этому — шкафик или еще что. У кого день рождения в бригаде, начнут мараковать: что подарить бы? А у Богданова уже есть подарок: «Я ему, — говорит, — стульчик для пацана подарю, с дырочкой».

Оно такому стульчику цена — пятак в базарный день, да попробуй в магазине достань.

А денег Богданов-старик никогда не брал, только и того, что бутылочку иногда раздавит с ребятами. А когда так сам даже бутылочку эту и возьмет. «Давай, — говорит, — обмоем шкафчик, чтоб крепко стоял, да ты не шарься, не шарься, знаю, что денег нет, откуда им, когда получка рядом, эх, молодежь, это мне вот старуха на два восемьдесят семь дала тройку, куда их, на тот свет с собой, что ли, — дак там ларьков нету». Он добрый, старик Богданов, денег с тебя — никогда. «Это я, — говорит, — на память!.. На память!..»

В тот раз ехали на электричке после смены — и вдруг шепоток, говор: «Комсомольский патруль идет, у тех, кто что-нибудь с производства взял, отбирают...»

Богданов-старик скраснел, жалкий такой стал, оглядывается — связанные досточки у него меж коленей стояли.

А ему молодежь:

— Под лавку, Степаныч, — и все дела!..

Сами под скамейки и затолкали.

Тут этот патруль.

Старик сидит, смешно посмотреть, сам вроде в окно, а одним глазом на комсомолят.

Те проходят уже — и вдруг Шидловский. Откуда и взялся, все время на «коробочке» домой ездит, а тут — на тебе! Или знал, что патруль, да нарочно?

Громко так:

— Что ж, Макар Степаныч, и неловко говорить, да как иначе?.. Доски-то ваши покажите...

Богданов достал, сидит, руки у старика трясутся, а ребята из патруля обступили, шумят: «Как фамилия? Из какого управления?.. С какого участка?»

Шидловский сам:

— И мне стыдно, и моя это недоработка — с моего участка, пишите!.. Пишите, пишите: участок Шидловского Ю. Эм.

И вид такой виноватый, будто досточки эти в перекур они со стариком Богдановым вдвоем связывали...

«Ах ты, — думал Громов, у которого на этом месте, когда вспоминал, кулаки сжимались, — ах ты, сукин ты сын, притвора, старику Богданову, значит, досточку взять нельзя, чтобы какому-нибудь пацаненку — стульчик с дырочкой, а тебе шифер мотать целыми машинами — это можно? Нет уж, гад, отвечай по всем советским законам!»

По-дурному оно, конечно, Громов сделал, что сразу не заявил куда надо. Да оно и теперь не поздно. Пусть разбираются, за это небось в обэхээсе получку и получают... Или комиссия какая от партийного собрания пусть займется... Или еще кто.

«Я вот сказал — и все дела».

Но только уходила, терялась ясность, когда он пытался себе представить, что дальше будет. Другого кого за милую бы душу за одно место взяли, а с Шидловским... О нем в газетах вон как пишут... И то он тебе, и это... Как в броне, гад!

Да и как с ним с глазу на глаз?

«Что же это вы, товарищ Громов?.. Вот уж не думал, что такой поклеп на меня возведете!»

И бровью небось при этом не поведет, и в глазах будет строгость — та, словно на нем, на Шидловском, и вся ответственность, и заботы все, а ты — пешка...

Вот тут бы не растеряться!

А какой из него, из Громова, говорун?.. «Боже мой!» — как Ритка говорит.

Да и закон потом... Знал Громов: полгорода у Шидловского в друзьях.

Так что закон — он тоже, как повернуть. Смотря кто за него возьмется. А то еще и самому Громову потом не поздоровится, вздумай Шидловский весь перерасход, все эти кражи на него перевернуть. А что ему стоит? Он ведь намекал — не вдвоем объясняться, так придется, чего доброго, Громову одному...

— Не связывался бы ты все-таки, Коль!.. — попросила тихонько Рита, поглядывая на него сбоку. — Ну что тебе, больше всех надо? Если он и в самом деле такой, ты небось не первый об этом узнал. Не утаишь же... Знают, да молчат. А почему ты?

И тоже верно. Если про всех, про кого знаешь, что воруют, говорить — о-ой!..

Тогда Петьку Глазова первого заложить надо — это он пол-Нахаловки, жук, построил, от фундамента до крыши — все им краденное.

Да только не вылупается же Петька Глазов, про рабочую честь не говорит. Подмигивает всем — вот я какой! — а попроси, он и тебе, если уважает, как лучше украсть, подскажет... И обэхээс его годами таскает. Хвост-то у Петьки давно там, только повыше никак прищемить не могут, потому что уж больно хитрый.

— Завтра, Шидловский говорит, в управление идти, — сказал Громов.

— Ну посоветуйся ты со своим Зубром, а? — попросила Рита. — Может, он и в самом деле толковый дядька. Начальник какой-нибудь, если... умный да вежливый.

— Только чтобы не очень начальник, — Громов вздохнул. — А то вдруг... и на козе к нему не подъедешь.

— Сам же тебе встретиться предложил?

— Ну сам...

— А ты бы давно уже по наушникам по своим — или чего там — по микрофону?.. По микрофону, по микрофону, Коль!.. Расспросил бы, где работает.

— Чего еще... допрашивать... Неудобно.

Ритка посмотрела на него, как на дите:

— И чего только тебе удобно, Коль?..

Громов промолчал.

4

У себя в квартире, уже окончательно собравшись, он вдруг подумал, что забыл выключить аппаратуру; и хотя сегодня и не прикасался к ней, снял в коридоре туфли и пошел в носках, стараясь наступать не полной ступней, а так, слегка, потому что в квартире сегодня не убирал, а носки были хорошие, и туфли он надел тоже новые и не хотел изнутри их затаптывать.

Аппаратура, как всегда, была выключена, но он не рассердился на себя, потому что и знал это, а прошел просто так, чтобы лишний раз убедиться, он когда и на работу уходил, тоже так...

Постоял около нее немножко, увидел на лакированной крышке передатчика крошечное сеево пыли и вытер ее рукавом пальто, пальцами прижав его край к ладони, а потом отряхнул рукав.

Эх, мать честная, до чего все было бы хорошо, если бы не этот Шидловский!..

Встретились бы они сегодня с Зубром, с Виталием Сергеевичем. Тот, конечно, домой потащит — аппаратуру его посмотреть, давно показать обещал. Сидели бы, говорили о частотах да фазах. Выпили бы за знакомство бутылочку, если этот Виталий Сергеевич пьет, а нет — и не надо, самому ему и на дух не нужна эта водка.

А тут!.. Думай теперь, как с ним о Шидловском об этом поговорить.

Да только что делать, если Громову и в самом деле посоветоваться больше не с кем. Это в городе живут — у того юрист тебе какой-нибудь в соседях, пробку электрическую попросит тебя наладить, или ты у него по-соседски трешку до получки сшибешь. Другой кто-нибудь...

А тут кругом все свой брат строитель, да когда еще металлурги будут. Всю жизнь проживи, кроме Ваньки да Петьки, которые тебе уже и на работе остобрындели, ни с кем добрым не сойдешься.

Правда, с таким характером, как у Громова, не больно и познакомишься, не больно и сойдешься — это он и сам хорошо знает, — и Виталий Сергеевич тут особь статья.

А началось с того, что три года назад пошел Громов на курсы радистов. Пошел потому, что с детства еще об этом мечтал, да какое там у Громова детство...

И ничего он не успел ни в ремесленном, ни после, ни в армии не успел, где его прочно держали в стройбате.

А тут пошел.

И хоть давалось ему все не очень легко — попробуй-ка любой с шестью классами, — он не на шутку увлекся, приходил в маленький кабинет при ДОСААФ первым и последним из него уходил, ночи просиживал над чертежами да книжками.

Только с преподавателем Громову не повезло.

Каждый раз тот приходил выпивший, но сначала пока самое простое объяснял, ладно, а потом, когда Громов и сам стал помаленьку кумекать, понял, что тот путается в схемах — и трезвый небось дела своего толком не знает, а тут поддавши.

А ДОСААФ — это тебе не вечерняя школа, куда за рукав тянут. В ДОСААФ, тут деньги платят. И Громов не вытерпел.

— Ты чего? — спросил однажды у преподавателя. — Это у тебя работа? Или ты так как?..

— Как это «так как»?

— Ну так... халтура, может, какая?

Преподаватель обиделся.

А Громов плюнул да и ушел из класса. Хорошо еще, что деньги за обучение отдал не все сразу — на те, что за второе полугодие относить, накупил себе книжек и стал заниматься дома.

Добрая половина получки уходила у него теперь на детали, даже Рита, которая никогда не вмешивалась в его дела, и та иногда ворчала, что лучше бы оделся как следует, купить теперь есть что, вон сколько импортного барахла, но он только усмехался. Зато вскоре у него была довольно приличная аппаратура, и он смог выйти в эфир не так, как кто-нибудь из этих, из шантрапы, что с приставками хулиганят на средних, вышел как человек.

Сначала у него получалось слабо, и взял себе самые простые позывные, назвался Новичком, и ему помогали с настройкой, но попадались и прощелыги с идиотскими кличками — какой-нибудь Директор бани или Христос, были Прокурор, Гиппопотам, Папа Карло. Эти крутили музыку, от которой у него раскалывалась голова, хохмили, иногда похабно ругались, и он не выдерживал.

«Новичок... Новичок... Модулирует Император. Голова не болит? Сколько вчера врезал? Прием».

«А пошел ты!» — глухо бросал Громов в микрофон, сгорая от желания назвать тот адресок, по которому следовало идти, и каждый раз все-таки удерживаясь и почти физически страдая от этого, потому что для него это было так же тяжело, как яростно и резко остановиться при неудержимом беге.

Руки бы поотрывал и аппаратуру — об пол... Хотя аппаратура тут ни при чем, ее жалко...

Потом он впервые услышал Зубра.

Тот вежливо попросил кого-то уйти с его волны, объяснил, что через пять минут у него связь с Диксоном.

Громова окатило завистью.

Он хотел послушать, о чем будут говорить эти двое — свой, городской, и зимовщик, может быть, или кто там, но у него, как назло, забарахлила аппаратура, быстро починить не смог, но потом, когда починил, искал Зубра и день, и неделю, и месяц...

Тот, сразу видать, был дока; это он посоветовал Громову заменить некоторые узлы, кое-что перепаять; и у него теперь все было хорошо, правда, выходить далеко он пока не мог, слабовата для этого станция, тут уж не денешься никуда. Так, Алтай, да иногда Красноярск, да только однажды Якутск...

Зато Виталий Сергеевич!

Этот, который на Диксоне, и в самом деле оказался зимовщиком, только не радист ихний, а сам по себе, любитель. Есть и гидролог, который один зимой и летом живет в Саянских горах. Один старый капитан всю жизнь плавал, а теперь, говорит, по семейным обстоятельствам в Казахстане, среди голой степи, где не только моря — речки порядочной нету. Шахтер один со Шпицбергена. Работал тут рядом, в Сибири, а потом туда завербовался. Все спрашивает, как дома погода и есть ли по-прежнему в магазинах питьевой спирт по пять семьдесят.

Виталий этот Сергеевич, коли и пьющий, то не особо, потому что сам спросил у Громова: есть ли?.. Передал потом зимовщику: бывает в конце квартала, когда магазины горят с выручкой.

Забежавший как-то к Громову по делу пожилой плотник Богданов долго рассматривал аппаратуру, покачивал головой, потом сказал:

— Понял теперь, Никола, почему с тобой на работе

много не поразговариваешь. Ты тут наговорисся, а потом рот на замок!

А Громов и не очень говорил пока. Больше слушал.

Всякую свободную минуту приникал он к наушникам, просиживал, не снимая их, до глубокой ночи.

Шуршало в наушниках, потрескивало, и с треском с этим влетали в маленькую его комнату далекие ветры, слышались слова, то радостные, то полные забот; и он с жадностью ловил эти отголоски чужой жизни, такой широкой и разной, иногда непонятной ему, но всегда заставляющей волноваться.

И он только мечтал, как о несбыточном о чем-то — о том случае, когда своим словом сможет он вот так, издалека, кого-то утешить, кому-то посоветовать что-то, кому-то помочь, кого-то, может быть, спасти; и это было как отдушина в однообразной его, одной и той же изо дня в день, бригадирской жизни, наполненной, как ему казалось, исключительно бестолковщиной, беготней, руганью да покрикиванием — суетой.

5

Автобус этот до города Громов не любил очень.

Сначала в него битком — так что не вздохнуть — набивалось на остановке, столько набивалось, что автоматическим дверям не под силу было закрыться, и тогда выскакивал из кабины водитель и — руками в спину или коленом пониже ее — заталкивал в автобус задних, а когда двери захлопывались наконец, все девяносто или сколько там человек оказывались на полчаса во власти кондукторши.

По этому маршруту ездили все мордастые, разбойного вида тетки, толстые и растрепанные, в засаленных на громадных грудях ватниках, вечно хрипатые — то ли от простуды, то ли от бесконечного с пассажирами скандала.

Тетки эти подталкивали толпу вперед по проходу, покрикивали грозно по углам, но там только зубоскалили привычно, и тогда, властно отодвигая спины и плечи, галошами своими деловито наступая тебе на штаны чуть пониже колен, они лезли из одного конца в другой, срамя на ходу нынешнюю молодежь вообще и неплательщиков в частности.

Тетки эти вытряхивали с передних мест лбов по метр девяносто и водворяли туда покряхтывающих жалобно, полузадавленных старушек, которых за последнее время почему-то бог знает сколько развелось в поселке; мирили ссорившихся, тех, кому ездить бы только в такси; отрывали от поручней у задних окон и выпроваживали едущих уже по третьему кругу пьяных, иногда отбирали ножики; и только звон стоял, когда отбирали...

А тут давят, а ты изогнулся неловко, чтобы толпу попридержать, потому что рядом с тобой тоненькая совсем, с общей тетрадкой под мышкой, в институт собралась; ноги затекли, поясницу ломит, а кругом разговор, и все равно хихикают, и гармошка черт его знает как растягивается в такой тесноте, да «Схóдите или нет? Давайте поменяемся местами», «Где мой билет?», «Я же вам деньги передавала», «Уберите ногу, я пуговицу подберу, таких в магазине нету», «Как будто я их в карман положил, на что мне твои копейки?», «Как бы кондуктора поцеловать», «Молокосос!», «Ой, да что ж это все помяли!», «А ты с такой прической не ездий, не габарит», «Все равно осел, хоть по пятому разряду!». А на плече у тебя похрапывает малый, который поехал в город «добавить» и перед тем пока отдыхает, а другой стоит у тебя на ботинке, искренне, заглядывая в лицо, неторопливо рассказывает тебе всю свою жизнь с самого начала... И ты передавай, толкай, отвечай, отодвигайся, а малого под морду плечом, чтобы не спал, и все слушай и некуда от парня, что про жизнь с самого начала, отвернуться; и все это как ничем не защищенная, открытая всякому взгляду жизнь скопом — тут, на стройке.

Сегодня тоже было очень людно, но Громову повезло: одним из первых заскочил. Проходить не стал, к окошку протиснулся.

Сразу сунул руку за деньгами, а то потом такая теснота, что в чужой карман залезть проще, чем в собственный.

Захватил мелочь в горсть, а кулак из кармана не лезет. Вспомнил, что надел заграничное пальто, которое выбрала ему Ритка. Беда с ним, с этим пальто, — туда ладно, а обратно руку никак, на добрый кулак, видать, не рассчитано.

Сделал ладошку лодочкой. Потом повернулся спиной, билет вдавил в изморозь на окне и стал глядеть повыше, где стекло чисто.

Разрывая воздух, проносились совсем рядом встреч-

ные машины, тек свет от идущих за ними следом, подрагивал, приближаясь, на темно-серой, с черной от грязи наледью асфальтовой полосе, на реденьком, пока еще неплотно укрытом снегом кустарнике обочь дороги, среди которого то и дело мелькали квадратные щиты с обязательствами — интересно, кто и когда читал...

За спиной у него опять шумели и толкались, кто-то матерно бубнил под самым ухом; и Громову сделалось привычно одиноко и грустно, и он вдруг подумал, что никому это, про Шидловского, кроме него самого, не нужно, и надо будет завтра подписать это все к черту, да и все.

6

У кинотеатра «Коммунар», где они договорились встретиться, было пустынно, по длинным каменным ступенькам, отворачиваясь от ветра, парами и по одному быстренько пробегали в тепло, а здесь, в неярком свете, мерз покоробленный холодом рекламный щит с печальным пожилым человеком, одетым по-летнему.

Сверху, со старых тополей упал черный лист, большой, корявый, полежал тихонько на сером камне, потом пополз, похрустывая, подгоняемый ветром, побежал, шурша, исчез, доживая свое, в темноте.

Громов посмотрел на часы, но никого похожего поблизости не было, только ошивался у кинотеатра худенький парнишка в демисезонном пальто с поднятым воротником и в серой заячьей шапке. Пацанишка постукивал ботиночками, как-то совсем по-детски опустив кулачки вдоль тела, потом приподнял левую руку и отогнул рукав; и Громов усмехнулся: тоже, понял, при часах...

Он снова медленно пошел вдоль ступенек; а когда дошел до закрытого сейчас летнего павильона и повернул обратно, увидел, что пацанишка очень решительно идет к нему.

«Неужели, гадство, прикурить?» — подумал Громов.

Тот остановился напротив и, выглядывая из-под заячьей своей большой шапки, уверенно спросил:

— Извините, вы — Новичок?

«Сам не может, пацана прислал», — подумал Громов,

кивнув не очень охотно, чувствуя что-то вроде обиды: ждал-ждал — и вот, на тебе!..

А пацанишка стащил варежку и протянул маленькую ладошку.

— Очень приятно... Зубр.

— Ты? — громко не поверил Громов. — Это ты — Зубр?!

— Я, — твердо сказал мальчишка. — Тот самый Виталий Сергеевич. Зубр.

— А чего ж ты темнил? — ошарашенно спросил Громов.

— В каком, извините, смысле? — справился мальчишка очень вежливо, все протягивая ладошку.

И Громову стало ясно, что да, он и есть: он и во время сеансов иногда — «в каком смысле»?

Громов заторопился, сунул руку в перчатке и тут же этого устыдился; ему показалось, что Зубр этот посмотрел на него как-то странно, с усмешкой, что ли, и Громов сбился, и расстроила его эта промашка с перчаткой, как будто перед ним, понимаешь, не пацан, а какая — туда ее! — знаменитая артистка.

— Да я так, — пробормотал. — Я чего-то... А ты вон...

— Думали, я старше?

— Во! — обрадовался Громов. — Под вид того, что старше... Слышимость у меня!..

— А я так и думал... что вы такой.

— Какой? — вскинулся Громов.

— Высокий... большой. Ну еще...

— Здоровый, да?..

Мальчишка посмотрел на него уважительно.

— Конечно, здоровый!

— Здоровый-то здоровый, — сказал Громов и почему-то вздохнул.

— Так пойдемте к нам, Николай Иваныч? Приглашаю! — Виталий этот Сергеевич сделал ботиночки вместе, плавно вытянул руку вбок и голову на миг наклонил в заячьей шапке.

И Громову стало совсем плохо.

Ему стало тесно и неудобно в этом заграничном пальто, и галстук Громов на шее почувствовал, и что пиджак под мышками жмет, и вспомнил вдруг, что забыл положить в карман чистый платок, скомканный там лежит, несвежий — он прямо-таки увидел сейчас этот платок.

— Да не, что ты!.. — сказал испуганно. — К вам сразу... Я так... посмотреть... познакомиться вроде...

Не хватало, в самом деле, чтобы пацан этот домой его притащил — батька появится какой-нибудь такой — в очках да с газеткой, мать с книжечкой, а он, как дурак, с поллитрой в кармане, — нашел, скажут, Виталька друга, где он его только нашел!..

Громов даже сгорбился, чтобы поллитру эту во внутреннем кармане — подальше с глаз.

— Здесь-то холодно, — мальчишка сказал. — Я, признаться, озяб.

— Слышь, — искал выход Громов, затравленно озираясь, — может... в кино?..

— А что за фильм?

— А черт его... а кто его, — поправился Громов, — знает... Не все равно?

Мальчишка, отступив на шаг вбок, из-за него, из-за Громова, посмотрел на рекламу, потом снова отодвинул пальцем рукав, взглянул на часы.

— Пожалуй, можно...

— Вот и пойдем. Айда! — Громов заторопился. — Тебя пустят... со мной, скажем.

— Я посмотрел, — сказал мальчишка. — Допускаются...

В дверь Громов прошел первым и опять запереживал, что не так, что мальчишку вперед не пропустил, и около касс, когда тот сунул руку в карман, заговорил с укором:

— Да ты чего?.. Чего ты?.. У меня нету, что ли?

И мальчишка стал у стены, опять постукивая ботиночками и опустив руки, а Громов засуетился в конце очереди, спрашивая крайнего, потом повернулся к мальчишке, неожиданно для себя подмигнул — мол, сейчас я, сейчас! — и перешел торопливо ко второй очереди, показалось ему поменьше, и почувствовал, что мальчишка смотрел на него, и снова, обернувшись, подмигнул.

Очередь подвигалась медленно, хотя до начала оставалось совсем немного, и он все оборачивался и, как ему самому казалось, глупо улыбался, пожимая плечами, и опять подмигивал, и сердясь на себя, и зная, что снова обернется. «А вообще-то бедненько живут, — подумал, в очередной раз оглядываясь. — Так... вежливый, хоть за пазуху, понял, сажай. А одежка не очень...»

И это его почему-то успокоило.

Мальчишку пропустили без всяких: наверное, в фильме и в самом деле ничего такого не было, ни поцелуев тебе, ни раскрытой постели, и Громов обрадовался про себя: а то как бы — рядом?

В фойе было людно, шумно, но это была чинная людность и вежливый такой шум, которые он уважал. На эстраде уже кончили играть, музыканты оставляли инструменты и, топоча, сбегали со сцены, народ повалил в центр фойе, и они друг напротив друга прижались плечами к белой, под мрамор, колонне, ожидая звонков.

Мальчишка рассматривал билеты, которые он попросил у Громова, — что там, непонятно, было для него интересного, — а Громов здесь, на свету, теперь исподволь глядел на мальчишку.

Худенький, в самом деле, в чем душа, каждая жилка на виске видна, и шея из-под домашнего шарфа такая слабенькая, а глазенками так серьезно — луп-луп! — будто только об умном и думает, это в свои-то тринадцать или сколько там ему на самом деле...

— Дак тебе аппаратуру — батька небось? — спросил Громов, понимающе улыбаясь.

У мальчишки светлые бровки кинулись вверх двумя черточками, в серых глазенках промелькнуло что-то вроде испуга.

— Н-нет, — сказал негромко и покачал головой.

— Сам? — снова как будто не поверил Громов. — Такую аппаратуру? — и опять подмигнул. — Ба-атька!..

— Н-нет, — тихонько повторил мальчишка и как будто задумался. — Я живу в детском доме...

Громов смутился, подряд была какая уже неловкость, и этой он хорошо знал цену, потому что когда-то его так же спрашивали самого, только он отвечал со злой лихостью, как будто даже гордился тогда, что сирота, смутился и вместе с тем растрогался, тепло поднялось в душе к этому пацану; ему захотелось тут же защитить его неизвестно от чего.

— Я и сам, понял, — сказал он, снова подмигивая, — тоже с детдома... Как вспомнишь!.. — И совсем по-свойски: — Домашников лупите?

— Каких «домашников»? — удивился мальчишка.

— Ну какие в школу ходют вместе... только из дому, у каких семья есть. Понанесут сала!.. Вот такие шмандельки.

— Что-что? — наклонился мальчишка.

— Шман... кы-хы!.. кы-хы! — закашлялся Громов. — Ну сало, одним словом... Куски — во! В сумке принесет. И как будто нарочно раскроет...

— А я не люблю совсем сало, — сказал мальчишка и почему-то повеселел.

— Того ты и худой, — уверенно объяснил Громов. — Я тебе точно!

— Да нет, — сказал мальчишка и даже тихонько рассмеялся, как будто Громов шутку какую сказал. — Ну при чем тут сало? Просто конституция такая.

— Чего? — удивился Громов.

— Конституция, — объяснил мальчишка. — Такой я есть — и все... Марья Эдуардовна со мной замучилась. «Хоть корми, — говорит, — хоть не корми...»

— Конституция?..

— Ну да!

Громов недоверчиво хмыкнул — нет, ты понял? Раньше таким соплестонам в детдоме — уж не в колонии — вообще было нечего делать: затравили бы...

Но, подумав так, застыдился, будто он сам затравил бы.

Только тревога за Витальку не проходила, и он спросил:

— А так... никто тебя? Ни с кем там не дерешься?

— А я и не умею совсем, — с беззащитной улыбкой сказал Виталька.

— Ну, это надо, — осудил Громов. — Вдруг кто?.. Когда лезут... Тут по мозгам... Без всяких!

Говоря еще, он потащил руку из кармана, но она опять не пошла, потому что кулак, чтобы показать Витальке, как надо по мозгам, он сжал еще там, и его опять пришлось разжать и собрать около плеча.

— От так, понял?!

Он коротко дернул локтем, как будто только пугая, кого-то задел и женский голос громко осек:

— Товарищ, вы что это?

— Ладно, ладно, — сказал Громов, почти не обернувшись.

— Как это «ладно»?.. Почему же «ладно»? — настаивал голос. — Вовсе не «ладно», товарищ!..

Пожилая женщина в хорошем пальто с серебристым песцом и в шляпе, важная и еще красивая, смотрела на него с недоумением в больших глазах, но без

гнева, и он не стал ссориться, только миролюбиво упрекнул:

— Разоралась!..

— Товарищ! — опять воскликнула женщина, опять без зла, даже с каким-то заинтересованным расположением поглядывая на него.

Откуда-то из-под руки у Громова вынырнул Виталька, сказал тоненько, но твердо:

— Извините, пожалуйста! Ведь он не хотел.

Женщина улыбнулась и даже как будто поклонилась Витальке слегка:

— Спасибо, малыш. — Повернулась к Громову и, кивнул на Витальку, сказала значительно: — Поучились бы!..

И весело заговорила с соседкой.

Громов не понял ничего. Кругом люди как люди, тихо стоят, мирно так разговаривают, а чего эта шумит?.. Полегчало ей теперь, что ли?

Он снова покосился на эту чудачку, и она, почувствовав, может быть, его взгляд, обернулась и, улыбнувшись, по-доброму посмотрела на Громова и вдруг нахмурилась, и он понял почему: глядела на оттопыренное бутылкой пальто.

Он отвел глаза тут же, опять сгорбился перед Виталькой и опять подмигнул, и дурацкое это подмигивание прямо-таки выводило его из себя — чего он, как Петька Глазов? Как будто виноват в чем.

Мимо шла лоточница с мороженым, и он вскинул глаза на Витальку, повеселев.

— Морожено будешь?

— Можно, — решил Виталька.

— Эй, сюда! — громко окликнул Громов.

— Будьте добры, подойдите, — сказал Виталька.

— Сколько тебе? Два съешь? — спрашивал Громов, опять мучаясь в кармане с мелочью, когда женщина подошла.

— Зачем?.. По одному.

— Да я... Что мне морожено? — как можно веселей повторил Громов. — Тьфу!..

— Тогда и мне не надо.

Подумает, что жадный.

— Ну ладно, ладно, — решил. — Давай по одному. Мороженого он не выносил и не ел, сколько себя помнил.

Ему достался стаканчик, на котором пристыло сбоку и неровной дугой у самого донышка, надо съесть побыстрее, а то потечет.

Виталька явно наслаждался, вертел стаканчик по кругу, ровненько обкусывая, трогал языком, взглядывая на Громова из-под заячьей своей шапки, а тот, прижмурившись, маялся с набитым холодом ртом...

Раздался звонок.

— Вы схему свою обещали показать, Николай Иваныч, — попросил Виталька, когда они одними из первых вошли в зал и уселись.

Он вытащил из кармана пиджака истрепанную бумажку. Виталька развернул ее на коленях и принялся рассматривать, постреливая глазенками, не отрываясь от мороженого.

Взял остаток стаканчика другой рукой, один палец лизнул, а второй и вовсе взял в рот, обсасывая; и Громов, что-что, а что пальцы в рот брать нельзя, знавший твердо, отметил это снова с невольной радостью, как бы находя в мальчишке признаки обычности, и тут же ему снова стало неудобно: чему, дурак здоровый, радуется?..

Он негромко прокашлялся, набирая строгости, чтобы о пальцах, которые нельзя брать в рот, сделать замечание как можно значительнее, но не успел сделать — мальчишка швыркнул носом, одновременно проведя по нему оттопыренным от мороженого пальцем, потом ткнул им в схему около сгиба:

— Вот это вы зря!.. Зачем вам понадобился этот узел? Лучше усилить здесь.

Начал сыпать названиями ламп и еще каких-то, видно, деталей, о которых Громов и понятия не имел и теперь только моргал — откуда, чертенок, разбирается?

Что Громов-то знал в его годы?

Вспомнил, как под Казанью, в детдоме, конюх Мироныч, с которым ездили за водой, любил посмеиваться:

«Чему вот вы пока научились-то?.. Отнять да разделить?.. И то: отнять-то отнимете, а разделить не разделите толком — драка будет!..»

Так оно и было, и правда.

А этот вон и говорит как, и смотрит...

Может, в какой хорошей семье рос мальчишка, и па-

па, и мама, а потом что случилось, мало ли что может случиться, кому-кому, а Громову объяснять это не надо, он-то, Громов, всякого навидался...

Он снова подавил в себе желание расспросить Витальку: не надо его расспрашивать, может быть, у него это еще и не зажило, как знать. Захочет когда — сам расскажет...

— Вот здесь тоже зря... Посмотрите-ка!

А Громов капнул себе на рукав.

Переложил мороженое, вытер пальцем и облизал его, увидел, что Виталька ждет, глядя на него, и снова смутился. Разозлясь, остаток отправил в рот целиком, хотел проглотить и замер от ледяного укола над переносицей.

Приложил руку ко лбу, зажмурился, чувствуя, как из глаз выдавливаются слезинки.

— Счас я, — сказал, — счас...

Он нагнулся, и кто-то, проходя боком, сбил с него шапку, упала в проходе.

Виталька подобрал и положил себе на колени, под схему, где его лежала уже давно.

Громов отнял руку ото лба, растрепанный и в слезах, покачивая головой, виновато улыбнулся Витальке исподлобья и вдруг краем глаза увидел — из-за борта пальто косо торчит белая головка...

Он чуть не застонал в голос.

— Так вот насчет этого узла, — сказал Виталька.

В зале стемнело разом, бросился на экран первый кадр, и Громов откинулся на спинку кресла, расслабляясь, и только подумал: «Лишь бы не зажигали свет после журнала!»

Он, ей-богу, устал, и к усталости к этой примешивалось что-то обидное.

Это были минуты, когда он чувствовал, как некрасив он, и, наверное, глуп, и неловок, дурная сила, и сейчас растерян, и даже самому себе жалок.

Нашел, понял, друга!..

Входило в Громова, поселялось в нем как никогда домовито чувство своей неполноценности рядом с этим мальчишкой, и через мальчишку, через него, где-то глубоко внутри, — обидное сознание несообразности своей со всем миром.

Виталька все похрустывал корочкой — и перестал, замер, когда в журнале показали наши подводные лодки.

Повернулся к Громову на секунду, мотнув головой на экран, быстро сказал:

— Да?!

Как будто это он со своими корешами сделал в детдоме эти подводные лодки.

Потом они вместе засмеялись, когда показали цирк; потом журнал кончился, света не зажгли, пустили сразу картину, и Громов постепенно успокоился, потому что Виталька впился в экран и перестал, казалось, его замечать. Громов теперь отдыхал, и к нему стало возвращаться то обычное настроение недоверчивости, с каким сидел он всегда в зале кино.

Фильм был наш, но про заграницу.

С какого-то аэродрома самолет поднялся, в Америку полетел. Пассажиры всякие в нем... Симпатичная девка, или японка, или еще кто... К ней прилабунился матрос в белой шапочке, как в детсадах ходят. То да се... Музыку все включал, такую примерно, как радиохулиганы крутят. Она ему: выключите, мол. А он нет. Тогда подошел красивый такой и из себя крепкий — и по рылу. И тот сразу выключил, конечно.

А тут началось такое!.. Летчиков-то, оказывается, поотравили; они все в кабине дубарика дают потихоньку; и если их не спасти — всем хана.

А в самолете врач летел, какой-то борец за мир, одним словом, ихний подпольщик. Только ему нельзя было признаваться, что врач, потому что за ним следил шпик. Шпик этот только и ждал, чтобы тот признался...

Кино Громов любил только про войну, где наши сначала отступают, до последнего бьются, так что рубаху рви на груди да под танк, а потом и сами начинают немца потихоньку колошматить.

Он забывал все на свете, если такое кино; он напрягался так, что у него потом болел горб и кулаки были — не разожмешь; он волновался и мучился, и сердце стучало у него на весь зал. И если показывали пацанов без отца, без матери, над которыми немцы издевались, он натурально плакал и злился на себя, если пошел с Риткой, — увидит еще слезы...

А тут что!

Тем более про заграницу.

Откуда знать нашим, как там и что?

Видал он один такой фильм — с голоду помирают, а вслед за тем ихний посмотрел — живут, гадство!

Ты давай лучше без балды про своих.

И он смотрел почти равнодушно, как снова спрашивали в самолете, нет ли врача, а то всем плохо будет...

Виталька заерзал рядом, передернуло его, и он подался к экрану, вытянулся, весь замерев.

Громов глянул сбоку — блестит глазенок у пацана, мигает обиженно, вот-вот слезу уронит.

Наклонился к Громову, шепнул горячо:

— Скажет, что врач, да?

— А куда ж ему, — спокойно рассудил Громов.

— Иначе все погибнут! — мотнул головой Виталька и снова вытянулся к экрану.

А тот, что подпольщик, и в самом деле признался и пошел к летчикам, а шпик теперь и туда за ним.

«Все, забарабает», — подумал Громов.

Виталька сполз теперь на самый краешек стула, положил подбородок на спинку впереди — переживает.

И Громов усмехнулся легонько, снисходительно так улыбнулся, чувствуя наконец-то свое превосходство перед Виталькой: и знает он, и учится небось, и так молодец, конечно, а все же пацан — он и есть пацан. Ишь вон как — всему верит...

«Эх, маленький еще, потому и верит... А ударит жизнь один раз, другой, поприжимает так, что косточки хрястнут, об землю жмакнет — и, глядишь, другой табак, э-эх!»

У Громова в сорок восьмом году мать нашлась.

Сначала ему так, потихоньку: «А что, Николай, если к тебе вдруг кто-нибудь да приедет?..»

Вроде подготовить его.

Ждал потом, не дождался.

Когда мама приехала наконец, в детдоме целый праздник устроили.

Все их окружили, маленькие пацаны да пацанки в ладошки хлопают, радуются, да все такое, а повзрослей ребята да девочки стоят, головы поопускали, а у кого и слезы...

Мать плачет, всем кланяется в пояс, а рука, которой она Громова держит, словно в лихорадке дрожит — это он до сих пор хорошо помнит...

Самому ему вроде и стыдно чуть-чуть, что у него нашлась мать, а у других нет, и вместе с тем радостно. Дергает мать: пойдем.

И все, видно, поняли, что Громов поскорей уйти от них хочет, что нет уже ему до них дела, поняли и стали пошумливать, выкрикивать начали, вроде того, что «Уезжай, ну и ладно! Подумаешь, паразит, ишь ты, нашелся, домашник жирный!» — хоть был он тогда одни мослы.

Громов только замахивался.

Когда за ограду с матерью вышли, камень нашел на дороге побольше — да по воротам...

А через три дня после того, как приехали они в Белоруссию, в город свой Борисов, мать у Громова померла.

Теперь уж, когда он не так давно съездил в Борисов, рассказали ему, что мать с сорок первого, когда ее контузило при бомбежке, так и была почти при смерти, что единственное, чем с тех пор жила, — это найти его, Кольку. Так и говорила, рассказывали: «Старшего, мол, Витю, того точно убили, сама видела, как скончался, а Коля — тот спасся, должно быть, чует сердце — живой... Пока, мол, не найду его — не помру, а что невредимый увижу — тут пусть бог, мол, и приберет, пусть приберет, лишь бы Колю увидеть...»

Только теперь вот, не так давно, и дошел до Громова смысл того, что произошло тогда в Борисове...

А тогда Громов так и не понял ничего.

В день похорон, когда собрались на поминках калеки да побирушки — родственников Громову война не оставила, — когда собрались они да такую тоску навели, что хоть волком вой, он, дурья башка, поджег дом...

Хотели его в колонию, да соседи вместе с этими же побирушками его от милиции и защитили.

И отправили Громова с провожатым обратно в детский дом, в тот, откуда мать его только что забрала. Там, мол, пацану все знакомое, там скорей душой отойдет, там будет ему полегче...

Только не было Громову полегче.

К нему — с лаской, а он в палец зубами. И так был оторви да брось, а тут и совсем...

Отсюда Громов месяца через два в колонию и загремел...

...Врач одному — самому главному пилоту — помог очухаться, тот начал подсказывать тому, что в рыло матросу дал, как правильно самолет посадить — этот был теперь вместо летчика, он умел, оказывается, рулить.

А шпик к доктору стал приставать.

«Щас и забарабает», — подумал Громов, вздыхая о своем.

Этот, что бил матроса, аж вспотел, пока самолет посадил. Все стали выходить. А один чудак, который глотал таблетки от бессонницы, только теперь проснулся — он и не знал, что всех этот доктор выручил.

Доктор тоже вышел из самолета, за ним следом шпик, а тут их уже и полицейские ждут.

Витальку снова передернуло, вцепился Громову в рукав.

— Неужели заберут?!

— А как жа! — сказал Громов.

— Он же всех спас!

— Не играет значения, — авторитетно сказал Громов и опять снисходительно усмехнулся — как это он ловко сказал!

Вспыхнул свет, в зале привстали разом, задвигались. На Громова уже напирали сзади, поталкивали в спину, а он не мог пройти, потому что Виталька все еще стоял между рядами лицом к экрану и все смотрел, будто ожидая еще чего-то.

— Вить! — подтолкнул его Громов. — На выход!..

Виталька обернулся, глядя на него.

— Это первая серия только, — сказал убежденно, будто подбадривая и Громова тоже.

— Ну да?! — не поверил Громов.

Виталька уже шел боком, то и дело взглядывая на Громова.

— Точно, точно... Я вам говорю!

К Громову вдруг снова вернулось опасливое чувство: вдруг Виталька и тут знает что-либо такое, до чего он, Громов, еще не дошел?

Спросил подозрительно, но не настолько, чтобы нельзя было потом отступить:

— Откуда взял?

— Да разве так не видно? — удивился Виталька.

— Как «так»?

— Да так!.. Что ж он, так и останется навсегда в тюрьме?

— А где жа? — обрадовался Громов, чувствуя, что нет, ничего такого он не знает, Виталька, на этот раз, просто хочется пацану, чтобы все хорошо кончилось.

— Убежит. Помогут, — твердо сказал мальчишка. — Это только первая серия. Надо будет вторую посмотреть...

— Тогда бы так и написано было: конец, понял, первой серии.

Они шли почти последними, не в толпе были, а с краю, и Виталька обернулся к Громову, останавливаясь, поднял глаза и снова сказал убежденно:

— Иногда и не пишут.

И такая вера была у него во взгляде — вовсе не в то, что не пишут иногда, тут он будто испытывал Громова, — вера в то, что так и будет, выручат этого доктора, помогут ему бежать или те отпустят, по справедливости разобравшись, такая вера в доброе, в правду и в правоту, что у Громова замерла на губах готовая сорваться усмешка из тех, которыми он отыгрывался теперь за все неловкости перед этим...

— Правда, бывает, что и не пишут, — повторил мальчишка настойчиво, но была в его голосе и просьба к Громову, и еще что-то жалостное: лупал глазенками, и в них настороженно замерла готовая прорваться обида.

«Сердчишко, небось, как у голубя, когда в руке», — подумал Громов, и это его растрогало и наполнило лаской, и ласка эта к Витальке защемила душу.

Он мысленно как будто разжал руку, выпуская на волю трепетное и живое.

— Бывает, — сказал. — Вообще-то да!..

Виталька глядел на него все еще недоверчиво, и Громов еще раз утвердительно кивнул, готовый теперь побожиться, что да.

Понял Громов мальчишку и, сознавая это, обрадовался, что понял; он сам как будто лучше стал в эту минуту, и прошла смешанная с удивлением волна уважения к самому себе — за то, что сумел понять, что не отпугнул хорошее — и доброты к себе, и все было так хорошо...

Они были уже в дверях. Громова толкнули, и он положил Витальке руку на плечо, придерживая его около себя, защищая, чтобы и мальчишку не толкнули тоже.

И это почему-то опять взволновало его, словно защищал сейчас не от давки в дверях, не от выходивших — от чего-то другого, от чего надо защищать непременно...

7

На улице потеплело, шел снег.

Он падал стремительно и густо, в нем было что-то от летних ливней, преображающих землю почти мгновенно;

то, что в большом городе совсем недавно еще казалось изжелта-серым, стало теперь белым-пребелым, мохнатые шапки уже надел на себя низко стриженный кустарник у кинотеатра, снегом были пышно оторочены сверху и решетки у тротуаров, и черные сучья деревьев, и даже перед глазастым трамваем, как будто притаившимся на остановке, на рельсах высоко лежал снег.

Они перешли на противоположную сторону, и Громов потащил мальчишку к ярким витринам магазина.

— Зайдем, — сказал, — мне тут надо...

Виталька остался недалеко от входа, склонившись над стеклом закрытого уже газетного киоска, а Громов быстро прошел мимо прилавков, стал в очередь у кассы, вернулся потом с чеком в руках.

— На... подойди, где конфеты...

— Что это? — спросил Виталька.

— Шиколад, — сказал Громов.

— Зачем, Николай Иваныч?

— А-а, ну тебя! — как будто рассердился Громов.

Пошел сам, вернулся с большими плитками в руках и, ни слова не говоря, стал деловито рассовывать их по карманам Виталькиного пальто.

— Я его и не люблю, Николай Иваныч...

— Чего ты только любишь! — укорил Громов. — Ешь!.. Это тебе не сало, понял?

Они вышли на улицу, и он повторил строго:

— Это тебе не сало. Это шиколад.

— Вообще-то я люблю, — сказал Виталька. — Спасибо.

— Ну куда? — повеселел Громов. — Может, погуляем? — И повел рукою на снег. — Глянь, хорошо!..

— Я возьму одну? — спросил мальчишка, положив руку на карман, куда Громов плитки определил.

— Во чудак! — удивился Громов нарочно громко. — Чего меня спрашиваешь — твои жа!.. Хошь бери, хошь...

— Возьму, — решил мальчишка.

Достал плитку и зашелестел бумажкой.

— Хорошо-о, он как хорошо! — снова сказал Громов радостно; и ему было хорошо не только от белого снега, от теплых огней сквозь него — хорошо еще и от чего-то другого...

— Баба сейчас будет лепиться! — сказал Виталька и аж прижмурился.

— А чего? — отозвался Громов. — Давай, а?.. Я сейчас тебе такую бабу заделаю! Скину пальто...

— Прямо тут? — расплылся Виталька.

— Да не, ну... отойдем.

— Нельзя, — сказал Виталька, вздохнув. — Я Марье Эдуардовне в десять обещал. Как раз время. Марья Эдуардовна...

— Эт кто? — перебил Громов.

— Воспитательница...

— О! О-о!.. Ну и что? — начал было Громов и осекся: у Витальки построжали глаза.

Вот оно какое дело...

Сам-то Громов если уходил из детского дома, то на год уходил, если возвращался — только с милицией. Воспитательницам одно обещал: «Па-азжи, падла!»

— Ну раз надо, дак что ж, — сказал теперь Громов, улыбаясь Витальке будто бы понимающе. — Раз обещал...

Он пошел провожать Витальку; и тот говорил теперь без умолку, говорил обо всем сразу: что-то о друзьях и о старике директоре, покупавшем для детского дома все, что только можно, — и аппаратуру — тоже он, — и о Шпицбергене, где живет тот шахтер-земляк, и о том, что впервые стал работать на международном канале...

— Английский вот только получше изучу...

«И изучит», — вслед его словам думал Громов.

— На Диксон хоть сейчас на работу приглашают. Как только восемь закончу...

— Я тебе дам — восемь! — грозно сказал Громов.

— Ну десять!

Громов успокоился:

— Другой разговор...

А чего?.. И закончит десять. И на Диксон поедет. Да хоть куда!

Виталька остановился и кивнул на старый пятиэтажный дом, стоявший в глубине двора на противоположной стороне улицы.

— Вот, все...

Виновато как-то пожал плечами: ничего, мол, не поделаешь. И глазенками погрустнел.

— Ты знаешь чего?.. Ты как-нибудь ко мне, — сказал Громов, словно подбадривая.

Мальчишка вздохнул.

— А я еще и не был на стройке...

— У, найдешь... Я тебе растолкую. Нет, вот, — поправился Громов. — Я за тобой приеду...

«А то раздавят, — подумал, — мальчишку в автобусе».

— Я и сам найду...

— Не, я приеду... Приеду, понял?

— Я с удовольствием...

— У меня пацанка есть, — неожиданно для себя сказал Громов. — Правда, меньше тебя. — И как бы удаляясь от этой мысли, что только высказал, как от чего-то решенного, чего теперь не изменить, да и изменять не надо, рассудил почти равнодушно: — Тебе с ней, правда, пока неинтересно...

— Ну, я побежал, — сказал Виталька.

— Давай...

Виталька похлопал себе по карману:

— Спасибо!..

— Во заладил! — укорил Громов. — Ты чего?.. Добра-то!

— Побежал...

Громов за руку попридержал мальчишку:

— Слышь, Вить? А тебя там, правда, — никто?

— Правда-правда...

— А то, может, скажи там: нашелся, мол... Ну, дядька, мол... старший братан или кто... Кто хочешь! А я потом — галстук... все такое. И приду.

Говорил все это вроде грубовато и вроде бы равнодушно говорил, как о деле обычном, а голос под конец сел, и ново как-то стало у Громова на душе и ласково, и тревожно, даже чего-то боязно...

— Да нет-нет, правда, не обижают, — сказал Виталька.

— А то смотри...

— Ну, побежал...

Мальчишка пошел спиной вперед, улыбаясь, махал Громову ладошкой, а потом повернулся и неторопливо побежал.

— Эй, Вить! — крикнул Громов.

Тот остановился.

Громов, спеша, снизу подхватил две горсти, слепил снежок и, подержав руку с ним впереди, прицелился.

— Пли! — скомандовал Виталька.

Снежок пролетел мимо.

А Громов и не хотел попасть.

Виталька рассмеялся и тоже нагнулся, лепя у самой

земли. Громов плечи расправил и приподнял подбородок. Виталька снова:

— Ого-онь!..

Снежок тоже пошел немного вбок, но Громов быстренько сделал шаг и еще качнулся всем корпусом, и белая клякса разбилась у него на груди.

— Нечестно! — крикнул Виталька.

— Ладно — нечестно!.. Беги давай!..

Виталька еще помахал ладошкой и побежал.

Громов, не отряхивая с пальто снега, стоял там же и долго смотрел на окна дома, в котором скрылся мальчишка...

8

Теперь, когда шел по городу к вокзалу, чтобы сесть в автобус на конечной остановке, Громов не торопился и все улыбался иногда — так, про себя. Как будто нес в себе что-то вызывающее: и неторопливость эту, и эту улыбку, и ясность какую-то в душе.

Припомнилось, как выходили из кино и Виталька посмотрел на него упрямо, и как он, Громов, не захотел разрушать Виталькину веру, как с ним согласился.

Тогда что-то словно решилось и для него самого, оно и сейчас было где-то рядом, и он никак не мог понять, что же именно это было, а потом остановился вдруг и присвистнул: Шидловский!..

Да вот же — все очень просто!

Что это гнется перед ним Громов, чего задыхается, чего это в себя потом не может прийти?.. Как будто в конце концов он сам в чем-то виноват, а не эта гнида!

Чего Громов боится?

Даже если Шидловский подстроит ему что, а он знает, что тот может ему подстроить, намекал — неужели не разберутся?.. Вальку пусть найдут. Тот ничего был парнишка, только, видно, запутался. Учиться ему, видишь, захотелось...

Сломался Валька, сломался... Да только Громов тебе — не Валька!.. Не возьмешь ты Громова на притужальник, Шидловский, у тебя, гад, радости такой, какая только что была у Громова, в жизни не было никогда и помрешь — не будет!

Разберутся с тобой, разберу-утся!..

Разве его, Громова, Петрухин не знает да не поддержит?.. Или тот же татарин Рамзанов?.. Или Крепкогонов Иван, да Науменко, да Боря Кузьмин, да скольких еще назвать можно!

Да а если даже и не разберутся?.. Что у Громова — рук-ног нету? Работы он себе не найдет?

Да нет, разберу-утся!.. Про него-то, про Громова, в управлении знают, что он лишней копейки никогда...

Только как же все это про Шидловского сказать?..

А никак!

Подойдет завтра Шидловский, посмотрит на Громова, как всегда, — смотреть, как солдат на вошь, гад, умеет!.. А его по морде!

К-ы-ык дам по морде!.. А потом разберемся...

Только не очень надо, а то еще копытки отбросит — потом поди разберись...

Дам по морде! Да, а там хоть что! Спросют же: «За что это ты?» — «Да вот за это». — «Как так?» — «Да вот так!»

Оправдываться, оно всегда легче.

А чего это он, Громов, будет оправдываться?

Воровал Шидловский? Воровал. Ну так и будь здоров! Ухряпал же он Вальку тогда, а почему Шидловского — нет?.. «Ухряпаю, — думал Громов. — Устосую, чтоб не застил!..»

«Хыг!» — он даже выдохнул громко, как при ударе.

А в голове вдруг такое: бьет он, Громов, Шидловского, а в это время, откуда ни возьмись, — Виталька...

Замер — ничего пацаненку непонятно, только глядит испуганно, вот-вот закричит...

Громов прогнал Витальку, зачем пацану на такое смотреть? Удалил от себя: раз — и нету! Замахнулся на Шидловского без него, а Виталька опять — вот он!..

Снова ударил его Громов, но и Виталька — снова, как ванька-встанька, настырный, чертенок, фу ты!

И тогда Громов отложил в голове это дело, чтобы мальчишка успокоился и ушел.

Около гастронома, все так же уютно светившего витринами, Громов повернул за угол, и снег, летевший теперь наискосок, падал ему на лицо, заставлял жмуриться, и он жмурился и довольно покачивал иногда головой: вот повалил!

Ему залепило и грудь, и плечи, и он сунул под полу между пуговицами большой палец и тряхнул пальто спе-

реди и раз, и два, и почувствовал во внутреннем кармане поллитровку.

Громов тихонько рассмеялся и сунул руку поглубже, двумя пальцами взяв бутылку за горлышко.

Он посмотрел туда-сюда, шагнул поближе к стене дома, мимо которого проходил, достал бутылку и, найдя металлический язычок, содрал головку.

Перевернул бутылку, и внутри булькнуло, и водка, захлебываясь, рваной струей ударила в снег...

Громов повернулся, и снег снова бросился ему в лицо.

Несмотря на позднее время на остановке была толпа.

Стояли, как всегда, скопом — совсем густо в центре толпы, пореже — по краям.

Громов обошел сзади и остановился напротив центра.

Снег все шел и шел, густой и тихий.

За сумеречной его пеленой под темнеющими смутно гнутыми стеблями фонарей холодно серебрились голубоватые конусы света, а над ними была почти ощутимая глазом тишина, и была темнота, низкая и глухая, и за просторной и пустынной в этот час площадью верхние окна противоположных домов теплели в ней ярко, хотя смотрели как будто бы очень издалека.

Над изжелта-синими витринами тоже повисла иссеченная белым и здесь и там пробитая красноватыми окнами темнота; и каждое окно, светлое и слепое, и пустые балконы были подчеркнуты густой кромкой снега; а справа и позади, оглядываясь, Громов увидел и разноцветный неон, замерший над зданием вокзала, и глухие, подсвеченные багровым дымы за ним, и вознесенную над лестницами виадука елочную россыпь огней, вокруг которых безмолвно роился снег.

Было во всем этом что-то новогоднее, было праздничное — такое, когда еще до водки, до шума и сутолоки за столом, еще совершенно трезвый, уловишь ты вдруг в самом себе минуту непонятной какой-то торжественности и тишины, и задумаешься неизвестно о чем, но очень для тебя важном; и минута эта разбередит тебе душу, заставит вспомнить о давно забытом; и воспоминание это будет и радостным и горьким сразу, и будет почти неслышным — было ли, не было?.. И защемит у тебя, здорового дурака, сердце, и неизвестно отчего захочется вдруг тебе заплакать...

И Громов, уловивший сейчас в себе такую минуту,

стоял тихонько, словно не ощущая себя самого, но к себе прислушиваясь, и в груди у него отчего-то ныло и ныло — горестно и сладко...

Автобус подошел совсем бесшумно. Громов даже не слышал, очнулся, когда бросились к дверям спереди и сзади, и надвое распалась толпа.

Подчиняясь давнишней своей привычке брать место с боя, он шагнул было тоже; и вдруг ему расхотелось в эту давку, расхотелось уходить из этих минут, и он только смотрел, как садятся, как отъезжает так же бесшумно, как подошел, залепленный белым автобус.

1968

В ТОРОПЛИВОСТИ ЖИЗНИ

1

Несколько дней назад не умевший еще разговаривать мальчишонок Громова, Артюшка, научился как-то по особенному тюрюкать... Мордашка была у него при этом слегка задумчивая, глазенки отрешенные, и в горлышке как будто само по себе негромко клекотало и булькало: кырль!.. кырль!

Чуть грустным умиротворением, звучащим в слабеньком голоске, было это похоже на пение сверчка или на тихонькое курлыканье журавленка, и у Громова каждый раз непонятно отчего тонко щемило душу.

Вот он сидит, Артюшка, на ворошке палых листьев, загребет по бокам обеими ручками, приподымет и высыплет... А потом вдруг перестанет возиться с листьями, на минутку прижукнет, и опять: кырль!.. кырль! Значит, сердчишко у него отчего-то шевельнулось, если снова заворковал... отчего? Может, оттого, что небо над ним такое синее да высокое, а горка листьев, притащенная ветром под стенку дома, в затишек, такая мягкая да золотистая, и хорошо на ней посидеть, и хорошо поваляться?.. Может, оттого, что сам Артюшка такой кроха, а Громов, стоящий над ним, его отец, такой великан в кирзовых сапожищах да в ватнике, и с ним тепло да спокойно?..

И Громов невольно переступил с ноги на ногу, становясь на земле поуверенней, и невольно шевельнул плечами, поворачиваясь и поводя взглядом, как бы ища и в воздухе, и вокруг на земле что-то такое хитрое и злое, что могло вдруг спикировать сверху или кинуться сбоку и унести Артюшку, как коршун цыпленка...

Повсюду стояла тишина, это был тот короткий час, когда стройка только что вернулась со смены и еще не успела переодеться да высыпать обратно на улицу. И все

вокруг было привычно своим: и светло-серые коробки блочных домов, на краю поселка стеснившие осколок дочиста облетевшей рощицы, и площадки между домами, где еще не успели разбить газоны и где среди недотоптанной ребятней пожухлой травы то здесь, то там высились уже ютившие в густоте ветвей вечернюю дымку березы, и ранняя и потому пока совсем одинокая звездочка, такая мирная над покатым горбом ближней сопки...

Это была обычная, какую Громов каждый день тут видел, картина, но с некоторых пор стала она ему безотчетно нравиться, он вдруг с удивлением понял, что можно, оказывается, глянуть на все на это раз и другой — и на душе у тебя непременно посветлеет. Раньше он такого не замечал, может быть, потому, что всегда спешил — то на работу, а то поскорее домой — и то по сторонам, пожалуй, особо не глядел, чего глядеть; это теперь, когда под ногами у тебя копошится пацаненок, а ты, как сторожевой гусак, тянешь шею, есть у тебя время и поглядеть кругом, и потихоньку подумать.

И Громов смотрел и думал: осень эта стала для него особенною, вся запомнилась, ему казалось иногда, что потом, когда пройдет время и многое сотрется, многое уже потускнеет и забудется, она так и будет сиять в памяти тихим солнышком над неостывшей еще землей да глубокой далью над неслышными золотыми лесами...

В сентябре и до половины октября держалась ровная сухая теплынь, дожди моросили мелкие, как будто нарочно только грибные, первый снег упал совсем небольшой и легкий, листьев тоже не обломал, и деревья так и стояли в пышной своей красе — и по окраинам поселка, и на сопках, и в окрестной тайге. Светлыми от многозвездья ночами поскрипывали молодые морозцы, пробовали войти в силу да прихватить покрепче, но уже далеко перед полуднем отлетали от земли еле заметной дымкой, растворялись то ли в прозрачной голубизне, растекшейся по ложкам да низинкам, то ли в золотистом мареве, которым отсвечивали гретые бока косогоров да крутые макушки сопок.

В природе стояла задумчивая и как будто чуть грустная тишина, и однажды Громов услышал высоко в небе еле слышный переклик журавлей, в другой раз видел, как на зорьке низко над землей летели гуси, он никогда не видел их так близко, казалось, до него дошло даже птичье живое тепло, и ему теперь представлялось, что этой

осенью все происходит, как когда-то, может быть, очень давно, может быть, сто, а может, и тыщу лет назад...

Потом всю ночь густо шумело и подрагивало где-то вверху, а по земле свистел резкий ветер, говорили после — циклон, и наутро все сделалось голо, ничего не осталось на деревах, зато по поселку лежали там и тут вороха палых, но словно еще живых листьев, притащенных бог знает откуда, было очень холодно и знобко, и вокруг стало не то чтобы просторно, а как будто бы пусто — темно-синие теперь дали отодвинулись бесконечно, и куда-то туда, страшно далеко, в наступившей опять тишине словно все еще продолжало катиться что-то протяжное и гулкое.

В этом одночасье, в которое пришли холода, казалось, была и своя загадка, и была своя простота, но все вместе тоже почему-то заставило Громова не раз уже мысленно вернуться к ночи, когда над поселком пронесся злой листобой — и он сам не знал, зачем и почему к этому возвращался...

Артюшка внизу перестал сыпать листьями, несколько раз рывком приподнял плечики и вскинул головку в меховой шапке, словно звал Громова обратить на него внимание, потом перекинулся набок и туда-сюда катнулся по толстой подстилке из листьев. Смотрел он теперь в небо, но мордашка была сосредоточенная, лобик морщился, а в горлышке опять булькнуло негромко: кырль!.. кырль!

Ишь ты, подумал Громов, цирюкан!

Надо будет потом сказать матери-то, сколько детишек в эту холодюку попростужалось да переболело, в яслях оставалось по пять, по шесть человек в группе — это вместо тридцати-то пяти, а их Артюшка ничего, не поддался, сопельки слегка, только и всего — надо будет потом обязательно, подумал он, сказать Рите...

И, вспомнив о жене, Громов и на этот раз вздохнул, потому что, хоть и раздумывал уже долго, ни к чему он так пока и не пришел, ни до чего пока не додумался.

Тут сложное дело получилось.

Месяца, считай, три назад Громов остался поглядеть за Артюшкой, когда Рита пошла в магазин, и сначала они играли на полу, катали фетровый мячик, а потом Артюшка попросился на руки, и он не утерпел, несмотря на общее их решение не приучать мальчишонку к рукам, взял. Артюшка положил голову ему на плечо, и Громов тихонько ходил с ним по комнате из угла в угол и на этажерке вдруг увидел сложенное осьмушкой письмо. Он посмотрел

на него мельком, но около сгиба невольно бросилась ему в глаза коротенькая строчка: «Коля против прежнего сильно изменился...» Интересная, оказывается, штука, когда вот увидишь про себя — его прошибло любопытство, какого он давно уже за собой не знал. Не успел и подумать, плохо делает, хорошо ли, — поставил Артюшку на пол, торопясь развернул письмо.

«Коля против прежнего сильно изменился, — писала Рита сестре своей Ольге, — куда там, как будто не он. Другой раз и Артюшу поможет нянчить, хоть в туалет можно спокойно отлучиться, и то. Но все равно трудно мне с ними, устала как никогда, ты себе не представляешь, Ольга милая, как я устала».

Как-то так. Жалостно.

Строчки эти ошарашили Громова.

Что ж, если он переменился так, что его теперь не узнать, выходит, раньше-то был порядочный дурандай? Почему тогда пошла за него замуж? Похвалу себе теперешнему воспринял он не без тайной гордости, но с напоминанием о прошлом смириться никак не мог, хоть вроде смутно и понимал: уж если изменился, значит, прежнего его больше нету, значит, нечего за того, которого не стало, и обижаться.

Строчку об Артюшке перечитал он с удивлением и сначала как будто даже с обидой: как же так? Он-то думал, что вся эта возня с мальчонком, весь уход за ним только на Громове и держится, а тут на́ тебе. Только и того — на минуту отлучиться.

И совсем уж озадачило его то место, где Рита жаловалась на теперешнюю свою жизнь. Он-то, признаться, представлял себе все иначе. Поженились они с Ритой? А как же. Сочетались законным браком. Уступил он ей с квартирами? Да, уступил. Можно сказать, уважил. На две свои однокомнатных выменяли они общую двухкомнатную чуть подальше от центра поселка, около Березовой рощи. Мальчонка ихний при родном отце растет. Так? Так! И отец этот не пьет, не гуляет. Заколачивает себе в месяц по две с половиной сотни, и все до копейки — в дом. Эта самая Ритина сестра, Ольга, попросила отпустить к ней в деревню Зинку, дочь его неродную, и он, пожалуйста, не только отпустить согласился, но еще и по тридцатке каждый месяц шлет вслед... Отчего же Рите, спрашивается, не быть довольной, если она за ним, как за каменной стеной?..

Никто и не говорит, что надо за все за это Громову в ноги падать. Нет, не надо. Но уж про себя спасибо тихонько сказать — это можно.

Все эти мысли Громов привел в порядок уже потом, а сначала строчки, которые он прочитал, больно его кольнули, внутри у него смутно шевельнулось: в чем-то Рита права... Только тут до него дошло, что читает чужое письмо, нехорошо, и он не зыркнул больше ни вверх, ни вниз, тут же свернул листок и положил, как было, взял на руки Артюшку, отошел, унося на сердце обиду.

Надо сказать, что для Громова это было время, когда, все поглядывая на маленького Артюшку, он и сам вдруг начал догадываться о прежней своей нелюдимости да о непроходимом своем угрюмстве... А тут еще письмо — как будто нарочно кто туда его положил!

Может, признаться Рите, что он его нечаянно прочитал?

Громов попытался представить этот, должно статься, мучительный для него разговор, в котором очень легко запутаться, и даже поморщился: не-ет!..

И он только притих и задумался и хотел только одного — чтобы для Риты осталось это незаметным и она бы не догадалась, что он заглянул в письмо...

С этого все и началось.

Где незаметно для него самого, а где и принуждая себя, стал Громов жалеть Риту. Раньше, пожалуй, только и того, что после хриповатого гудка выходил с поганым ведром навстречу катившей к подъезду «мусорке», а теперь, глядишь, то после смены в очереди за молоком отстоит, а утречком за свежим творожком на базар сбегает, а то и подметет полы, пыль на подоконнике вытрет. Как-то однажды, когда Рите было не до того, решил он сам свое постирать, и она это заметила, похвалила Громова, пыталась даже поцеловать, но он не дался — к телячьим этим нежностям так и не привык.

После занялся постирушкою и в другой раз, и в третий, как так и надо, а потом среди черных своих замоченных в порошке трусов увидел вдруг кружево и сперва ничего не понял. Двумя пальцами приподнял Ритину комбинашку, раздумывая, как это она могла попасть в тазик: или он не заметил, сунул заодно со своими вещичками, или сама сорвалась с веревки над ванной?

Сразу выжимать комбинацию Громов не стал, на всякий случай, пока еще ничего не подозревая, простирнул и

ее, но через пару дней, когда занялся своими рубашками, снова выловил в тазу Ритины кружева — на этот раз на бельишке еще более деликатном. Теперь Громова пронзила догадка, он прямо-таки задохнулся от возмущения, все в нем замерло — только быстро теплел, туго наливался кровью затылок. На ум ему пришло слышанное много раз в программе «Время» по телевизору словечко «происки», он повторил его, упиваясь обидой, но тут как раз в ванную заглянул Артюшка, улыбнулся ему, спрятал мордашку и тут же показался из-за косяка, снова готовый спрятаться... И Громова разом отпустило, подумал вдруг: а чего особенного — вот делов-то! Одна семья, одни и заботы, а как иначе?..

Наклонился к затрепанной, без ручек хозяйственной сумке, в которой у них сбоку под ванной лежало перед стиркой белье, нашел там старый Ритин передник, с нарочитой лихостью швырнул его в таз с водою — до кучки.

Скажи-ка кто-нибудь полгода назад, что Громову придется тихонько, чтобы они не лопнули в руках, отжимать да прополаскивать лифчики, он бы тому в лицо плюнул, а вот пришлось, поди ты. Только с прищепками на веревочке вокруг шеи да с горкою мокрого белья в тазике на улицу не выскакивал — все остальное он теперь делал исправно.

Иногда, правда, подкрадывалась к нему нехорошая мысль: а что, если Рита нарочно положила на тумбочку это свое письмо, чтобы Громов, дуралей такой, взял бы да о себе и призадумался?.. Но эту мыслишку всякий раз Громов безжалостно прогонял: не такой у Риты характер — простота почище, чем он сам.

Теперь, внимательно к ней присматриваясь, стал он замечать, и как она устает, и как о чем-то временами тоскует... В такие минуты Громов тоже не находил себе места, сердце его начинало бухать сильней, думал, подозревая тайну: о чем бы ей, в самом деле, тосковать?.. Чем ей за Громовым не жизнь? Ну что опять не так, что?

Может, надо было не постесняться да и прочитать от начала и до конца все Ритино письмо, не такой это грех, если им обоим пошло бы на пользу. Или хорошо, что Громов остановился? Потому что дальше или перед этим могло быть в письме такое, после чего он не совладал бы с собою, не справился, — а чемодан в руку, да и на все четыре стороны... Хотя, подумать здраво, чего там такого могло быть — ведь не Громов же ее добивался, она его

обхаживала, приманивала, завлекала, приваживала, почитай, три года, и вот в конце концов обратала... Или так-таки до конца Рита его не раскусила, надеялась, что он другой, да ошиблась?.. Тогда, и правда, собрать вещички... только как же теперь с мальцом? Куда ты от него, от Артюшки — родная кровь!

Сколько раз слышал Громов эти, насчет родной крови, слова, а понимать их смысл стал впервые, было для него как открытие — и беспредельная власть этих слов над человеком, и глубинная их, неодолимая сила. Вот ведь чего, кажется, мудреного: посмотришь на мальчонку потеплевшими глазами, дернешь подбородком — ну, как, мол? — и он тоже глазенки свои хитроватые на тебя уставит, ротик с крошечными зубками приоткроет, маленько чего-то обождет и потом вдруг радостно, во все светлое личико улыбнется... Ни ты ему, ни он тебе ни полслова, а сколько друг дружке сказано!.. В такие моменты в груди у Громова, под горлом сладко истаивало что-то сокровенно тихое, похожее на первое шевеленье ростка в потеплевшей земле, на робкий удар птенчонка по целой, но уже готовой расколоться скорлупке... Куда, в самом деле, от мальца с матерью?

До этого Артюшка и мать его, Рита, существовали для Громова как бы отдельно друг от друга, каждый сам по себе: только после долгих раздумий о житье-бытье своем, о своей семье ощутил Громов эту общую, всех троих крепко связывающую цепочку, и по какому-то закону, существовавшему для такой цепочки, у самого у него теперь, когда до него дошло, чего-то будто бы отнялось, а Рите прибавилось. Еще с полгода назад попроси она на коленях, чтобы отпустил ее Громов на учебу в другой город — не стал бы и слушать, а теперь сам, считай, выпроводил ее в Новосибирск. Где ты еще такого, в самом деле, найдешь?..

Опять он вспомнил, как Рита с мальчонкой на руках сидела на кухне за столом, притихнув и набок наклонив голову, как терлась щекою о светлую Артюшкину макушку, и взгляд у нее был задумчивый, глаза грустные. Громов и раз поинтересовался тогда, что случилось, и другой, ответила: ничего, просто устала, а потом будто без всякой связи вдруг вспомнила:

— Да, к нам сегодня вербовщик приходил...

— Это куда жа? — спросил Громов. — На Сахалин — кильку по банкам раскладывать?

— Нет, зачем... Наш. С учебно-курсового комбината. Агитировал ехать в Новосибирск на оператора учиться. Чтобы потом на бетонно-растворном или в формовочном, говорит, да мало ли...

— А что? — не дал ей Громов закончить. — Хорошее дело.

— А я и не говорю, что плохое, — и Рита снова вздохнула. — Мажешь кистью весь день, потом и снится — одно и то же... А тут руки вынул из карманов, на кнопочку надавил и стой себе опять, руки в боки.

— Ха-рошее дело! — повторил Громов.

— Наших двое решили ехать. Надюша Савостина и Тамарка...

И Громов неожиданно для себя обычным таким голосом вдруг спросил:

— Ну, а ты что?..

— Я? — удивилась Рита. — Ой господи... Ну, ты меня, Коля, насмешил! Втроем на эти курсы поедем? Или ты тут пока один, а мы с Артемкою в общежитие, — и снова наклонилась к мальчишке: — Как, Артемка? В общежитие хочешь?

А Громов как о деле совершенно простом и как будто уже решенном вдруг спокойно сказал:

— Артюха со мной останется. Одна поедешь.

И даже легонько зевнул.

— Ой, ой, давно я так не смеялась, — громко говорила Рита, покачивала на колене Артюшку, а лицо у нее все больше и больше скучнело, морщилось, словно на самом-то деле собиралась Рита заплакать. — Давно так!.. Да вы тут с голоду помрете, а если не с голоду, то грязью зарастете так, что вас потом тут и не найдешь, а если и найдешь, то не отмоешь...

— Сказанула!.. Что жа я один не жил?

— То один, а то с маленьким...

— Веселей будет.

Рита подняла подбородок над светлой Артюшкиною головкой:

— Хоть душу не травил бы... зачем ты, Коль?

Никогда еще Громов в глазах у нее не видал такого себе укора, что-то остро кольнуло его, он вдруг неизвестно каким чутьем уловил, что настал его час, который он упускать не должен, чтобы доказать что-то очень важное и себе, и ей, Рите. Грудью налег на стол, подался к ней:

— Дак в самом деле... ну, рассудить. Она же ядовитая, зараза, эта краска... добром не кончится. С шелухой на руках после нее — что хорошего?

Артюшка зашевелился у Риты на коленях, задрал мордашку, и личико у него сделалось озабоченное. Поддерживая его за грудку правой рукой, левой Рита быстренько утерла глаза — один четырьмя пальцами, а другой — только большим.

— Я бы работала, если б не эта аллергия. Вот навязалась, и откуда она, проклятая...

— Сказала ж врачиха — после Артюшки.

— Так ведь не было сперва...

Громов все налегал на стол:

— Ты послушай сюда... Ну, как жа люди? И ничего... обходятся. Институты кончают, а не то что... черт те куда ездют... в Омск он или дажа в Москву. А это под боком. Месяц какой-то...

— Полтора.

— Ну, полтора... от разница! Или не перетерпим? Раз надо. Говорю тебе — перебьемся!

— Отставь варенье, а то рубашку замажешь.

— Ну, ты, елки... за рубашку! Ей толкуешь одно, а она... Ты слушай. Надо тебе поехать. Точно — надо.

Рита повела подбородком на сидевшего у нее на коленях Артюшку:

— А если случится что?

— О!.. О! Ну что может случиться?

— Мало ли чего.

— Так кругом жа люди... живые. Не помогут, что ль? Я тебе про одно, а ты...

— У нас вчера бабы рассказывали. Это на самстрое, свой дом у них... Затеяла женщина стирку, а на ступеньках выварка с чистой водой... Слышу, говорит, что-то затих. Тоже мальчик, полтора ему, чуть больше нашего Артемки... Выскочила, а у него только сапожки и торчат — наклонился, видно, да перекинулся. Она его быстренько оттуда, давай кричать, люди прибежали, а тут «скорая» мимо шла, кто-то остановил. Искусственное дыхание пришлось, еле, говорит, отходили...

— Дак это и при матери, видишь.

— Вот она и кинулась, где он... Потому что мать. Сердце стукнуло. А если бы кто чужой?

— Что жа я ему, Артемке?!

— Да я не про тебя, про тот случай.

— Быть-то все может, тут как... кому что на роду написано, недаром в старину...

— Да хоть бы хоть плохонькая помощница была...

Голос у Риты дрогнул, и Артюшка опять зашевелился, привстал у матери на коленях, обнял за шею.

— О!.. О!! — горячился Громов. — А то не обойдусь без помощников. Кашу сам не сварю, что ль? Или там на горшок? А то будет под ногами болтаться, еще за ней смотри.

— Отвыкнет она от нас, Зина бедная...

— Хех, бедная! А то ей там плохо! Мне ба кто в деревню сказал.

— Не в том дело.

— Ну, вот и давай прямо: поедешь ты иль не поедешь?

Артюшка обеими ручонками и раз, и другой прикрыл Рите глаза.

— Ну, вытри маме слезки, — сказала она. — Вот умничка. Хороший у нас Артюша мальчик...

— Ты слушай, слушай сюда, — торопился Громов. — Давай так. Заявление ты завтра. Чем скорей, тем лучша... думаешь, ты одна?

— Да это ясно, не одна я такая умная.

— А что? Оператор! Ни мороз тебе, ни жара... отдашь бумажку завтра жа, слышишь? Там с какого?

— С первого, что ли, октября...

— Ну, вот. Вон времени еще сколько! Чего не умею, научусь пока. А ты поглядишь. Увидишь, что не так... забоишься бросить. Тогда взяла да и не поехала, оно кому нужно, спрашивать с тебя... мало ли что?

— Людей подводить тоже не дело.

— Я к примеру. Потому что все путем... два мужика! А тебе денег дам. Специально. Заскучала — в любое время на поезд, и... Хоть на денек или там дажа на полдня... чтоба одним глазком хоть...

— Да оставь ты варенье, Коля!

— Хух ты, елки, на самом деле! Ей про одно, а она, — и Громов ребром ладони рубанул столешницу. — Ты скажи прямо: едешь?

Однако в тот вечер он так и не уговорил Риту, сколько еще пришлось убеждать, дошло до того, что заявление он сам написал и сам отнес его в учебно-курсовой комбинат. Только когда анкету заполнять, когда паспорт, тогда и пошла уже Рита... Зато почитать теперь письма, что

приходят ему из Новосибирска: и дорогой, и любимый... Только чего-то Рита в этих письмах как будто недоговаривает, и он никак не может понять: чего?..

Громова окликнули, обернулся.

По тропинке, спрямлявшей путь от последнего дома на самом краю поселка к тому, в котором жил Громов, подходил старик Богданов, подслеповато приглядывался издали, улыбался.

— Я говорю, отец-одиночка, да, Коля?

И Громов согласился, довольный:

— Ну!..

Старик остановился, повел головой на облезлую свою дерматиновую сумку, поверх которой, под ручками, лежал завернутый в газету березовый веник.

— А я в баньку наладился.

Опершись свободной рукою о колено, Богданов наклонился к Артюшке:

— Ну, как ты тут без мамки?.. Артем Николаич? — выпрямился и пошарил в кармане. — А у меня, как нарочно, ничего, вот господи! Угостить нечем...

Старик, и в самом деле, почти при каждой встрече с Артюшкой доставал для него из кармана конфету, и Громов, всякий раз при этом ворчавший, осудил его и сейчас:

— Приучишь-таки ты его, Степаныч, попрошайничать! — увидал, что привставший на ворошке пожелтевших листьев Артюшка протянул старику крошечную свою раскрытую ладошку и словно обрадовался. — Вон, видал, во-он!.. Тянет уже, как побирушка.

— А что? — старик Богданов перехватил сумку правой, полез в другой карман. — Это, скажу тебе, большая тоже наука — уметь, брат, просить. Научился — уже не пропадешь, — и хлопнул себя по карману. — Это беда!.. Ну, прости меня, старика, Артем Николаич, забыл гостинец положить, ну, прости!

— Ладно-ладно, — построжавшим нарочно голосом укорил мальчишонку Громов. — Сало надо исть. И чеснок.

— А я так нонче чтой-то, — виновато сказал старик. — Весь день тревожится душа... торопится куда-то. И куда?.. Дай, думаю, схожу-ка погреюсь... тело пропарилось, отошло, а там, глядишь, и душа отмякла... пойду!

Он уже отошел маленько, потом остановился — словно почувствовал спиною пристальный взгляд Громова.

— Ты, я говорю, веничками запасся, не опоздал?
— На балконе ящик.
— Ну, смотри. А то дам свеженьких.
— Не повожай, Степаныч.
— Дак для хорошего человека...
И Богданов опять сгорбился, уходя, угнул плечи, сумку свою в обвислой руке опустил чуть не до земли... Сдал за последнее время старик, сильно сдал.
В прошлом году ранней весною умерла у него жена, и затужил без нее Богданов так, что его в городской больнице в нервном отделении отхаживали. Крепко, видать, был привязан к своей старухе Макар Степанович — он и в поселок-то ради нее переехал: болела астмой, и врачи велели побольше на свежем воздухе. После того, как вышел из больницы да вернулся в бригаду, свою двухкомнатную квартиру Богданов отдал Мише Костину, который с тремя детишками, да со сволочной тещей маялся в однокомнатной, и переехал сюда, в крайний от рощи дом, живет теперь с Громовым рядом, дело и без дела другой раз забежит — соседится. Угостит его Рита чаем, и он сидит, попивает молча — он вообще теперь все больше молчит, а если заговорит, так все, как и нынче, о душе, а то еще о господе-боге.
Громов даже вздохнул, опять провожая глазами старика...
Глянул потом на Артюшку и увидал, что тот и стоит как-то чудно, и как-то чудно на отца поглядывает — поглядывал так, когда еще не умел проситься.
И Громов вдруг понял.
— А-арте-ем! — сказал огорошенно. — Да ты что?.. Да неужель? Ай-яй-я!..
На всякий случай заскорузлой своей ладонью попробовал, потяжелели, нет ли штанишки у мальчонки пониже спины, нагнулся и подхватил Артюшку, одною рукой взял под головку, а другой под коленки.
— Да как жа ты так, сынок?..
И застучал сапогами, торопливо пошел к подъезду.

На лестничной площадке он осторожно опустил мальчонку на пододвинутый к порогу резиновый коврик, и Артюшка слегка спружинил ножками, замер на полусогнутых и простоял так, не шевелясь, до тех пор, пока Громов не отпер дверь да не переставил его в коридор

под вешалку. То обычно торопится, хлопает по филенке ладошкой, пока ты с ключами возишься, влетает потом первый, а тут знает, шельмец, что разгоняться ему не след.

Громов быстренько стащил сапоги, портянки не размотались, и он не стал пока тапки надевать — это Рита все приучает его к порядку, не пускает без тапок в комнату, да только сейчас он один тут хозяин, как захочет, так будет. Нагнулся было к Артюшке, да подумал, запарится в ватнике, пока стащит с него сто одежек, и сперва сам разделся, последним делом снял шапку, не глядя кинул на полку поверх вешалки.

— Ну, что? Ждешь?.. Эх, подвел ты папку!

Но, говоря это, Громов еще не догадывался, конечно, как Артюшка, и в самом деле, его подвел...

Когда выпростал мальчонку из кроличьей, взятой навырост шубки и стал шерстяные штаны спускать, увидал, что фланелевые под ними в мокрых пятнах позади, а заглянул под эти, понял, наконец: Артюшку пронесло, сходил, как гусенок, оттого и не попросился — сообразить не успел.

— Это ж надо, — огорчился Громов, — до самых пяток!.. Постой тут, слышишь? Не ходи за папкой.

Кинулся в ванную, схватил с табуретки таз, поставил под краны, открыл оба, и одною рукой стал то один, то второй подкручивать, а другою воду побалтывал, делал тепленькую. Притащил Артюшку, поставил в таз, повыше пупа задрал ему рубашонку и, уложив грудкой на левую пятерню, правой ладонью воды зачерпывал да по голому тельцу пошлепывал.

— От друг ты у меня... от друг!

Приподнял над тазом, по пояс обернул большим полотенцем, усадил на диван в комнате, пошел было обратно, и уже в дверях обернулся: что-то еще забыл сделать. Долго смотрел на Артюшку, соображая, пока, в конце концов, не дошло: шапка!

Артюшка до сих пор был в теплой своей туго подвязанной под подбородком меховой шапчонке, из-под которой неровной каемкою выглядывали края ситцевой косынки. Громов вернулся, распустил шнурки и за одно ухо стащил с сына шапку, а потом развязал на шее узелок от косынки. Волосы у Артюшки спутались, головка даже на вид была влажная, и Громов дотронулся до нее согнутой ладошкой.

— Что жа ты, Артем?.. Энта голая, а шапку еще не снял... Вот друг!

Из другой комнаты, из спальни, принес Громов большую куклу-неваляшку, поставил на диван рядом с сыном, а сам пошел простирнуть фланелевые штаны. Мало сказать, он не любил, он прямо-таки ненавидел это, чтобы какое-нибудь замаранное Артюшкино барахлишко комком валялось где-либо в ванной под ногами, и постоянно ворчал на Риту, которая всю стирку откладывала обычно на поздний вечер, на то время, когда сына уложит. Он сам не знал, откуда это у него, но был твердо убежден, что Артюшкина одежда должна либо сушиться, либо, отглаженная, лежать на полке в шкафу — пусть там хоть десять штанов, хоть двадцать...

Когда он вернулся из ванной, в полотенце была замотана неваляшка, а эта бесштанная команда уже спускалась на животе с дивана на пол. Громов успел подставить под пяточки ладонь, легонько перекинул сына, как будто ползущую через край квашню вернул в кастрюлю обратно.

Он одел Артюшку, обул, пустил погулять по комнате, переоделся сам, рабочие штаны сменил на черные сатиновые шаровары, потом они поели и устроились на диване рядком — посидеть у телевизора.

Ретранслятор на верхней сопке за поселком так до сих пор и недостроили, изображение бежало, и Громов смотрел не на экран — смотрел на сына. Личико серьезное, глазенки вылупил, не моргнет тебе и не шевельнется — лишь когда на миг замрет рамка и в телевизоре появится то женское лицо, а то какой-то завод, сглотнет Артюшка слюну или, умащивая под собой ладошки, с бока на бок качнется. Чего ему там, интересно, видится? Что понимает?.. А может быть, думает, на то и есть телевизор: мелькает-мелькает сперва непонятно что, и — раз потом вдруг! — картинка.

Громов обнял мальчонку, пригорнул к себе теплое, легонькое тельце, тихонько прижал к боку и долго сидел так, не слушая, о чем там по телевизору говорят, а только глядя, как мельтешат, как торопливо тасуются серые, один на другой похожие кадры...

Не думал, казалось, ни о чем и думал обо всем сразу, краем проходили дневные заботы, трогали его неторопливо и, слегка постоявши около, уходили незаметно, где-то там пропадали, затихали совсем, будто тоже укладывались

спать. Потом выплыло одно — случай сегодняшний с Казачкиным, — и Громов, продолжая в телевизор глядеть, невольно прищурился.

Казачкин был один из двух «химиков», которыми наградили недавно бригаду Громова. Второй, что постарше, Рогов, из сачков, видать сразу, а этот ничего, стал стараться, да только сноровки никакой, в тюрьму, говорят, загремел из института, и нынче, когда они с Громовым вдвоем распорки ставили, шарахнул топором себе по ноге. Сперва запрыгал, а потом сел с маху, уперся в землю руками, и Громов начал стаскивать с него сапог прорубленный — тут она из-за голенища, финка, и выпала.

Казачкин перестал дергаться, глядел на свой ножик, а к ним уже бежали от дальних фундаментов...

Сам послевоенная шпана, Громов мало-мало соображал в этом деле, а потому, не глядя на окровавленную ногу, хоть там что, подобрал ножик, постоял на одном колене с ним в руках, как бы раздумывая, что делать, потом не торопясь, стал засовывать за голенище кирзача на здоровой ноге — засунул и не сказал ничего, только долго на Казачкина посмотрел.

Добро это, «химиков», подбросили в управление совсем недавно, когда Громову из-за Артюшки было маленько уже не до того, потому и не успел понять толком, что за гусь этот Казачкин, не разузнал пока, чего он, такой молодой, успел натворить и чем потом таким отличился, что освободили досрочно, послали помогать, видишь, на ударной, на комсомольской... Или только в том и причина, что народу на стройке не хватает, а то досиживал бы себе как миленький? Так или иначе, а теперь ясно — придется рога обламывать...

И у Громова под большим и широким, чуть вогнутым посредине носом сломались на миг прямые и длинные, во всю квадратную челюсть, губы.

Второй раз с Артюшкой случилась беда, когда Громов укладывал его, а третий раз ночью. Громов, как всегда, спал крепко, и ничего не слышал, и вдруг на тебе: приподнялся на кровати и сел. Как будто кто толкнул его в бок. Нашел ногами тапки и даже не стал простынку Артюшкину щупать — пошлепал в другую комнату, включил свет, оставил щель в дверях и начал перестилать под сынишкой. И тут, среди ночи, он опять постирал и, то ли оттого, что разогнал сон, а то ли от страха, что Артюшка заболел, уснуть потом Громов никак не мог.

Чем же они его там, думал про ясли, накормили?.. Такого с Артюшкой еще не случалось... Или сам недоглядел, дал что несвежее? А вдруг это — дизентерия? И забарабают эти друзья в белых халатах Артюшку в изолятор при инфекционной больнице, что около городского кладбища — только его и видели, а что?!

С вечера еще подкрадывалось к нему воспоминание, которое отгонял как мог, но тут, среди одинокой ночи, оно навалилось, наконец-то, — не совладать. В сорок шестом, когда в колонию попал, заболел он дизентерией, а в больнице мест не было, и пацанов, как он, клали на сдвинутые кровати. Сосед ему достался задохлик задохликом, лежал уже второй месяц, и ночами его трясло; замерзая, он прилипал к Громову, но однажды непривычно тяжело навалился, придавил, и Громов сперва и раз, и другой долбанул его локтем, а потом руками и ногами уперся в стенку, чтобы подальше оттолкнуть, и тот свалился с кровати. После этого никак не мог заснуть, ждал, когда сосед поднимется, но тот не поднимался и не поднимался, и до Громова вдруг дошло — вскочил с кровати, переступил через лежавшего на спине своего соседа и бросился в коридор...

Сам он тоже чуть было не отдал концы, после сорока дней лечения почти не мог двигаться, обратно в колонию везли его на телеге. С тех пор Громова ни в какую больницу арканом не затащишь.

Он перекатился в постели с боку на бок, кулаком подбил под плечом подушку.

Риту вызвать?.. Давал ей слово чуть что отбить телеграмму. Не повезло Ритке: прости, учеба, прощай! Или пока не вызывать?.. В яслях ему ничего не сказали, выходит, там все нормально, в первый раз случилось с мальчонкою около дома. Ах, дурандай ты, Громов, дурандай!.. Тут бы тебе и спохватиться. Чем раньше, тем лучше, ясно... Дал бы, пока не поздно, таблетку... а чего сейчас-то лежишь, если все понял, наконец?.. Чего ждешь?!

Первым делом он, торопясь, достал из шкафа коробку из-под импортной обуви, в которой хранила Рита лекарства, и долго хрустел целлофаном, рассматривая надписи над запечатанными в нем таблетками, шуршал бумажными пакетиками с порошками, копался среди разноцветных склянок, но ничего от живота так и не нашел. До этого мальчонка ничем, слава богу, не болел, лишь иногда простужался, и Рита целую инструкцию написала для Громо-

ва, как Артюшку лечить, если опять простынет. И Громов тоже больше всего на свете боялся Артюшкиной простуды, берег от нее сынишку и уберег, да вот, поди ты, теперь другая беда...

Сам он знал от живота только одно средство — полгорсти соли на стакан водки, этим всегда и спасался, если что, но делать приходилось это не часто, хоть когда-то и переболел Громов, желудок у него такой, что гвоздь переварит, и если, случалось, слабило его, был это верный признак, что столовая, в которой ел, дошла до ручки и скоро или директора или завпроизводством, как пить дать, снимут — и так и было, снимали...

С теплом в поселке пока не ладилось, батареи грели совсем слабо, и Громов замерз в трусах да в шлепанцах. Накинул на плечи телогрейку и сел на табурет посреди комнаты, и сгорбился, зажав ладони между колен, поставив пятки на перекладину.

Аптеки дежурной в поселке нету. В город не поедешь. «Скорую» вызывать нельзя — факт, заберут мальчонку в больницу, и с концами. Соседей среди ночи булгачить неудобно — пока не край. Хотя, если подумать, настанет край — поздно будет... Эх, Артюшка-Артюшка, как ты папку, и в самом деле, подвел!..

Может, выйти на улицу, вдруг кто знающий попадется?.. Да только где там найдешь сейчас знающего, вторая смена давно по домам разошлась, уже за час ночи. Сейчас болтается по улицам либо зеленая молодежь, эти провожатые, либо какая алкашня бесшабашная, и от тех, и от других — какой прок?

Через тонкую щелочку, оставленную в дверях, услышал, как заворочался Артюшка, как, сонный, что-то свое пробормотал, сладко почмокал губками — белое материно молоко снится небось парнишке.

Эти мирные звуки, это еле слышное, похожее на голубиную воркотню бормотание спросонок напомнили Громову и об уюте жизни, и о ее беззащитности перед несчастьями, ему захотелось немедленно что-то такое сделать, чтобы Артюшку уберечь...

Одевался он так лихорадочно, что краем припомнилась ему казарма, припомнилась армия, и он сам себя этим подстегнул: там только и забот, чтобы не стать в строй последним, а тут — сынишка родной...

Вышел на лестничную площадку, повернулся к соседской двери, нацелился было пальцем на кнопку звонка...

Попятился тихонько, подошел к дверям в другую квартиру. Нет-нет, пусть спят все-таки. Сам слышал, как первая соседка, уже в годах женщина, жаловалась Рите, что ни за что потом не уснет, если разбудит кто среди ночи, а от второй толку, как от козла молока, — тут парочка живет молодая, только недавно комсомольскую свадьбу справили, в подарок от управления ключи от квартиры от этой и получили...

Он вернулся в свой коридорчик и сперва нахлобучил шапку, потом натянул сапоги, надел ватник. На цыпочках подошел к Артюшке и постоял над кроваткой.

Артюшка, запрокинув мордашку, тихонько посапывал. Укрыт он был хорошо, но Громов кончиками пальцев потихоньку прошелся все-таки около спинки, подоткнул одеяльце...

Ночь была морозная, ясная, вокруг луны держался холодный синеватый кружок, и, глянув на него, Громов невольно поправил шапку и верхнюю пуговицу на ватнике застегнул.

Решая, куда пойти, около угла дома замешкался и, повинуясь чему-то властному, на миг замер. Стоял, жадно прислушиваясь к самому себе, к ночному миру вокруг, и далекий, но четкий зов остро кольнул ему сердце, тоненьким ознобом ожег затылок, и что-то разом изменилось в Громове, странно сместилось: это не он стоял, оглядывая тихий, залитый лунным холодом поселок, стоял кто-то другой, а с ним, с Громовым, все это уже было, давным-давно — когда заболел у него маленький сын, и он, не зная, что делать, выскочил на улицу, и притих, неожиданно, и услышал таинственный этот далекий зов, и сам не свой бросился потом по улице, потому как боялся, что малыш проснется и выпадет из кроватки...

Не глядя по сторонам он бежал что есть мочи по тропинке внутри квартала, только на улице туда-сюда посмотрел и опять между домами ударился, чтобы поскорее выскочить на проспект Добровольцев.

На проспекте и в самом деле увидал вдали маленькую фигурку — она то истаивала во тьме, а то снова появлялась там, где под фонарями было светло.

Громов кинулся вдогонку, и человек вдалеке сперва остановился и посмотрел назад, а потом сделал странный какой-то скачок вбок и тоже понесся по улице что есть духу.

— Постой! — крикнул Громов, задыхаясь. — Эй, друг!..

Попробовал поднажать, но человек впереди уже юркнул за угол дома.

Громов остановился, стало тихо, и только тут, казалось, догнал его и тяжеленный топот собственных сапожищ, и жалостный хруст ледка в промерзших до донышка лужицах на асфальте...

И это тоже когда-то уже было — как стоял, не понимая, что делает и зачем он тут, посреди гулкого и пустого ночью проспекта... И был потом медленно выплывший из-за поворота зеленый глазок такси.

Он бросился наперерез, едва не попал под машину — хорошо, шофер затормозил. Растопыренными пальцами Громов ткнулся в скользкий, нахолодавший бок «Волги». Маленький, похожий на подростка таксист, наклонившись, лихорадочно крутил ручку окна.

— Ты токо не ругайся... не ругайся, — никак не мог отдышаться Громов. — Знаешь — нет, что от поноса давать надо?... У меня пацан...

Похожий на подростка таксист отнял руку от окошка, и Громову показалось, что тело у того спружинило — так резко ударил он плечом в противоположную дверцу. И Громов не успел ничего сообразить, как таксист уже держал его за грудки.

— А если монтировкой промежду глаз?!

Тут Громов слегка очнулся, подставил руку, цапнул монтировку и машинально вверх дернул. Монтировка осталась у него в поднятой руке, а невысокий таксист и раз, и другой неловко подпрыгнул, потом также мгновенно вскочил в машину и дал газу.

Монтировка была теплая, пахла гретой резиной, и Громов нес ее и иногда непонятно зачем разглядывал. «Надо было, конечно, — думал, — как-то поумней начать. Тем более с таксистом. Нервный народ, известное дело».

С проспекта Добровольцев он уже свернул на Молодежную, когда позади послышался быстро нарастающий гул, и его обогнала светлая «Волга» с шашечками, ткнулась к обочине.

— За этой штукой? — без всякой обиды спросил Громов, поравнявшись и протягивая монтировку.

— Да ну, добра! — тон у водителя был не только миролюбивый, даже как будто дружеский. — Просто я подумал: может, правда?

— Стал ба я брехать...

— Я сперва про пацана не расслышал.

— В том и дело. Если бы не пацан...

— Куришь?

— Балуюсь другой раз.

— Ну, не кури, правильно, — не вылезая из машины, водитель чиркнул спичкой, и узкая полоска света из сложенных лодочкой ладоней прошлась по острому подбородку, по крохотным, но зато задиристо ощетиненным усикам под слегка приподнятым, похожим на птичий клюв, носом. — У нас же как? — спросил сам себя и помолчал, и раз, и другой глубоко затягиваясь. — Гонишь, торопишься, мок-якорек, план вырвать, а он, пьянь, тянет руку. Ты по тормозам. Он: свободен? Свободен. Ну, выходи, попляшем!.. Ты как оплеванный, а компания, что с ним, — га-га-га!

— Ну, такому-то и не грех, — поддержал Громов.

— Или вчера взять. Останавливает один. Шеф, говорит, а, шеф? Пора мне, как ты смекаешь, в парикмахерскую?

— Ну, и на ее тебе, на! — протянул монтировку Громов. — Пригодится.

Водитель как будто даже обиделся:

— Да не затем я!.. Слушай. Рисовый отвар — вот. Сколько пацану?

— Скоро полтора будет.

— Первый? Второй?

Громов невольно плечи расправил, голос у него потеплел:

— Пе-ервый!

Усатенький таксист сожалеюще цвиркнул уголком губ:

— Припозднился ты. У меня третьему на днях четыре годика.

— Богато живешь, — слегка поскучнел Громов.

— А я этого не понимаю, чтобы детей не иметь. Лучше голодать буду...

— Оно и видно: опух.

— Ну, ты брось, мок-якорек, ты брось!.. Я тебе по делу. Женка всех троих — рисовым отваром. Скажешь своей, она небось знает...

— Да нету ее.

Водитель выхватил изо рта сигарету, спросил почему-то с надеждой:

— Бросила?!

— На курсы поехала.

— И ты отпустил?!

— Ладно, я пошел, — сказал Громов.

— Да ты постой!.. Значит, надо было, раз отпустил. Я что? Тебе видней.

— Пошел я...

— Куда тебе? А ну, садись!

— Тут рядом, — замялся Громов. — Да у меня и кошелька с собой...

Водитель выкинул руку:

— Дай монтировку! Вот как врежу сейчас промежду глаз, если не сядешь!

Артюшка мирно посапывал на том же бочке, и Громов, постояв над ним, прошел на кухню и первым делом включил на электроплитке самую большую конфорку — пусть пока греется. Кастрюлю он тоже выбрал побольше, с широким дном, воды немного налил и риса потом бросил совсем немножко — лишь бы скорей отвар. Остудил его в тазике с холодной водой, попробовал, слегка подсластил и ровно в три с Артюшкиною чайной чашкой пошел в спальню. Посадил сонного малыша посреди кроватки и одной рукой поддерживал тепленькую спинку, а другой подавал питье, краем чашки искал губки, хотел, чтобы сынишка выпил, не просыпаясь.

— Ты токо пивни, Артюх! — шептал горячо. — Ну, самый чуток, ну?! И опять спатки... Артюх! Ну, токо пивни!

Половину отвара он вылил мальчонке на рубашку, но остальное тот все-таки выпил и, так и не открыв глазенок, опять упал на бочок.

А через час Громов снова застирывал простынки.

Теперь он уже не стал после стирки ложиться, а заварил себе чаю покрепче, выпил большую поллитровую свою эмалированную кружку и с бухающим сердцем ходил по комнате из угла в угол, сочинял телеграмму.

«У Артема понос» — это слишком. Такую телеграмму на почте запросто могут и не взять. «У Артема болит живот» — тоже не совсем то. Можно подумать, у маленького аппендицит. Можно подумать, грыжа. «Артем маленько приболел» — Рита сразу подумает, конечно, что вовсе не маленько, а тяжело заболел сынишка — как бы от такой телеграммы ей самой плохо не стало. А, может, вот: «Приезжай на денек, соскучились». А что?.. И коротко и душевно.

Громов сперва даже обрадовался, что получилось так складно, нашел бумагу и ручку, сел на кухне за стол и записал быстренько, чтобы не забыть, но потом, когда стал повторять про себя содержание телеграммы, оно показалось ему каким-то таким... Ласковым слишком, что ли. Или он, Громов, слюнтяй какой, чтобы так ласково писать?.. Или кисейная барышня?

А с другой стороны, допустим, разве не приятно было бы ему самому получить такую телеграмму?..

Только не поедет уже потом Рита в Новосибирск на свои курсы. Испугается за Артюшку и не поедет. Пропали тогда надежды Ритины на работу полегче да поинтересней, пропали общие их труды. И выйдет, что во всем-то была она, Рита, права...

Значит, одно остается: будет Громов лечить своего Артюшку сам.

Налил он себе еще кружку чаю, сел на табурет напротив будильника, который стоял на тумбочке, и то и дело стал на стрелки поглядывать — торопить время.

3

Звонок у старика Богданова не работал, видно опять замкнуло. Громов постучал выставленными костяшками, но обивка под черным дерматином была тугая и толстая, и тогда он несколько раз подряд сильно хлопнул по ней раскрытой пятерней. Почти тут же щелкнул замок, и старик Богданов высунул голову из-за двери, заморгал удивленно:

— Иваныч?.. А я думаю, кто, как оглашенный... или пожар?

— Да хуже, — сказал Громов, быстро входя. — Понос!

— А... ну, давай, давай быстренько! — и старик, торопливо отступив к вешалке, под которой поверх давно немытой да нечищенной обуви валялась роба, показал рукой куда-то вглубь квартиры.

— Чего давать-то? — голос у Громова был резкий, и Богданов смешался, развел руками растерянно:

— Дак в туалет!

Был он в стареньком, из пожелтевшей бязи нижнем белье и в опорках от катанок на босу ногу, стоял, слегка сгорбившись и поводя головой на вытянутой шее, сощу-

ренными подслеповатыми глазами доверчиво всматривался в лицо Громова, и тот, невольно настраиваясь на виноватый тон старика, грубовато укорил:

— Вечно ты!.. Как будто у меня своего нету... Артем заболел!

— Артем Николаич?! — ахнул старик. — Да как же?.. Только вчерась игрался...

— Вчера и началось.

— Позвал кого-нибудь?

— Никого я не позвал.

— А с кем оставил?

— Да ни с кем. Бросил около люльки бушлат... если вылезать начнет, дак...

— Эх, ты! — огорченно тряхнул кистями рук старик. — Была бы моя супруга, покойница. Она бы враз...

— Да вот я и хочу у тебя: что помогает?

— Так... так, — старик приподнял небритый подбородок и закатил глаза. — Вот! Ежли в ушах пробка из серы... Знаешь, что надо? Сделать из газетки такую большую трубку. Ну, на манер кулька, что в магазине. Только внизу не закручивать, а дырочку. И дырочкой этой в ухо. А потом газетку поджигаешь, она горит и все из уха вытягивает...

— Степаныч! — остановился Громов. — Тебя про Фому, а ты — про Ерему!

— Это да, — торопливо согласился старик. — Ты меня, Иваныч, прости... Такой бестолковый старик стал. Что не надо, вишь...

— Я к тебе что зашел, — снова перебил Громов. — Ты там на участке скажи. У меня отгулов четыре дня. Так я пока не выйду.

— За это не волнуйся.

— В бригаде Сереге передай, пусть там пока командует.

— Да ты за это... Что с Артюшей-то, с Артемом Николаичем делать будешь?

— Это я придумаю, что.

— Да ты пройди, Иваныч! — спохватился старик. — Я тебя хоть чаем...

— Какой чай — ты вон еще глаза не продрал.

— Почему это? — опять как будто растерялся старик. — Я еще час назад встал. Сидел на кухне, чаевничал.

— Некогда, Степаныч, некогда!

Уже на улице Громов пожалел, что так со стариком Богдановым разговаривал. Тот как сирота. От всего былого уюта только одна эта пышно обитая, с красивыми мебельными гвоздиками дверь и осталась. Начал было по привычке на новой квартире обустраиваться, обил ее первым делом, да так на том все и кончилось, на большее старика не хватило, и за дверью за этой, пышно обитой — как Мамай прошел. Сидит, видишь, в исподнем, чаи гоняет.

Артюшка уже проснулся, ткнувшись лбом в подушку, стоял на коленках, взад и вперед под одеяльцем покачивался — это у него всегда, как зарядка. Был он чистенький, и Громов похвалил его, маленько с Артюшкой поигрался, поразговаривал, потом одел его, поставил перед ним неваляшку, а сам пошел соображать завтрак.

То он давал утром Артюшке перед садиком половинку яблока — и все заботы, а теперь придется ломать голову, что мальчонке на первое, что на второе, да что с больным животиком ему можно, а чего нельзя. Но для начала Громов не стал раздумывать долго, решил сварить манную кашу да снова приготовить рисовый отвар — и до еды его дать, и после.

Артюшка не хотел есть, капризничал. Громов попробовал было покормить его с ложечки, но тот выталкивал кашу изо рта, весь измазался и отвар тоже пить не стал, как Громов ни бился.

Расстроенный, Громов оставил, наконец, мальца в покое, пододвинул к столу табурет, сел напротив сына.

— Это что ж такое, Артюх?... Может, ты как-то сильно заболел, а?

И чем дальше всматривался в Артюшкино личико, тем настойчивей оно казалось ему и чересчур бледненьким, и как будто усталым.

— Или ты за ночь похудал, а, Артюх?.. Вон как глазки обрезало...

Громов потрогал у сына лоб, сбегал за градусником. Взял Артюшку на руки, кое-как пристроил градусник у него под мышкой и крепко обнял мальца, прижал к себе, накрыл подбородком теплую и пушистую маковку.

— Посиди, Артюх, с папкой... посиди. Может, тебе сказку?

В такие минуты, когда он сидел с Артюшкою на коленях, тихонько поглаживал подбородком по головке, дотрагивался умиротворенно щекою, когда дышал теплым Ар-

тюшкиным духом, Громову всегда хотелось рассказать сыну какую-нибудь очень хорошую, очень добрую сказку — жаль только, был он не больно мастер по этой части.

— Жила-была Красная Шапочка, — начал Громов негромко и, как ему казалось, душевно. — Работала она у каменщиков...

Он и сам понимал: что-то в этом начале было не так.

— Хэх, ты! — огорченно вздохнул. — Ты ведь, Артем, дажа не знаешь пока, кто такие каменщики... Ну, вот подрастешь...

Температура у мальчонки была нормальная.

Громов одел его, оделся сам, и они отправились на проспект Добровольцев — в аптеку.

Аптека была чистая и просторная, с двумя большими фикусами в крашеных кадках по противоположным углам зала, но народу в ней толкалось много, и Громов посадил Артюшку на низенькую скамейку около окна, сам стал в очередь. Присматривался к аптекарше, симпатичной, средних лет женщине в очках с желтою, наверно, золотою оправой, прикидывал, как бы по-умному все ей объяснить, и выходило складно, но когда она почему-то слишком внимательно посмотрела на него — «Вам?» — он вдруг забыл, что собирался сказать, нагнул голову, медленно поводил раскрытой ладонью:

— Это... от живота.

У аптекарши тонкие аккуратно выщипанные брови поднялись на миг выше золотых дужек, спросила мягко:

— Берете для себя?

— Н-нет, для маленького...

— Надо говорить. Сколько малышу?

— Полтора.

— Года? Месяца?

— Полтора годика.

— И что с ним?

— Животик, — промямлил Громов. — Ну, это... Штаны марает.

— Какой день это у него?

— Да второй пока.

— Слизь есть?

Он кивнул.

— А волоконца?.. К врачу обращались? — продолжала аптекарша выпытывать все настойчивей. — Почему нет?.. Надо срочно анализы. Вы где живете?

Ага, держи карман шире!..

Громов бочком-бочком, подхватил Артюшку и, словно защищаясь от чего-то, дверь толкнул выставленным локтем.

На улице Артюшка варежку уронил, он пересадил его на левую, с прямою спиной присел на корточки, Артюхину потерю подобрал, сунул пока к себе в карман. Только шагнул, а в спину ему:

— Папаша!

Аптекарша выбежала следом.

Смотрит на него обиженно, тянет руку ладошкой вверх:

— Возьмите таблетки!.. Это будете давать мальчику три раза в день по половинке, после еды... запоминайте. Это можно по целой. До и после не имеет значения. Можете давать вместе.

Громов сунул лекарства в тот же карман, что и Артюшкину варежку.

— Это все тридцать семь копеечек стоит.

— Ага, ага...

Чтобы кошелек достать, пришлось-таки поставить Артюшку на асфальт. Нашел мелочь, отсчитал — хорошо, что получилось без сдачи. Положил ей на ладошку — ладошка длинная, узкая, с золотым кольцом на среднем пальце.

— Вы это... а то простудитесь.

Голос у нее снова сделался обиженный:

— А вы неправильно себя ведете, папаша.

Он хотел и поблагодарить, и что-то такое сказать в свое оправдание, но она уже отвернулась от него, двумя пальцами взяла Артюшку за подбородок:

— Таблеточки умеешь глотать?.. Если нет, пусть папа в папиросную бумагу или растолчет, да с медком.

А Громов, увидавший хитроватый блеск в Артюшкиных глазах, ахнул:

— А-артем!.. Как же я тебя понесу — до дома вон сколько!..

Начать Громов решил со фталазола — таблетки были большие, белые и внушали доверие. Он отломил половинку и от одной откусил чуток — попробовать, как оно.

Лекарство оказалось не горькое, чистый мел, только слегка аптекой попахивало — зачем заворачивать, Артюха небось и так съест. Из встроенного шкафчика над дверью из кухни достал Громов банку с вареньем из

виктории, которое маленький любил больше всякого другого, положил в блюдечко, незаметно для Артема бросил в него нетронутую половинку и маленькой ложечкой утопил, запрятал внутри.

— А ну-ка, — глядя на сынишку, спросил потом весело и громко, — кому вареньица?! Кому? — подражая Рите, посмотрел по сторонам и будто бы вниз, под стол заглянул тоже. — Собачка хочет?.. Кошка хочет?.. Не-ет, мы им не дади-им, мы — Артюшке!

Тот ждал уже с открытым, как у галчонка, ртом, Громов быстренько подал ложечку, и Артюшка, забирая варенье, тут же плотно сомкнул губки.

— От так! — радовался Громов. — Раз — и ложка у папки чистая!

Но Артюшка уже выталкивал язычком окрашенную розовым дольку фталазола — еле успел отец поймать ее на рубашонке под грудкой.

— Артем?! От друг!.. Кусочек конфетки попался тебе, а ты?..

Но как он ни замешивал потом половинку таблетки, как среди ягод виктории ни прятал, сынишка каждый раз упорно находил ее во рту и выплевывал. Пока отец его уговаривал, Артюшка все варенье, что было на блюдечке, уплел, а когда Громов наконец-таки решил растолочь лекарство, налакомиться успел уже вволю.

— Да ты че? — удивлялся Громов. — Не хочешь больше варенья?..

Мальчонка не отвечал, только, ткнувшись измазанным подбородком себе в плечико, словно чего-то застеснявшись, отворачивался. «Ишь ты, — думал Громов, отчаиваясь, — красна девица!»

А может, не надо это — с вареньем?.. Может, парнишка и так все поймет — такой умница!

Он достал из пачки большую белую таблетку, показал сынишке.

— От! Видал? Таблетка. Надо ее скушать. Понял?.. Артюша — хороший мальчик? Во, киваешь... Значит, хороший, правильно. Тогда так: полтаблетки папке, а половинку тебе... Артем!

Сынишка внимательно глядел на него исподлобья, но губ не разжимал.

— Смотри!.. Папка: ам!

Громов кинул свою половинку в рот и, делая довольное лицо, захрустел ею нарочно громко.

— Ым-м... вкусная!.. Теперь ты давай.

Артюша мотнул белобрысой своей головкой.

— Да ты, знаешь, что? — распалялся Громов. — Зайчики, знаешь, как эти таблетки едят?.. Зайчики ам — таблетку, и нету.

На него вдруг нашел стих.

— А лисички?! Ам — нету! А ежик, знаешь, как эти таблетки рубает?!. Аж за ушами трещит! А волк? Хапает так, что попробуй, отыми! Только мы ему не дадим, мы — Артюшке!

А тот и губ не разжимал, а только так, горлышком:

— Ы-ык.

Громов перестал подпрыгивать около стола и гримасничать, перестал то ежика, а то волка изображать, и лицо у него сделалось вдруг таинственное.

— А ты слышал? — спросил внушительно и как бы со страхом. — Приказ был!.. Чтоба в поселке всем по таблетке — хошь как хошь. Ты понял?.. Вот этих и вот этих! — торопясь, он достал и левомицетин — таблетки тоже были большие, но он не стал их ломать. — Вот — мои, а вот — твои... Папка свои — раз! — Левомицетин горчил, и Громов поперхнулся, но остановиться уж не мог. — Если приказ!... А теперь ты — свои.

Артюшка посмотрел на него доверчиво и опять одним горлышком, тихонько:

— Ы-ык.

— Хэх! — обиделся Громов. — Ы-ык, ы-ык!.. Ты ба лучше «а-а» говорил!

Малец посмотрел на него внимательно и требовательно, строго сказал:

— А-а.

И все-таки уже потом, после полудня, Громов добился своего — мальчишонок съел все таблетки. Пока Артюшка спал, отец тщательно, до пыли, растер фталазол и подбросил потом побольше в супчик, а крошечные крупинки бесалола он вскоре научился так искусно закручивать в папиросную бумажку, так обстригать концы, что были они почти неотличимы от перловой «шрапнели», из которой он постарался сварить кашу повкуснее.

Проголодавшийся после сна Артюшка все умял за милую душу. Жаль только, что это ему не помогло, казалось, даже наоборот, еще больше животик мальцу рас-

строило — штанишки пачкать стал чаще прежнего. Что ты с ним будешь делать?!

Когда часов около семи вечера заглянул к ним старик Богданов, Громов бросился к нему, как к родному.

— Уже не знаю, что делать, жду тебя как бога, Степаныч! Спасибо, что зашел...

— А как не забежать, — суетился под вешалкой старик, сворачивая вдоль и по привычке ставя в уголок старый свой ватник, навсегда вдетый в затрепанную, добела вытершуюся на сгибах куртку из толстого брезента. — Как... по-суседски-то? — поставил-таки стоймя ватник с курткой, сооружение свое аккуратно накрыл облезлым треухом. — А где Артем Николаич?

— Да вон, без штанов сидит, — пожаловался Громов. — Застирывать уже спина болит.

Старик поправлял под шерстяной кацавейкой измятый воротник серой рубахи:

— Вот напасть... Была бы моя супруга, покойница...

Громов его — за локоть:

— Ну, ты не вспомнил?

— Дак весь день только о том...

— И че?

— Вот ежели у кого сотрясение мозгов получилось, — торопливо заговорил старик, и голос у него был заранее виноватый, — тогда, значит, проще пареной репы. Даешь в зубы пустое сито, а сам по нему ладошкой постукиваешь — то с одного бока, то с другого. Раз-раз, тихонько, раз-раз... И мозги — на место...

— Степаныч! — в голос застонал Громов. — У самого у тебя — мозги!

И старик смутился окончательно, сморщился, даже слезы блеснули в уголках глаз подслеповатых.

— Это да... из ума выживаю. Ну, вот вспомнил, что ты тут будешь? А что надо...

Громов шагнул в коридор, обеими руками приподнял с пола стоявшую торчком одежку Богданова.

— Степаныч, а ну-ка давай быстренько, а то закроется. Придешь в аптеку, скажи, что для себя. Край, мол, пропадаю. Ниче не помогает. Чтоб, значит, самое крепкое лекарство.

— Это я смогу, — бормотал старик, шурша брезентовым верхом своей одежки. — Чтоб наисильнейшее, атомное.

— Да теперь уже атомное...

— Ну, ну, понял.

— Скорей, а то закроется.

— Бегу, уже бегу.

— Деньги есть?! — налегая грудью на лестничные перила, кричал Громов уже вдогонку.

— Есть... есть, — слабо отзывалось снизу. — Наисильнейшее!

Старик Богданов успел-таки, через полчаса принес запечатанные в похрустывающий целлофан крупные и коричневатые, похожие на соевую макуху, которой столько переел Громов после войны, таблетки энтеросептола.

— Самое-самое? — с надеждой спросил Громов у порога, разрывая целлофан и вынимая крайнюю таблетку, чтобы попробовать ее на вкус: как Артюхе давать?..

— Сказали, что если это не поможет...

— Тогда что?

Старик снял шапку, помял ее в руках:

— Может, на самом деле — в больницу, а, Иваныч?

— Ты это... раздевайся, — произнес Громов с перекошенным лицом — таблетка была сплошная желчь. Хотел выплюнуть, закашлялся, раздумывая куда, и решил, что легче эту гадость проглотить.

— Раздевайся, — сказал уже с кухни между хлебками холодной, из-под крана, воды. — А я сейчас.

И снова стриг маленькими ножничками папиросную бумагу, разламывал эти страшно горькие таблетки, делал хитрые свои малюсенькие шарики...

Уже за полночь он снова проснулся оттого, что почувствовал: с Артюшкой опять неладно. Однако на этот раз в пробуждении его было столько тревоги, столько ощущения беды, что сердце у него не перестало биться даже тогда, когда он уже переменил постельку и снова лег на свою кровать рядом.

Была глубокая ночь, самая ее глухая середина, но в комнате еле заметно посветлело, мрак из черного сделался синим, и он понял, что это холодная луна, всходившая с вечера над покатыми, с раздерганными перелесками на хребтинах сопками, уже перевалила через крышу на другую сторону дома и теперь сквозь темень тяжело бегущих облаков пытается заглянуть к нему в окошко... Представил себе затихший под свинцовым предзимним небом поселок, в котором кого-то, спокойно спящего, давно уже одолели не значившие ничего летучие сны,

а кого-то, обмывавшего квартиру либо орден, все еще распирало желание сызнова начать совсем истончившуюся, совсем было замершую песню, и ему показалось, что все вокруг, знакомые ему и незнакомые, и те, кто давно уже давал храпака, и те, кто еще друг друга уговаривал, домывал посуду, а может, сидел над книгою, над каким-нибудь там тебе курсовым проектом, а то и над рацпредложением, — все они, объединенные стройкой, были как бы вместе, и только он, Громов, остался вдруг совершенно один — с глазу на глаз с неожиданною своею бедой.

Прислушивался к тихонькому дыханию мальчонки, и ему казалось, что стало оно заметно слабее и как бы жалостнее, что появилась в нем какая-то рвущая ему душу безысходность...

А что, если так и не удастся ему, Громову, помочь Артюшке с животиком, и он вдруг и в самом деле умрет!.. Разве такого не бывает — судьбе, ей лишь бы за что-нибудь зацепиться!

Что тогда?

Странное получалось дело: Артюшка был от него, от Громова, слабый пока росточек, он был его продолжение в этом мире, но в нем, таком маленьком и слабом пока, Громов угадал вдруг заодно и как бы свое начало, ведь он, Артюшка, был внучок умершей уже после войны несчастной матери Громова и был внук убитого немцами на фронте отца, и в черточках крошечного его личика проглядывали, наверное, истертые временем, забытые уже всеми черты живших когда-то его предков, а в характере у Артюшки наверняка проклюнулось бы потом что-нибудь от деда или прадеда, так что он, все пристальней вглядывающийся теперь в свое безродное прошлое Громов, глядишь, да уловил бы зреющим, умнеющим сердцем что-то такое, что осветило бы ему холодную темень безотцовщины и как бы восстановило ту связь между прошлым в Громове и будущим, которая вот-вот могла бы порваться навсегда...

Нет, нет, Артюшка все для него был, больше, чем все, — это за его неокрепшим голоском, в котором то плач слышался, а то плескалась, позванивала радость, о какой он раньше и понятия не имел, пришел Громов в другой совершенно новый мир — бесконечно тревожный и бесконечно счастливый мир отцовства... Так что же делать в нем, как жить в нем Громову без Артюшки?

Утром, когда, побежденные новой надеждой, поти-

хоньку ушли глухие и безликие ночные страхи, он снова начал давать мальчонке принесенный стариком Богдановым энтеросептол: не зря же сказали, самое сильное лекарство.

Может, надо подавать его дня два, а то и три-четыре подряд, и только тогда будет толк?.. Поговорить бы, конечно, с кем-то знающим, обо всем расспросить бы, обо всем посоветоваться. Только как ты тут посоветуешься, если с Артюшкой выйти на улицу, считай, нельзя — только за порог, уже обратно неси, штаны замывай, а оставить его тоже не с кем. За старой своей знакомой послать, за бабкой Шевченчихой, когда-то сосватавшей ему Риту?.. Та сама про себя говорит, что она «баба-ухо», знает все, что надо знать, и чего уже не надо бы, тоже знает. Да только в том-то и дело, что бабка Шевченчиха тут же небось сообщит обо всем Рите. Просила ли ее Рита, когда собиралась уезжать, или взяла на себя бабка такую обязанность по доброй воле, но только замечал Громов, она за ним да за Артюшкой присматривает. То невзначай вроде бы около дома встретит, как дела, да как что — хотя чего ей, спрашивается, на краю поселка околачиваться, если живет в центре. А то на днях приходила, рулетку спрашивала. Это что же, нету у них в подъезде?.. Да в поселке посреди улицы стань, рулетку у прохожих спроси, тебя ими забросают, а она нá тебе — за рулеткою в гости к Громову. Ясно, приходила шпионить.

Он даже замер сперва, когда в дверь как раз в это время позвонили... Уж не легкая ли на помин бабка Шевченчиха?

Постоял, прижимая к себе сынишку и окидывая взглядом комнату... нет ли где на виду лекарства? Что простынками вся комната завешана, что штанишки кругом сушатся, это ничего, мало ли — может стирку мужик затеял. Хорошо, что он вроде Риты не застирывает, а стирает каждый раз целиком, — правда, тут уж и Рита бы ничего другого не придумала, так плохи стали у Артюшки дела...

За дверью стоял Богданов, поглядывал на Громова нарочно весело — Громов ведь хорошо его теперь знает, все повадки его стариковские давно изучил.

— Узнал, Степаныч, что?

— Да как тебе, Иваныч...

Шапку снял, прижал к груди, а другая рука у него

трясется — да что с ним, со стариком, такое творится?.. Заранее чувствует себя виноватым, а вот поди ж ты, опять его, видно, тянет рассказать Громову про лечение чего-то совсем другого, так тянет, что не может удержаться старик.

Громов даже пожалел старика, сказал миролюбиво:

— Ну, что там у тебя еще? Про че наплести-то хочешь?

Старик, будто удерживаясь на краю, трясущейся рукой потер сначала посиневший на холоде нос, потом все же прорвало его, начал скороговоркою:

— Возьми, Иваныч, желтуху: люди не знают, что делать. В больнице больше месяца надо, она ж заразная. Что можно потом есть, а что нельзя. А вот жена, покойница! Она знала: надо живую вошь скушать...

Громов подумал, что ослышался:

— Что-что скушать?

Старик осекся, сказал голосом потише:

— Вошь. Вшу, значит...

— Ладно. Дажа нашел ты дурака вошь скушать. А где вошь-то саму найдешь? Это раньше я мог тебе, знаешь, сколько!.. А сейчас ты где ее?

— А... куплю.

— Хэх, купит! Где это? — наседал Громов. — В продовольственном? Или в промтоварном?

— На базаре куплю.

— На база-ре! В мясном ряду, что ль?

— Да нет, зачем — у цыганей.

— Ах, у цыганей!

— У них всегда есть. Специально держат, кому продать от болезни. Люди сколько раз покупали — раньше тройка была, а теперь пять рублей берут...

— Подорожала, значит? — прищурился Громов. — Вша?

И Богданов, невольно уничтоженный Громовым, жалкий, еле слышно выдохнул:

— Подорожала, знать, Иваныч. Знать, так.

Ну, что ты с ним будешь делать, со стариком?!

Громов крепко взял его за руку повыше локтя:

— Тебе в поселок по делу или чего? Будь другом, Степаныч, слушай. Не мог бы ты на час задержаться? С Артюхою посидишь, а я хоть выскочу, хоть с кем толковым...

Теперь старик перебил его:

— Затем и пришел.

— Как затем?

— А так, — сказал старик, пытаясь скрыть торжество. — Я без содержания взял. На недельку. Посижу, думаю, с Артемом Николаичем, со своим дружочком... Иванычу хоть руки маленько развяжу.

— Степа-ныч! — раздельно произнес Громов, ошарашенный. — Дед!..

Артемка сидел у него на левой, а правую он положил Богданову за спину, привлек на миг, так что все трое они оказались вместе, и старик, уже вступая в свои права няньки, сказал растроганно и вместе ворчливо:

— Ну-ну! Нельзя — с холодюки я!

Пока потом Громов торопясь переодевался, пока отыскивал невесть куда запропавшие портянки, пока из кармана в карман деньги перекладывал, лихорадочными отрывками ему вспоминалось то давнее теперь собрание, на котором он старика Богданова защитил и наконец-таки обрезал Шидловского...

Перед этим он дал слабину, поставил-таки крючок на той бумажке, по которой списывались материалы, пропавшие в Микешине, и сам себя за эту свою подпись возненавидел, ходил потом туча тучей. А тут как раз и открытое партсобрание. И ничего бы, может, на нем не произошло, если бы Шидловский на трибуну не вылез, если бы походя не затронул Богданова... Складно, уверенно, как всегда, говорил об экономии в управлении, о долге каждого рабочего беречь государственную копейку. И с такой все это душевной болью, что в конце концов, подавшись к залу, на шепот перешел: «Макара Степановича Богданова все знаем?.. Все. И все его любим. Во многом пример берем. Только в одном — по-свойски должен предупредить — брать не следует: что ни конец смены, он под мышку дощечку, а то и две. Оно и малость вроде бы...» Что-то такое.

Громова, когда Шидловский говорить про Богданова начал, все сильнее и сильнее распирало изнутри, схватило в конце концов так, что ни вздохнуть; казалось, что-то не выдержало бы в нем, лопнуло, разлетелось на части, если бы вдруг не крикнул с места, даже не крикнул — проорал, задыхаясь:

— Труженик!.. А ты долбишь!

Люди потом друг другу рассказывали, что весь зал вздрогнул, когда его, Громова, прорвало... Он и сам

напугался: как с кручи — в воду. Но остановиться уже не мог — водоворот крутил Громова, только держись...

— Н-не понимаю вас, — сузив маленькие глазки на аккуратном личике, медленно сказал, наконец, Шидловский.

А клокотавшее в Громове снова плеснуло через край.

— Сам шифер в Микешине украл, а я потом липу тебе подписал, это понимаешь?!

Опешивший председатель собрания уже добивал об опустевший графин карандаш: «Товарищи, товарищи... Кто украл, о чем речь, почему с места?..»

Шидловский руками развел.

— Товарищ, вероятно, перед собранием слегка «это самое»...

И Громова подкинуло в третий раз:

— Трезвый, думаешь, никто тебе, гаду, уже и правду не скажет?!

И вдруг... Громов тогда чуть не заплакал, потому что кто-то из старичков первый вдруг крикнул: «Правильно, Коля!»

И эти, комсомолята, тоже вдруг: «Дайте Николаю Ивановичу — пусть скажет!..»

А он бы тогда уже и под пыткой ничего не сказал — весь вышел.

Да главное, видать, было уже сказано, потому что Шидловский вдруг схватился за сердце, потом на виду у всех торопливо отвинтил крышечку от жестянки с валидолом, сунул в рот белую таблетку и, держась за спинки стульев, покачиваясь, не в зал пошел, а за президиум, куда-то за сцену... Потом-то уж, когда якобы из-за болезни сердца Шидловский уволился, в управлении стали открыто говорить, как он ловко на трибуне прикинулся, но тогда, на собрании, разговор, конечно, поневоле стих, когда начальник управления начал тут же вызывать «скорую»...

Ожидалось, что разговор, так неожиданно начатый Громовым на собрании, состоится, когда Шидловский поправится, но тот смог-таки уволиться тихой сапою, и начальник управления, намекая на бывшее руководство Громова, как-то однажды сказал ему один на один:

— Может, Николай Иванович, плюнем да разотрем?.. Чтобы свой мундир-то не пачкать?

Но считаться с Громовым стали заметно больше, и заметно больше доверять и больше советоваться.

Они там, когда прикидывают, кого в президиум, всегда теперь пишут Громова, а если вдруг позабудут или еще что, из зала кто-нибудь обязательно выкрикнет: «Николая Ивановича Громова!»

Старик же Богданов — тот с тех пор прямо-таки прилип к Громову. И вот надо же теперь: взял, видишь, неделю без содержания, чтобы посидеть, выходит, с Артюшкою.

Добрый старик.

— Ты слушай, слушай, Иваныч, — наставлял теперь тот Громова, держа на руках Артюшку. — Сделай, как я тебе сказал: пойди в очередь. Молодежи сейчас нету, одни пожилые... Не все еще, поди, вроде меня из ума выжили!..

Добрый, добрый старик, думал Громов, торопясь по совету Богданова в ближайший магазин, чтобы там со знающими людьми об Артюшкиной болезни поговорить да посоветоваться...

4

Стоял тот ранний, еще полусонный в магазине час, когда народу было совсем немного, почти одни старухи, и никто из них ничего не покупал, а все только переходили от прилавка к прилавку, к чему-то чересчур внимательно, так, будто впервые видели и уходящие к потолку пирамиды из латунных банок с «завтраком туриста» и трехэтажные ряды маринованной свеклы в литровых стеклянных, — приглядывались, посматривали значительно на стоящих парами сплетничающих продавщиц, тянули шеи, чтобы заглянуть в проемы дверей за их спинами, в незримую глубину подсобок, где шоркали по цементному полу тяжелые ящики и раздавались то деловитые, а то дурашливые голоса грузчиков... Грякали потом где-то внутри металлические двери, клацали запоры, с улицы доносилось от грузовика надсадистое подвывание прогазовки, громче делались разухабистые крики грузчиков, и для старух, медленно кружащих вдоль прилавков, это был как бы особый знак, все они спешили поближе к кассе, но очереди не занимали, а так, только поглядывая друг на друга, прохаживались... Ничто, однако, не менялось вокруг: пышнотелая, с высокой прической, недоступная, как королева на троне, кассирша, сложив руки на груди,

не то чтобы равнодушно, а даже как бы надменно глядела куда-то в сторону, и, потоптавшись вокруг да около, старухи снова разбредались в разные концы магазина.

Громов, уже несколько минут упорно делающий вид, что он все рассматривает пряники, невольно вздохнул. После смены тут начнется столпотворение, мести будут все подряд, за пачкой соли можно час отстоять, а сейчас бери — не хочу!

Ясно, что старухи скучают без дела, тут бы и подкатиться, да только с кого начать?.. Как?

Но тут ему повезло.

Все, кто был в магазине, снова вдруг поспешили к кассе, и на этот раз даже в очередь вытянулись. Он тоже подошел, пристроился последним. И все стояли пока молча, чего-то ждали, словно не решаясь побеспокоить все так же надменно глядевшую куда-то в сторону кассиршу.

Момент был самый подходящий, и он решился.

— Это вот, — буркнул вроде бы ни к кому не обращаясь. — Если у маленького — желудочек?..

Стоявшая перед Громовым полная в бежевом потертом пальто пожилая женщина с толстыми ногами в вязаных домашних носках над высокими калошами даже не обернулась, скорее всего не расслышала, зато быстренько глянула на него другая — с простым крестьянским лицом, но одетая во все модное, правда, уже ношеное, старенькое, наверное, дочкино.

— Если только начался, — ответила мягко, — можно чаек некрепкий, такой, чтобы малыш потом уснул. Или марганцовочку. Тоже такую, слабенькую.

— Четвертый день, — сказал Громов.

И тут они почти все отвернулись от кассы, словно затем, чтобы получше рассмотреть Громова.

— Четвертый день, пора уже что-нибудь покрепче...

— А сколько малышу?

— Тут приноровиться надо, кому че.

Ближайшая соседка Громова вдруг обернулась — у нее был печальный взгляд, под глазами иссиня-желтые круги.

— Кровохлебку отварить. Лучше нету.

И очередь живо откликнулась:

— Хорошо, да.

— Прямо погуще, правильно.

— И молока в эти дни, конечно, не давать...

— Вообще ничего молочного.

Смуглая в плюшевой кофте — в «плюшке» — старуха вытянула к Громову костлявую, с пергаментной кожей руку:

— Толченый уголь попробуй.

Он не понял.

— Это как?

— Как, как?.. Да просто. Не энтот, конечно, что из шахты. А когда в печке прогорит...

Беленькая, чистенькая, тихая, как мышка, старушка в черном пальто высунула личико из белого платка, сказала словно стесняясь:

— Можно в аптеке взять. Активированный уголь.

— Не будет, так самому, — настаивала в «плюшке».

— Уголь очищает, да...

— А шоколад давать пробовали? — настойчиво спрашивала у Громова низенькая старуха в коричневой кроличьей шубе и шапке-ушанке. — Вы шоколад попробуйте.

— И шоколад помочь может, — вторила очередь.

Соседка с грустными глазами снова обернулась:

— Чернику отварите.

Откликнулись опять:

— Первейшее средство.

— Так завяжет, что...

Глядевшая на всех словно бы с каким превосходством крепко сбитая тетка в синем мужском плаще и в сером в мелкую клеточку платке улучила, наконец, момент, повела на Громова крупной бородавкой на подбородке.

— Человек, а человек? Ей-богу, не брешу. Кому че. Шоколад шоколадом, а у меня сам, как с брюхом плохо — сразу ноги мыть. Прямо из таза этой водички маленько отольет в стакан, выпьет...

Этот рецепт спор вызвал:

— Вы придумаете!

— То у взрослого, а это кроха, можно сказать.

— Дак ведь и не то пить будешь, лишь бы прошло.

Чистенькая старушка в черном пальто и в белом платке спросила мягко, словно почему-то боялась обидеть Громова:

— Кожицу граната отваривать не пробовали?

— Это другое дело, гранат...

— Верное средство, правильно, что и черника.

— И никакого вреда, главное.

Громов только успевал туда-сюда вертеть головой.

А они разошлись! Перебивали друг дружку и друг дружке поддакивали, приводили примеры, ахали, качали головами в тяжелых теплых платках, цокали языком.

Он вспомнил про свой разговор в аптеке.

— А вот что слизь у него?

— Да что, что слизь?.. Оттого и слизь, что животик расстроенный.

— А вот волоконца?

— Волоконца?.. Либо нитку подобрал с пола да съел, либо еще че.

Академики!..

К очереди пристроились еще две пожилые женщины — обе в старых телогрейках и в одинаковых клетчатых полушалках, обе с выцветшими почти добела вещевыми мешками за спиной и с набитыми бумажными кульками авоськами в посиневших на морозе руках. Постояли молча, повертели головами, прислушиваясь, начали сперва легонько, будто бы невольно, а потом все чаще да охотней покивывать, и, наконец, одна сказала низким простуженным голосом:

— А я кого скажу, женщины: тут надо угадать...

Громов поймал себя вдруг на том, что перестал вникать в суть разговора, а вслушивается лишь в звучание голосов, напоминавшее ему что-то давнее и, казалось, почти позабытое... Не такие ли старухи отдавали ему когда-то в очередях крошечные, размером с половину спичечного коробка, хлебные довески, не у таких ли, как они, Громов, бывало, что-нибудь съестное выхватывал из рук или из корзинки вытаскивал?.. Хоть кричали, как будто режут, острыми кулаками больно стукали по горбу, напуганными голосами звали милицию, старухи эти выкормили в войну детдомовскую братву. Неужели не спасут теперь Артюшку?.. И вместе с надеждой, которая все сильней укреплялась в Громове, пришло к нему что-то похожее на запоздалую благодарность и тихое раскаяние.

— Товарищ! А товарищ?

Это окликали Громова молоденькие продавщицы за прилавком напротив — обе бледненькие пока, с льняными кудерьками из-под синих, испанками, шапочек:

— А груши простые? Простые груши? Вы груши простые пробовали?

Он повел крутым своим подбородком на витрину:

— Так где они у вас?

Обе они тряхнули букольками:

— Постараемся найти. Мы сейчас найти постараемся...

И тут скрипучий голос прорезал общий шум:

— Прекратите глупости! Все глупости, все: и уголь, и гранат, и кровохлебка. На это аптека есть. Фталазол, энтеросептол.

— Так пробовал уже, — вскинулся Громов.

— Не помогло?

Он сказал, как Артюшка:

— Ы-ык.

Очень высокая и очень тощая старуха, с торчащими из-под шляпки косичками школьницы, снова проскрипела категорически:

— Бесалол, бекарбон.

— А вот и нет, — раздался вдруг робкий голос.

Все — туда.

Небольшого росточка, худенькая — ей бы такие, как у этой версты, косички. Студенточка, может, или медсестра. Личико так и пылает, глаза вострые:

— Потому что и там и там — беладонна, наркотик, ребенку ни в коем случае!

Эта с бородавкою, что говорила про мытье ног, решительно взмахнула крепкой рукой:

— Правильно, детка, правильно! — и на тощую старуху посмотрела победно. — А говорят еще, молодежь плохая!

Тощая старуха с косичками молча сделала шаг из очереди, молча пошла из магазина. Когда дверь за нею захлопнулась, смуглая, в «плюшке», что говорила про уголь, сказала больше жалостно, чем в осуждение:

— И-их!.. Расстройство, видать, часто, а дети, дети, откуда они у ее?

И тут хлопнула другая дверь.

Маленькая, тонюсенькая дверца, только что запиравшая четырехугольный закуток кассы.

В полной тишине, высокомерно приподняв голову с высокой прической, вдаль от очереди плыла вниманием обойденная кассирша.

Какая сиротская вдруг наступила тишина!..

Однако длилась она недолго: в душе у кассирши восторжествовало всепрощение.

Вот она снова уселась на своем месте перед аппаратом.

— Рупь тридцать две, — покорно попросила ближайшая старушка, та, что в кроличьей шубе и в ушанке.

Пышнотелая кассирша снова посмотрела куда-то вдаль. Очередь ждала, покорно, почти с раболепием. И тогда кассирша сказала громко, непререкаемо:

— Ольховые шишки, вот что, — и, слегка откинув голову назад, с долгим прищуром посмотрел на Громова.

Остаток дня простоял Громов на кухне у плиты. Сначала как самое простое сварил для Артюшки компот из груш — и правильно сделал: все остальное было если и не очень горькое, то, во всяком случае, даже для взрослого человека довольно противное, и компот он добавлял потом в другие отвары.

На столе, на табуретках, на подоконнике, вокруг него виднелись теперь ковшики, литровые и полулитровые банки, бутылки, чайные чашки, пузырьки и стаканы, стояли между ними нетерпеливо раскрытые, с разорванным верхом коробки с травами из аптеки, висели на гвоздиках сухие, похожие на клочки сена пучки, пожертвованные ему старухами.

Кастрюльки на печке клокотали, побулькивали, исходило что-то очень близкое напоминавшим ему запашистым парком, то приятным, а то с нестерпимою кислятинкой, и одно варево он помешивал, на другое, зачерпнутое столовой ложкою, дул, чтобы попробовать, третье через марлечку процеживал, четвертое в эмалированном тазу, стоящем в раковине под краном с холодной водой, студил и снова потом начинал, деловито морщась, отхлебывать, переливать, разбавлять, смешивать...

И не стриженный давно — не успел-таки в парикмахерскую сходить перед отъездом Риты, — и несколько дней небритый, с запавшими от бессонницы глазами, в давно не стиранном фартуке, то возбужденно трясущий обожженным пальцем, а то придирчиво, но и с удовлетворением смакующий свои зелья, был он похож сейчас на упрямого колдуна-самоучку...

Артюшка то сидел в комнате на диване, шелестел фольгой — узнавший от Громова о пользе шоколада, старик Богданов щедро снабдил мальчонку конфетами, — то смотрел, как дедушка острым ножичком вырезает для него деревянных зверюшек.

Иногда Громов давал старику срочное какое-либо поручение, и тогда тот мчался то к очередной старушке,

чей адрес был записан Громовым на бумажном кульке из-под груш, то в аптеку, а то к себе домой — за посудой. Громов нет-нет да и говорил ему или спасибо, или какое другое человеческое слово, и старик, видно, отмяк душой, почувствовал свою нужность, цену себе почувствовал, и о различных знахарских способах вспоминал теперь не таясь и уже без вины в голосе. Станет в дверях на кухне, о косяк обопрется сухоньким плечиком и давай:

— Вот радикулит людей мучает, Иваныч... Да как мучает! Пластом лежат, не встают по неделе. А знать-то надо всего ничего: на влажную тряпицу крошечную щепоть имбиря насыпал, к пояснице привязал, и — все заботы.

— Угу, — невнятно отзывался толкущий уголь Громов, — угу...

Но старика это вдохновляло:

— Или отложение солей. Как маются, как ночей не спят. А всего делов: на щиколке да на запястье браслетку прицепить из красной шерсти. Всего в одну нитку.

— Из красной? — машинально переспрашивал Громов.

— Только из ее, — живо откликался старик. — Взять белую шерсть да и покрасить — долго ли?

Иногда, если у него не ладилось или Артюшка снова штаны марал, Громов взрывался:

— Степаныч! Ну чепуху несешь. Ты сам себя послушай.

И старик петушился.

— А что? Что я не так сказал?.. Опоясать себя медной проволокой — от нерьвов, правильно.

— Медная проволока и нервы. Ну при чем тут?!

— О! — радовался старик. — О, правильно — при чем? Про многое я так и не догадался, а тут ума хватило: а при том. При том, что каждый день она тебе мешает, а ты думаешь: ниче! Зато от нерьвов вылечусь. На тебя в бане кто любопытный с ухмылкой глянул, а ты себе и тут: ниче! Зато не будет нерьвов! Да так и привыкнешь: как будто их и в самом деле нету, нерьвов-то.

А Громов давно уже не слышал его: о своем думал. Уже больше двух суток почти не отходил он от плиты, отваривал одно за другим и все без толку: ничуть Ар-

тюшке не лучше. Что еще можно придумать?.. Чем помочь мальцу?

Старик Богданов рассказывал, как выгнать камни из почек, когда сидевший на табуретке Громов хлопнул себя ладонью по колену:

— Гранаты нет!

И столько в его голосе было обиды и отчания, что старик Богданов прикусил язык и тут же переключился:

— Дак где ж ты ее?

— У старух нету?

— Дак ведь не наша яблока, не сибирская...

— Граната, а не яблоко.

— Все одно не наше.

— И в бригаде спрашивал?

— Что бригада? Уже все управление ищет...

— И нету?

— «Химик» один пообещал. Наш, бригадный.

— «Химик»? — удивился Громов. — Это какой?

— А что по ноге себя.

— Казачкин? Дак он же на бюллетене должен.

— Не пошел. Сам, говорит, виноват. Трудится.

И Громов прищурился:

— Интере-есно!.. А где возьмет? Гранату.

— Про то не сказывал. Найду, говорит, и все.

У Громова совсем глаза спрятались:

—Угу... угу.

— Старательный, — подтвердил Богданов. — Не то что второй. Тот четвертый день глаз не кажет. Телогрей, говорит, украли, дак не в чем.

— Вот выйду, — пообещал Громов, — он его быстренько найдет. Телогрей.

— Это ладно, — вздохнул старик. — С телогрейкою... Нам бы с Артюшею, с Артем Николаичем нашим...

— А ты помнишь? — перебил Громов. — Или тебя тогда еще не было на стройке? Ну да, ты попозже вроде. До тебя еще. В самом, считай, начале. Еще и палатки стояли, только-только первые дома. И около дороги на промбазу — ларек. Фанерный. Грузин торговал. Вино, ну и всякое там такое...

— Не-а, — покачал головой старик. — Грузина не помню.

Ларек возник мгновенно, за одну ночь. Вчера с промбазы возвращались, ничего похожего, пусто, а утром из

поселка пошли: что такое?.. Уже стоит, блестит свежею зеленою краской. Но утром в нем ничего и никого еще не было, а вечером, после пяти, стояли за стеклом на подоконнике заткнутые кукурузными кочерыжками четверти с белым и красным вином, лежали рядами горки гранатов и мандаринов, а в открытое окошко выглядывал улыбчивый молодой грузин в кепке с громадным козырьком и белой куртке. Мандарины да гранаты никто у него не брал, заработки на стройке тогда держались такие, что добровольцы эти, комсомолята, в получку за аванс не могли рассчитаться, зато вино еще как пошло... Было оно слишком кислое и отдавало цвелью, но стоило пустяки, стакан по старому — трешник, и около ларька сперва стали останавливаться, когда возвращались в поселок после работы, а потом и в перерыв приноровились гонцов посылать — по две четверти на бригаду. Этим у многих обед и ограничивался, на закуску уже не оставалось.

Потому-то и подкатили однажды к ларьку два самосвала, и хлопцы, в нарушение всяких правил сидевшие в кузовах, дружно, как десант, повыскакивали и в пять минут погрузили на обе машины и бочки с вином, и фанерную будку тоже.

Улыбчивого продавца молоденький начальник комсомольского штаба — с белобрысым ежиком и в зеленой штормовке — посадил в кабину рядом с водителем, сел сам и помахал остальным рукой. Ничья помощь больше не требовалась, потому что за поселком, там, где дорога начинает идти под уклон, самосвалы развернулись задним бортом в сторону города и задрали кузова. Ребята, бетонившие тогда на сопках за поселком фундаменты под высоковольтку, рассказывали потом, как далеко катились под гору бочки...

— А вот не прогнали б тогда человека! — закончил свой рассказ Громов и пальцем прищелкнул.

— Дак то когда было! — удивился старик Богданов. — Сам говоришь — в начале стройки.

Громов поскреб небритый свой крепкий подбородок, сказал неопределенно:

— Так-то так.

А вечером пришел «химик». Был он высокий, и плечи будь здоров, протянул Громову через порог крошечный бумажный сверток и взялся пальцами за края притолоки вверху, а голову слегка наклонил, так что синяя

нейлоновая куртка с красными полосками на плечах стала на нем горбом.

Громов невольно глянул на новенькие, начищенные до блеска туфли Казачкина, и тот усмехнулся:

— Порядок, бригадир. Заживет, как на собаке.

— Ты чего повис? — спросил Громов.

Казачкин скривился:

— Так.

Громов все не верил своему счастью:

— Где взял-то?

«Химик» опять усмехнулся:

— Там больше нету, бригадир.

— Да ты зайди, зайди! — шепотом звал из-за спины у Громова старик Богданов. — Чего квартеру студить? Прохватит ребятенка. От одного выходим, другим начнет маяться.

Казачкин, черными цыганскими глазами все время сверливший Громова, убрал руки с притолоки.

— Завтра зайду узнать, бригадир.

Не попрощавшись, повернулся и, чуть прихрамывая, легко пошел вниз.

Старик Богданов, когда они закрыли двери, развел перед Громовым руками:

— Такой, вишь, молодой, а...

Громов судорожно разворачивавший сверточек из бумаги, отмахнулся: некогда — после.

И отвар из гранатовой кожуры Артюшке не помог.

Через сутки, когда уже нечего было ждать, Громов снова раскрыл кастрюльку, в которой отваривал гранат, и долго смотрел на размякшую от кипятка кожицу. Тогда он не успел хорошенько рассмотреть, торопился, а теперь припомнить попытался: что там было? Достал со дна кастрюльки совершенно побелевшие косточки, стал на клеенке, как разорванную записку, по частицам кожуру собирать — маленький получился гранат, меньше детского кулачишка. Может, был неудачный какой либо незрелый?

Вечером после смены опять пришел Казачкин, опять повис в дверях.

— Что нового, бригадир?

Громов убрал со лба рассыпавшиеся волосы, которые отросли настолько, что мешали смотреть.

— Не та граната.

— Гранат, — твердо, с расстановкою поправил «химик».

— Я и говорю: не та граната.

— А почему не тот гранат?

— Ты зайдешь или тут будешь висеть? — спросил Громов.

«Химик» подался лицом поближе, почти глаза в глаза посмотрел.

— Завтра еще зайду, бригадир.

И опять, ничего больше не сказавши, захромал вниз.

Громов долго еще дверь не закрывал, все прислушивался к затихавшим внизу шагам — так оно вроде лучше думалось.

Почему он все-таки, этот «химик», в его дела встрял?.. Или хочет, чтобы Громов забыл про финку у него за голенищем? Тогда, пожалуй, поласковей был бы. А этот не заискивает, нет, а гнет какую-то свою линию, только вот на самом деле — какую?

5

Под сиявшим ярко, но уже не горячо солнышком прозрачной осени среди бескрайних, отягощенных перезревающими кистями виноградников длинные стояли столы, и за столами сидело множество грузин, все одни мужчины в черкесках и с большим рогом вина в правой руке, а среди них сидели в центре Громов с Артюшкой, только Артюшка был уже большой парень, парубок был, красавец, и на него, и на его отца все оборачивались, смотрели, когда поднимали вино, а на столах стояли увитые виноградными лозами большие четверти и с красным, и с белою, лежали на громадных блюдах да на подносах горы всякой притрушенной зеленью еды, а между ними виднелись невысокие, но плотные пирамидки из отборных переспевших гранатов. Артюшка не пил, рано, за него пока отец отдувался — парень один за другим разламывал брызгавшие алым соком, стрелявшие рубиновыми зернами гранаты и медленно нес их ко рту, жевал не торопясь, вытягивал губы, чтобы пивнуть из корочки сок, а сам поглядывал через стол на изумрудную лужайку, где в неслышном танце на фоне далеко синеющих снеговых гор медленно пплыли девушки в белых одеж-

дах с длинными и косыми как лебединое крыло рукавами...

Потом вдруг послышался тонкий ноющий звук, все нарастал и нарастал, зудел так, как будто по липкому бездорожью шли с пробуксовкой, и выплыли откуда-то сбоку набитые ребятами в кирзачах да в ватниках два самосвала, и на подножке переднего стоял комсорг с белобрысым ежиком и в выгоревшей штормовке.

Громов выскочил из-за стола, бросился наперерез, грозя кулаком, и самосвалы, гудя, стали медленно отваливать в сторону.

— Что случилось, дорогой? — спросил тамада или кто там у них старший, когда он вернулся за стол, и Громов сказал с нарочито равнодушной усмешкою:

— Так, по работе.

Снова пили вино, а выросший сынок Громова, Артюшка, все разламывал гранаты, снова танцевали девушки в белом на фоне далеких гор, когда самосвалы, сделав круг, стали приближаться, противно нудя, и Громов опять хотел было вскочить, но тут сидевший с другого бока тамада положил ему руку на плечо, а другою махнул, дал знак, и из-за стола встали седобородые старцы, каждый с большим рогом в руке, пошли навстречу машинам. Самосвалы качнулись на одном месте, шумнул в рассиверах воздух, из кузовов потянулись вниз руки. Чтобы выпить из рога, парни запрокидывали головы, и кто-то первый уже запел «Я люблю тебя, жизнь», но его перебили, на кабинку переднего самосвала вскочил белобрысый комсорг в выгоревшей штормовке, стал выделывать ногами и руки выбрасывать вбок — плясал лезгинку. Эти, в телогрейках, бетонщики, били в ладоши и сперва — «А-на-на-на-най — а-на-най-на!» — подпевали хором, а потом вынырнул среди них однорукий воспитатель Мутызников, ударил себя ладонью о колено, слабым, срывающимся на писк голоском выкрикнул:

— А курица зайца любила,
Она ему яйца носила!..

Белобрысый комсорг заработал ногами еще чаще, гулко застукотел по кабине.

Мутызников лихо тряхнул длинным чубом:

— Укусила муха собачку... ас-са!

Но тут вдруг приподнялись вверх стены высоких зданий, один от другого стали отделяться торцы и коситься

крыши, а потом все это начало криво, кое-как опускаться на землю, оседать, рушиться, взметнулось вверх облако пыли и дыма, закрыло все вокруг, и видно было теперь только одно: как, прогибаясь, треща по швам, разламывался длинный и прочный корпус гигантского цеха, распираемого изнутри медленным тугим извивом заполнявшего почти все его нутро раскаленного докрасна стального бруса...

Громов перекатил голову, чтобы подушка не закрывала ухо, и прислушивался, словно пытаясь уловить отголоски этих испугавших его страшной своей немотой близких взрывов.

Стук сердца нарастал, оно все еще торопилось туда, где не успел побывать проснувшийся Громов, и, повинуясь этому отчаянному стуку, он рывком теперь поднялся с постели, босиком прошел через комнату, стал у окна...

Поверх заледенелых, расчерченных антеннами крыш он долго вглядывался туда, где завод, но в той стороне все было как обычно: поигрывали за синеватою дымкой сполохи, словно двое или трое в разных концах тихо да мирно перекуривали — то кто-нибудь зажжет в ладони полыхнувшую полосой света спичку, а то начнет попыхивать папиросой...

Получше прикрыв Артюшку, он лег на спину, туда-сюда качнулся, чтобы прихватить с боков одеяло, и, согреваясь, стал припоминать то, что снилось.

Сколько лет, казалось ему, он не вспоминал о Мутызникове, а тут на тебе — явился не запылился... Только почему без Июньки?

Июнька был чеченец, по-ихнему то ли Юнус, а то ли Юнис, как-то так, родители его умерли в поезде, когда после войны ехали на Урал, а сам Июнька сильно заболел, его ссадили, а после больницы привели в детский дом.

Хоть плохо по-русски разговаривал, парень он был хоть куда, но воспитатели его почему-то не очень любили, один Мутызников, бывший кавалерист, всегда за него заступался и готовил к Октябрьской номер — лезгинку. Ни гармошки, ни какого-либо другого инструмента в детском доме не было, вот это и все, что Мутызников хлопал себя единственной рукой по колену да кричал про курицу с зайцем и еще про собачку, но Июнька со столовым ножиком в зубах плясал яростно, на одно колено в кон-

це упал так лихо и так сильно, видно, ударился, что слезы на глазах показались. Лезгинка всем понравилась, повариха потом стала ему нет-нет да лишнюю картошину на тарелку подкладывать... Почему не привиделся Июнька?

Он попробовал вернуться ко сну, прикрыл глаза, чтобы снова увидеть и столы посреди виноградников, и грузин в черкесках, и синие горы, но в это время неожиданно, без единого всхлипа, сильно, как резаный, зашелся плачем Артюшка, и Громов снова вскочил, наклонился над кроваткой.

— Артюш, маленький?! Что такое, Артюш?! Ну, успокойся, успокойся. Ну, что такое, Артюш?

Теплое Артюшкино тельце тряслось напуганно у него под ладонью, и он взял мальчонку на руки, прикрыл ему спинку краем одеяльца, прижал к себе...

Артюшке, выходит, в одну минуту с отцом тоже что-то недоброе приснилось — он-то, кроха, чего такого мог увидать?

Обхватив мальчонку обеими руками, приподнявши плечи над ним и сгорбившись, Громов стоял посреди комнаты, неумело поводя всем корпусом с бока на бок, и вдруг перестал Артюшку покачивать и замер — толчком крови, тугим шумком, тронувшим ему уши, остановила догадка: собственный сон был про то, что не видать его сыну счастья.

Тяжело колыхнулась в Громове и старой болью засаднила затаенная издавна обида на жизнь и яростно-молчаливый укор ей: ты обогрей человека, добра для него и света не пожалей, вот что, а хитрое ль дело — маленького да беззащитного обидеть его?..

И опять показалась ему непреодолимой сынишкина несуразная хворь: уж если наметила что судьба, не мытьем своего добьется, так катаньем. И опять закипело в нем: все сделает, лишь бы Артюшку спасти, все, лишь бы только дальше хорошо у него сложилось... а сложится?

С тревожным непокорством впервые вглядывался он в ожидавшую крохотного его сына неизведанную даль: что там, впереди, что там?.. Вот оно, это первое испытание, закончилось, снова Артюшка весел и здоровехонек, смеется себе, закатывается, а новая беда уже ждет: вон как носятся по улицам машины, вон что творится на переезде в самом центре — какой только дурак это при-

думал, железную дорогу проложить посреди поселка?! Если обойдется и тут, если Артем, выросший уже, вместе с подлодкой где-либо не утонет, не сядет в самолет, которому суждено будет разбиться, отведи от него, если ты есть, господь, хулиганский ножик!.. Уцелеет и тут, женится, соберется, глядишь, детишек завести, и — война... В бригаде недавно газетку приносили, написано было, сколько по всей земле газов и всякой другой отравы, сколько патронов, сколько снарядов тяжелых, сколько ракет и сколько бомб на каждого человека заготовлено. И на Артюшку — тоже. Выходит, что так или иначе, а нет ему, маленькому, спасенья?.. Кто там есть?! Слышишь?! Сделай так, Христа ради, чтобы это сам Громов от болезни помер. Чтобы это его сшибла электричка. Его бы хулиганье растерзало. А с тем, что на одну живую душу припасено, так: помножьте вы это на два. Поставьте потом Громова перед всем миром, лишь бы маленького Артюшку подальше в сторонку мать отвела... А потом давай на меня этот газ. Порошком по норме посыпь. Выпусти всех, какие причитаются, заразных бактерий. Расстреляй до единого патроны. То, что от меня останется, ветром развей. Не забудь про тяжелые снаряды. И уж коли положено, отдай, не греши — кинь напоследок бомбу... Только не тронь мальчонку! Пусть живет.

И тоже впервые задумался Громов с болью: какая она будет, Артюшкина эта жизнь?.. Что, или мало на земле плотников-опалубщиков, еще одним больше сделается?.. Отслужит свое в стройбате, станет ездить на работу в «коробочке», ходить по грязище в кирзачах да еще, чего доброго, пить да матюкаться... Или мальчишке на роду другое написано? Может, ученый вырастет. Не то что талант. Гений. Отгадает, зачем человек живет на белом свете и как ему спасти весь свой грешный род и всю теплую, зеленую землю. Или это, чтобы отгадать, случится еще не скоро, и пока человек родится только затем, чтобы дать в свою очередь жизнь другому, а через этого другого и третьему, и десятому, и так идут поиски отгадчика и спасителя жизни, а что сам ты не отгадчик и не спаситель, тут уж, милый, не обижайся, твое дело всего-навсего — поддержать жизнь, как бы передать что из рук в руки, а до цели дойдет другой — знать бы только хоть краешком, в чем она, эта цель?

Это все бывший детдомовец Виталька — повезло ли Громову или не повезло, что несколько лет назад с ним познакомился? Пожалуй, с тех пор стал он впервые задумываться над всякими такими вещами, далекими от простоты жизни, и бередил ему душу этот чудной мальчишка — Громов сперва, пока к нему не привык, думал даже, признаться, что у Витальки не то чтобы не все дома, но так, мозги слегка набекрень...

Остальных после восьмилетки распихали по пэтэу, а Витальку детдомовские воспитатели тащили вскладчину до десятого, Громов тоже где одевал его потихоньку, а где подкармливал, и нынче в университете при академгородке Виталька радиоастрономией занимается, а на каникулы приедет, с тайнами своими мироздания к тебе пристанет, не отвяжешься, да, а разве, в самом деле, не тайна: как из этих бешеных взрывов в черной и холодной пустоте без конца и края образовалось, что есть душа и болит?..

Артюшка перестал, наконец, длинно всхлипывать да вздыхать во сне и снова засопел сладко, но Громов все стоял, прижимая его к себе, у тронутого морозцем окна, все смотрел в черную ночь, лишь кое-где пробитую иглящимися огоньками, такими слабыми, что при виде их было отчего-то бесконечно жалко и самого себя, и всего, что только есть вокруг на белом свете.

И снова души его еле слышно коснулся странный далекий зов — почти неразличимый отголосок той жизни, какою однажды будто бы уже жил на земле он, Громов...

6

Старик Богданов, видать, уже выдохся: то все рассказывал, как прогнать ангину, если самого себя дернуть за ухо, да как на молодик бородавку свести, а тут вдруг на тебе:

— В бригаде, Иваныч, разговор был: подойдено вплотную к тому, чтобы хворого кого, заморозить, а когда врачи хоть че-нибудь соображать станут, тогда его отогреть, бедолагу, да на ноги поставить...

Громов на старика глаза вытаращил:

— При чем тут?.. Артема, что ли, морозить? Ну, ты даешь!

Но старик вдруг твердо сказал:

— Это не я даю. Это, Иваныч, ты.

И такой у него при этом был решительный вид, что Громов невольно выпрямился над тазиком с постирушкою, вытер о фартук руки, не скрывая любопытства, попросил:

— А ну-ка, ну-ка?..

— Врачей-то балбесами не я считаю, Иваныч. Однако, ты.

Громов медленно приподнял тяжелый подбородок:

— Во-он куда!

— Туда, Иваныч, — не потерял решительности старик, — туда.

— Да ты хоть сам-то с дизентерией лежал когда?! — переходя на крик, спрашивал Громов. — Нет, ты скажи, ты лежал?!

— Ну, не лежал.

— Во!.. А я от них живой еле вырвался. А кто из наших лежал, из колонии...

— Дак сам посуди, Иваныч! — перебил старик. — То в войну или после войны сразу... Тогда снаряды давай — какие лекарства? А то счас. Что же, по-твоему, зря люди стараются, зря в халатах беленьких по работе ходют, не в черной телогрейке, как мы?

— Нет, Степаныч! — покачал головою Громов, уходя глазами в себя. — Не-ет!..

— Положить боишься сынка, сходи, по крайности, один сперва, — настаивал Богданов. — Поговори. Посоветуйся.

— Да было ба с кем?

— А то нету?

— Ну, кто? — спросил Громов. — Кто?

— Да та же Леокадия.

И Громов заорал так, что Артюшка на диванчике вздрогнул.

— Леокадия?!

Леокадия была когда-то в бригаде первая бездельница, лодырка, каких до этого свет не видал — с барабанным боем вытурил ее три года назад. А до этого она кровушки из Громова попила, повила из него веревок! Две недели на больничном, потом неделю без содержания, а остаток месяца или вокруг котлована ходит, цветочки рвет или с книжкой на коленках в тепляке сидит, романы почитывает.

Имелась у Леокадии привычка ходить на работу в черном спортивном трико, и это неизвестно почему больше всего раздражало Громова. Сама с версту и худющая, как доска, фигуры никакой, а туда же: и рейтузы на ней, как на циркачке, в обтяжечку, и фуфайка. Проку от Леокадии никакого не было, только и того, посылали печку подшуровать, и каждый раз, когда заходил потом Громов в тепляк и видел ее без телогрейки, ему казалось, будто она перед ним вот-вот или шпагат на полу сделает или, чего доброго, на стол заберется и на мостик там перекинется...

Словно желая всякий раз предотвратить безобразие, Громов начинал строжиться, покрикивал, и нескладная Леокадия, опустив длиннющие свои руки, останавливалась посреди тепляка, приоткрывала рот с мелкими реденькими зубками, отчего продолговатое и узкое лицо ее еще больше вытягивалось, что-то сказать силилась, но так ничего и не говорила, только улыбалась непонятно и чересчур внимательно глядела на него сверху вниз ждущими чего-то, слегка прищуренными глазами.

— Ну, ты, Степаныч, сказанул!

— А что, однако, дурного?

Громов не отвечал, представляя себе, как разговаривает он с этой нескладной Леокадией, как она смотрит на него опять и молчит. Или теперь-то молчать не станет? Что, скажет, Коля, из бригады выгнал, а теперь на поклон?

В коридоре негромко продребезжал звонок, и старик Богданов шагнул было к двери, но Громов попридержал его, прошелся сперва глазами по комнате: вдруг опять бабка эта, Шевченчиха? Повадилась! Вчера тут на кухне сидела, вроде только и того, чай пила со стариком Богдановым, а сама по сторонам — зырк, зырк.

Но Богданов сказал от двери:

— Тут тебя, Иваныч.

Молоденькая девчушка с красными от мороза щеками молча приложила к стенке листок и протянула Громову крошечный карандашик, расписаться, потом телеграмму отдала. Громов, разрывая узенькую полоску бумаги на бланке, заторопился, руки у него дрогнули. Прочитал коротенькую строчку и отер на лбу мгновенно выступившую испарину — телеграмма была от Риты: «Очень волнуюсь срочно сообщи как Артюша».

— Что такое, Иваныч?

Голос у старика был испуганный, и Громов протянул ему телеграмму. Поднеся бланк к самым глазам, тот долго щурился, и лицо у него сделалось грустное:

— Материнское сердце, Иваныч, а? За сколько верст чует. Его не обманешь.

А Громов даже слегка зубами скрипнул:

— Ну, старая карга!

— Кого это? — вскинулся старик.

— А с кем ты вчера чаи тут распивал? — и Громов приставил к сухонькой груди старика указательный палец. — Скажи, с кем?

— С Марьей Афанасьевной.

— Во-о!

— А она при чем?

— Да при том, что это она Ритке насексотила. Нет, скажешь?

— Марья Афанасьевна никогда бы не стала...

— Шпионить, что ль?.. Хэх! А чего же она, скажи, тогда, приходит?

Старик выпрямился, сказал торжественно:

— Жизни хочет соединить.

Громов как будто съел кислого:

— Чего мне пудришь?.. Какие жизни?

— Какие есть у нас. У ее и у меня.

— Чи-о? — еще сильнее скривился Громов. — С ума, что ль, бабка спятила?.. Сто лет в понедельник, а туда жа!

Старик выпрямился и даже приподнял подбородок:

— Открылся вчера Марье Афанасьевне: однолюб я. И память о супруге моей покойной не позволяет... Но заступиться за Марью Афанасьевну заступлюсь: женщина она порядочная. Может, и просила ее о чем твоя Маргарита. Это их женское дело. Но только я точно знаю, что сексотить она не станет. Другое дело, что вместе со мной весь поселок избегала, травки лечебные искала...

— А чего ж тогда делает вид, что не знает ничего?

— Слова она боится. Грубого.

— Скажи-ка! — приподнял руки Громов. — Нежности при нашей бедности.

— А ты, Николай Иванович, не понимаешь — давно тебе хотел, не обижайся. Без внимания ты к женской

душе, вот что. И к той же Леокадии. И к своей Маргарите.

Громова кольнуло, будто тайную болячку нащупали. Поникшим голосом переспросил:

— И к Маргарите?

Старик уверенно сказал:

— А ты думал?!

Собираясь потом в больницу, Громов положил в карман пальто телеграмму. Не потому, что хотел ее Леокадии показать, нет, просто сам с собою хитрил. Хоть и понимал в душе, что дело вовсе не в телеграмме, все же она будто оправдывала Громова: мол, не было бы ее, вовек не пошел бы.

До пустыря перед больницей, засаженного недавно рядками тополей, дошел он быстро, а тут, когда увидал приземистый белый корпус, и шаг невольно замедлил, и походка у него поменялась, словно ступил на враждебную какую территорию, где ухо надо востро держать.

В вестибюле чистенько было, все покрашено, но он, потягивая ноздрями до того, что раздувались крылья широкого носа, все равно уловил этот одинаковый везде и всюду ненавистный ему кисловатый запах больницы, а когда старуха гардеробщица посоветовала ему в приемный покой обратиться, то уже одно это название острым ознобцем, будто бы шевельнувшим под шапкою волосы, ожгло Громову затылок, повеяло на него не то чтобы нездоровьем, а будто бы могильной тишиною и холодом.

Тут полная пожилая медичка в очках никак не хотела пропустить его наверх, ни сказать Леокадии, чтобы та вниз спустилась, и Громов уже отчаялся, когда другая, помоложе и поприветливей, взялась за телефон, покрутила диск, и раз и другой с кем-то поразговаривала, а потом протянула трубку Громову.

— Катасонову мне! — севшим голосом сказал Громов. — Леокадию.

— Катасонова слушает.

— Это Громов говорит!

Трубка бездушно спросила:

— Какой Громов?

Чувствуя, что заигрывает голосом, и страдая от этого, он, запнувшись, переспросил:

— Ну, как это «какой»?

И Леокадия почти вскрикнула:

— Николай?!

— Да, да! Николай Громов, бригадир. Колька!

Хоть провались сквозь землю.

Трубка немного успокоилась:

— Что, Коля, случилось?

— Да дело есть... ну, надо.

— Я сейчас спуститься не могу, должна на месте, — заторопилась Леокадия. — Тогда так. Там кто сегодня? Любовь Степанна? Она строгая. Скажи, что брат... или дашь ей потом трубку, я сама скажу. А ты поднимись потом на третий, в терапию. Спросишь, где старшая сестра... дай трубку Любовь Степанне.

После разговора с Леокадией полная подобрела к Громову, сама встала, чтобы найти для него халат. Был он маленький, Громов, пытаясь натянуть его, стал мучиться.

— Что ж сразу-то не сказали? — дружелюбно корила полная. — А я гляжу, похож вроде...

На третьем этаже, где больницей уже, и точно, крепко попахивало, он долго топтался около двери, не зная, в какую сторону пойти, пока проходивший мимо молоденький доктор с резиновой этой трубкой вокруг шеи не остановился около него, не посочувствовал:

— Вам, милый человек, кого надо?

Громов от благодарности даже руку приложил к груди:

— Сестра у меня тут. Старшая.

— В какой палате лежит?

— Она не лежит. Работает.

— Фамилия ваша?

— Громов.

Доктор был совсем-совсем молоденький, ему, видно, очень хотелось не только лечить людей, но и вообще помогать им, чем только можно. Наклонил теперь голову к плечу, поднял белесые бровки:

— Что же мне, милый человек, с вами делать, у нас такой нет.

Но Громов уже понял свою промашку:

— Это моя такая фамилия. А у нее другая — Катасонова!

— Леокадия Петровна? — обрадовался доктор. — Старшая сестра?

— Сестренка, ну!.. А вот кем работает...

— Видите, какое совпадение, — разулыбался доктор, чем-то очень довольный. — Ваша старшая сестра — она и тут старшая сестра. Старшая над всеми остальными сестрами в отделении.

И Громов не совладал с собой:

— Леокадия?!

В кабинет к ней входил он потом с тоскливым ощущением неясной своей вины, входил, ненавидя себя в эту минуту, бочком, и лишь когда увидел, как стала перед ним нескладная Леокадия, опустив длинные руки, как приоткрыла в смущенной улыбке маленький рот, лишь тогда он слегка оправился, и на секунду мелькнуло, будто Леокадия может сделать шпагат и так — в явно коротковатом для нее белом халате, причем сейчас Громов почему-то против этого не был.

Леокадия тоже не удержалась:

— Вот уж не ожидала!

— Да тут и не хотел ба, — как можно бодрее начал Громов и осекся, и, чтобы совсем не зарапортоваться, примолк — только махнул рукой.

Они уже сели оба, и Леокадия и с недоверием, но и как бы с надеждой спросила:

— Приболел?

Громова потянуло вдруг выговориться:

— Я-то?.. Не-е!.. Я как отлежал раз, еще пацаном, когда в колонии. Сразу после войны. Ну, и это... напугался, наверное, организм. Вроде того, что хватит. И с тех пор ничем. Не простывал даже. Я если перекинусь, так сразу, не-е! — И тут у него вдруг сломался голос. — Артюха... Артем! Ну, сын.

Леокадия нахмурилась, поджала губы, глаза у нее стали такие жалостливые, такие понимающие, что Громову вдруг ясно сделалось, разобьется, а выручит, и это его зажгло, прошла всякая неловкость, стал горячо рассказывать, а она то сочувственно поддакивала, а то переспрашивала заботливо. Громов до этого и представить себе не мог, что можно с кем-то чужим о сыне своем поговорить так душевно.

Потом Леокадия вдруг стремительно поднялась, под накрахмаленную высокую шапочку решительно стала заталкивать жиденькие кудряшки.

— В общем, Коля, так: жди здесь. Долго не будет, не волнуйся. Надо и все объяснить, и хорошенько посоветоваться — жди.

Сунула узкие ладони в карманы халата, одинаково зацепилась за края большими пальцами и, чуть согнувшись, шагнула к двери, потом застыла на миг, обернулась:

— А моему восемь скоро.

Громову тоже захотелось ответить участием, чуткость проявить к Леокадии. Все продолжая сидеть, спросил свойски:

— Отец-то?.. Не объявлялся?

И тут Леокадия нагнула голову совсем низко и выдернула из кармана руку, еще издали протягивая ее толкнуть дверь.

Громов посмотрел на дрогнувшие под матовым стеклом белые занавески и шевельнул руками: может, мол, зря спросил?

Теперь он огляделся, не торопясь: по стенкам стеллажи с коробками лекарств и со стопками белья, обитая железом и белой эмалью крашеная дверь под висячим замком в другую комнату — богатое у бабенки хозяйство! И снова посмотрел внимательно на белые занавесочки под матовым стеклом: ох, зря!..

Леокадии, конечно, крупно не повезло, тут уж куда ни кинь. И виновата, если разбираться стать, не сама она, не бывший ее муж, не кто-либо пятый или десятый... Стройка виновата, это факт. Тут же, на Авдеевской площадке, как вышло: парней сперва было один, два и обчелся, а девчат понавезли — мать честная! Одни тебе после десятого всем классом, другие всей группой после училища. И ткачихи тебе какие-нибудь молоденькие, и бывшие парикмахерши, а Громов, например, с кондитершей было задружил, да кто только тогда себе мозоли ломом не набивал — романтика, считалось, а как же!.. На танцах глянешь на них — одна другой краше. Вот и ходили гоголем перед ними рукастые авдеевские пареньки, и выбирали придирчиво — только и того, что при всех не щупали. Его бы раньше в деревне Гриша Косенький или еще как, а тут — первый парень. Эти, что лучших невест тогда порасхватали, до сих пор кум королю живут, потому что хорошенько знают цену и самим себе и женам своим, красавицам. А потом, наоборот вышло. Поправляя дело, в единый раз привезли на стройку эшелон с демобилизованными, с гвардейцами, можно сказать, какие были хлопцы — да что там!.. И гвардейцы эти с пылу да с жару всех тебе, какие

только остались, дурнушек, всех до единой убогоньких разобрали. В молодежном кафе, бывало, чуть ли не каждый день по три, по четыре свадьбы играли, да так шумно, что у девчат, у бедных бывших невест, до сих пор голова болит — какой уже год длится похмелье!..

У Леокадии муж тоже красавец был, чуть ли не мастер спорта, то ли борец, то ли лыжник. А потом поехал однажды в область на соревнования и — с концами. Другие своих через милицию поотыскали, алименты на мальчишат получают, а Леокадии не повезло: убежал ее законный куда-то и совсем на край света...

Он вдруг разом поскучнел, Громов: выходило, что делать шпагат в тепляке на полу или на стол забираться Леокадии было вроде бы вовсе не с чего...

Вошла она так же стремительно, только была веселая, улыбалась. Потерла руки, будто бы на холоде, и даже плечами передернула, сказала, довольная:

— Ну так! — приподняла палец и пошла к своим стеллажам. Приоткрыла одну из больших коробок, и под рукою у нее тоненько звякнули стекляшки. — Вот тебе два флакона. Вообще-то, должно и одного хватить. Разведешь капельку в стакане кипяченой воды, чтобы тепленькая слегка. А дашь самую чуточку. Это мономицин, Коля. Антибиотик. Если переборщить, маленький потом оглохнуть может. На всю жизнь. Капельку-капельку, понимаешь?.. Обещай, что каплю. А потом позвонишь...

— Что жа я ему? — протягивал руку Громов. — Враг, что ли?

Она все не отдавала:

— Хочу, чтобы ты понял: этим нельзя шутить. Пообещай.

— Сказал жа!

Она положила в раскрытую его ладонь два крошечных флакончика с металлическими головками.

— Иди, Коля. Разведешь сразу и дашь.

Невольно втягивая голову в плечи, он забубнил:

— Ну, это... Леокадия! Ну, уважила, прямо не знаю... Леокадия? Ты чего это, а? Чего?

Она опять стояла перед ним, угнув голову, а потом подняла рывком, слезы не стала вытирать, так, в слезах, и заговорила — видно тоже не могла не выговориться, бедная.

— Не обижайся, Коля, что в бригаде так... Я знаю, что ты думал тогда. Да и сейчас небось думаешь. Лентяйка, мол. Нахлебница... ой, Коля!

— Ты токо не надо, Леокадия... Платок есть?

— Есть платочек.

— А то мой, может?

— Что ты, спасибо, — она вытерла слезы, глаза у нее опять посветлели, лицо стало веселое, и он вдруг почти со страхом понял, что это нарочно заставляет себя Леокадия быть веселой. — Родился, думали сперва: диатез, — она опять решительно заталкивала под шапочку небогатые свои кудри, и Громов перемялся на ногах, взялся пальцами за спинку стула, стал поудобней. — Ты не представляешь. Сплошная на лице корка. И все тельце. Глаз ночью не смыкала. Затихнет, я забудусь, а он из пеленок ручонку вытащит и давай царапать. Проснусь, а у него все лицо ободранное, сочится, это страх смотреть, Коля! Чего только не советовали, чем только не пробовала! Бабки только и того, что утешают, врачи руками разводят... Я тогда и взялась сама. У меня в Ленинграде подружка, книги мне стала присылать. Из рук не выпускала, ты веришь. Травы собирать начала. Кожа у моего Сашеньки стала вроде получше. А тут новая беда: задыхаться начал. Определили: астма. Да еще ведь, Коля, какая подлая: на пыль, что в старых домах, реакция. А у мамы моей дом старенький совсем, значит, у нее нельзя жить... В отпуск на недельку приехали, ночью приступ, пока вызвали «скорую», он уже синеть начал. Так неделю у подружки и прожила, ей недавно квартиру, а к маме ходили с ним как в гости... И она ко мне приехать не может, у нее внучка маленькая на руках, моя племянница. Тут мне, Коля, пришлось хлебнуть. Опять ни врачи, ни бабки, опять за книжки сама, а когда, Коля? Одна, без мужа, заработки были, сам знаешь, какие, а бабкам этим, что возятся с ребятишками, плати, мест в ясельках нету, и нянечки им не нужны. Все, что поумней, матери уже давно нянечками... У бабки оставлю, дам ей таблетки, как и что растолкую. Если, говорю, бабушка, задыхаться начнет, то дашь. И весь день потом сама не своя...

— Ых, ты! — постанывал в голос Громов, покачивал головою, наполняясь чужою болью. — Ых, ты, надо жа!..

— Да если бы это все! Оно ведь, Коля, всегда одно к одному. Когда понимать станешь. Не удался он, Саша.

Или у отца у его наследственность, хотя сам какой крепкий. Или от меня это, не знаю, я ведь тоже без отца выросла, а мать о нем и слышать не хочет... Только болеет Саша и болеет. Уже куда только не возила. Теперь вот новенькое: белокровие. А что такое белокровие? Это еще годик-два, ну, от силы пять лет... Я им говорю: нет, не может быть. Вылечу его, вот увидите!

У Громова щипнуло в глазах, он, не стесняясь, махнул себя шапкой по лицу, опять задушенно сказал:

— Ы-ых, ты!

А Леокадия снова повеселела:

— Спасибо Александру Ивановичу, это завотделением наш... Познакомились с ним, я глупая была, стала спорить, он говорит: Леокадия Петровна!.. В вас талант медицинский пропадает, вам бы знания. Давайте в институт! Какой, говорю, там в институт. Давайте тогда в училище. На вечернее. В городе. И договорился, спасибо, сам, и к себе на работу взял... Сперва санитарочкой, сестра, а теперь вот, еще и диплома нет, отдал приказ: старшая. Когда, говорит, вы в этом кабинете, Леокадия Петровна, я совершенно спокоен. Я знаю, что лекарства пойдут не по знакомым, к больным лекарства пойдут, он говорит, к страдающим, Коля! — И, уловив немой вопрос Громова, почти вскрикнула протестующе: — Что ты, что ты, Коля?! Нет-нет! Это я ведь у него спрашивала, с ним насчет сына твоего советовалась... разве твой сынок сейчас не страдающий? Или ты, значит, не страдающий, Коля?!

7

Домой к нему Леокадия пришла на следующий день вечером.

Теперь уже Громов не боялся, что эта бабка, которую он считал до того шпионкою, или что незваные доктора: узнали от кого-нибудь, мальчик болеет, а отец в больницу не ведет, и на тебе, вот они — звонят в дверь.

Сегодня пусть звонят, сегодня уже не страшно, потому что после Леокадиного лекарства кончился у Артюшки понос, как отрезало.

Идя к двери, Громов даже что-то такое от хорошего

настроения негромко мурлыкал и примолк лишь тогда, когда увидел ее: в легоньком осеннем пальто и в тонком платке стоит, чуть согнувшись, обеими руками в перчатках этих из ниток около груди держит сумочку.

Поздоровалась и, ни слова больше не говоря, шагнула через порог — уверенно и, как на работе, деловито. Громов это почувствовал и бросился помогать ей раздеться: ну, врачиха, действительно, что ты с ней!

Первым делом взял сумочку и подержать ее сунул под мышку.

— Как маленький? — спросила она, стаскивая перчатки.

— У-у! — Громов обрадовался. — Порядок в танковых частях. Я сразу, как пришел, развел, сам попробовал...

— А пробовать зачем?

Она неторопливо расстегивала пуговицы на пальто, и Громов подумал, что руки у нее озябшие.

— А как жа? Горькое там или соленое... Потом ему. И — как рукой, веришь.

Тут Громов потянулся за пальтецом ее на рыбьем меху, и, хотя прижимал сумочку, она все же вышмыгнула из-под руки, упала около обуви под вешалкой.

— Хэх, ты! — он перекинул через руку пальто и, наклонившись, подхватил сумочку, протянул Леокадии. — Ничего там не разбилось?

И в это время длинное ее пальто соскользнуло с руки, на пол съехало.

Разматывая платок, она качала головой, улыбалась:

— Ой, Коля, Коля!

А Громов огорчился:

— Так это жа всегда, когда стараешься!

— А ты не старайся.

— Ну, как жа! Такой гость, можно сказать.

Леокадия увидала зеркало на стене, глянула, трогая прическу, слегка повела плечами, как бы одним только этим движением поправляя голубое, с белым кружевным воротником платье, и он вдруг смутился: вон какая нарядная, а он перед ней стоит шарашка шарашкой — в выцветших почти добела старых сатиновых штанах и в драной рубахе, у которой на груди нету пуговиц.

Поправить воротник он руку под горло положил и наклонился слегка, будто с головы до ног себя осматривая:

— Я это... не гляди.

— А я не на тебя глядеть, я на сына.

Переступила у вешалки, замялась тоже, и он рукою затряс:

— Не надо, не надо!

В поселке, где несколько лет до этого об асфальтовых дорожках только мечтали, это обычай был: гость первым делом снимал в коридоре обувь, а хозяин, если уважение свое к гостю хотел подчеркнуть, уговаривал пройти так.

— Я, правда, на секунду, но все равно, — сказала Леокадия, слегка нагибаясь вбок и потянувшись рукою к «молнии» на невысоком, с раструбом сапожке.

— Ноги чистые, зачем?!— сказал Громов.

— Нет-нет, убирать потом, — сказала Леокадия.

— Да что убирать, на улице грязи не найдешь! — сказал Громов.

— Нет, все равно, — сказала Леокадия.

И она чиркнула «молнией» на сапожке.

А Громов наклонился под вешалкой найти тапки.

Это была привычная церемония, но Громову, увидавшему Леокадию в чулках без обуви, показалось вдруг, что в этом есть какой-то будто бы особый смысл, и особый смысл почудился ему в том, что надела она потом старые Ритины тапочки.

— А что его не слышно, сынишку твоего?

— Да уложил уже.

И в том, что в комнату, где спал Артюшка, вошли они на цыпочках и около кроватки сперва постояли молча, была объединяющая их двоих невольная тайна.

Вглядываясь в безмятежное личико Артюшки, Громов потом забылся: ишь ты, как сладко спит, — конечно, за все эти дни намучился, а теперь вон попку откинул, ротик раскрыл и пальчики растопыренные над головенкой повисли.

— Похудел, бедненький? — спросила Леокадия.

Он тоже шёпотом ответил:

— Схудал, да.

— Ну, ничего, это быстро. Лишь бы все хорошо.

— Это тебе спасибо.

— Ну, что ты, Коля, за что.

Вышли тоже на цыпочках, Громов прикрыл дверь, и тогда они заговорили погромче.

— Присядь на минутку, — попросил он.

Она опустилась на краешек стула, но, как бы желая оправдать и этот неожиданный для Громова приход, и то, что теперь присела, сказала деловито:

— Ну так. Все хорошо, значит. Так Александр Ивановичу и скажу. А то он мне целый день: отец мальчика обещал позвонить вам, Леокадия Петровна, что, не звонил еще? Нет, говорю, пока не звонил.

— Не успел просто.

— Придется вам, Леокадия Петровна, сходить, говорит. Наша обязанность.

Громову показалось, что в квартире у него очень холодно, скрестив руки, провел ладонями по плечам.

— А как нашла?..

— Макар Степанович мне сказал. Богданов.

— А его, как?

— Что «его»?

Громову отчего-то становилось все холоднее.

— Ну, нашла? Старика.

— А я знала. Мы с Макар Степановичем дружим.

Он слегка насторожился.

— И давно?

— Как в бригаде еще, — голос у Леокадии был отчего-то виноватый. — Я тогда травки только начала собирать, а он давно уже... Для Клавдии Ивановны своей. Ну, разговорились. А потом я как-то пришла к ним. Мы с Клавдией Ивановной больше — она добрая была... Все меня народной медицине учила.

— Да он мне тут уши прожужжал. Старик.

— У него только и разговоров — о Клавдии Ивановне... ты замерз, Коля?

Пытаясь освободиться от сковавшего его холодка, он с нарочитой силою передернул плечами:

— М-маленько есть.

— Топят, наверно, плохо, я тоже что-то...

Он обрадовался:

— Так ты, может, чаю?

— Нет-нет, спасибо.

— Ну, может, варенье будешь?

Она тихонько рассмеялась:

— Ты, Коля, придумаешь.

А он привстал:

— А чего?.. Положу в блюдечко. Какого тебе?

— Нет-нет, Коля, — она тоже встала. — Я пойду.

А сама опустила руки, слегка приоткрыла рот, и глаза сделались ждущие чего-то, как тогда, когда топила буржуйку в тепляке, а Громов приходил посидеть над бумажками.

Сердце у Громова уже давно оборвалось, поплавком подскочило вверх, закрыло горло — оттого ему, наверное, и было зябко. Прерывающимся голосом спросил:

— А то... останься?

Леокадия пошевелила губами и словно проглотила что-то — даже голову слегка вперед подала.

— Ты скажешь... Как это?

— А куда спешить?

— Нет-нет, Коля. Я пойду.

Конечно, Громова давно уже мучила мысль, что надо как-то отблагодарить Леокадию и что он, может быть, ну просто обязан поэтому приласкать ее, но как и с чего начать, на этот раз он не знал, а подходящего момента все не было, и лишь когда он уже помог ей надеть пальто, а она еще не успела после этого повернуться, Громов одною рукой прижал ее к себе, а другую положил под полою на грудь. Леокадия схватила эту его руку своей и в испуге замерла, но испуг этот был больше как бы оттого, что Громов узнал теперь, какая у нее крошечная, как у малой девчонки, какая плоская эта грудь, и они постояли так молча, а потом Леокадия, ослабев телом и только широкую его ладонь цепко прижимая к себе, сказала без всякой надежды в голосе:

— Конечно, Коля, ты сильный, и я с тобою не справлюсь.

— Прям... сильный, — забормотал Громов, лишь бы что-нибудь только сказать. — Совсем прямо...

Но Леокадия подтвердила безоговорочно:

— Да, Коля, у тебя такие руки!

И он понял, что отступать некуда.

Не отпуская Леокадию, он шагнул назад, к двери в комнату, и так они шли неловко, то пятясь, а то бочком, потом Громов повернул Леокадию лицом к себе, притиснул, неловко поцеловал возле уха, усадил, не выпуская из рук, на диван, придвинулся, попробовал наклонить, и она надломилась, как стебелек, еще бы, руки

такие сильные, а он сделал тут же еще одно движение, и Леокадия сказала совсем слабым голосом:

— Нет, только не это!

— А что жа тогда? — нетерпеливо уже бормотал Громов. — А что жа?..

Потом она сказала уже совсем тихо:

— Только чтобы я не была у тебя, Коля, первая попавшая...

Громов это всегда прямо-таки ненавидел, что надо обязательно заправлять им, доказывать, будто уже давно заприметил, но не верил, что и она, не было случая, и что надо при этом время тратить еще на то, чтобы уговаривать, успокаивать, утешать вроде, как будто он ее съест!.. Или он, и правда, не знает женской души? Да и случай тут, конечно, совсем особый.

— Ну, что ты, — он ей в волосы около уха забормотал. — Я еще тогда, когда в тепляке... Ну, это вот... когда ты в черном трико.

Как она встрепенулась, как теперь прижалась доверчиво!

— Правда, Коля!.. Помнишь, в чем я была?!

А может, и в самом деле она ему тогда нравилась, просто, дурак, не понимал? А ведь, и право, нравилась!

И тут заплакал Артюшка и позвал отца.

— Слыхала?! — приподняв голову, не сдержал Громов радости. — Я уже второй месяц, а он все мать, когда сонный, это первый раз — папка!

Она сказала строго:

— Иди, Коля.

Он открыл дверь, быстренько прошел в спальню, наклонился над сыном.

Артюшка лежал на боку, только головка под раскрытым кулачком почти прямо, и в глазенках плыло, как у куренка закатывались. Увидев Громова, еле слышно сказал:

— Бай-бай...

— Папка? — спросил Громов. — Я, что ль?

— Тюша бай-бай.

— Конечно, спи, что ты, Артюха, спи!

Когда он вернулся, Леокадии в комнате не было, стояла, уже застегнутая наглухо и в платке, в коридоре у двери, руки в перчатках, в одной сумочка, другою дверь держит.

— Подожди, Леокадия!

Она уронила голову и заплакала.

— Ты прости меня... как во сне! — сказала сквозь слезы. — А теперь и перед тобой будет стыдно, и перед Ритой — так твою жену?.. Но если бы ты только знал все, Коля, ты бы простил!

И быстренько открыла дверь, шагнула, не утирая слез, за порог, замком прищелкнула.

Он постоял секунду-другую, потом рванул за ручку. Нагибаясь над перилами, крикнул вниз:

— Подожди!

Сапожки глухо постукивали, не останавливаясь.

А снизу поднимался Казачкин.

И модная нейлоновая куртка его, и кепка были залеплены снегом, и он сперва снял кепку, полосой швырнул с нее снег Громову под ноги, потом надел снова, распустил «молнию» на куртке и несколько раз тряхнул ее, приподнимая за концы воротника.

— Можно к тебе, бригадир?

Громов, тоже молча стоявший до сих пор, посторонился и повел рукою на дверь.

— На улице, видишь, чисто, бригадир...

— Проходи так, не разувайся.

Он остановился посреди комнаты, один за одним начал вынимать из карманов и выкладывать на стол спелые гранаты, такие крупные, что неясно было, как они там умещались.

— Стоп! — сказал Громов. — Уже не надо.

— Прошло у мальчика?

— Забирай обратно, прошло.

— Пусть так съест. Не помешает. Иначе обидишь, бригадир.

Гранатов было штук шесть или семь, горкой лежали на столе.

— Может ты... где взял?

— А здешние, — Казачкин усмехнулся. — Жаром комсомольских сердец отогрели, как понимаешь, сибирскую землю... Ну, правда, и без нас, без «химиков» тоже не обошлось.

— Финка тебе на что?

— А карандаши чинить.

— Х-художник!

— Зачем? Письма сочиняю. О помиловании.

— А за что тебя?

— Давай политбеседу — потом? Все как на духу. И про финку тоже.

— А с собой она?

Казачкин плечо приподнял:

— Да ну.

— А то подарил бы.

— Надо тебе?

— Значит, надо

Казачкин опять стал проигрывать глазами:

— И станешь днем точить ее, а на работу ходить будешь только ночью?

— Мое дело.

— Скажу тебе, чтоб не маялся: вот этого как раз не было. И что гранаты принес, тут финка ни при чем. Просто я однажды видел тебя на улице с мальчиком. Ты на меня внимания не обратил, а я смотрел долго...

— Есть? Пацаны?

— Давай потом. Принесу, если тебе так надо, финку, сядем мы с тобой...

— Пе́туха давай, — сказал Громов.

Коротко, концами пальцев, ладонью о ладонь шлепнули.

— Отдыхай, бригадир. Я пойду.

— За гранаты спасибо.

Когда ушел он, сел Громов на диван, опустился, чтобы удобней было, пониже, оперся плечами, исподлобья стал глядеть на гранаты.

Хорошие были гранаты. Совсем такие, какие ему недавно приснились.

А может, к тому и был сон, что Казачкин должен гранаты Артюшке принести?

«Отдыхай, бригадир». А он и в самом деле устал. Только теперь, когда ослабла какая-то пружинка внутри, понял, что устал... Сейчас он спать ляжет, отсыпаться. Никто нынче больше не придет. Старик тоже сказал ему: отдыхай. Добрый старик. Думал про него, чокнутый, а он, когда про все это леченье рассказывал, жену свою покойную, выходит, вспоминал, Клавдию Ивановну. Любил ее старик. Почему любил?.. Любит! Потому и бабке от ворот поворот. Ну, не шпионка, ладно. Тоже в порядке бабка. На почту телеграмму отнесла. Ей по дороге. А Леокадия, конечно, человек. Жалко, бедную. Вот судьба: не оставляет даже маленькой радости.

Артюшка помешал. Или так это не проходит и все еще впереди?.. Нет, надо семью беречь. Мать надо Артюхину беречь... как она там?

Поднялся расслабленно с дивана и, слегка пошатываясь, пошел в комнату к Артюшке, стал над ним, спящим...

На улице снег идет, метель, сквозь нее по заводу да по стройке поезда бегут, покрикивают, и люди во вторую работают, кто гвоздики в опалубку бьет, кто сталь варит, а он спит себе, спаситель папкин, сыночек милый, пачкунишка, чтоб по-другому как не назвать.

А что такое с душой? Что ее кольнуло? Куда опять подалась, в какие дали?

Он к темному окошку в спальне подошел, остановился, глядя на безмолвно пляшущий белый снег.

А может, это тогда и звало его и раз, и другой — беспокойство за сына, которое передалось ему от отца, так же остро пережившего когда-то какую-нибудь болезнь маленького Громова, а за отца дед переживал, а за деда тревожился громовский прадед, и так и тянется она из давних-давних времен, и набирает силу, эта щемящая, эта сжигающая огнем тревога за родное свое, за кровное?..

Сел снова на диван, снова глядеть стал на гранаты.

Солнечным жаром горят алые бока — как до сих пор не лопнули?

Артюшкины, подумал, гранаты.

А в письме, подумал, вот что было: тосковала Рита, что дочка ее родная, Зина, с нею не рядом. Она, конечно, писала из деревни сестра ее письмо, просила прислать девчонку, чтобы та вроде помогла ей, да только на самом-то деле все, пожалуй, иначе — это Рита ее просила хотя бы на время забрать дочку. Пока Громов не перестанет, поглядывая на нее, мрачнеть да хмуриться. В то время он не понимал, что сживает Зинку из дома. По мелкоте души?.. Или в торопливости жизни не ощутил еще тогда ни хранящей все теплоты ее, ни сокровенной чуткости не только живого к живому, но и ко всему, что только есть вокруг? С каких же давних времен жил до сих пор, как беспризорник, и то, что с Виталькой задружил, не помогло ему — только теперь, когда родился Артюшка, когда на руках у него переболел, будто восстановилась, наконец, эта кровная связь Громова со всеми остальными на белом свете.

Видно, есть у Казачкина дети — девочка либо мальчик. А мать есть?..

Надо бы лечь в кровать, да ему охота глядеть все и глядеть на эти тугие, с рубиновыми зернами внутри спелые гранаты... Или взять один-два да положить с собой рядом. Почему с собою — с Артюшкой! А один можно и с собой...

И ему пригрезилась в полудреме детская его довоенная постель с конфетою или с грецким орехом под мягкой маленькою подушкой.

Привалившись плечами к спинке дивана и уронив голову на грудь, спал он, давно не евший, было не до того, всеми этими отварами, всеми лекарствами, которые сперва пробовал сам, напрочь закрепивший себе желудок, и снилась ему теплая рука, которая с простынки у него под бочком сметала хлебные крошки...

1978

СКРЫТАЯ РАБОТА

1

Вся эта история случилась совсем недавно...

Написал я эти слова, тут же, конечно, перечитал, и сделалось мне не то чтобы неспокойно — стало как-то непривычно. Вот не было на листе этих слов, и могло бы не быть вообще, но я все-таки решился, и теперь они есть, и уже без всякого прочего недвусмысленно утверждают: *вся история*.

Но, конечно, это теперь я говорю с такою определенностью. Штука, пожалуй, в том, что я не раз и не два обо всем передумал, и вот само собой вышло: одно отлетело, отсеялось, а другое осталось, и события выстроились цепочкой. Это как следы на снегу: прошел впервые, а потом туда-сюда снова и снова. Пять раз, десять — уже тропинка. От одного, так сказать, пункта до другого. Так и тут.

И все вдруг оформилось. С чего-то стало начинаться. То есть, конечно, с того, с чего начинал я всякий раз думать.

И стало заканчиваться: естественно, там, где я оборвал мысль однажды, а потом еще и еще, пока тут не сделалась граница одних событий, и за ней стали начинаться уже другие.

И я сперва думал и думал об этом сам, а потом решил рассказать, только очень коротко и без всяких этих — какие у кого были глаза, кто что подумал и какой был в тот вечер закат...

2

Просто был Травушкин. Куратор.

Фамилия у человека ласковая, хоть за пазуху сажай с такой фамилией, да и вид у него, надо сказать,

довольно благообразный. Особенно когда он в духе и начнет о чем-либо таком толковать да разойдется... Тут он тебе и горбиться перестанет, и узенькую бородку клинышком, которой то и дело потряхивает, приподнимет чуть ли не выше длинного носа, и голос у него зазвучит по-особому. Обычно он у Травушкина нудный со старческим скрипом, а тут куда что денется и что откуда возьмется — и окрепнет, и в то же время станет мягче и как будто моложе. Говорит в такие минуты Травушкин складно и не то чтобы торжественно, но все же с какою-то задушевною ноткой, которая тоненько зовет тебя непременно прислушаться... Рывком опустит голову вниз, глянет на тебя сквозь очки с толстенными стеклами, одним пальцем их у переносья поправит и опять запрокинет бородку, вскинет раскрытую ладонь, и из рукава приподнимется манжета с округлыми краями и со старинною запонкой. И опять зальется: «Известно ли молодым людям: когда варвары ворвались в Рим, сенаторы встретили их не шелохнувшись и в полном молчании, так что их сперва даже и не тронули, посчитав существами...»

А теперь представьте себе: на этом самом месте заденет его плечом какой-нибудь без году неделя такелажник, заботливо скажет: «Закрой варежку, папаша, подвинься, будем кислород принимать...»

Потому что разглагольствует Травушкин не в Доме культуры вечером, а в первую смену на конверторном, где-нибудь на отметке семьдесят, когда кто из молодых да ранних монтажников на спор окликнет его, спросит о чем-либо позаковыристей да тем и подзаведет...

Поскучнеет Травушкин и сразу сделается другим человеком. Худые свои мослатые плечи приподнимет так, что другой раз покажется, будто торчат они выше головы, которую он опустит и на километр вытянет. Недаром смеются: показался из-за угла длинный нос и козлиная бороденка — через полчаса жди куратора. Правда, прибаутку эту можно истолковать по-другому: среди бригадиров ходил упорный слух, что Травушкин будто бы очень любит подглядывать. Придет на объект, посмотрит, что к чему, там и там-то велит поправить, скажет, что через пару часов вернется. А сам будто бы незаметно — шасть за ближнюю колонну. Стоит, все видит, а ты потом, хоть разорвись, ничего ему не до-

кажешь, если на самом деле пальцем о палец не ударил. Приемку подписывать не станет ни за какие деньги, для переделки накинет теперь уже не день-два, хорошо если не месяц.

Рассказывают, хотели его от этой привычки отучить. Один бригадир будто бы заметил его за штабельком, но не подал и вида, а потихоньку послал бетонщика с отбойным молотком — обойти Травушкина с тыла. Тот и подкрался сзади, пристроил отбойный молоток прямо у куратора под ногами. Включил его, и тот забил, что крупнокалиберный пулемет... Травушкин из-за штабеля выскочил, как ошпаренный, потом будто бы приостановился, дальше пошел неловкой походкою и тут же, известное дело, зачем, поехал домой, в поселок. Но кровь пить после этого не бросил, только и того, что дерганый стал пуще прежнего.

Может, это была и правда, про Травушкина чего только не говорили. Одни уверяли, будто куратор совершенно слепой, оттого-то хоть кирпичную стенку, а хоть сварной шов обязательно рукою потрогает, пощупает пальцами, а если уж наклонится, то так близко, словно при этом не только глядит, но еще и принюхивается. Другие голову давали наотрез, что это чепуха, все не так, видит он, хотя и очкатый, дай бог каждому, а вот слышать и действительно не слышит. Ты ему обещай не обещай, доказывай не доказывай, проси не проси — все мимо! Руки заложит за спину, бороденку задерет, смотрит куда-то вверх, будто угадать хочет, дождичек завтра или сухо. Повернулся потом и па-ашел!

«Ну, погоди-ка, такой-сякой, — в сердцах грозишь ты ему уже издалека. — Не я буду, если не всучу тебе подстанцию, хоть там у меня...»

И вот тут Травушкин, как на грех, и обернется. Внима-ательно на тебя посмотрит. А глухие, они что? Они ведь по губам понимают. И, выходит, выдал ты ненароком свою военную тайну: в следующий раз Травушкин не уйдет от тебя до тех пор, пока на этой самой подстанции, о которой и говорить-то стыдно, целую гору недоделок не накопает — на список вам и бумаги не хватит.

Говорили... но вообще-то не так просто передать, что о Травушкине говорили, тем более под горячую руку. Да, может быть, обо всем этом — уже, так сказать, по ходу дела?

Я-то, пожалуй, потому и взялся прежде всего о нем рассказывать, что после, когда раздумывал, каждый раз от этого танцевать и пытался: что же все-таки, думаю, за человек он, этот Травушкин? Где про него анекдот, а где правда?

А началось это несколько месяцев назад, когда Травушкин приказал Толику-безотказному откапывать фундамент по оси «А»...

3

Представить, действительно: идут вдоль ряда несколько человек, впереди — Травушкин, который сгорбился так, будто ему тяжело нести на спине костлявые свои руки, за ним — бетонщики. Бригадир Толик-безотказный и прораб Эдик Агафонов да двое рабочих. Фундаменты стоят один к одному, загляденье, кто понимает, опытному глазу и по верхушкам видать, что и ниже нуля, под землей, они тоже вылизаны будь-будь, как говорится, но где-то посредине ряда Травушкин как будто споткнулся, потоптался потом на одном месте, потоптался и говорит Толику: придется откапывать! Это почему? А да потому, отвечает Травушкин, что у него в основании нету почти полбока.

Тут, конечно, началась бы обычная история: сперва бетонщики удивлялись бы, доказывали, что ничего подобного, начали бы просить тихо-тихо, потом погромче, а после — чуть ли не за грудки. Да только тут другой случай. Эдик зевнул и отошел в сторонку, стал глядеть куда-то поверх колонн, будто все, что тут происходило, никак его не касалось, а Толик-безотказный сперва отер лоб, а потом только кивнул двум своим хлопцам, и те повернулись и молча пошли за инструментом.

Бригадиром Толик недавно, покрикивать еще не научился, и тут первый схватился за лопату. Откопали быстренько, и что же вы думали: все так! Когда отодрали с одного бока опалубку, раковина оказалась, и в самом деле, довольно внушительная.

Эдик, тот парень гордый, только глянул из-за плеча да поскучнел лицом. Хлопнул прутиком по сапогу и пошел себе. А Толик говорит:

— Два часа мне надо, Алексей Кириллыч! У меня и бетон заказанный вот-вот будет, сюда машину заверну, и все дела. Давайте через два часа, а?

Было самое начало первой смены, и договорились они на три — это Травушкин, считай, еще пожалел Толика.

Ну, только куратор с глаз, бетонщики опять то ж да про то ж: как узнал?

— А не обходил он вокруг, не топал? Пяткой в землю не бил?

— Да нет, токо подошли, а он сразу...

— А то, может, постучал, да пустота как отозвалась?

— Много ты сам услышишь?

— Он же как-то услышал!

— Дак то он! Он сквозь землю видит.

— Нюх у него, братцы, нюх!

Толик это собрание закрыл, потому что был злой, сказал, доски поотдирать, опалубку потом оставить только там, где раковина. Послал сказать на участке, чтобы приняли только полмашины бетона, а остаток пригнали сюда.

Короче, к трем часам порядок был полный, ребята даже перестарались. Толик на минуту отлучился, а они фундамент быстренько и засыпали. Травушкин, как пришел, первым делом:

— Договаривались — не будете закрывать?

Толик ему по-хорошему, так и так, мол, Алексей Кириллыч, все правильно. Я, мол, им толковал, да вот не успел и отвернуться. Только вы уж поверьте — сам лично заделывал!

А Травушкин руки за спину закинул, согнулся, обошел вокруг фундамента и опять выпрямился, вскинул указательный палец:

— Без-ответственность!

А это у него, как сигнал к атаке. Как то самое «иду на вы». Если уж так сказал, и к бабке не ходи — дела не будет.

Толик опять миром:

— Уж мы, Алексей Кириллыч, на слово поверьте, разве я когда...

А Травушкин указательный палец теперь под ноги:

— Ат-копать!

Ну, тут, конечно, базар:

— Нет, братцы, эт что ж такое? Ну, раз сказал — переделали...

— Да там все по уму!

— А он, думаешь, по уму — понимает? У него — принцип!

— Пускай тогда за свой принцип платит... заплатишь, Травушкин?

А он — свое:

— Ат-копать!..

Ребята вокруг — и того пуще.

Оно ведь, потому и закапывали, чтобы поспорить потом было о чем: ведь все, действительно, честь по чести, можно людям поверить? А тут опять столько земли перевернуть — ну, разве не кровосос этот Травушкин? Кровосос форменный!

Погорланили вволю и за лопаты взялись, конечно, нехотя, а тут пошло и пошло веселей — откопают сейчас, а там комар носа не подточит: на, Травушкин, ешь! Понял теперь, кто ты такой?

А его и так, видать, уже проняло, заигрывать начал:

— Это хорошо, что доски-то, наконец, поснимали — значит, совесть еще не всю потеряли...

Промолчали дружно.

Вот уже и залатанный бок видно. Стали отгребать от него поосторожней, чтобы ненароком не повредить. Островок опалубки пришит, как будто краснодеревщики тут тебе поработали... а ты? Ты понял, кто ты такой, Травушкин?

А он неловко спрыгнул вниз, как не рассыпался, шагнул под лопаты, нагнулся. Вытащил из земли, слегка отряхнул и приподнял на вытянутой руке стопку брезентовых рукавиц, совсем новеньких, еще перетянутых шпагатом, только со склада.

— Как прикажете понимать?

То, что сказали бетонщики, придется тут опустить, Дальше опять идет Травушкин:

— Па-азвольте спросить: каково, по-вашему, предназначение этих рукавиц? — куратор все приподнимал связку, и под ветром она слегка дымилась от пыли. — Помогать человеку в труде, вот какое предназначение! По́том, понимаете, вашим пропахнуть! От ваших мозолей да от железа, понимаете, изорваться! А уж дальше — или в огне сгореть, или в земле сгнить — это уже не столь важно. Пожили свое! Пред-назна-чение исполнили. А вы хотели лишить их смысла существования, новенькими в землю, понимаете, закопать!

— Травушкин! — позвал Петя Инагрудский. — А ты знаешь, чем куратор от петуха отличается?

Тот голову слегка наклонил:

— Любопытно.

— А тем отличается, — с гордостью сказал Петя, — что петух и в дерьме ищет что-либо хорошее, а ты и в хорошем обязательно дерьмо найдешь!

Кругом грохнули, конечно, а Петя от удовольствия даже зарделся — он эту шутку уже второй месяц собирался сказать, да все не было случая.

— Люди добрые! — ничуть не обиделся Травушкин. — Поймите: труд из обезьяны сделал человека...

— И превратил его в скотину!

— Знаем, знаем!

— Я вам не о том...

— А мы — об этом!

А у Пети Инагрудского весь запас юмора уже закончился, потому и сказал уже по-деловому:

— Да надо просто послать его...

И насчет того, куда именно надо Травушкина послать, сомнений Петя ни у кого не оставил.

— Одну минутку! — попросил Травушкин. — Только одну минутку! — и повел рукою в сторону Инагрудского. — Известна ли вам одна небольшая деталь из времен великой французской революции? Убийцу Марата звали Шарлотта Корде. И когда палач, по приговору трибунала отрубивший ей голову, после поднял ее за волосы и ударил по щеке, палача разжаловали! Вы представляете?.. Он преступил границы. Оскорбил до-сто-ин-ство!

— Ну и что? — вскинулся Петя.

— Думайте о достоинстве! Вспоминайте. О своем собственном. О моем. О достоинстве...

— Алексей Кириллыч! — мягко окликнул Эдик Агафонов, который стоял неподалеку и терпеливо наблюдал за этим митингом, ждал, пока он закончится. — Вас можно на минутку?

Травушкин аккуратно положил пачку на землю:

— Я вас внимательно слушаю.

— Немножко пройдемся, если не составит труда? — и Эдик взял куратора под локоть.

Медленно пошли они в ту сторону цеха, где стояли уже перекрытые колонны, неподалеку от крана остановились, одинаково задрали головы вверх.

Наверху монтажники принимали колонну, и отсюда, от бетонщиков, крикнули:

— Эдуард Сергеич! Ты его еще ближе подведи! А мы крикнем ребятам, чтобы они там чего-нибудь уронили!

Но Эдик, слегка придерживая Травушкина за локоть, нежным голосом спрашивал:

— Вы видите, что там написано, Алексей Кириллыч? Во-он на том лозунге? Знаете? Я вам все-таки прочитаю. Строители и монтажники, там говорится. Родина ждет сталь... сталь, прошу вас это запомнить! Дальше: сдадим комплекс кислородно-конверторного цеха досрочно... прошу вас запомнить — досрочно! В мае одна тысяча девятьсот семьдесят шестого года. Восклицательный знак. Так? Так! Про сталь там есть. И про сроки. А вот насчет брезентовых рукавиц там не сказано. Почему бы, а? Не догадываетесь?

— Что вы этим хотите? — клинышек бороды вскинул Травушкин.

А Эдик только печально вздохнул:

— Очень интересно вы насчет Шарлотты Корде, но как мы с вами дальше будем работать?..

4

Тут мне, пожалуй, надо рассказать, кто такой Эдик Агафонов...

Думал я, думал, с чего начать, и вот решил: начну-ка с того концерта на кислородно-конверторном, о котором до сих пор небось не могут забыть авдеевские девчата.

В общем, так: приехали на стройку киноартисты. Провезли их по поселку, показали им завод, не знаю, что там — или выпуск чугуна в доменном, или разливку стали на первом конверторе, у нас всем знаменитым гостям это всегда показывают. А потом вылезли они из автобуса здесь, пошли смотреть стройку.

Плотники из СУ-2 в это время заканчивали сцену. Получилась она, как «Ласточкино гнездо» в Крыму — на третьем ярусе главного корпуса прилепили ее на краю перекрытия. Ну да зато видно со всех сторон, и зрителей можно собрать сколько захочешь, и дождик не помешает. Объявили на всех участках, передали

по радио — и народу, и в самом деле, привалило: кто уже успел перекусить, кто решил, что в этот день, ладно, святым духом проживет, если такое дело, а кто уже тут пирожок дожевывает, кефиром из бутылки запивает. Один в рабочем, другие и в чистом — многие на этот концерт для строителей конверторного из поселка поприезжали.

А тем, наверное, приятно, артистам, что им такое внимание и столько народу. Видно было, что тут им нравится, что выступают с охотой, и все шло ну просто великолепно. До того момента, когда председатель нашего постройкома Калинченко стал дарить артистам значки. Поблагодарил их и все такое, а потом говорит: мы только что, мол, учредили такой значок: «Ветеран Авдеевской площадки». И вручать его прежде всего станем тем, кто прошел всю стройку от первого колышка, а теперь трудится здесь, ударно строит кислородно-конверторный. Но в знак уважения, дорогие товарищи, начать разрешите, мол, с вас.

Сперва пожилой артистке подает и жмет руку, приколол на пиджаки двум мужчинам, а потом подходит к той самой, знаменитой Инне Аверичевой... Она, конечно, и без того всех покорила, а тут еще перед этим возьми да скажи: скоро, мол, буду сниматься в кинофильме о строителях и вот думаю, а не приехать ли мне на Авдеевскую, не пожить ли в общежитии с девчатами хотя бы недели две-три? Калинченко теперь ей говорит: а вас, мол, дорогая Инна Андреевна, от имени всех, кто тут есть, и в самом деле приглашаю приехать!.. И то ли сам хотел значок ей приколоть, да рука у старика дрогнула, то ли еще что, да только вдруг на самом интересном месте возьми он этот значок и выронил.

А дальше все по закону вредности: надо же было этим бракоделам из СУ-2 оставить на сцене щель. А под нею одной плиты в перекрытии не было — и все вдруг услышали, что значок один-другой раз дзенькнул, обо что-то ударившись, и дальше полетел в тартарары.

Калинченко хлоп-хлоп себя по карманам и руками развел, не знает, что делать — еще одного значка у него не оказалось как нарочно, не захватил. Все замерли, молчат. Всем и неловко, и очень жаль, что такая неудача, и, надо же тому быть, именно с Инной. А она мягко улыбнулась и виновато так говорит:

— Ну что ж, вы его ветеранам будете давать, тем,

кто тут как следует поработал, а я кто? Я такого значка и недостойна. Все правильно.

И, видно, смутилась, не знает, хорошо ли сказала, могут ли эти слова ее спасти момент — стоит, верите, такая симпатично-растерянная, стала как будто еще красивее, чем была.

Те, кто ближе, сидели на скамейках, которые привезли из красного уголка, а дальше мостились на чем попало, доски приспособили, лепились на оборудовании, а самые верхние свесили ноги с узенького металлического мостика, который тянулся вдоль труб. И вот оттуда кто-то вдруг прыгнул, хлопнул подошвами о бетонный пол, и все лица, как по команде, — к нему...

Через толпу неторопливо пробрался Эдик, вышел в круг, шагнул на сцену, и походка его была, как всегда, степенная и даже как будто медлительная. На миг остановился около Инны и слегка поклонился:

— Одну минуту.

И тут же, опершись рукой, легко перепрыгнул через хилые перильца, которые ограждали край перекрытия, пошел по стальной балке над проемом, поймал неподалеку трос и ловко заскользил вниз...

Я на этом концерте был и вот вспоминаю сейчас ту минуту, и она до сих пор меня как-то странно волнует...

До ноля, как ни говори, метров тридцать. И надо было работать в тот месяц на конверторном, чтобы хорошенько представить, какой там был тогда внизу «свинорой» — прошу извинить мне это некрасивое слово. Где там его, этот значок, найти?

А вот он, этот Агафонов, с таким достоинством вышел на сцену и так уверенно потом пошел по этой самой балке, что и по плечам его, и по тому, как он кепку натягивал на ходу, и еще по каким-то мелким деталям, которые не так-то просто можно и объяснить, — по всему этому всем вдруг стало ясно: а ведь найдет он значок. Ведь принесет.

Только Калинченко, когда Эдик уже скрылся внизу, бросился к перильцам и, отставляя одну ногу, подался грудью:

— Товарищ Агафонов! Това...

И тоже вдруг стал ждать и даже зачем-то посмотрел на часы.

Не знаю, сколько там на самом деле прошло, — я, что называется, только рот раскрыл, да так и замер.

И вдруг снова шевелится толпа, теперь в другом конце, и все расступаются, а он идет все так же спокойно, и лицо у него не то чтобы задумчивое, а какое-то словно отрешенное...

Инна молодец. Увидала и выпрямилась, пошла ему навстречу, а когда он поднялся на помост, сверкнула глазами и руки опустила, только ладони слегка приподняла по сторонам и замерла так, вытянувшись, и плечико покорно выставила вперед.

Тогда он, не торопясь, достал платок и сперва тщательно обтер пальцы, а уж потом опять слегка поклонился, да так и остался, прикалывая значок, в полупоклоне, словно давая понять, что всю деликатность своей миссии он, конечно, хорошо понимает...

Когда значок, наконец, висел у нее на груди, Инна поцеловала Эдика, порывисто и как будто стесняясь, и тут наши закричали и захлопали. Под эти аплодисменты Эдик неторопливо пошел было назад, но почти у края сцены приостановился и, слегка наклонясь, поправил кепку, постоял еще секунду, как будто раздумывая, а потом вдруг повернулся и твердо шагнул обратно. Одною рукой обнял Инну за плечи, вторую положил ей на затылок, и она запрокинула голову, и щечкой тут, в общем, не обошлось, поцелуй был, что называется, полновесный, как потом говорили, со «знаком качества»...

Незадолго перед этим монтажники поднимали опорное кольцо конвертора, а весит оно ни много ни мало триста тонн, и кое-кто, грешным делом, боялся, что под такою тяжестью главный корпус, еще не окончательно связанный, может рухнуть, словно карточный домик. Ну, а после этого концерта, скажу я вам, с главным корпусом можно было не церемониться. Уж если он выдержал тот восторженный рев да тот взрыв аплодисментов, которым наши наградили теперь обоих, уж если он это выдержал и крыша на нем не поднялась, то все другое ему не страшно.

В поселке после этого ходили слухи один интереснее другого. Рассказывали, что в тот же день вечером Эдик приехал на вокзал проводить Инну, и на перроне они будто бы поцеловались еще раз, и после этого остальные артисты еле втащили ее в вагон, поезд уже тронулся, а она все тянула руку, и тогда Эдик прыгнул уже на ходу да так с ней и уехал, и несколько дней от него ничего не было слышно, а потом прислал, наконец, на

управление письмо: просил рассчитать его и документы выслать в Москву... Другие с пеной у рта принимались доказывать, что все не так, все иначе — это Инна махнула рукой на дела и решила остаться на стройке сразу же, но в общежитие, правда, не пошла, живет у Эдика, и скоро они распишутся... Да простится все это нашим девчатам!

Ходил тогда по стройке и еще слушок, надо сказать, довольно едкий. А что ему, говорили, оставалось, Агафонову, делать? Плотники-то, которые ладили сцену, были с его участка. Потому-то и кинулся за значком. Спасал, так сказать, честь фирмы.

Но тут дело ясное, это говорили уже из зависти. Как бы там ни было, а кое-кому Эдик утер нос, и довольно чувствительно. Я имею в виду монтажников.

Прошу извинить меня за небольшое отступление, но для меня это, что называется, наболевшее, и все равно бы я не утерпел, рано или поздно об этом заговорил бы — и вовсе не потому, чтобы вернуть по назначению те шпильки, которые достались тогда на долю Агафонова. Нет, в самом деле, почему у нас что ни строительное управление, то проходной двор? Приехал на стройку парень без специальности, пришел устраиваться к бетонщикам, идет к начальнику за подписью и перед дверью вытащит из кармана две бумажки, еще раз посмотрит, чтобы не перепутать — второе заявление у него в учебно-курсовой комбинат. В сварщики просится. И только закончил он эти курсы — прости-прощай! Уходит к монтажникам, а вместо него приходит другой, который в строительном деле опять ни бум-бум. Ты его, любезного, учишь, как лопату держать, а у него в голове другое, у него вечером экзамен по электрооборудованию кранов. Будет он тебе копаться в земле, если механизация у бетонщиков до сих пор почти та же, что у крота...

И специалистов своих строители готовят до крайности просто. Нужен им, предположим, арматурщик — дают человеку в руки кусачки, говорят: арматурщик! Нужен плотник, дают ему же в руки молоток и пилу, говорят: плотник! И так привыкнут, что он у них ничего не умеет, что с легкой душою начинают говорить: специалист широкого профиля!

Однако стоп! Не повторяю ли Травушкина?

И все-таки мысль хочу закончить: оттого и неважно,

что ты лентяй. Приходи, строители всякого возьмут! Неважно, что на работу являешься с больной головой — тут таких добрая половина.

А попробуй устроиться к монтажникам. Пороги будешь обивать не один месяц, да еще неизвестно, получится у тебя что, если в управлении нету знакомых, которые могли бы за тебя замолвить словечко. И тут уже совсем другой коленкор. Тут рабочее твое место — высота, и оснащение — на уровне века. Опять же — форма.

Вообще-то, они молодцы, монтажники, что говорить. Видели бы, как они мальчишек, зеленую эту молодежь, на работу принимают. Соберут народ, а этих выстроят. Старые монтажники вручают каждому «спец». Сапоги с застежками на голенищах. Утепленные. Куртка да брюки аккуратно сложены, а поверх них — монтажный пояс. На нем шерстяной подшлемник да каска... что ты!

Держит пацан перед собой на вытянутых руках все это богатство, новенькие сапоги стоят рядом, а начальник управления — он хоть и молодой, да большой дипломат — прохаживается перед ними, хмурит брови:

— Все это, — говорит строго, — необходимо взять сегодня домой, все проверить, пригнать по фигуре, чтобы каждый был потом — монтажник, а не пугало огородное! Всем ясно?

Этому не разреши, он унес бы. А тут — приказ!

Пригонка — дело десятое, не в ней суть. А вся штука в том, что мальчишка дома в эту форму оденется, да весь вечер перед зеркалом провертится, и так на голове каску и этак — и на правый бок слегка сдвинет, и на левый. А вокруг — и папа с мамой, и братишка с сестренкой, если есть, а может, заглянут и соседи: «Колька-то, батюшки, монтажник!»

Он в каске этой и спать в тот день ляжет, счастливый, и монтажного пояса с себя не снимет, к спинке кровати пристегнется.

На следующий день выцыганит у кладовщика новенький карабин, прицепит его на пояс, будет теперь с ним ходить на танцы. Недаром же про то у монтажников байка есть:

— А зачем ты его на пояс, Коль?

— А чтоб всяка зараза видела!

Конечно, монтажники — аристократы на стройке. Голубая кровь. Гвардия.

Тем более обидно тогда вышло, со значком-то: ни один из этих гвардейцев не успел и пальцем шевельнуть, как этот «штатский» прораб заработал поцелуй знаменитой артистки, да потом еще и сам ей, понимаешь, показал, как целуются у нас на Авдеевской.

И не только это — все для него, казалось, было так же просто, как этот самый значок достать. Все давалось легко.

Не знаю, занимается ли он сейчас, но еще недавно боролся, и это надо видеть, как он выходил на ковер в нашем «Комсомольце», когда там проводили соревнования по самбо.

Его и одетым увидишь, сразу поймешь — парень что надо, а в этой полотняной куртке с красным или зеленым поясом был он, как молодой бог. Он и вообще, пожалуй, слегка пружинит на каждом шагу, но здесь это было особенно заметно, и оттого походка его была слегка тяжеловатой, но сам он выглядел при этом просто несокрушимым. В углу ковра он крепко расставлял ноги, стоял руки в боки, словно в задумчивости, и голова его была слегка опущена, однако не так, не безвольно — в наклоне ее чувствовалась неукротимость, которую он в себе будто бы еле сдерживал. Казалось, именно по этой причине кланяется он, когда называют его фамилию, словно бы через силу, словно бы нехотя... Зато как он вскидывался, когда давали знак сходиться!

Я вот теперь задним числом все ворошу да одно и то же по нескольку раз припоминаю и вдруг начинаю понимать что-то такое, о чем раньше и не догадывался. Теперь я, например, понимаю, что все это было не случайно, что в таком выходе был для Эдика четкий смысл, и весь этот ритуал уже как бы гарантировал ему половину успеха. Недаром же всегда казалось, что выигрывает он схватку уже в тот момент, когда пожимает противнику руки, — так уверенно он их пожимал.

А, может быть, так казалось оттого, что схватки его были всегда очень короткими? Слегка нагибаясь вперед, он резко выкидывал перед собой ладони с широко раскинутыми пальцами и замирал так на несколько секунд, потом одной рукой уверенно брал противника за край куртки на загорбке, а второю крепко захватывал рукав, тут же слегка встряхивал противника, как бы желая убедиться, достаточно ли прочно тот стоит на ногах, а потом делал бросок через бедро, и этим дело, как пра-

вило, кончалось, и вся разница была в том, сколько усилий в тот или иной раз он для этого приложил...

Сначала все думали что, в общем, ничего удивительного — Эдик занимался в институте и был даже, говорят, чемпионом страны среди студентов — мудрено ли бросать на лопатки наших «ни разу не грамотных» в этом деле авдеевцев? То, что нет ему равного в Сталегорске, считали простым стечением обстоятельств и думали, что спортивная слава Эдика тут же и заглохнет, как только попадется ему какой-нибудь «не тюфяк». Но вот построили «Комсомолец», и все крупные соревнования стали проводить теперь не в Сталегорске, а у нас, потом учредили этот приз на кубок земляка-космонавта, и тут уже, что называется, «все флаги в гости к нам», а Эдик продолжает себе бросать на лопатки всех, с кем его только, как говорится, сведет спортивный жребий. После соревнований не раз потом его видели в ресторане с приезжими тренерами, те будто бы звали его туда и сюда, но он никуда не ехал, только посмеивался. Знатоки наши иногда поговаривали: а куда, мол, ему ехать, если так борется, — никакого разнообразия, скука. И в этом, может быть, и была своя доля правды... Но зато как он выходил на ковер! Как потом уходил!

И жизнью, как видно, был Эдик доволен не только в этом спортивном смысле... Это уж я знаю точно, звали его монтажники, но он и здесь только посмеивался, ничего не говорил, только серые глаза его как будто насмешливо спрашивали: «А смысл?»

Смысла менять место ему, если разобраться, и действительно не было, жилось ему у бетонщиков неплохо, и доказательством тому мог бы послужить новенький «Москвич», на котором Эдик ездил с работы и на работу. Говорили, что машину ему купил папа, но это неправда, просто Эдик получил за несколько крупных «раций» на пятой коксовой, причем — в отличие от многих липовых — его «рации» как раз будь здоров, потому-то и талон на «Москвича» выбил ему у Калинченко сам Карцев, управляющий трестом. Другое дело, что Эдику особенно не приходилось тратиться: спортивного режима он все-таки придерживался, пил мало, а что такое семейные расходы, парень пока не знал.

Из этого можно заключить, что курсировал его «москвичонок» не только до промплощадки и обратно. Видели его и на сопках за поселком, и в кустах на бе-

регу, и просто где-нибудь под луной на обочине, но жениться Эдик пока не собирался, ходила шутка, будто он сказал, что твердо решил подождать, когда Любка Малёнкина догадается, наконец, позвать его сажать с ней картошку...

Для авдеевцев, особенно для наших старичков, это вполне понятная шутка, а для других придется мне кое-что рассказать.

Почему я, во-первых, говорю не Люба там, не Любовь, а именно Любка. Лучше всего, конечно, если бы вы ее увидали — тут вам все сразу бы стало ясно... Была она мать-одиночка, красавица и оторвиголова. Говорили, будто одного своего хахаля она выбросила с балкона на втором этаже, хорошо, что хахаль был выпивши, и по этой причине ему, конечно, ничего такого не сделалось. Но этого, вообще-то, никто не смог подтвердить бы вам в точности, а что видели все, так это то, что каждую весну картошку сажала она с одним своим ухажером, пропалывала ее с другим, а выкапывала уже с третьим.

Потому-то Эдик и говорил, что терпеливо ждет своей очереди, и при этом, рассказывают, добавил, что он-то уже своего шанса не упустит, что на Авдеевской-де площадке еще увидят, с кем она будет не только убирать эту самую картошку, но и с кем ее станет есть...

5

Как говорится, ближе к делу.

Теперь вы себе можете представить, что въедливый Травушкин был для Эдика как заноза. А сроки на конверторном дали и действительно очень сжатые, работа, надо сказать, предстояла адская и, когда начальник управления бетонщиков Всеславский поставил перед Агафоновым задачу во что бы то ни стало найти с куратором общий язык, молодой прораб отнесся к делу со всей ответственностью...

Травушкин не пил, это сразу отпадало, и Эдик терпеливо занялся выяснением других привычек и слабостей старика. Он и сам хорошенько к нему присматривался, и провел настоящий опрос общественного мнения, и то, что он сразу поставил дело на научную основу, не замедлило сказаться: вскоре выяснилось, что Травуш-

кин — страстный рыбак, еще более беззаветный, нежели иной любитель спиртного.

Бригадир Жупиков Петр принес Эдику книжку Сабанеева «Жизнь пресноводных рыб», тот на досуге полистал ее и в разговоре с Травушкиным все более нажимал теперь на характеры хищников, пока потерявший бдительность куратор не пригласил его, наконец, к себе домой посмотреть самодельные свои блесны. Там они и договорились вместе вырваться на рыбалку, а так как выяснилось, что автомобильному транспорту старик предпочитает водный, то бригадиру Жупикову Петру пришлось срочно обучать Эдика обращению с подвесным мотором.

Не знаю, как ему после двух коротких занятий удалось благополучно провести лодку по нашим перекатам, но в ближайшую субботу Эдик и Травушкин разбили палатку на берегу небольшой курейки перед Осиновым плесом. Первым делом они решили на манер закидушек забросить спиннинговые приставки, и Травушкин начал возиться с червями. Эдик же справедливо рассудил, что это не главное, и забросил свои снасти без насадки, а так — с пустыми крючками.

После этого он пошел разжигать костер, а Травушкин остался, чтобы в случае удачи надергать ельчишек для вечерней ухи — не для жиру, но хотя бы для запаха.

Потом они сварили уху и за это время так подружились, что доставать из опущенного в реку садка бутылочку коньяка отправились вдвоем и, перед тем как приступить к священнодействию, решили проверить свои спиннинги, чтобы потом оставить их уже до утра.

Проверяли они не по отдельности, а тоже вдвоем, одному приходилось держать фонарик. На закидушках у куратора сидели несколько небольших окуньков. Когда вытащили первый спиннинг Эдика, старик Травушкин со знанием дела констатировал, что наживка на всех крючках тщательно объедена, зато на втором билась приличная, больше полуметра длиною щука... Когда она уже лежала на бережке с переломленным у головы позвонком, куратор полез ей в пасть, достал оттуда помятого, со следами зубов на спинке ельца и, немного подумав, сообщил, что дело было, конечно, так: на червяка сперва поймался этот елец, а потом уж попробовала его проглотить жадная щука...

Для Эдика же все было как будто в порядке вещей и удивленья никакого не вызвало. Он только еще больше вдохновился, и когда они выпили за общее свое увлечение рыбалкой, и слегка закусили горячей ухой, он закурил, с удовольствием затянулся и мечтательно сказал:

— Хорошо!.. Вот сколько мы теряем, пока сидим в дымном городе. Кстати, к рыбалке приохотил меня один врач. Любопытная у меня с ним вышла история, хотите? Никогда не болел, а тут вдруг прихватило... В общем, вырезали мне аппендикс. Пока лежал, зализывал раны, подружился, естественно, с хирургами — замечательные, скажу вам, ребята. Один мне и говорит: а хочешь посмотреть, как оперируем? Надели на меня белый халат, шапочку, маска на лице — все честь по чести. Стою рядом и вижу, как он рассекает кожу, потом поглубже... Положил около разреза салфетку, а потом вижу: раз! — и прихватил ее своею кривой иглой. Ну, характер у меня, знаете... Не из слабых, одним словом. Но тут стало не по себе. Как, думаю, так? Неужели не заметил? Выбрал момент, когда сестра зачем-то отвернулась, шепчу на ухо: «Пришили салфетку!» Потом-то, конечно, посмеялись... Оказывается, все так и надо. Он ее только на время операции пришил, а мне показалось, по рассеянности, и может ее, чего доброго, там оставить, знаете ведь, всякое бывает, чего только в больнице не услышишь. Иной раз марлю, а то и ножницы... Я, когда это, с салфеткой, увидал, впервые, признаться, отчетливо представил себе меру ответственности врача. Другое дело, предположим, наш брат. Забыли в котловане пилу или топор забетонировали... да. Или вот у нас тогда этот нелепый случай со связкою рукавиц. Как бы там ни было, хорошо уже то, что ничьей жизни это, прямо сказать, не угрожает. Точно так же, как одна история — если недоделку оставит хирург, другая — если мы. Засыпал, в самом деле, землей — и все заботы. Лишь бы прочность с запасцем. А все остальное уйдет, так сказать, в глубь веков. Недаром же: скрытая работа. Закрыли, и все дела, — термин прав. Иногда так подумаешь: мы с вами, предположим, еще будем знать, что один из сотни фундаментов у нас с трещинкой... Но будет ли до этого дело кому-либо через год или через два? Есть тут одна такая составляющая: смотря с каких позиций к этому всему подойти!

Травушкин внимательно слушал, а потом перестал есть уху и говорит:

— А вам не кажется, мой молодой друг, что самая скрытая работа происходит не вокруг нас, не с материальными, если хотите, вещами, но в душе человеческой?.. Сегодня мы с вами топор забетонируем. Завтра забудем в котловане ту самую связку рукавиц. Не позволим ли мы себе в таком случаем послезавтра засыпать землей новый бульдозер?

— Зачем же сразу за пределы разумного?

— Выходит, разница в стоимости того и другого? А не противно ли это разуму в своей основе? Будь то даже копеечный гвоздь. Приходилось вам задумываться над его родословной? Когда-то очень давно люди научились плавить руду. И первый металлический гвоздь был, по сути дела, величайшим изобретением. В каждый крошечный стерженек, которым одну доску мы пришивали к другой, вложены и поиск прошлых поколений, и труд нынешнего. А мы неловко ударили по нему, согнули и — в сторону. И лишили его смысла существования, и он лежит и ржавеет... Но вот вы поднимаете его из-под ног, смотрите. Решаете, что он еще пригодится. Положили его на обушок, хотите ударить молотком... вот вы подняли руку... Вы себе представляете, Эдик, с какою готовностью он сейчас распрямится?

— Это потрясающе, — очень серьезно сказал Эдик. — Очень прошу вас, Алексей Кириллыч, — дальше!

Но Травушкин еще чуток посидел в задумчивости, и на лице его плавала тихая улыбка, словно он-то очень хорошо себе представлял, что чувствует этот самый копеечный гвоздь перед тем, как по нему стукнут молотком...

— А вам не приходило в голову, — спросил потом Травушкин, — почему в русском языке много таких прекрасных слов: стараться, радеть, печься, усердствовать? Почему в нем есть такие слова, как ретивость, ревностность, раченье? Последнее происходит от слова радость. Значит, делать с радостью, понимаете? Почему?

— Я думаю, — сказал Эдик, — что труд не только создал человека, но и постоянно облагораживает его...

— Да! — подхватил Травушкин. — Делает его чище! Выше духом! Хорошо поработавший человек вдруг замечает, что в нем есть что-то от бога...

— От создателя...

— Именно! — обрадовался Травушкин. — Как я рад, что мы с вами так хорошо понимаем...

А Эдик вздохнул:

— Иногда среди ночи проснешься и лежишь потом до утра, не можешь заснуть, и вот об этом как раз с тоской размышляешь...

— Извините, чтобы не забыть потом, — все еще сиял Травушкин. — Должен вам сказать, что куратор происходит от латинского кураре — опекать, печься. Куратор — значит попечитель... продолжайте, пожалуйста!

— ...и горько думаешь, да: если бы тебе, в самом деле, этими прекрасными словами: Агафонов! Радей-радей! Усердствуй-усердствуй! Так нет. Что я слышу вместо них? Единственное: давай-давай, Агафонов!

— Понимаю вас, — грустно сказал Травушкин. И словно поклонился — уткнул в грудь острую свою бородку.

— А вам не кажется, Алексей Кириллыч, что этот самый топор мы с вами прямо-таки обязаны забетонировать?

— В каком, извините, смысле?

— Да вот ведь. Сколько дается на сооружение такого цеха, как наш? Это общепризнанно — три года. А сколько дали нам? Год. Извините, а почему? А потому, что кто-то проспал, экономисты не сработали, а потом кинулись — дыра. Три миллиона тонн стали не хватает, концы с концами не сходятся. Что делать? А давайте-ка сибирякам поручим. Да вот — авдеевцам! Известное дело: покряхтят-покряхтят, да и вытянут. Еще и хвастать будут: люди за три года строят, а мы — за год. Будут гордиться. А что при этом они и кое-какой перерасход, и кое-где, известное дело, брачок — это как бы даже входит в условия игры...

— А вам не кажется, что условия эти принимаете вы слишком охотно?

— Имеете в виду — сократить сроки?

— Как раз насчет того, чтобы этот самый топор все-таки не бросать в забутовку...

— Алексей Кириллыч! — укорил Эдик. — Не слишком ли много хотим?

— Люди терпят болезни, — словно о чем-то другом заговорил Травушкин. — Страдают от чрезмерного горя. От предательства. От одиночества... вы молоды, вы еще не знаете, что это такое. Да ведь и искушение ваше невелико, и надо бы, казалось, от вас не так много — просто прислушиваться к себе иногда... Ведь вы же сами с собой беседуете? Так будьте при этом не только терпеливы, но

и внимательны, — и замолчал вдруг Травушкин, только пожевал сухими губами да вздохнул: — Вы тоже в четыре? Встаете, имею в виду?

— Это зачем же?

— Зорька!

— Ах, на зорьку!

— Вы, я вижу, еще намерены посидеть?

— Посмотрю на костерок.

— А я, пожалуй...

— Спокойной ночи.

— Вот что! — припомнил Травушкин. — Гай Юлий Цезарь, тот самый, да, очень любил дарить солдатам золотое оружие. И, знаете, почему? Он считал, что такое оружие не бросят в бою...

Эдик рассмеялся:

— Резонно!

— В силу вполне понятных обстоятельств мы не можем себе позволить подобную роскошь в отношении строительного инструмента, не так ли?.. Я имею в виду тот самый наш топор. Значит, нам с вами остается что-то другое... Что? Давайте думать вместе!

— Я подумаю, — пообещал Эдик. — Спокойной ночи.

— Взаимно.

И Травушкин на четвереньках полез в палатку и долго шуршал там поролоном, пока забирался в один из новеньких спальных мешков, которые Эдик взял в нашем спортклубе...

А Эдик позволил себе еще несколько граммов и сидел потом, слушал, как плещет рядом сонная река, смотрел на огонь и покачивал иногда головой, и снисходительно чему-то улыбался...

6

Итак, Эдик развил вокруг Травушкина кипучую деятельность, но большого успеха она пока не принесла — работу старик принимал все так же со скрипом...

А время летело, давно уже подошла пора подледного лова. Небольшая мехмастерская бетонщиков к великой радости бригадира Жупикова Петра в это время почти целиком перешла на изготовление ледобуров, которыми сверлят лунки, и Всеславский однажды спросил своего начальника участка:

— Как ты думаешь, Эдуард?.. А не вернуться ли нам опять к старому профилю? Я имею в виду бетонные работы. Или хотя бы составить на все эти твои мероприятия хорошо обсчитанный пор[1]. Чтобы потом объективным глазом глянуть, что нам дешевле обойдется. Может быть, если ты всю эту неукротимую энергию, а также материальные средства употребишь по назначению, нам Травушкина и обхаживать не придется?

— Вас понял, — коротко сказал Эдик. — Придется посчитать.

Всеславский припомнил:

— Кстати. Чем взял его наш Анатоль Егорыч, тебе не известно? Подходит старик сегодня ко мне на рапорте: так и так, Марк Васильевич. Вы, мол, ищете дружеских контактов, и я иду вам навстречу. Оба мы в сроках кровно заинтересованы. Предлагаю джентльменский уговор: если хотите, чтобы колонны по оси «Б» я принял с первого предъявления, пусть подливку делает Чумаков... Это как, выходит, понимать?

— Может, это его новое приспособление?

— И я его тоже спросил. И это, говорит, в том числе. В т о м числе.

И Эдик еще раз только сказал:

— Вас понял.

В тот же день он увидел, как Травушкин и Толик-безотказный вместе шли к электричке, на Космическую, и так мирно и задушевно беседовали, как будто были они закадычные, не разольешь водою, друзья...

Кто такой Травушкин, вы теперь хоть немножко представляете, теперь придется о Толике...

Знаете, всегда есть в бригаде такой человек, который первый скажет: «Что-то уже совсем живот подтянуло... Наверно, в очередь пора, бригадир!» И с радостью потом первый идет в столовую, и так каждый день — это становится для него как приятная обязанность, и он, чего доброго, может даже обидеться, если занять очередь бригадир вздумает однажды послать кого-то другого.

А есть в бригаде и другой человек. Ему говорят: «Да бросай, ладно, все равно всю работу не переделаешь — айда в столовку!» А он: «Вы идите, я догоню, надо тут еще кое-что...» И все постепенно к этому привыкают, и потом уже говорят: «Ну, шабаш, пошли-ка обедать, а это Толик

---

[1] ПОР — проект организации работ.

останется, доделает...» Догонит их Толик или не догонит, это как-то никого уже не волнует.

Как раз за все это и прозвали Чумакова Толика безотказным. Вся черная работа была его, и к этому все в бригаде давно привыкли, как будто так и должно быть.

Когда Всеславскому пришла мысль сделать Толика бригадиром, все сперва только посмеялись, думали, шутит, он ведь любит иногда что-либо такое — не поймешь, то ли всерьез, а то ли тебя дурачит. И вдруг однажды приказ: «Бетонщика шестого разряда тов. Чумакова А. Е. назначить...»

Ну, сперва они горюшка хватили. Всеславский сам очень любит об этом рассказывать. Как сперва Толик трижды в день прибегал в будку: а как это сделать? А как то?

Это как раз было самое начало работы здесь, на конверторном, но все руководство из управлений уже успело сюда перекочевать, так что сам Всеславский и встречал Толика. Месяц, говорит, или два не было никакого покоя. Только на один вопрос ответишь, а он уже со вторым. Потом, говорит, однажды замечаю, что-то изменилось. Прибегает Толик все так же три раза в день, но теперь не спрашивает, как быть, а как бы только ждет одобрения: а что, если я то-то и то-то сделаю? Еще прошел месяц или два, Толик бежит: ну, что, не волнуетесь тут, что меня нет? Не бойтесь — порядок!

Потом, говорит Всеславский, чувствую, что-то в управлении не так. Вроде бы все в порядке, а все же чего-то не хватает. А потом вдруг стукнуло: второй день Толик не идет! Подождал, говорит, еще подождал, наконец, не выдержал, пошел сам в бригаду, спрашиваю: это что тебя, Анатоль Егорыч, не видно? А некогда, отвечает, работаю!

И как пошел Толик, как пошел! Как будто талант какой в человеке открылся. Работу, за которую лучшие бригады не берутся, дадут — сделает. На него уже не надеются, а он, глядишь, и тут смог. Тут уже о бригаде Чумакова начали поговаривать, вслед за Всеславским стали все его постепенно величать: Анатоль Егорыч.

Злые языки, правда, поговаривали, что Всеславский, мол, мужик хитрый и просто хочет слегка подстегнуть признанных своих бригадиров, которые давно уже в передовиках и по этому случаю, как оно часто бывает, слегка заелись.

Так, нет ли, попробуй тут разберись, но только когда

вместе с двумя другими своими ребятами Чумаков придумал это приспособление для подливки колонн, тут уж всем оставалось только руками развести. Оно и дело нехитрое — большая металлическая воронка да шланг от компрессора, но до Толика ведь никто из наших не догадался. И сколько кураторы стучали в бетон, сколько находили пустот, а тут — на тебе, вся проблема!

На следующий день после того, как Эдик увидел Чумакова с Травушкиным, он к бригадиру — с разговором:

— Так что, Анатоль Егорыч? Говорят, закорешевал ты с нашим куратором?

Конечно, хорошо, если бы вы и Толика видели... Он какой-то такой: высокий, нескладный, с длинными руками. Глаза у него большие и серые, а зубы слегка щербатые, и улыбка от этого выходит не только добрая, но и будто как у маленького, застенчивая. Да и вообще он, пожалуй, похож на большого ребенка, хоть парню, можно сказать, под тридцать...

Эдику он теперь только ласково улыбнулся:

— С Алексей Кириллычем?

— И на какой вы почве?

— Что «на какой»?

— Подружились, имею в виду.

— А не знаю. Интересно, да и все.

— Что же интересного?

— А все. Он мне по истории рассказывает.

— Это как, то есть?

— Да а так. Идем, а он говорит. А когда станет... Если очень интересно или момент какой. Станет, и голову вверх, а руку — вот так...

— И о чем же вы вчера, например?

— А про Мамаево побоище. Как Сергей... Сергий Радонежский пешком всех князей русских обошел, не ссориться уговаривал, а вместе выступить. Летопись пишет: братья! В бедах пособивы бывайте!.. Он остановился, и так чудно: «Бра-атья!» Голос задрожал, и как будто слезы...

— Это Сергий-то? Радонежский?

— Травушкин! Алексей Кириллыч. А я раньше знал, да как-то не думал. А Сергий дал Дмитрию двух монахов. Во-от были...

— Амбалы?

— Богатыри! И один потом, Пересвет, убил ихнего Челубея. И тот тоже был... крепкий из себя. Представляете, сколько воинов мог бы он уничтожить, если бы не

этот монах, не Пересвет. Он, конечно, знал, на что идет. Они оба погибли.

— Оба, угу...

— Он говорит, в летописи по-разному. В одной, что остались лежать и тот и другой посреди поля. А в другой — вроде нашего Пересвета конь все же принес на себе к своим. Мертвого. Кому верить? Алексей Кириллыч говорит: в разные, ну, что ли, моменты своей жизни человек и верит по-разному: то одной, а то другой летописи... Смотря что у него на душе.

— Угу... ну, и когда этот ваш университет культуры начался?

— Летом еще. Осенью верней.

— Так и было? Он к тебе подошел и говорит: а хочешь, я тебе по истории?.. Послушай-ка, мой молодой, друг, про Пересвета.

— Да почему? Просто я как-то шел на электричку, а он впереди. За спиной вроде неудобно, я и догнал. Стали что-то такое разговаривать. А тут дождь. Прямо ливень. Может, помните, это когда осенью, а с грозой — еще газета писала? В общем, я ему: вы меня извините, Алексей Кириллыч, надо мне бежать. Видите, какая туча? А у меня цемент раскрытый лежит, совсем выскочило — ну как схватится, пропадет... Это, помните, тот, что бульдозер мешки прорвал, а мы его в одну кучу?

— Ну... и?

— А как раз успел. Рулон толя размотал, прикрыл.

— Чуть-чуть не хватило, а ты с себя куртку...

Толик удивился:

— А вы откуда?

Эдик прищурился:

— Догадываюсь!

— Там как раз клинушек остался, я, и правда, курткой.

— А сам? — Эдик смотрел на него уже как исследователь.

— Да не сахарный. И потом ливень косой был.

— А Травушкин? Подсмотрел небось? Вернулся проверить?

— Да почему?

— Сам ему рассказал?

— Да зачем бы. Он же за мной побежал, только я скорей, а он капельку позже. А тут увидел, что я куртку, да пиджачок с себя — хлоп его рядом. А сам — ко мне под колонну. Так и простоял, пока ливень не кончился...

— Ты вот что, — сказал Эдик весело и вместе с тем строго. — Молодец! Ты слушай его, Травушкина, внимательно!

— А я и так внимательно.

— Когда у вас будет про Бородино, ты мне скажешь. Не забудешь? Тоже очень хочу еще раз...

— Обязательно позову, — закивал Толик радостно. — Алексей Кириллычу сказать?

— Не надо пока. Мы ему сюрприз.

— Значит, пока не буду.

— Ты молодец, что этот цемент накрыл, — похвалил Эдик. — Честное слово, молодец!

7

Как вы, конечно, догадались, Эдик очень твердо усвоил, что и в условиях НТР психологический фактор — дело далеко не последнее. И очень скоро ему представился случай доказать это многим — хотя бы в управлении у бетонщиков.

Тут у них как раз создалось такое положение, какое обычно получается при спешке, когда в одном месте хорошенько поднажмут, зато в другом недосмотрят. Выяснилось вдруг, что одной из бригад не совсем так растолковали задание, вышла путаница с чертежами, и бетонщики добавили в нее еще и кое-что от себя. И фундаменты по одной из осей вышли, прямо сказать, совсем никудышние. А на деньги за них в управлении очень рассчитывали. Удалось бы эти фундаменты, что называется, спихнуть, и у бетонщиков вышло бы приличное перевыполнение за месяц, и они крепко поправили бы дела и с квартальным планом, не говоря о том, что тут пошли бы тебе и премии, и талоны на «Жигули», и знамя...

Старик Травушкин только что появился на стройке после долгой болезни, и Всеславский совсем было собрался поехать к нему в УКС[1], чтобы объяснить положение, потолковать миром да постараться выцарапать на план пусть не все, но хоть какую-нибудь сумму посолидней. Однако Агафонов его отговорил. Эдик брался злосчастные эти фундаменты сдать все до единого и получить за них целиком.

---

[1] УКС — управление капитального строительства.

— И как ты, любопытно, умудришься? — спросил Всеславский.

— Да, в общем, ничего оригинального, — скромно сказал Эдик. — Просто переставить бригады... Сейчас же посадить на эти фундаменты Чумакова, а на его участок бросить Кривулю. Бьем таким образом сразу двух зайцев: во-первых, Травушкин, не глядя, примет у Чумакова все, что тот предъявит, а во-вторых...

— Этого сукина сына Кривулю надо поганой метлой гнать из бригадиров, а ты ему хочешь на чужом поту — капитал...

— Как вы понимаете, это для нас не главное. Даже в какой-то мере издержки.

— И ты думаешь, мы тут действительно можем выгадать?

— И к бабке не ходи, и не гадай.

— А, думаешь, Анатоль Егорыч не упрется?

— Да ведь он-то как раз такой, что ради общего дела...

— Это так... а если раскусит? Травушкин? Тут мы сами себя, что называется...

— Ради общего блага и я готов. Пострадать.

Всеславский встал и прошелся по кабинету, постоял у окна. Из-за плеча сказал:

— В другое время я бы тебя за этот разговор... Но тут... Главное — для дела.

— И я о том.

Начальник постоял еще, потом обернулся, спросил другим тоном:

— Хоккей-то вчера смотрел?

— В обязательном порядке.

— Вот, видишь. А я на братьев-поляков не понадеялся. Кто бы мог подумать — у шведов!

— Ну, я — на участок, — сказал Эдик.

— Так ты зачем приходил-то? Из головы вылетело.

И Эдик только сказал опять излюбленное свое:

— Вас понял.

Через полчаса он уже привел к фундаментам бригадира Толика-безотказного.

— Это все надо сдать. Должен тебе со всей ответственностью, что для той самой истории никакой роли не играет, что они у нас, прямо скажем, без знака качества... Этим я бы не стал шутить, ты меня, Егорыч, знаешь. Все они под землю уйдут, и в этом месте будет такой закоулок, что абсолютно все равно, десять санти-

метров туда у него стенка или десять сантиметров сюда. А управление мы с тобою, брат, крепко выручим. Я тебе прямо: Алексей Кириллыч лежал в больнице. И кто тут работал, не знает. Что касается журнала... он тебе на слово поверит?

А Толик явно мучился:

— Да верил пока.

— Очень хорошо. Задачка ясна?

— Надо сперва поглядеть, что тут...

— Я тебе откровенно: кабак. Но положение в управлении почти безвыходное. То есть, с голоду не помрем, но премиальные потеряем, и не только это. За весь год начнут — по всем падежам. Ну, ты хоть и молодой бригадир, вообще-то, не первый год замужем, что тебе долго объяснять. Знаем только мы с тобой, потому я тебе откровенно... сдашь?

А Толик чуть не плачет и опять за свое: посмотреть надо!

Ходил от одной ямки к другой, глядел на фундаменты, морщился, как будто у него — зубы, моргал обиженно, трудно вздыхал.

— Ну почему я? Кто-то браку наделал, наворочал как попало... почему я?

— Я ведь тебе все карты, — опять начинал терпеливо объяснять Эдик. — Только ты это можешь сдать... Алексей Кириллыч в больнице.

— С сердцем у него, — соглашался Толик. — Сосуды...

— А ты был, что ли?

— Проведывал.

— Не говорил, что бетонишь?

— Как-то не пришлось... мы о другом.

— Ну, вот и хорошо, что разговора такого не было... можно на тебя надеяться? Сдашь?

Маялся Толик, маялся и выдавил наконец:

— Сдам.

— Это совершенно твердо?

Тот опять часто-часто заморгал и голову опустил рывком: сдам.

— Время пока есть, и то, что ни в какие ворота, ты, конечно, можешь поправить, — попробовал хоть слегка утешить его Агафонов. Но тут же посчитал нужным предупредить: — Только не увлекайся!

На этом Эдик счел свою миссию законченной.

— Что-то я не пойму, — спросил у него на следующий день Всеславский. — Или какая-то перестановка? Или Чумаков у нас так там и работал, на этих фундаментах?

— В отделении подготовки ковшей? Так и работал. На днях сдать обещал.

— Вот как? Признаться, не ожидал.

— Могу я сказать Чумакову, что в случае всех этих квартальных-премиальных один талон на «Жигули» будет у него?

— Попросил тебя?

— Как-то еще давно. На бригаду, мол, а мы сами решим кому.

— Кто ж там у них, интересно, страдает?.. Один куркуль — Инагрудский. Но для него бы Анатоль Егорыч не стал...

— Так можно сказать?

— И даже с гарантией, если сдаст.

А назавтра утром Всеславский с утра вызвал Эдика и тихо, как будто даже с ласкою в голосе, спросил:

— Вы были у Чумакова? Сказали насчет талона?

И Эдик, знавший Всеславского очень хорошо, встал и взялся за ручку двери. А тот опять говорил, не разжимая зубов:

— Отправляйтесь туда немедленно!

Из кабинета Всеславского Эдик вылетел пулей.

Не знаю, может, ему действительно помогло то, что был он заядлый спортсмен. Иначе как можно объяснить, что в обморок он тогда все-таки не упал?

А было от чего.

В бригаде у Толика кипела горячая работа. Пахло талой землею и горьким дымом, работал компрессор, оглушительно били отбойные молотки. Все фундаменты до нижней отметки были откопаны, и многие почти до основания разбиты, а остальные зияли вырванными боками.

Эдик схватил Чумакова за локоть, заорал:

— Ты что наделал?!

И сам подался к бригадиру ухом, но тот удивленно спросил:

— Как «что»?

— Ты мне ваньку не валяй! Мы с тобой что договаривались? Что ты сдашь!

— Сдам.

— Когда, дурья башка, когда?! — Эдик все оглядывал то, что еще осталось от фундаментов. — Поправил, в крайнем случае, один. После другой. Зачем разломал все сразу!

— А мы с ребятами посоветовались...

— Они посоветовались!

— Решили это дело на поток. Сперва все разбить...

— Слушай! Ты мне не валяй! Мы как договаривались: Травушкин болел и ничего не знает...

— Ага, я ему не говорил, где работаю...

— Мы как договаривались: он тебе верит на слово?

— В том и дело...

— Он бы у тебя все это — за глаза!

— Ну, так потому я и стал разламывать...

И Эдик хватался за голову и поднимал руки:

— Г-где логика?!

Ему вдруг показалось, что дело тут вообще пахнет предательством.

— А кто тебе с чертежами разобраться помог? Кто?!

Толик виновато улыбался щербатым ртом:

— А никто. Я всю ночку просидел. Сам.

— Не Травушкин?

— Я его после больницы еще не видел.

— Ну, как же ты, дурья башка, до этого дошел?

Но этого Толик, видно, не слышал, упоминание о Травушкине вызвало у него тихую улыбку, которая плавала теперь в серых его глазах:

— Он мне в больнице статью читал. Написал. Сам! На то, как русский народ к труду, здорово повлияло, говорит, татарское иго... До этого как? Киевскую Русь, говорит, за границею называли... забыл по-ихнему. А по-нашему: страна городов. Такие были города. Мастеровые там. Ремесленники. И крестьяне тоже. Умели, говорит, работать. А потом что? И один раз татарин придет, все отберет. И другой. Тут и подумаешь: или делать что, или так обойдется. И это не один год, не два. Так и отбили охоту...

Эдик все тряс его за плечо. Выбрал, наконец, момент, когда Толик сделал паузу:

— Слышишь меня?! С Киевской Русью. Иди ты, знаешь, куда?! Знаешь? Вот так. И если ты мне это не сдашь...

Цапнул Толика пятерней за бумажный свитер на гру-

ди, и опустил голову, и слегка повел ею из стороны в сторону: как будто и сам не знал, что тогда в точности произойдет, но ясно одно — страшное будет дело!

8

Скажу сразу: ничего страшного не случилось.

Многим и до сих пор непонятно, как ему это удалось, однако эти самые фундаменты Толик-безотказный сдал в срок.

Остряки потом говорили, будто вся разгадка здесь вот в чем: Чумаков подобрал-таки ключи к этому лодырю Инагрудскому, и тот показал, наконец, на что он способен... Может быть, тут и есть какая-то доля правды, и к этому мне еще хочется вернуться — рассказать вам о том, как у них сложились дела, у Толика с Инагрудским...

Но пока мне хочется о другом.

Чумаков тогда и действительно крепко выручил бетонщиков, потому что благодаря ему управление кое-как наскребло на план. Вся штука в том, что истосковавшийся по работе Травушкин, выйдя из больницы, раскопал у них брак совсем в другом месте, а так как исправлять его Всеславский наотрез отказался, то дело дошло до народного контроля, и пошел затяжной скандал, попортивший немало крови и руководству бетонщиков, и самому старику. Вообще-то, в той истории много темного, но сам Всеславский, человек, провести которого почти невозможно, тут-то как раз согласен, что самое в ней неясное опять же вот что: как этот брак старик обнаружил?

Другой табак, если брали бы его на арапа: примет — хорошо, а нет — и на том спасибо. Тут же и у самих все было, как говорится, вне подозрений...

А я и тогда не раз над этим задумывался, и сейчас нет-нет да и вернусь к хитрым секретам Травушкина, и, сдается, многие из них теперь для меня не такая уж великая тайна...

Конечно, это, и в самом деле, вроде бы удивительно, если смотрит старик на совершенно великолепный с виду фундамент и вдруг произносит свое любимое: «Без-ответственность!..»

А если припомнить, что перед этим он посмотрел бригадный журнал и увидел, что бетонировали, пред-

положим, двадцать шестого числа? Если он хорошо знает, что получку в тот раз не задержали, а выдали, как и полагается, двадцать пятого?

К этому остается добавить только то, что хоть сам он и непьющий, однако же, без всякого сомнения, очень хорошо понимает: кто же это, интересно, возьмет после получки в руки вибратор, если и без того голова раскалывается?

А, думаете, для чего у Травушкина в нагрудном кармане лежит маленький календарик? Чтобы посмотреть, какой того или иного числа был день недели. Потому что в этой своей несложной вроде бы арифметике понедельники он ведь тоже считает «безвибраторными»...

Теперь представьте другое: идет старик по участку, видит этот самый безукоризненной наружности фундамент, останавливается, умиленный, и растроганный спрашивает: «Это кто же у нас так славно потрудился?..»

Тут Петя Инагрудский выныривает, очень довольный: «Эт я!..» — «Рад за тебя! — хвалит Травушкин. — И поглядеть приятно!..»

И идет себе дальше. А почему идет? Да потому, чтобы в следующий раз Петя Инагрудский, как та самая ворона, опять бы каркнул, не удержавшись: это я, мол!

Знаете, есть такая пословица: то, что слишком хорошо, мол, — уже нехорошо, и, увидев шик-блеск, старик уже начинает сомневаться, а тут еще вдруг узнает, чье это дитя... И ему уже до скуки ясно, что неудачное Петино произведение пытались потом облагородить всем коллективом, лишь бы только с рук долой... А почему?

Приметит старик этот фундамент, сделает крюк, и, когда уже все что к чему позабудут, он опять сюда: «Безответственность!..»

Или такой случай. Не нравится ему, предположим, у монтажников техническое решение какого-нибудь узелка. Он, естественно: а согласовано? Где чертеж? Дают ему: вот чертеж. А где подпись? Ах ты, в самом деле, договориться договорились, а подписать и забыли! Иванов!.. Где он, Иванов? Прибегает Иванов.

— Давай-ка, быстренько: одна нога здесь, другая — там. Надо этот чертеж подписать.

Тот, глазом не моргнув:

— Кем подписать?

— С проектировщиками надо — Сидорова найди...

— Да где-то он тут вроде недалеко сейчас... побегу!

А Травушкин что? Он ведь эту нашу систему ППП[1] ой как хорошо знает. Думаете, так он и поверил, что Иванов сейчас, высунув язык, за Сидоровым гоняется? Эге!.. Он себе, Травушкин, очень хорошо даже знает, что Иванов сейчас сидит себе за столом в будке у монтажников, и высунув язык, старательно выводит фамилию этого самого Сидорова, чья подпись в виде образца лежит сейчас перед ним, воспроизведенная на совсем другом чертеже...

Приносят потом Травушкину уже подписанный листок, и он трясет бородкой, удовлетворенный, но тут же смотрит вдруг на часы и чего-то пугается: «Совсем забыл!.. Придется нам с вами завтра закончить!»

Спросите: почему же Травушкин, вместо того чтобы раз и навсегда разоблачить обманщиков, дает вовлечь себя в непонятную эту игру?.. Почему? Не знаю. Может быть, ему чуть-чуть нравится, чтобы его считали профаном? Может, ему любопытно наблюдать за нехитрыми попытками обмануть его? Или эта поддельная подпись очень даже нужна Травушкину, потому что она для него как безошибочный сигнал: что-то не так. А после он уже будет искать: что?

Монтажники меж собой поговорят: «Подмахнул?» — «Жди!.. У него капризы, видишь — до завтра!»

Потом все уедут домой, а Травушкин останется на стройке. Придет на участок к монтажникам, когда там уже никого, и будет с тем самым узелком, не торопясь, разбираться, и назавтра, как будто между прочим, прорабам скажет: «Недавно еще, извините, думал, что Сидоров — серьезный инженер, а он — недоучка! Обязательно заявлю ему сегодня об этом на рапорте!» И может потом как ни в чем не бывало Сидорову это сказать. А может и промолчать — в зависимости от того, как на эти слова монтажники отзовутся...

Я вот долго уже пытаюсь над этим размышлять, зачем ему это было надо, слегка играть, и, знаете, на чем в конце концов остановился? Мне кажется, что дело тут вовсе не в том, что Травушкин давал волю своему ехидству. Просто он хотел, чтобы тот или другой случай кое-кому хорошенько запомнился бы. И чтобы тот потом, мысленно вернувшись к этому случаю как-нибудь

---

[1] ППП — палец, потолок, пол.

на досуге, еще и еще раз обо всем хорошенько подумал бы...

Конечно, многое тут зависело и от характера старика, я не спорю. Но представьте себе, что лучше. Или подойти к пареньку-монтажнику и скучным голосом сказать, что то-то и то-то он делает не так. Кроме всего прочего, я не очень-то убежден, что он вас тут же послушает. И другое дело — метод Травушкина, когда он начинает как будто очень издалека:

— А что это вы, мой юный друг, каску надели?

— Как это — ругают же!

— А почему ругают?

— Да вдруг что на голову?

— Гм... а если на руку?

— Ну ты, батя, даешь: рука или голова?

— А не все равно? Я как погляжу, для некоторых это почти одно и то же. Может и вы, мой юный друг, тоже не головою думали, а чем другим: кто же эту простую штуку делает так, как вы?

И парень потом еще долго будет смотреть Травушкину вслед. И все запомнит.

А может, это я задним числом хочу не только во всем разобраться, но и оправдать Травушкина?

И на самом деле, куда больше правы те, кто убежденно заявлял: уж если старый куратор так упорно ищет приключений на свою голову, то в конце-то концов непременно «достукается»...

9

Расскажу об Инагрудском.

Помните, я говорил, что в каждой бригаде, как правило, есть человек, который охотнее других торопится занять очередь в столовой? Так вот он как раз из таких, а чтобы к вопросам общественного питания больше не возвращаться, скажу сразу, что жена его работала в столовой на промплощадке кассиром, и, когда Петя Инагрудский ставил перед нею полный поднос и небрежно бросал на пластмассовую тарелку непременный бумажный рубль, она ему под видом сдачи каждый раз исправно возвращала этот рубль мелочью...

Припоминаю, во времена моего, прямо сказать, не очень обеспеченного послевоенного детства ходила среди

мальчишек легенда о неразменном рубле, который якобы можно заполучить у черта, если ровно в двенадцать часов ночи на пустынном перекрестке протянуть ему в мешке черного кота. Такой рубль всегда останется у тебя в кармане, сколько бы ты его ни отдавал... Но тогда мы имели о чертовщине слишком отдаленное представление и наивно полагали, что этот рубль должен быть на всю жизнь один и тот же, и, жалкие формалисты, пожалуй, не поверили бы, что на самом-то деле он, оказывается, должен постоянно переходить из одного состояния в другое...

Речь, однако же, не о том.

Когда Толик-безотказный стал бригадиром, то чуть ли не первым делом он освободил Инагрудского от его не очень обременительной обязанности занимать очередь. Этот не столь драматический факт Петя воспринял как личную обиду в частности и как посягательство на права трудового человека, если смотреть пошире, а потому решил Толику не поддаваться, а бороться против него, всем прочим методам предпочтя итальянскую забастовку, когда он делал вид, что работает, а на самом деле ни к чему не притрагивался.

Ради справедливости надо сказать, что этот метод Инагрудский в совершенстве освоил уже давно, но раньше пользовался им в основном бессознательно, зато теперь, подогретый обидою, довел свой немой протест до такого совершенства, что чаша терпения в бригаде у Чумакова переполнилась.

— Только и того, что чихает! — жаловались бригадиру бетонщики. — Но на план-то нам это не идет!

Тут надо сказать, что Петя Инагрудский не курил, берег здоровье, но табачком баловался — нюхал. Кто его знает, у кого он перенял себе такую привычку, однако на протяжении многих лет оставался ей верен беззаветно, и увлечению своему отдавался он истово — на то, как Петя нюхает табак, приходили смотреть не только из соседних бригад, но и из других управлений.

С утра он доставал из кисета и закладывал то в одну, то в другую ноздрю только маленькие понюшки, как будто всего лишь готовился к главному своему выступлению. Начиналось оно после обеда, когда все уже потихоньку приступали к работе. В это время Петя устраивался где-нибудь поудобней, доставал из кармана кожаный кисет и в предвкушении удовольствия громко

крякал. Потом он брал щепотку побольше, запрокидывал голову, и тут раздавался такой глубокий нутряной звук, словно зелье свое втягивал Петя не в нос, но куда-то значительно глубже... Уже после окончания процедуры Инагрудский многозначительно констатировал, куда именно этот табак достает, но то, конечно, была неостроумная шутка, и приводить ее по вполне понятным причинам я не стану.

Итак, Петя с глухим гулом втягивал табак, потом гул этот прекращался, на несколько секунд наступала глубокая тишина, и вдруг ее взрывало такое громоподобное «апчхи!», что издалека звук этот запросто можно было перепутать с ударом копровой бабы.

Мужчина он громадного роста, Петя, весит далеко за сто двадцать, и теперь, когда он чихал больше десяти раз кряду, неведомая сила то вдруг складывала его пополам, а то резко вскидывала, и он при этом дрыгал ногами, крутил головой, трубно всхлипывал, мычал и легонько постанывал...

— Ежели бы к нему какую передачу придумать, а? — часто говаривал при этом старый плотник Иван Елисеич Бут. — Это бы сколько пользы! Горы можно свернуть!

Однако никакой такой передачи, которую можно было бы приспособить к Инагрудскому, никто в бригаде так и не придумал, некогда, а на общую выработку эти его телодвижения и действительно не оказывали ровным счетом никакого влияния... Петю решили проучить.

Толик-безотказный собрал однажды бригаду и, когда все уселись, объявил:

— За то, что мы с вами хорошо поработали на отделении подготовки ковшей, нашей бригаде выделили один талон на «Жигули»... Надо будет посмотреть, товарищи, кому его отдать. У кого предложения?

И Толик сел, а между бетонщиками пошел неторопливый разговор:

— Может, Перетятько возьмет! Возьмешь, Митя?

— Да ну!.. У меня таких денег... ты что, шутишь?

— Может, Иван Елисеич, ты возьмешь, ну, не жмись!

— А куда мне на ей? Рази токо на кладбище?

— Ты брось, брось, Иван Елисеич, ты сто лет еще...

— Скажи, что старуха не разрешит.

— Заботится, чтобы к молодым не начал ездить...

— Давайте, братцы, серьезно — другие люди просят, а тут, можно сказать, чуть не силком...

И Толик встал опять:

— Так что выходит? Так-таки никто и не хочет? Назад его отнести?

Тут Петя Инагрудский и поднял руку:

— Можно мне?

Толик разрешил:

— Давай, Свинухов, говори!

Придется, наконец, сказать, что красивая фамилия Инагрудский у Пети не настоящая. По паспорту был он Свинухов, и так его, пожалуй, до сих пор бы и звали, если бы не одно обстоятельство: несколько лет назад Пете щедро улыбнулась судьба — он получил медаль... Что делать? Бывает!

Это еще в самом начале стройки, руководство было тогда неопытное, а разнарядку сверху прислали жесткую. Бились-бились кадровики, искали, искали, отобрали, наконец, самых достойных, и все были люди как люди, но на одну медаль (по тем данным, которые были нужны) кандидатуры, кроме Петиной, так и не находилось, и тогда решили наградить Свинухова — не пропадать же добру! Мужик он, вообще-то, был невредный, Петя, одна беда — работать и тогда не любил. Но медаль себе на пиджак нацепил без долгих, надо сказать, сомнений, пришел с ней в управление на вечер, и, когда увидели его ребята, Митя Перетятько стал в позу и громко продекламировал:

И на груди его могучей...
Одна медаль висела кучей!

Всем это, конечно, очень понравилось, и долго потом каждый, кто хоть немного знал Петю, встречая его, поднимал руку и приветствовал этой фразой: «И на груди его могучей!..»

И сперва Петю стали звать «И на груди», а затем уже переделали это в фамилию: Инагрудский.

Во всяком случае, все совершенно справедливо считали, что для человека заслуженного она подходила чуточку больше, нежели его настоящая...

Встал теперь Петя, обмахнул пот со лба и говорит:

— Конечно, я понимаю... Если кто другой хочет себе взять, то ясное дело. Вдруг кому нужнее или еще что...

И замолчал, и трудно вздохнул.

— Это ты насчет чего? — спросил Толик.

— Да за «Жигули»...

— За тем и собрались. Ты что предлагаешь-то?

Петя еле слышно произнес:

— Себе бы взял...

И стоял он теперь такой робкий и тихий, что Толик небось сжалился бы, отдал талон... Однако на него дружески, но строго смотрел сейчас Митя Перетятько, подбадривал бригадира глазами, и взгляд его словно говорил: «Ничего-ничего, все правильно!.. Что ж ему, в самом деле, то медаль только потому, что размер ботинок совпал, что называется, или объем грудной клетки, а теперь из-за нашего безденежья — машину?..»

— Подумать надо! — решил Толик. — У кого будут предложения?

Тут опять пошло.

— А вопрос можно? Когда талон давали, там как? Сказано, кому надо, или все равно?

— Ну, ты даешь! А так не ясно? Если за то, что хорошо поработали, значит, и отдать надо, кто упирался...

— А если, кто упирался, у того денег нет?

— Дак так оно и бывает...

— Тогда что?

— Ты нам вот что, бригадир: решение наше окончательное? Или в управлении утверждать будут? А то мы дадим, а нам там: ну и выбрали ударничка, где токо такого нашли!

— Ну да, вроде того, что мы Петру нашему посвойски...

— А там начнут придираться.

— Да почему придираться? И правильно спросят — нашли трудягу!

Петя только головою туда-сюда, туда-сюда! Тут поднялся Митя Перетятько, который перед этим все молчал и только упорно тянул руку. Ну, он это умеет, откашлялся, как заправский оратор, сказал значительно:

— Я вот что хотел бы подчеркнуть, да... Если подумать: одно дело — просто человек. А другое — если он с автомобилем. Хоть автомобиль не роскошь. а средство передвижения, но все-таки. Как бы там ни было, а человеку, если он с автомобилем, внимания больше, он уже как бы на виду. Теперь конкретно. Петр Михайлыч и так у нас человек, можно сказать, заметный. Фигура, да... А если еще галстук наденет, да ордена?

Петя дернул было головой, но промолчал, а Митя Перетятько продолжал:

— Теперь представьте, что к тому же он за рулем собственной машины. Мечта! Хоть в кино его снимай, а хоть куда на обложку. Так? Так. Можно сказать человек будущего. Герой и труженик...

— Ты куда, непонятно, Митя, гнешь?

— Да, про Петю ты или про труженика?

Потом один говорит:

— А что мы напали на человека? Или действительно он так уж плохо работает? А мне на днях кладовщик наш говорит: вот Свинухов у вас — трудяга. На нем рукавицы огнем горят! Неделю, говорит, не поносит — уже все в дырах. Уже идет ко мне, показывает. Ну жалко человека — дам новые. А через неделю он уже и эти изодрал, опять ко мне идет...

А другой:

— Удивил! Да ведь Петя-то кладовщику рваные-то рукавицы кажет одни и те же!.. Не знаешь, что ли! Ему же рваных на год хватает! А новые копит, потом в деревню отвезет... ну, признайся, Петь, разве не так?

— А-а-адин раз! — выкрикнул Петя. — Надо на покос... ну, по дому там! Старики у меня!..

— Ну во-от, в самом деле, пристали — нельзя человеку на покос двадцать пар брезентовок...

Тут слова Иван Елисеич Бут попросил:

— Кто же против, чтобы человек не пешком, значит, а на машине бы ездил? Нам же лучше, в электричке свободней будет. Но мы должны к этому вопросу и с другой стороны. Я вам прямо скажу, товарищи: как бы не было от этого большого урона для нашей стройки...

И замолчал Елисеич, выжидал.

— Если не дадим?

— Как раз, если дадим.

— Это, Елисеич, почему?

Тот обернулся к Йнагрудскому, поднял палец:

— Потому, Петро, что характер у тебя, можно сказать, сорочий. Все, что ни увидал, в гнездо свое тащишь... Все, что ни увидал блестящее, то в карман. По дороге на электричку потом разглядел да, может, выбросил, а на месте-то вещи уже нету! Государству в убыток. Там блочок мимоходом какой у электромонтажников прихватил, там еще что...

— Елисеич! — выкрикнул Петя жалостно. — Да то когда было?!

— Ну, ладно, говорю, в карман. Вроде немного можно унести. А если мы тебя, Петро, на машину... Тогда что?!

Долго это собрание шло, и все то ж да про то ж. Тогда Толик и говорит: что же, мол, делать? И хотелось бы уважить своего товарища по бригаде, и грех. Вон сколько о нем тут сказано было всякого: и лодырь из лодырей, и вечно глаз у него не в ту сторону. Выходит, надо талон обратно отдавать? Тоже вроде нехорошо.

Митя Перетятько опять руку:

— А давайте нашему Петру — испытательный срок? Как это, спросите? А так. Что ж мы, уж такие безденежные, что на одну машину не наскребем? Не может такого. Деньги по талону надо срочно послать, так мы их и пошлем. А придет наша машина, пусть ровно год стоит. Если Петро наш за это время докажет, что может как человек работать, да и вообще быть как человек, пусть нам деньги на бочку, а машину — себе. А нет — что ж мы не найдем, кому ее продать?

— А что? — подхватил Толик. — Может, и правда, скинемся? Вот я, например, для начала — тысячу...

Петя рот, конечно, раскрыл, но у ребят все было, как по нотам расписано:

— Да и у меня кой-какие деньжонки найдутся, — Иван Елисеич поддержал. — Тысчонки полторы подсоберу... А если из баушкина чулка достать, то, может, и больше...

Тут пошло:

— Пиши, Толик: с меня пятьсот.

— И с меня, бригадир, триста!

— А если я могу только пятьдесят? Чтобы и моя доля?..

— Зато всем миром.

— Ага, всем колхозом!

Петя все порывался что-то сказать, и Толик заметил наконец, кивнул ему. А тот, видно, уже слегка отошел. Спросил деловито:

— А где мы ее пока поставим?

— А вот можно и к Мите Перетятько в гараж, пока мотоцикла нету... пустишь, Мить?

— А чего не пустить?

— Замки у тебя надо новые поставить, — прищурился Петя.

Митя Перетятько пожал плечами:

— По мне так и эти ничего.

— Я тебе свои отдам! — радостно решил Петя. — Целых два даже или три могу. Сам и поставлю...

— Значит, братцы, решили? Деньги завтра нужны.

— Не хватит, дак я от себя добавлю! — весело кричал Петя. — Дело все ж таки общее, тоже правильно... А я пока за этот год на права сдам!

10

Я уже, признаться, боюсь упреков, что не очень складно у меня выходит, что скачу от одного факта к другому, но тут такая история получается: хочется как можно полней о Травушкине, а он ведь такой старик, что во всякое дело влезет, надо ему или не надо, потому-то и мне приходится вслед за ним то в ту сторону, а то в эту...

Расскажу я вам о собаке по кличке Алкаш, а там судите сами: надо это было или, может, не надо.

Ребята-монтажники эту собаку из Темиртау привезли, из последней своей командировки. Там у них такая история: поставили подъемник для оборудования, и площадка его оказалась всего на шестьдесят сантиметров ниже крыши... Кому-то надо постоянно наверху торчать, чтобы нажимать на кнопку, а как ты там, если затишка никакого, а дело в середине зимы, холода страшные. Мучались они, мучались, а потом один и говорит: а дайте я. Только мне спальный мешок нужен. Ну, и, конечно, насчет прогрессивки. Спальный мешок ему выдали, прогрессивку пообещали твердо, оделся он потеплей и полез на верхотуру. Расстелил на площадке мешок, залез в него, да так чуть ли не месяц и пролежал, как Емеля на печке. Ну, если я скажу, что это Гриша Нехаев, все монтажники небось в один голос заявят, что ничего удивительного, дело это ему хорошо знакомое, лежать на боку — чуть ли не основное его занятие. И тут он, что называется, дорвался, отвел душу. Обленился до того, что обедать не слезал, требовал, чтобы котелок с горячим ему наверх подавали. Высунется из мешка, словно улитка, поест — и обратно. Храпит себе, что и внизу слыхать! Надо кнопку нажать — сперва дергают за веревочку, которая привязана к мешку... Гри-

ша и глаз не откроет, ткнет пальцем, и спит себе дальше, сны смотрит. Другой раз разоспится так, что по пять минут дергают — и никакого толку. Стали бояться, что чего доброго стащат еще Гришку с площадки, и тогда инженер по тэбэ[1] велел Гришин мешок петлями прикрепить к специальным скобам, а самому Грише приказал обвязаться веревкой и зацепиться карабином за крюк.

И так Грише эта его работа понравилась, до того он вошел во вкус, что, спустившись на землю наконец, продолжал теперь сутками спать и в общежитии, где квартировали монтажники. Прогрессивку свою он получил, чувствовал себя герой героем, а потому решил, что может теперь отдохнуть, и крепко загулял.

Командировка — дело такое, что, глядя на одного, и другим недолго втянуться, и потому начальник участка Пароконный серьезно поговорил со своими хлопцами, чтобы с Гришей на это время никто компании не водил. Оно и до этого охотников на дружбу с ним было мало — он, когда выпьет, становится хуже этого самого. А теперь остался он и совсем один, сделал вид, что смертельно обиделся, а на следующий вечер увидели, как он, пошатываясь, бредет по коридору, а рядом с ним, заплетаясь ногами и неловко поводя головою из стороны в сторону, семенит черная с белыми пятнами дворняжка.

Первого же встречного Гриша остановил и с вызовом сказал, кивнув на кобелька под ногами:

— Видал? Дружок мой. А что, законно, тоже алкаш, с ним теперь на пару...

А следующий, кого Гриша встретил, был начальник участка Пароконный...

Если коротко, то наутро Гриша умолял оставить его в Темиртау хотя бы до тех пор, пока у него сойдет синяк под глазом, но никто его и слушать не стал, отправили домой самолетом. Собаку взял себе Пароконный, но что ты тут будешь делать: кличка Алкаш уже успела к ней прицепиться, так и стали звать пса.

Командировка — дело веселое, в общем-то, до поры, а тут уже по дому начали скучать, и пес был для монтажников как находка: вечерами и учили его, кто чему, и, как могли, баловали. Собачонок оказался смышле-

[1] ТэБэ — техника безопасности.

ный, на лету схватывал не только колбасу, и вскоре все к нему так привязались, что о том, куда девать собаку, в конце командировки двух мнений просто и быть не могло: ясно, что пес вместе со всеми должен был лететь в Сталегорск, на Авдеевку.

На конверторном, в городке у монтажников, сколотили ему хорошую будку, покрасили, и стал он в ней жить, прямо-таки сказать, припеваючи.

Утром ему из дома косточку несут, днем вместе с собою зовут в столовую...

Надо сказать, что монтажники, особенно когда вместе, могут себе и что-нибудь такое, что уже слегка через край, позволить: а как же, мол, знай наших! Так и тут. Бригада сидит за столиком, лясы точит, а в очереди — собака. Под ногами у чужих чин чином подвигается себе вперед, на ребят поглядывает. Перед самыми мармитами морду задерет: ав-ав!.. И все теперь как бы между прочим поднимаются, становятся теперь вслед за ней — обычное, мол, дело!

Потом кто-нибудь громко спрашивает:

— А тебе, Алкаш, что взять?

Пес опять задирает морду: ав-ав!..

— Два шницеля! — говорит монтажник. А сам опять вниз: — Что ты там еще?

Пес опять тявкает, а этот — подавальщице:

— Просит, чтобы мяса побольше... Прошлый раз, говорит, брал — один хлеб!

Первое время, когда в очереди, где-то под мармитом, раздавался вдруг лай, подавальщицы взвизгивали и роняли тарелки, некоторые пробовали с монтажниками скандалить, но, когда их такая толпа, какой спор? Только и того, что в конце концов запретили им кормить собаку со столовской вилки, и тогда ребята скинулись на серебряную, которую Алкаш, когда впереди всех торопился в столовую, торжественно нес в зубах...

На чужих в городке у монтажников пес не бросался, но сопровождал всюду, за всяким следил неотступно и заливался лаем только тогда, если из городка хотели что-нибудь вынести. Корреспондента, которому, перед тем как повести его на конверторный, дали монтажную каску, он однажды не выпускал из ворот до тех пор, пока тот не передал каску кому-то из прорабов. Иногда пса брали на главный корпус или еще куда, оставляли подежурить около баллонов с кислородом или около

шлангов, и не было сторожа надежней, а после того, как во вторую смену прибежавший на лай инструментальщик спугнул у дверей склада двух чужих с ломиками, о собаке вообще начали легенды рассказывать. Одни из них, наверное, имели под собой какую-то почву, зато другие уже были явно из области фантастики. Уверяли, например, что если перед ответственным подъемом на главном корпусе туда прибегал пес и ложился неподалеку, то все, надо шабашить, потому что дела не будет. По этой причине монтажники, говорят, трижды откладывали стыковку «груши» и опорного кольца, пока не обнаружили наконец, что собаку, оказывается, пытались прикормить эти кроты-бетонщики, которые работали рядом, и умный пес, конечно, ничего у них не брал, но из любопытства все-таки прибегал... Правда, кто станет ручаться, что все так и было, разве мало найдется у монтажников других причин, тех самых, которые на стройке так любят называть объективными?

Иногда кто-нибудь из руководства, услышав, как разговаривают с собакой, спрашивал, откуда у нее такое странное имя, и тогда начальник монтажников Шумаченко поругивал Пароконного: что это, в самом деле, не могли придумать чего-нибудь поумней. Как только кто услышит, так расспросы!..

Иногда воспитательную работу в городке у монтажников пробовал провести Травушкин. Подзывал к себе собаку, давал ей сахар, поглаживал и, поглядывая на монтажников, громко говорил:

— За что же с тобой так, недостойно?.. Они, наверно, не думают, что, унижая бессловесное животное, тем самым унижают себя? Как ты думаешь, а?

Другой раз, поправляя очки, спрашивал Пароконного:

— А вам не кажется, Николай Петрович, что эта божья тварь тоже имеет право забыть кое-что из своего прошлого?

Пароконный, вообще-то, был любитель поговорить, но только в другой области. К тому же с куратором он пытался поддерживать мир, а потому лишь покачивал головой, делал вид, что тоже очень озабочен дурною кличкой своего любимца...

И вдруг собака пропала...

Люди добрые! Как тут переживали монтажники!..

Сперва решили, что пса куда-нибудь заманили из озорства, и несколько дней ребята оставались во вторую и

во всех направлениях прочесывали стройку, стучали в запертые тепляки, звали, прислушивались: а не скребется? А не скулит ли?

Добровольцы обошли поселок: может быть, думали, кто-нибудь отвез собаку сюда, а тут она пристала к бездомным своим сородичам, к тем самым, которых весною приваживают все кому не лень, потом обманом сажают на цепь на «мичуринском» своем участке, а осенью снова отпускают — зимуй, где хочешь...

Собаки не было и в поселке.

Самые прозорливые догадались: пес не давал чужим и близко подойти к складу в городке у монтажников, и кое-кому это, конечно, здорово не нравилось. Потому и увели. А теперь будут грабить...

И несколько ночей засада во главе с Пароконным не смыкала глаз около будок с кислородными баллонами да с инструментом.

Потом прошел слух: собаку украли затем, чтобы потребовать с Пароконного выкуп.

Надо сказать, что кое-какие основания для этого слуха, конечно, были... Перед тем как стать начальником участка, Пароконный достаточно походил в бригадирской шкуре, от плохого снабжения да от чужой нераспорядительности натерпелся достаточно, и то, что, если сам о себе не позаботишься, дядя за тебя волноваться не станет, усвоил накрепко. Характер у него был хозяйский, а нынешнее положение позволило создать на участке такие запасы, которые не снились многим не только в управлении, но и в тресте. Он был прекрасный семьянин, но по Авдеевской регулярно проносился слух, будто с женою Пароконный расходится: не выдержала, наконец, того, что дома он тоже устроил филиал склада... И верно, за самыми дефицитными штуковинами начальник участка не раз посылал машину к себе домой — потому, конечно, и сочиняли...

Однако тот факт, что будки у монтажников ломятся, не должен был воспитывать иждивенцев — в этом Пароконный был яростно убежден. Несамостоятельных он терпеть не мог, любимое присловье у него было: «Тебе за что деньги платят? Чтобы ты вопросы задавал? Или чтобы работал?» Бригадиров своих и мастеров школил Пароконный строго.

Придет к нему какой-нибудь вчерашний студент: так и так, Николай Петрович, надо мне сорок метров уголка...

Пароконный прищурится: «А хватит? А то проси сразу больше!»

Тот слышал, что начальник участка — жила, а тут на тебе — сам предлагает. Мастер, конечно, рад до смерти: «Ну, тогда пятьдесят, вот спасибо!»

А Пароконный: «Ну, бери бумажку, записывай... Значит так: знаешь, где склад у «Электромонтажа»? Так вот двадцать метров оттуда уведешь. Записал?.. Еще двадцать свистнешь у Стальколяски[1]. Остальные десять метров...»

А мастер: «Спасибо, Николай Петрович, мне, вообще-то, и сорок — за глаза!»

В общем, чего там греха, как говорится, таить, любителей «приделать ноги» какой-нибудь чужой вещи развелось благодаря этому у монтажников достаточно, и Пароконного теперь впервые в жизни начал мучить самоанализ...

Как расчетливый хозяин, он, конечно, заранее прикинул, что может отдать за собаку, и, когда охотников получить выкуп так и не обнаружилось, ускорить дело решил сам.

На самом видном месте — на дверях ближней от конверторного столовой появилось аккуратно отпечатанное на машинке объявление: «ПОТЕРЯЛАСЬ СОБАКА, ЧЕРНАЯ, С БЕЛЫМИ ПЯТНАМИ, КЛИЧКА АЛКАШ. НАШЕДШЕГО ОЖИДАЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ: КИСЛОРОДНЫХ БАЛЛОНОВ ЗАРЯЖЕННЫХ — 3, РЕЗАКОВ — 3, ШЛАНГА — 100 М. ОБРАЩАТЬСЯ В ГОРОДОК МЕТАЛЛУРГМОНТАЖА».

Буквально через несколько минут появился написанный карандашом вопрос: «А 0,5 будет?»

Но дальше этого дело не пошло.

— Ты, Николай Петрович, это вещественное доказательство убери, — сказал Пароконному начальник управления Шумаченко. — Вчера на партштабе, когда решали насчет первого места по участкам, наш редактор встает и давай: у нас, мол, одна интересная статейка лежит. Печатать мы ее, так уж и быть, не станем, но вопрос к механмонтажникам можно? А как зовут собаку, которая живет у них в городке? И почему?

На дверях столовой после этого появилось новое объявление: «ПОТЕРЯЛАСЬ СОБАКА, ЧЕРНАЯ, С БЕ-

---

[1] С т а л ь к о л я с к а — трест Сибстальконструкция. (Но вообще-то у них не очень-то и разживешься, сами с усами, как говорится.)

ЛЫМИ ПЯТНАМИ, ПО КЛИЧКЕ «А». НАШЕДШЕГО ОЖИДАЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ: КИСЛОРОДНЫХ БАЛЛОНОВ — 4, РЕЗАКОВ — 4, ШЛАНГА — 50 М. И 0,5 БУДЕТ, ОБРАЩАТЬСЯ, ЯСНО КУДА».

Но никто так и не обратился.

Пароконный ходил мрачнее тучи, даже с лица сдал. Когда его спрашивали о собаке, только вздыхал, а если Травушкин, бывало, ни с того ни с сего опять заводил свой разговор и о дурной кличке, и о человеческом достоинстве, и обо всем прочем, начальник участка сдерживался небось только потому, что тут уже вскоре пошла такая полоса — сдача актов, — и надо было, хоть волком вой, с куратором ладить.

И вдруг они задружили.

Прямо-таки не разольешь и водой.

Все о чем-то потихоньку говорят, шепчутся, оба неизвестно чему посмеиваются, и лица у обоих так и сияют. Потом Травушкин уйдет себе, а Пароконный весь день ходит счастливый. Раньше у него вроде бы никогда не было такой привычки: остановится вдруг, ладонью о ладонь громко хлопнет, быстро потрет и засмеется. Даже песенку какую-то игривую начал мурлыкать — кто от него когда такое слыхал?

Долго Травушкина нет, он спрашиват о нем, сам его ищет. Это не чудо ли — по куратору скучать, а ведь, и правда, было!

Встретятся, и давай опять о чем-то шептаться...

Вообще-то, они хорошо все подрассчитали, чего там.

Дело было как раз в пересменок, одни только подошли к будкам, а другие еще не успели уехать. А день стоял хороший, уже вполне весенний, и все толкались во дворе, покуривали, посматривали то на голубое небо, а то на яркое солнышко. Пароконный тоже был тут, как раз позвал к себе зачем-то Гришу Нехаева, держал около себя, а в это время как раз засигналила машина, открыли ворота, и въехал по самый верх заляпанный грязью управленческий «козлик», остановился посреди расступившейся толпы.

Сначала из него вылез Травушкин, поглядел по сторонам, открыл заднюю дверцу, и на землю спрыгнула черная с белыми пятнами собака, радостно завиляла хвостом...

Немудрено, что Гриша Нехаев первый ее увидал и заорал как оглашенный:

— Алкаш!..

И тут же Пароконный хватанул его пятернею за куртку и тряхнул так — казалось, будто приподнял и поставил.

— Н-но, ты!.. — проговорил вроде негромко, но таким тоном, что все разом притихли. — Ты нам тут биографию не рассказывай!.. А собаку Шарик завут. Усек?! Как, а ну, повтори?

Гриша торопливо обдергивал курточку, которая все топорщилась у него под горлом:

— Ш... ш...

— От так! — похвалил Пароконный. — И другим закажи!

И Гриша неловкою походкой пошел вбок, куда-то от толпы, где стояли двое или трое еще ничего не знавших, и уже там ударил себя в грудь, говоря, что несправедливо, а мало ли, может, человек, и правда, хотел рассказать всю жизнь с самого начала — что ж, выходит, некоторых слов и вообще теперь нельзя произносить?!

А начальник участка сидел на корточках, держал на ладони сахар, и пес не брал его, а словно игрался: на Пароконного глянет, потом лизнет и опять смотрит... а хвост!

Вокруг давка, и каждый старается не погладить, а хоть дотронуться. И каждый как будто учится говорить, все одно и то же:

— Шарик, Шаричек!...

— Ну, расскажи, Шарчонок, где ты пропадал?

— Ух, ты, такой Шарчонушко!

— А чего, думает, скоро там у мужиков прокрутка, надо домой подаваться, а то как бы без меня не пустили!

— Шарчунишка, эй!

— А чистый, братцы, он не в городе жил!

— Ша-а-рик!

11

Не знаю, доводилось вам когда-нибудь видеть, что такое настоящий разворот, приходилось ли бывать на такой стройке, как наша, в те самые дни, когда все здесь как бы достигло своего пика: и объем начатой повсюду работы, которой ой как далеко еще до конца, и горы обрудования кругом, и высота кранов, и путаница дорог, и обилие всякой техники, и число людей на объектах,

и выговоры в приказах, и крик на оперативках, и то, что на стройке называют склонением по всем падежам, и выработка, и все это общее напряженье, и великая неразбериха тоже, как и все здесь в это время, всеобщая...

Представьте себе густую сеть из железнодорожных путей, трубопроводов, эстакад, трактов, подстанций, и посреди всего этого обширного хозяйства возвышается гигантская, под девяносто метров, коробка, уже закрытая серебристыми из рифленого металла щитами. Внутри коробки вдоль ряда громадных, величиною с двухэтажный дом, бетонных блоков стоят четыре взятых в леса стальных «груши», на серой подушке из гравия лежат около них трехсоттонные кольца, и то, и другое облепили монтажники, а вокруг этих будущих конверторов на разных отметках что-то непрерывно грохает, дробно бьет, шипит, жужжит, рокочет, скрипит, скрежещет, то там, то здесь полыхают ослепительно-голубые отсветы электросварки, шарахаются от них безмолвные тени, длинными гроздьями летят огненные брызги, вслед за чем-то упавшим долго скачет вниз не затихающий перестук, и эхо усиливает его, бросает из конца в конец, и пока ты, увидав где-либо на четвертом, уже наглухо закрытом ярусе автокран, медленно соображаешь, каким же это чудом они его потом, сукины дети, отсюда снимут, тебя вдруг деловито заденет трос, который бесшумно тянется непонятно куда и неизвестно откуда...

Автокран — это ладно, если что, так тут и останется, можем подарить эксплуатации, долго ли, а непонятно другое: молодому академику из Сталегорска дали посчитать запас прочности на опорных кольцах, он посидел, сказал, что втулки на них не выдержат, заключение послали на Украину, старикам металлургам, и те ответили: держались «груши» на таких втулках и будут держаться, — а этот наш молодой да ранний хорошо, говорит, посмотрим. Что ж тут, интересно, хорошего?

Проектировщики все долдонят свое: цех будет уникальный, и куски окалины с разливочной площадки, как у японцев, убирать будет управляемый по радио бульдозер, а с завода-изготовителя телеграмма: придумайте другой вариант — бульдозер, дескать, есть, но радио к нему пока нету.

Электромонтажники утащили к себе на заготовочный стенд полтора километра экранированного кабеля, порезали на куски, думали пустить в дело, а он не подошел,

и они будто между прочим «Кипавтоматике» капнули: что ж это вы, дорогие люди, это не ваш там кабель у нас валяется? Уж будьте добры, заберите, если ваш, а то как-то не по-хозяйски выходит, непорядок! А «Кипавтоматике» этот кабель позарез нужен только целиком, паять нельзя, не положено, а достать новый, где ты его достанешь, по метрам расписан по стране на несколько лет вперед, ничего не поделаешь, придется смириться, что автозал работать не будет...

Главный инженер из «Сантехмонтажа» летал в Москву кандидатскую защищать, знай наших, молодец, защитился, свой теперь будет ученый, обратно прилетел, его спрашивают, где насосы, понимаешь, ну как сквозь землю, а тот удивляется: как?! Разве их так и не откопали, когда «Гидроспецстрой» их засыпал? Нет! Это номер, выходит, и действительно под землей, да только это бы полбеды, но «Фундаментстрой» уже постарался объем вырвать, уже площадку забетонировали, сдали, и акт есть, что ж теперь, будем эти полы ломать или дешевле достать новые насосы?

И еще тысяча проблем, и маленьких, и больших, а в общей сложности настолько запутанных, что в конце концов уже и не знаешь, что проще: или все-таки этот цех как-нибудь достраивать, или начать новый?

А потом будут и бессонные ночи, и споры до хрипоты, и чье-нибудь дерзкое, на свой страх и риск, решение, и сверхурочные, и аккорды, и лозунги, и «молнии» с чьими-то вчера еще мало кому известными фамилиями, и будет работа, работа, работа, работа, работа, работа.

И все каким-то чудом рассосется, развяжется, утрясется, уладится, как уже не раз случалось до этого.

А потом будет металл. И будет праздник. И будет минута, когда вдруг с удивлением оглянешься на дымы над заводом и вдруг подумаешь: ай да мы! А ведь это мы, братцы!

Когда ты тут чуть не с первой палатки, и чуть не каждого не только в лицо, но и по имени, и того же начальника «Металлургмонтажа» Шумаченко знаешь еще с тех времен, когда он слесарил в бригаде у Пароконного да только агитировал того поступать на заочное, а Всеславский тогда только что приехал с новеньким «поплавком», а Эдик Агафонов попал к нему уже после, когда проходил у нас практику, и все мы были тогда еще молодые, неженатые, и очень хотели горы своротить, и гордились, что выпало нам строить этот крупнейший, как

нам тогда говорили, в мире завод — самый современный, с самой передовой технологией...

И вот он уже стоит, этот гигантский завод, а мы все строим и строим дальше, и то, что раньше было теорией — в газетах когда-то писали, можно, мол, всю жизнь провести на этой стройке, — для некоторых уже становится реальностью.

Может, не очень понятно, что пытаюсь сказать, но, знаете, бывают такие моменты, когда тебе хочется все припомнить, чтобы кое в чем оправдать себя, а кое в чем поддержать — никуда ты от этого не денешься, у всех у нас бывают минуты грустных размышлений.

И еще я хочу сказать, что если этот наш завод вышел не совсем такой, как хотелось бы, что не все у нас было по-человечески, то не одни мы в этом виноваты — разве мы сами не хотели бы работать умом да ладом, да с умным планом, да с четким снабжением, а не так, как приходится — по-партизански, рывком, нахрапом?

Скажете: вот взялся. Больше не буду.

Просто я хотел сказать, что у нас на Авдеевской наступил тогда разворот, наступило то самое горячее время, когда пора принимать строгие решения...

На стройку приехали два замминистра — строительства и черной металлургии. Несколько дней разбирались с положением дел, а потом собрали совещение, на котором неизвестно кого было больше: то ли наших, авдеевских, а то ли начальства из Сталегорска да руководства из области.

Сперва короткий, но злой доклад сделал начальник комплекса, его дополнил генподрячик, а потом наступила эта предгрозовая тишина ответственных совещаний, которую на секунду разделил размеренный, почти гипнотический голос замминистра строительства:

— Кто, товарищи, выступит?

Видели бы вы последние наши рапорта на комплексе! Только и того, что начальники управлений да их главные не раскрашивали себе лица какой-нибудь военные действия обозначающей краскою — все остальное было... А здесь сидели тихо, никто в драку не лез, все пока ждали, как оно дальше пойдет да чем обернется.

Тут-то и поднял руку наш Травушкин.

Директор завода, сидевший в президиуме, явно поморщился, и разом поскучнели лица у управляющих трес-

тами. Замминистра наклонился к начальнику комплекса, и тот негромко сказал:

— Травушкин, куратор заказчика.

И тот плавно повел рукою, словно отделяя старика от остальных:

— Прошу вас, товарищ Травушкин.

За несколько дней перед этим та самая статья Травушкина, которую он сочинил лежа в больнице, появилась в нашей «Новостройке». Газетенка эта — под стать всей Авдеевской площадке — тоже, надо сказать, партизанская, еще с тех пор, как редактором в ней был тот самый Нестеров, который сидит теперь дома да книжки про нас пишет, нет-нет да и появлялось в ней что-либо такое — о мировых проблемах... Так и тут.

Статья называлась «Первооснова», и нетрудно догадаться, что речь в ней шла о труде, и размышления свои Травушкин начинал, надо полагать, со времен Киевской Руси и рассуждал, опять же, о татарском иге, о его пагубных последствиях, потому-то, мол, и пришлось крестьян в России закрепощать, чтобы заставить работать. Где-то между строчек было, что Травушкин и многое другое объясняет проблемами больше всего экономическими, и вообще он как-то так: великие, мол, беды были с нами и еще быть могут, если не научимся, наконец, работать как следует. И сейчас, мол, самая пора этим заняться: на ноги мы уже стали крепко, тут-то и можно позволить себе оглянуться на то, что и как нами сделано, и хорошенько, не торопясь, подумать, как жить дальше. Нынче это, мол, важно как никогда, если соперничество между Россией да Америкой переходит все больше на мирные рельсы, если все будет решать труд, и только труд... И дальше он все о трудовом воспитании, о том, что заниматься им надо уже с пеленок. Некоторые, говорит, молодые мамы собирают ребенка в ясли и приговаривают при этом: и Коленька, мол, наш тоже на работу! А подумала мама перед этим: нравится сынку в яслях? Хорошо ли? Если ребенок уже привык, идет с радостью, и ясли хорошие, тогда припевайте ему, говорит, это, насчет работы, пожалуйста. А если он, как часто бывает, с неохотою туда идет или с плачем, воздержитесь, мол, о работе упоминать, не надо, чтобы у ребенка при этом слове не возникали потом отрицательные эмоции. Наши, мол, младшие школьники на уроках труда клеят из картона всякие финтифлюшки, а потом уносят домой,

чтобы мама с папой полюбовались. А не привыкнут ли они так постепенно к тому, что плоды своего труда надо всегда нести домой. Не будут ли то же самое проделывать, когда вырастут да пойдут на завод?

Почему я это особенно хорошо насчет малышей запомнил, потому что подумал, когда прочитал: любопытно! Сам Травушкин живет бобылем, нет у него в Сталегорске ни детей и ни внуков, а вот обо всем-то, выходит, знает, значит, где-то услышал, обдумал, вник...

Все Авдеевские тоже, конечно, читали эту статью, а потому смотрели сейчас на старика с интересом: что он такое — на этот раз? Может, сядет на своего любимого конька? Начнет сейчас говорить, что, если бы все те усилия, которые мы тратим на спихотехнику, употребить бы по назначению, и стройка, и завод выиграли бы от этого бесконечно много... А может, зачитает какой-нибудь документ, который у него тут же потом попросят отдать в народный контроль? У Травушкина и до этого недолго.

А старый куратор пожевал сухими губами, поправил очки и тихим голосом начал:

— Несколько дней назад произошел случай, после которого я до сих пор не могу окончательно оправиться, — слегка склонив голову, словно к чему-то в самом себе прислушиваясь, и постоял так, и уловил то, что хотел услышать, и грустно сказал: — Да, так... У меня было два билета в театр, но накануне спектакля я понял, что не смогу пойти, так как вынужден буду задержаться на главном корпусе... Чего, казалось бы, проще? Постучал своим соседям, они молодые люди, да, между прочим, та самая, как мы теперь говорим, техническая интеллигенция... Хотите пойти в театр? Нет, спасибо. Хорошо. Постучал в другую дверь. Тоже нет. Тогда я постучал в третью. В четвертую! В пятую! — и Травушкин поднял, наконец, руку и задрал бородку. — Товарищи! Я обошел весь подъезд. Но найти желающих так и не смог!..

Он же был мастер начинать издалека, этот Травушкин, и в зале теперь тянули головы, ждали: куда повернет?

Замминистра оторвал взгляд от куратора и внимательно посмотрел на директора завода, но тот, видно, тоже еще не чувствовал подвоха и только успокоил кивком: это, мол, как всегда, для разгона...

Травушкин раскрыл пятерню с худущими пальцами и кинул ладонь вниз:

— И тут мне стало уже интересно! Подъезд за подъездом я обошел два дома, свой и соседний... Это были в основном молодые семьи, наше с вами будущее, товарищи! И каждый раз я спрашивал, почему они не хотят идти: может, кто-то поедет за город? Может, у кого-то другого более интересное мероприятие? Люди добрые! Ответ был один: нет, время есть, но в театр не хочется — что мне там?..

— Товарищ Травушкин, — негромко произнес замминистра, и в голосе его снова послышалась гипнотическая размеренность. — Вы отвлекаетесь.

Куратор обернулся охотно и даже как будто с виноватой растерянностью:

— Д-да, но я был так потрясен, что дал себе слово выступить на первом же ответственном совещании...

Голос у него был такой искренний, что глаза у заместителя министра вдруг потеплели, он мягко улыбнулся:

— Я понимаю, это очень важно — поддержать ваш терпящий убытки театр...

Травушкин словно почувствовал поддержку, откликнулся горячо:

— Да, но я совсем не об этом!

Председательствующий наклонил голову и слегка развел руками, давая понять, что знает, о чем это хочет Травушкин, да только, и верно, место ли?

Все взгляды были на Травушкина, и секретарь Сталегорского горкома Кадышев уже привстал со своего места...

По залу прошелестел шумок, и чей-то молодой нагловатый голос возник откуда-то из задних рядов:

— Тебе, Алексей Кириллыч, как, пропавшие-то билеты? Наличными или по перечислению?!

Куратор вскинулся, глядя в глубину зала, горько покачал головой:

— Ай-ай-ай!

— У вас все? Прошу, садитесь.

Травушкин, словно маятник, еще качнулся туда-сюда за трибуною и медленно пошел в зал. Все продолжая глядеть ему в спину, медленно сел на свое место Кадышев, глянул на своего шефа из обкома, полез в карман за платком.

— Кто должен выступить?!

Отморосил грибной дождичек — в зале опять остро запахло грозой...

Как и что было на совещании дальше, я вам не стану, непосредственно к рассказу это уже не относится, потому что главное, что повлияло потом на судьбу Травушкина, уже произошло, и так считаю не только я...

12

Весной для него начались трудные времена — полосою пошла сдача актов.

Умные люди к этому, конечно, давно готовились, они как? На объекте еще и конь не валялся, а он уже — к куратору: прими работу! Тот посмотрит да только пожмет плечами, а через неделю прораб опять: ну прими! И так и раз, и другой, и третий, и куратор все ходит, все указывает, что там надо доделать, а подрядчик лишь ухмыляется — к тому времени, когда по-хорошему приемка только должна бы начаться, куратора уже не будет, весь выдохнется. Какие там недоделки — его только на то и хватит, чтобы рукою пошевелить, акт подписать...

Травушкин-то, конечно, стреляный воробей, его на этом не очень поймаешь, но есть еще и десятки других способов морального, так сказать, воздействия на заказчика — какой-нибудь да сработает.

В управлении у Шумаченко, где перед этим пять месяцев подряд держали знамя и прямо-таки уже не представляли, как они с ним расстанутся, — там дело и вообще поставили на широкую ногу. На галереях, когда надо транспортеры сдавать, собирают внизу целую толпу, и все начинают за Травушкиным ухаживать. Всякие знаки внимания ему оказывают, развлекают светской беседой о бесспорном преимуществе опарыша над всеми остальными видами наживки, и весь этот хоровод ме-едленно подвигается наверх, куда медленней, чем по другую сторону транспортера, ползут на коленках те самые зеленые мальчишки, которые вчера еще стояли с амуницией на вытянутых руках, завороженно глядели на бравого, тоже начинавшего когда-то со слесарей, своего начальника.

Дело в том, что за спиною у Травушкина, там, где он все уже проверил, мастера на все руки уже успели бесшумно снять полтора десятка роликов, и пацаны наперегонки тащат их теперь на самый верх. К тому време-

ни, когда прибудет туда Травушкин со своим окружением, ролики эти надо без единого звука успеть поставить. И вот дежурят там опытные спецы, ролики эти ждут, как эстафету...

А если коварный Травушкин только вздохнет наверху, головою покачает и затопает вниз, тут, как на грех, по всей галерее погаснет свет — горе, и право, с этими электриками, не было еще случая, чтобы хоть что-нибудь они сделали по-человечески!

У Травушкина в кармане электрический фонарик? Вот удача! Что-что? Не горит? Батарейки сели? Действительно, не повезло. На днях только новые поставил? Известное дело, с ними ведь как: додержат на складе до последнего, а когда сроку вот-вот выйти — тут их тебе в продажу... Все в порядке со сроками? Значит, каким-то образом фонарик сам выключился, он же из кармана выпирал, нетрудно обо что-либо и задеть... бедный Травушкин!

Была у него одна привычка: ребята — заочники из монтажников да те, кто учится вечером, исписывают своими формулами не один стальной лист — так вот старик никогда не пройдет мимо, будь то металлическая стенка или круглый бок котла-компенсатора, всегда остановится напротив, поправит очки, достанет из кармана мелок... От начала и до конца внимательно проверит решение, поправит, если найдет, ошибку, а если все в порядке, то, довольный, размашисто напишет внизу по-латыни: «sic!».

Теперь уравнения писали для старика специально, обязательно в таком месте, чтобы непременно увидал, когда будет идти от редуктора к редуктору. Бились над ними теперь лучшие умы — и условия выбирали посложней, и решение нарочно запутывали. Бедный старик сначала правил, а потом уже только стоял и грустно смотрел на логарифмы, терпеливо ждал, пока за спиною у него масломерное стекло с одного редуктора на другой переставят...

Думали, что он, наконец, сдался.

Но тут-то все и произошло.

Накануне Агафонов в третий раз предъявил ему стыки на отметке семьдесят пять главного корпуса, и в третий раз Травушкин сказал, что замоноличено просто безобразно. А тянуть дальше было некуда, договорились, что Эдик тут же снимет бетонщиков откуда угодно, по-

правит брак во вторую, а наутро Травушкин, наконец, подпишет сдачу.

Вообще-то, конечно, для мировой революции не имело ровно никакого значения, как там и что на отметке семьдесят пять замоноличено, а потому Агафонов решил ограничиться тем, что в одном хитром месте приказал разобрать леса, а в другом слегка передвинуть мосток-времянку, и таким образом эти самые стыки оказались для Травушкина отрезанными почти настолько же, как, предположим, Джомолунгма или, по крайней мере, Килиманджаро.

Когда они наутро встретились, старый куратор спросил:

— Так в каком у нас состоянии...

— Стыки? — охотно откликнулся Эдик. И трудно вздохнул: — Вообще-то, Алексей Кириллыч, безобразие! Пользуются тем, что другой раз просто неудобным считаешь жаловаться...

— Вот как?..

— Пока мои бетонщики там сидели, эти экстремисты из теплоизоляции убрали свои леса.

— Действительно, безобразие!

— Я уж хотел было за телескопической вышкой, но потом обошлось — ребята все-таки молодые, так слезли...

— Да, — вздохнул и Травушкин, — мне, естественно, придется трудней.

— Алексей Кириллыч! — возмутился Эдик. — Неужели у вас есть хоть капля...

Травушкин, приставив к дужке палец, оправил очки:

— Давненько мы с вами, однако, на рыбалочке, а?.. У костерка полежать, на воду на текучую посмотреть... вы не мечтаете? Но потом об этом... потом! — и Травушкин руками развел: мол, ничего не попишешь!

Эдик все понял и только качнул головой. Сделал шаг в строну, привалился плечом к колонне, у которой они стояли, руки скрестил на груди...

А Травушкин по железной лестнице затопал вверх, скоро скрылся и появился только минут через пять: уже на высоте метров сорока, как раз в том проеме, куда смотрел Агафонов.

Видно было: куратор не может решить, как быть дальше — подался было к тельферной балке и отступил, сунулся вбок, вернулся, туда-сюда походил, на миг исчез и показался с доскою в обеих руках.

Эдик оттолкнулся от колонны, стал руки в боки.

Потом задрал голову, сделал шаг.

И еще шаг.

Около него остановился мастер с участка, тоже стал глядеть вверх, подошли ребята-монтажники, и эти задрали головы.

— Эт кто там шарашится?

— Или наш друг Травушкин полез?

— Чего его туда?

— Крикни, спроси...

— Еще сорвется, а ты — отвечать, как тогда в поселке, когда антенну ставили, а один взял да и крикнул.

— Заставь дурака, он и лоб пробьет. Так и этот куратор, где только его не носит.

— Раз надо.

Куратор стоял в самом начале балки, словно раздумывал.

— Неужель сунется?

— Травушкин?! Да у него уже полные штаны, ищет, где вытряхнуть...

— Еще в начале стройки. У Гриши Нехаева была фляжка с молоком, а наверху замерзла. А потом Травушкин пришел доклад сделать, и нас — в будку. Вот Гриша взял фляжку, да на печку на эту, на буржуйку, чтоб молоко растаяло. А сам заснул...

— Надо полагать.

— Молоко закипело, а потом фляжка кэ-эк даст! Как граната! Верите, у всех морды в молоке, а Травушкин хоть бы что, ни одной капли. Так быстро под стол нырнул, что и брызги не долетели.

— Может, человек — на фронте. Привычка.

— Хэх, ты куда — на фронте!

— А ведь полез!..

Держа доску на широко расставленных руках, Травушкин дошел до середины балки, постоял напротив люльки, которая на тросах свисала сверху, довольно ловко перекинул на нее мосток, быстро перешел.

— Вот, змей, а законно — монтажник!

— А он в конторе ошивается.

— Ну, все, кина не будет.

— Куда он дальше-то?

Теперь Травушкин полез по длинной и узкой стремянке, верхний конец которой упирался в край перекрытия.

— Пошли, не будет больше кина.

И вдруг люлька легонько качнулась вбок...

Первым все понял Эдик. Его как ветром сдуло. Рванулся к металлической лестнице, которая вела наверх, одолел ее в три прыжка.

А люлька качнулась еще, плавно поплыла вбок, и внизу увидали, как медленно, а потом все быстрей опускается соскользнувший с края перекрытия верхний конец стремянки, и вместе с ним, разбросав ноги, вниз головою летит Травушкин.

Хорошо, что нижний край лестницы в это время тоже соскользнул и попал под ограждение — Травушкина сильно тряхнуло, но он каким-то чудом удержался, висел теперь, обеими руками неловко держась за перекладину, и вдетая в люльку лестница продолжала плавно раскачиваться...

Опять думаю: что было бы, опоздай Эдик хоть на несколько секунд?.. И что стряслось бы с ними обоими, если бы остальные замешкались хоть чуть дольше?

Ясно, что раздумывать Эдику было некогда и, чтобы сократить путь, он поднял за собой одну стремянку и тем самым на некоторое время сбил с толку ребят, бросившихся следом. Но главное не в этом. Люлька была совсем рядом с балкой, казалось бы, ничего не стоило ее притянуть, но в том-то и дело, что конец лестницы тогда бы наверняка выскользнул из-под ограждения — и так непонятно, как это он выдержал, пока Агафонов полз к Травушкину.

Эдик просунул ноги под перекладину и слегка развел в стороны, а руками вцепился Травушкину в запястья, и так они и висели и слегка покачивались, пока сверху, наконец, монтажники не подвели под лестницу веревки — тогда уже можно было браться за люльку...

Но все это удалось не так скоро, толпа внизу собралась громадная, и, на грех, как раз в это время по цеху проходила длинная вереница начальства всех рангов — только закончился рапорт на комплексе, и генподрядчик теперь показывал, что к чему на главном корпусе, оправдывался, если так можно сказать, на местности. И все, конечно, тоже повернули сюда, и генподрядчику вдобавок ко всем тем работам, которые он уже завалил, пришлось брать на себя и эти, спасательные, и тут уже пошло на широкую ногу, все забегали, и в цехе скоро появились и две пожарные машины, которые всегда тут

как тут, если дело может спокойно обойтись и без пожарников, и две скорые...

И правда, ЧП тогда получилось громкое, и было в нем много нервов — представьте себе, в самом деле, что на ваших глазах с большой высоты вот-вот могут сорваться двое, и тогда их ничто не спасет, потому что угодить они должны прямиком на стальные конструкции...

А когда их сняли, наконец, когда все поняли, что порядок, в настроении у всех произошел перепад, а у руководства тем более. Тут и перед этим негромко переговаривались, мол, безобразие, конечно, что тросы на люльке оказались без растяжек, но еще хуже другое, что у строителей с заказчиком такие отношения. А теперь все только и рассуждали о том, что надо, конечно, разобраться, кто тут прав, и виновника наказать по всей строгости. Виданное ли дело — такие номера?!

В тот день на рапорте сидел секретарь обкома по промышленности Воронцов, и теперь, пока спасали Травушкина с Агафоновым, он тоже стоял внизу вместе со всеми, тоже переживал, а когда все закончилось, негромко сказал директору завода: что ж, мол? Этот ваш Травушкин всех уверяет, что народ не ходит в театр. Не потому ли он устроил тут цирк? Если все действительно так, как тут говорят, надо и впрямь хорошенько разобраться и раз и навсегда положить конец этому безобразию — такому стилю работы. Если, и верно, наверху ничего не сделано, по всей строгости привлечь прораба, вплоть до уголовной ответственности. А если там все в порядке, то остается решить: а на своем ли месте этот артист?

Он, вообще-то, совсем незлой, Воронцов, на Авдеевской частый гость, и все знают, что мужик деловой и все понимает, но, я вам говорю, надо было видеть, как они там, на верхотуре, болтались...

И директор завода, человек, мягко говоря, довольно вспыльчивый, обрушился на Травушкина, как только тот появился, поддерживаемый монтажниками, и речь его была примерно такой же, как у Воронцова по содержанию, но несколько громче...

— Требую в таком разе создать авторитетную комиссию, — одними губами произнес бледный, как полотно, Травушкин.

— Он еще требует — циркач!..

— Я не отвечаю на оскорбления, — опять еле слышно произнес Травушкин. — Но я требую.

Тут его окружили врачи, стали щупать, и старик тихонько ойкнул и поморщился. Решили, что у него сломана ключица, стали укладывать на носилки, а тут, наконец, спустился и Агафонов, и к нему бросились тоже. Один рукав у Эдика был в крови — оказывается, угодил предплечьем на острый конец штыря, и тот под тяжестью Травушкина тут же впился, и Эдику нельзя было рукою пошевелить, потому что штырь впивался еще глубже...

Тут все замолчали, глядя, как осторожно укладывают Травушкина. Агафонов от носилок, естественно, отказался, разговаривать ни с кем не стал, сам открыл дверцу «Волги», молча сел.

Куратора уже стали втаскивать в салон другой «Волги», но он все поднимал руку, просил, чтобы обождали, и все оглядывался, искал кого-то глазами, потом увидел, наконец, поманил ладошкой.

Из толпы выбрался парнишка из бригады Чумакова, куратор подался к нему, тот охотно потянулся к Травушкину ухом, и лицо у него стало внимательное.

А когда парнишка уже исчез в толпе, Травушкин снова приподнялся с носилок и поднял вверх указательный палец:

— Авторитетную комиссию!

— Создадим, создадим! — вспыхнул директор.

Толпа начала расступаться, и две белые «Волги» с синей полосой на боку одна за другой стали медленно выбираться из цеха...

13

Спросите, что было дальше?

Пока и действительно создавали комиссию, пока восстанавливали проход к стыкам, Толик-безотказный со своими ребятами поднялся к ним с другого конца и сделал все, как учили, — отличное качество работ было потом отмечено отдельным пунктом. И всем тут стало, конечно, ясно, что Агафонов рубаха-парень, который очень хотел все построить на взаимном доверии, а Травушкин — это выживший из ума старый дурак, разве можно с таким работать?

Решили, правда, пойти Травушкину навстречу, так и

быть, уволить по собственному, и он тут же куда-то уехал, и нет его на Авдеевской до сих пор.

Эдик сперва ничего не понял, потом хватился, поехал в заводоуправление, пошел к своему управляющему, в райком, и везде ему жали руку и говорили: это, конечно, похвально, что хочет он выручить старика, но ничего не поделаешь — и доброта, и уважение к старшим должны иметь разумный предел.

Тогда, наверху, кроме того, что поранил руку, Эдик растянул мышцы, но отошел быстро, недавно опять боролся и опять выиграл. Вроде бы ничего в нем не изменилось, только лицо другой раз становится странное, такое, словно он к чему-то в себе прислушивается, но сам пока не может понять, к чему же такому именно...

Как-то на днях подвозил он меня на своем «Москвиче» и около Космической затормозил.

На заднем сиденье устроилась Любка Маленкина, тут же посмотрелась в зеркальце над ветровым стеклом, встретилась взглядом с Эдиком и фыркнула так, как только она умеет фыркать, и усмехнулась, и выпрямилась.

Эдик слегка повел головой:

— Делаю заявку. Помочь с картошкой...

Она еще выше приподняла подбородок:

— Спасибо, уже не надо.

Он слегка улыбнулся:

— Хочешь сказать, текучесть кадров закончилась?

— Просто мы сами справимся.

— Это кто «мы»?

— Мы! — повторила она. — Чумаковы!

И голову ей уже некуда было приподнимать, мешала крыша.

Вот тут и стало у Эдика такое лицо. Всю остальную дорогу я боялся, что он куда-либо врежется, потому что вперед он смотрел меньше всего, а все куда-то в себя, даже слегка уронил голову.

Для меня тоже была новость. До этого слышал краем уха, что весною Любка сажала свою картошку с Толиком-безотказным, только и всего, а, выходит, вон какие дела.

Сложно тут, с Любкой... Она и сейчас в порядке. В воскресенье по поселку пройдет — за ней все головы, а тогда, лет восемь или девять назад, была еще красивей: и лицом девчонка вышла, и фигура что надо, и умом бог не обделил. Когда привезли на стройку эшелон

демобилизованных солдат, замуж она вышла одна из первых. Рассказывают, что пришел к ней однажды под балкон чуть ли не батальон в полном составе, и ребята сказали: так и так. Ссоры мы не хотим. Чтобы не было между нами обиды, выбери сама. И выбрала Любка, да только, видно, не того, кого надо бы, — на следующую зиму укатил ее муж искать себе другого счастья. А она, может, и не плакала, только выше голову подняла, да так и закаменела. Рос у нее мальчонка, и одевала его, и баловала, что называется: жила для него. И хоть говорили про нее всякое, никто, однако, толком не знал: ходит ли к ней кто? Не ходит?

Тогда только и видели ее с парнями, когда начиналась весною вся эта история с огородами... Кто-нибудь копал, и она бросала картошку, и отдыхали они рядком, и мирно закусывали себе где-нибудь посреди делянки... кто его знает! А может, это было бы скучно, если бы мы про всех все знали доподлинно?.. Может, хватит и того, что мы достаточно искусно умеем подозревать и слишком о многом догадываться?

И как тут скажешь, что нашла гордая Любка в тихом, как ясное лето, но до странного упрямом Толике Чумакове?..

Открыл же в нем талант начальник управления Всеславский, наверно, открыла свое и Любка.

Ей надо было в магазин, и Эдик остановил около «Березки». Любка уже взялась за ручку, когда он медленно обернулся и сказал не то чтобы грустно, но как-то так — то ли очень серьезно, а то ли строго:

— А я ведь не шутил.

Она снова выпрямилась:

— Хочешь, чтобы я сказала: «Эх, ты?!» И посмотрела на тебя долго-долго? Нет, мой миленький. Помнишь, говорил: я крепкий паренек, я подожду? Так вот ты крепкий, ты и так перебьешься.

И хлопнула дверцей.

— М-м-да, — только и сказал Эдик.

И еще долго сидел, ткнувшись в грудь подбородком. И мне не хотелось его трогать.

Говорят, бригадира Жупикова Петра в своем управлении он извел окончательно.

— Значит, говоришь, это вполне? — в который раз начинал Эдик. — Сначала поймалась маленькая рыбка, а на нее уже щука?

— Это щуке — раз плюнуть! — уверял бригадир Жупиков Петр. — Она и на пустой крючок может броситься, а тут — живец...

— Вот, на пустой говоришь... А этот, как его...

— Ельчишка? Елец.

— Он может на пустой крючок?

— Ну, нет. Тут дураков нету. Ему наживка нужна. Хоть малая какая. Хоть огрызочек...

— А так быть, предположим, не могло, что несло по воде червяка, он случайно за крючок и зацепился, а на него — сперва этот...

— Ельчишка?

— Да, елец! Может?

—Эдуард Сергеич! — кричал бригадир Жупиков Петр. — Ты кому рассказываешь?!

— Значит, не может?

— Голову наотрез!

— Думаешь, исключено?

И бригадир Жупиков Петр кричал:

— Чего тут, бляха-муха, думать? Было б об чем!

Сердился на Агафонова и грозил перейти в другое управление, где якобы недавно приобрели катер с новеньким «волговским» мотором.

А Эдик этих угроз не слышал, все продолжал смотреть куда-то в себя.

Кто его знает, может, шла в душе у него та самая «скрытая работа», о которой когда-то говорил ему Травушкин?..

Ну, что касается Эдика Агафонова, то он и действительно «крепкий паренек» и постепенно как-нибудь до всего дойдет и во всем разберется...

А что Алексей Кириллыч?

14

Как-то недавно в Сталегорске увидел я на толкучке одного старика.

Было ему, пожалуй, далеко за восемьдесят, годы уже согнули его, и стоял он так, будто хотел взяться за коленки, да, слегка не дотянувшись, замер, не пустили коротенькие и узкие рукава кургузого пиджачка, из которых выпирали крупные, перевитые набрякшими жилами пятерни с тяжелыми мослаками на иссохших запястьях. Седые его волосы спутались и чуть топорщи-

лись между широкими залысинами, такими же восковыми, как и лоб, и щеки, и так же как будто слегка припухшими, и длинные концы тронутых желтизною усов грустно свисали вниз...

Но это я рассмотрел уже после, а сперва в глаза мне бросилось другое. Старик находился как бы в центре просторного круга, а впереди него, позади, по бокам — всюду были разложены на земле и топоры, и топорики, и всякого вида рубанки, и еще какие-то полукруглые, с двумя ручками стальные ободки разного калибра — я не помнил, как они называются, только знал, что бондарный инструмент, — и штабельками лежали не до конца оструганные трости для кадушек, и клепки для днищ, железные обручи, и рядом стояла небольшая наковальня, а около нее веером раскинулся набор пробоев и молотков. Все ручки, деревянные части всех инструментов неярко отсвечивали тем особенным туском, который оставляют не полировка, не лак, а только время, да пот, да шершавые ладони, полуистершаяся сталь остро поблескивала, и все было хорошо пригнанное, крепкое, ловкое, как раз такое, когда ясно без слов, сколько этот инструмент уже послужил, сколько послужит еще, и, как доказательство того, что им можно сработать, стояла у ног старика красивая, словно игрушка, бадейка, ладная и крутобокая...

Почему он решил со всем этим расстаться? Или совсем ослабели руки? Или деньги срочно нужны? Или не хотел человек, чтобы после его смерти все, собранное им за долгую жизнь по малой малости, так же по капле и ушло, неведомо куда растеклось — потому и хочет отдать это богатство целиком... Только вот кому оно нужно?

Дымит вокруг Сталегорск, на каменные свои массивные дома осыпает пожелтевший от коксового газа тополиный пух, в центре города на стене Дворца металлургов посверкивает под солнцем выложенная разноцветной мозаикой карта мира с длинными стрелками по ней — к тем заморским краям, где предпочитают рельсы из Сталегорска, где прокат с советскою маркой покупают охотнее, чем с какою другой. Спецы наши и в Азии, и в Африке чего только не понастроили — вон как далеко ощущается тугой пульс рабочего Сталегорска... А где сварены фермы для Дворца съездов? Не на нашем ли заводе металлоконструкций? А откуда привез-

ли в Москву этот обелиск с ракетой, который теперь на каждой картинке? Да и про нас, если хорошенько припомнить... Дедушка! Милый! Кто ж тут теперь станет делать кадушки?

Если даже бочка когда кому и понадобится, с овощного склада выкатят тебе за трешник любую.

Стоял я напротив старика, смотрел то на него, а то на инструмент под ногами, и было мне тогда отчего-то очень грустно. Сколько бы мог рассказать этот бондарь о таинственных свойствах дерева, о хитрых секретах своего ремесла, о назначении каждой вещи, без которой когда-то не могли обойтись, уж если она на свет появилась!

Вы только посмотрите на старика, думал я, ведь у него такой вид, как будто он не с инструментом со своим расстается, но прощается с жизнью... Нет! Все бегут мимо, никто даже не оглянется, что ты тут будешь делать, нам это и действительно уже ни к чему.

Мне очень хотелось сказать старику что-нибудь такое, очень доброе, только я не знал что, а заговорить просто и без дела казалось кощунством.

Рядом со мною остановились двое молодых мужчин, тоже стали с любопытством рассматривать разложенный на земле инструмент. На них были почти одинаковые джинсы с широкими ремнями на низком поясе и эти рубашки со шнурками у горла, в руках у каждого — пухлый портфель, и я, как в таких случаях бывает, стал поглядывать на них не без некоторой ревности: я, мол, все здесь понял и все оценил, а вам-то что?

Один из них негромко сказал:

— А ты знаешь, почему у нашего Викеши так лихо выходит с суставами? У него отец — плотник. Да-да, и он ему в детстве помогал, вместе, говорит, ходили из деревни в деревню...

Я понял: хирурги!

И только тут увидал, какие у ребят хорошие лица и какие тугие, сильные от работы руки.

Мне вдруг что-то такое открылось... Нет, подумал я, ничто на свете бесследно не исчезает, а только переходит из одного в другое, ничто не пропадает, а лишь превращается, и ремесла, мастерства человеческого это, может быть, касается прежде всего — оно как бессмертное начало, как святой огонь, как дух! Какие-то такие у меня тогда были мысли...

И вспоминаю я об этом старом бондаре до сих пор, и размышления свои о нем почему-то связываю с Травушкиным. Он ведь бился, чтобы все кругом у нас делалось и хорошо, и красиво, и, независимо от назначения, тоже как бы с какою вечною мыслью.

Вот часто говорят: прошли мимо человека. То есть просмотрели его. Не поняли. Не попытались расспросить. Не удосужились выслушать.

Не так ли было и с Травушкиным? Работали почти рядом, а спроси меня: кто он? Откуда?

Говорят, отец Травушкина до революции был то ли известный адвокат, а то ли ученый, а в двадцатых годах поехал нашим послом или во Францию, или в Италию, и где-то там, в Париже или в Риме, Травушкин закончил университет, приехал в Россию, и здесь, в нашем Сталегорске, когда строили старый комбинат, был чуть-ли не главным консультантом. Затем он несколько лет работал на Севере не по специальности, а уже шла война, и он изобрел что-то для саперов, и вместе с ними на фронте опробовал, но попал в плен, был в концлагере, убежал, где-то партизанил — не то в Чехословакии, а не то в Бельгии, — а после войны опять попал на Север, там схоронил и жену свою, и детей, вернулся в Сталегорск, приехал на Авдеевскую еще тогда, когда все тут только начиналось...

Не могу утверждать, что все оно в точности так и было, это я потом уже расспрашивал наших, то одного, то другого, но если это и не совсем верно, все равно судьба у него была не простая, а жизнь не такая легкая, но вот не сник он, не согнулся, не отгородился от остальных: я, мол, сам по себе, а вы как хотите.

Не было на стройке человека более недоверчивого, чем Травушкин, а на тебе — деньги Толику-безотказному на талон предложил он сам... Выходит, святой человек, он еще верит, что каким-то чудом можно переделать Петра Свинухова-Инагрудского, что тот не позабудет обо всем тут же, как только усядется, наконец, за руль своего автомобиля... Надо ему это было: увозить собаку в дальнее таежное село к другу-охотнику, а повез! Или вся эта история с Эдиком?

Выходит, была у Травушкина какая-то своя идея, которой он следовал и неуклонно, и, как мне теперь кажется, страстно...

С вами тоже небось такое бывало? Живет рядом ста-

рый человек, не сват он вам и не брат, здравствуйте — до свидания — и все дела. Но вот он или куда-то уехал, или отправился в самый последний свой путь на земле, и тут-то вы вдруг чувствуете острое раскаяние: почему вы так и не успели посидеть с ним рядом и неторопливо поговорить?

Не знаю, отчего это, но я сам в себе замечаю странное любопытство к пожилым людям. Иногда мне так и хочется на улице подойти к совершенно незнакомому старику, чье лицо мне понравилось или показалось значительным, и так вот, вроде бы ни с того ни с сего спросить: хорошо, отец, вы долго жили и много видели, вы ответьте — что считаете самым главным из того, что вы в жизни поняли? Что узнали вы? До чего разуменьем своим дошли?..

Так что не думайте, будто все это я рассказывал здесь лишь потому, что прикидываю, конечно, как мне теперь на месте Травушкина работать... Нет, дело не только в этом, а в чем-то другом — более, так сказать, человеческом.

1974—1975

ПРАЗДНИК ВОЗВРАЩЕНИЯ ПТИЦ

1

Только теперь Таня поняла, как сильно она по дому соскучилась. В каждый уголок тянуло ее заглянуть, до всего дотронуться, и очень хотелось сделать какую-нибудь такую работу, какую справляла в доме раньше, когда жила тут девчонкою или потом приезжала в отпуск. Однако сестра выхватывала все, за что бы она ни взялась.

— Чего тебе, — смеялась, — не сидится? Ты мне лучше про себя да про всех твоих побольше расскажи, а сделать я и сама все переделаю!

Когда у нее не хватало рук, она и тут ничего не давала Тане, а звала дочек:

— Где мои помощницы? А ну-ка, пусть наша тетя Таня поглядит, на что вы у нас годные!

И Тане оставалось ждать, когда кто-либо из девочек, которые тоже прислушивались к разговору, зазевается или допустит оплошность.

— Они молодцы, — говорила сестра, вытирая о фартук крупные руки. — Скоро сама сяду и буду только покрикивать, а они и без меня — все. Сказано — девочки!

— Да у меня вон и парни! — улыбнулась Таня.

— Ну, у тебя, можно сказать, особый случай, — уверила сестра. — Тебе просто повезло.

— Позвоню из института, — стала Таня рассказывать. — Как, спрашиваю, Дима, дела? Ничего, говорит. С отцом только что разговаривал. Дал ему задание купить сметаны, а за тобой, мать, петрушка и две-три морковочки, я тут голубцами решил вас побаловать.

— Вот! — Сестра поглядывала то на желтый круг теста под каталкой, а то на Таню. — Говорю тебе — повезло!

— Да я что, я молчу.

— А помнишь, какой он был? Когда приезжала с ним поздней осенью — это сколько ему тогда? — Изображая маленького, сестра поджала губы и нарочно нахмурилась, отчего и в самом деле стала вдруг похожа на старшего Тани, на Димку. — Помнишь, смеялись? Считаю, говорит, до трех: пять, восемь, десять...

Обе девочки прыснули и разом посмотрели на Таню.

— Пошел в первый класс, так считать и не научился.

— Ну вот, а теперь весь дом на нем.

— Это когда мы первый раз еще всем нашим колхозом решили в горы пойти, отец ему: а ну, сынок, рассчитай хорошенько, что с собой взять да кому что перед походом купить. Один раз, другой... Вот он и привык. Собираюсь на днях, спешу утром, а он останавливает уже у двери: по-моему, мать, не мешало бы тебе новые сапоги справить?

Сестра опять глянула:

— Видишь!

— Да что ты, Клава, — главный экономист, да и все.

Таня рада была, что сестра так внимательно слушает о детях да о муже, опять стала про них рассказывать, и душа ее невольно наполнилась такой лаской, что она остро почувствовала вдруг, как по всем по своим соскучилась, хотя уехала из Краснодара только сегодня утром.

И то, что сидела она теперь в родном доме, где вокруг привычно жили теплые, знакомые сызмала запахи, и что старшая ее сестра раскатывала тесто на пампушки с калиновым вареньем, которые девчонкой Таня любила больше всех других лакомств, что полные руки Клавы мелькали, как когда-то очень давно мелькали они у мамы, — все это вернуло Таню в полузабытый мир детства, и снова ощущать себя в нем было и уютно, и чуть грустно. Тане захотелось вздохнуть, но она как будто раздумала:

— Да, а как моя Вера поживает?

В школе Вера была ее любимая подруга.

Клава остановила каталку, но рук с нее не сняла:

— Плохо!.. Не знаю, пожалится она тебе или, может, постесняется. Муж у нее опять...

Таня вздохнула-таки:

— Совсем алкоголик?

— Да как ты его узнаешь... вроде и нет. Труженик был каких поискать. А вот как попала шлея под хвост...

— Жалко Веру.

— А то не жалко? — живо откликнулась Клава. — В начале зимы как-то встала пораньше, решила стирку устроить. Золу на улицу вынесла, гляжу, идет, — на миг умолкла и посмотрела на девчонок. — А ну-ка, подруги, марш в другую комнату!

Девочки нехотя ушли, и голос у Клавы опять сделался, какой был:

— Идет Вера. В одной руке топор, а в другой или тряпка какая-то, или не поймешь что... Откуда в такую рань? А у ней, видно, накопилось, заплакала, бедная: Клавка, говорит, милая, стыдно кому сказать. С гулянки шел, в лужу упал, да и уснул. А ночью подморозило, одежда к земле и пристыла. Так он что? Пояс да пуговки на прорешке расстегнул, из штанов вылез, да в одних трусах домой прибежал, а я, говорит, ходила сейчас штаны со льда вырубать, а что, говорит, Клава, делать — совсем уже разорил!

Таня только повела головой, словно горько стыдя себя за невольную улыбку, а сестра приподняла пальцы и раз, и другой ловко катнула темной, еще маминою каталкой, но тут же остановила ее, будто не смогла-таки продолжать, спросила с вызовом:

— А что трижды делились да расходились — это как? Первый раз дом пополам, да он продал свою половину, хотел уезжать, а потом деньги пропил, вот и вся его поездка. Пожалела, сошлись... Немножко пожили, опять давай расходиться, опять делиться — теперь уже эти полдома. Да он свою долю опять в гадюшник отнес, а потом снова обратно — Вера добрая, примет. Живут теперь в одной комнате — ни своего угла, ни огорода, чужие люди кругом...

— А ведь Толик Кудельников так за ней ухаживал, — припомнила Таня.

Клава перебила:

— Еще одно горе.

— Был тут?

— Да сперва вроде приехал в отпуск, а потом так и остался. Где только не работал, везде повыгоняли, теперь в котельной, что при Дворце культуры. Да все пьянчужки там у него собираются — как клуб у них! А недавно один от водки помер, решили дружки схоронить по-человечески, чтоб честь по чести, с цветами да с оркестром, — а как? Сами все такие, что у каждого в

кармане — сквозняк. А тут как раз скончался Нестеренко, бывший председатель колхоза, пенсионер этот, что еще в коллективизацию тут — большая шишка. Ну, и ему, конечно, похороны райком — на всю станицу! А эти друзья придумали. Дождались, пока эта ж самая процессия мимо Дворца культуры пойдет, да со своим гробом выходят и пристраиваются. Хотели сразу за первой машиной, да заторопились, а сами еле на ногах стоят. Уронили гроб... Та-а-ня! Люди говорят, что там было! Да потом суд общественности, да сраму на всю станицу — вот тебе и твой Толик...

— А такой же был мальчишонок! — опять покачала головой Таня. — На скрипке играл.

— Все мы — были! — еще не остыв, громко сказала Клава. — А вот что от нас потом останется?..

Тане все хотелось выйти из дома, постоять в тишине под звездами, и теперь, когда сестра, задумавшись, смолкла, она накинула ее пуховый платок, стала натягивать вытертый, в котором еще мама управлялась, полушубок.

Клава улыбнулась, и лицо у нее опять подобрело:

—На «северный полюс»?

Когда они, девчонками, начинали кутаться, чтобы перед сном сходить на двор зимним вечером, так обычно подшучивала мама, и Таня, прижимавшая подбородком платок, искоса глянула на Клаву и тихонько рассмеялась, припомнив тоже:

— На «полюс»!..

Не оглядываясь на дом, по хрупающей ледком тропинке Таня прошла в глубь сада и замерла посреди черных, притихших на морозе деревьев. Глубокий и чистый снег под ними схватился коркою и поблескивал, и все вокруг было призрачно освещено исходившим от него неслышным сияньем.

Сквозь корявую путаницу голых ветвей раскаленными угольками краснели в просторных дворах соседские окна, но они казались очень далекими, а ближе были ярко сверкавшие меж четких на синем небосклоне верхушек такие крупные в здешних предгорьях созвездия, и ближе был наполненный вздрагивающим, рассыпающимся мерцаньем широко распахнутый окоем...

Сколько раз Таня стояла на этом месте, задрав голову и глядя в ночное небо — после забытых нынче детских обид, после школьных вечеров, которые тоже стали теперь забываться, после своей свадьбы и после маминой

смерти... В такие минуты она словно говорила что-то ночному небу и звездам, то благодарила их неизвестно за что, а то без единого слова жаловалась, и небо со звездами то успокаивало ее, утешало, подбадривало, а то обещало ей радость и обещало долгое счастье... Многое потом сбывалось, а многому не суждено было сбыться, но в этот краткий и сокровенный миг близости человеческой души к высокому небу мир вокруг всегда был так хрупко тревожен и так щемяще хорош, что Таню потом опять и опять манило вернуться в этот старый родительский сад, постоять под вечными звездами.

У людей беды, сказала она теперь всему, что вокруг, у людей горе, а у меня до сих пор все так было хорошо, да только долгого счастья все-таки нет на свете, нет — вот и я заболела, да ладно бы как иначе, а то ведь самое страшное — умом тронулась...

И, вглядываясь вверх, она спросила у неба, спросила у звезд: за что это ей в самый разгар ее счастья? Почему?

Уронила голову и в который раз грустно подумала о себе: а наверно, так оно и бывает, когда человеку слишком много захочется!..

После школы она приехала в Краснодар поступить на филфак, но не прошла по конкурсу. Возвращаться в станицу ей было совестно, подалась на стройку. Там и встретила Витю — в одной бригаде работали. Через год они поженились, а еще через два родился Димка, — забирать их из родильного дома Витя приехал с ключами от квартиры, только что в постройкоме получил, не успел еще ни чемодан занести, ни табуретки поставить. И первым делом они внесли в дом кроху, он спал себе в одеяльце, на газету положили его поближе к батарее, сами с друзьями на пол уселись рядом, а вещи, какие были, вечером потом привезли им на трейлере, устроили ребята из бригады; подошел к дому этот громадный, на который можно чуть не все общежитие взгромоздить, трейлер, а посреди платформы сиротливо стоят чемодан да рюкзак, узел со спецовками, две стопки книг, посылочный ящик с чашками-ложками, скатанный, шнуром перетянутый матрас да новенькая детская ванна...

Витя тогда уже сдавал за второй курс; решили, не бросит, и трудно им приходилось обоим, но то ли молодость брала свое, а может, любовь — все у них шло миром да ладом, все им удавалось, все у них спорилось.

Ясельки попались хорошие, и Димка почти не болел, у Вити к этому времени была уже своя бригада, сама она успела закончить курсы, перебралась на кран, и они опять работали вместе. Строили на окраине, в полях, и часто, когда она выключала двигатель и кран переставал жужжать, а только тихонько поскрипывал, слышно было, как высоко над головой тоненько, живым своим деревенским голоском вызванивал жаворонок... В памяти у Тани так и осталось это время — красные да белые, пригретые весенним солнцем пятиэтажные дома, шагнувшие в светло-зеленое поле, и этот звонкий, словно из станицы, из детства прилетавший к ней жаворонок.

Потом были другие дела и заботы — и рождение Глебушки, и новая большая квартира, и все эти Витины перемены — от мастера до главного инженера управления, в котором оба они, не попавшие в институт, в бригаде у каменщиков когда-то начинали с подсобников.

Чего ей, собственно, не хватало? На что, казалось бы, жаловаться?.. Да только временами в душу к Тане вдруг закрадывалась тоска по чему-то несбывшемуся, и тогда она то покупала в букинистическом отделе какую-нибудь старинную книгу, настоящую цену которой, чтобы не посчитали за дурочку, скрывала потом от подруг, то начинала рыться в тех книжках, которые у них были, неизвестно зачем что-то из них выписывала и ворошила старые записи — были они все больше о славянах, о древней Руси, о временах татарского ига.

С Димкой, когда был маленький, заниматься ей особенно не пришлось, не до того, зато второму сынишке Глебу, она перечитала все, что смогла найти, и вечерами он старательно пересказывал отцу былины и двух молоденьких воспитательниц в садике замучил вопросами о Соловье-разбойнике: «А почему его папу звали Адихмантий?.. А он тоже людей обижал? А были у Соловья-разбойника дети? А где они сейчас живут? Кем работают?..»

Была потом новогодняя ночь, когда за окнами в незатухающее небо безмолвно взлетали разноцветные ракеты, гремели с балконов беспрерывно холостые выстрелы из охотничьих ружей... Они вчетвером сидели за столом около елки, и Витя сказал, что слово для тоста имеет второклассник Толченов Глеб, а тот вытянул руку, в которой был фужер с пепси-колой, и громко, словно стих какой, отчеканил: «За то, чтобы в этом году наша мама поступила в университет!»

Она поглядела на Витю, внимательно посмотрела на старшего, на Димку, и по их лицам, нарочито торжественным и прямо-таки вызывающе значительным, поняла, что отступить ей, даже если бы очень захотелось, они не дадут.

На следующий день — чтобы так было потом весь год — она урвала часок, уселась позаниматься, и уж когда-когда, а на этот раз примета оправдала себя с лихвой: сколько ей, и верно, пришлось потом просидеть над книжками!

Экзамены, несмотря на страхи, сдала она хорошо, ее зачислили... Тут-то и началось.

Зная свой характер, она пыталась заранее внушить себе, что не станет напрягаться, что в ученье будет вполне довольна серединкой-наполовинку, и тут уж ничего не поделаешь — куда ей до нынешних всезнаек? Однако переломить себя так и не смогла: как же, думала, так? Димка там варит за меня борщи, стирает и гладит, Глебка бегает в магазин и возится с пылесосом, а я тут буду тянуться на троечки — зачем тогда было поступать?

И скоро она совсем позабыла об этих благоразумных ограничениях и так втянулась, что временами, оглядываясь назад, вдруг спохватывалась: а если бы она так и не решилась пойти учиться — как бы жила?

В ней словно проснулась наконец так долго ожидавшая своего часа жажда постоянного общения с книгами, и жажда эта настолько поглотила Таню, что недавние ее сомнения, как она, тридцатипятилетняя женщина, будет выглядеть рядом с лохматыми мальчишками и девчонками в джинсах, тоже были забыты напрочь. Она заметно похудела, но так и не собралась перешить свои платья, было некогда, и, когда за вечную ее серьезность и вечное опекунство, вся эта годившаяся ей в сыновья и дочки, то и дело теперь сшибавшая трешник до стипендии ребятня стала называть ее бабой Таней, она не огорчилась, а приняла как должное — а что же, мол? Так и есть!

Все шло хорошо, лучше не надо, но тут и появилась у Тани причина для волнений, странная, на самом деле, причина!

Она любила лекции по фольклору, сидела на них, забыв обо всем на свете, ловила каждое слово и радовалась, что многое из того, о чем слышала теперь, она до этого уже знала.

Фольклор читала Елизавета Всеволодовна Милослав-

ская, древняя, но еще крепкая старуха. Про нее говорили, будто в молодости, еще до революции, начинала она артисткою, но на одном из первых своих спектаклей жестоко провалилась, и с ней было нервное потрясение, после которого она так и осталась с чудинкою, — отсюда и нарочито старомодная ее одежда, и манера держаться и говорить. Лекции ее были похожи на декламацию, во время которой она то приподнимала подбородок и возводила руки, а то роняла голову на грудь и долго молчала. В начале курса лохматые эти мальчишки и девчонки в джинсах почти откровенно хихикали и проводили потом в аудиторию своих дружков и подружек с других факультетов — посмотреть на старуху, как на диковинку.

Тане в те первые дни тоже было и немного смешно, и от этого неловко, и было стыдно за однокурсников, обидно за Милославскую и боязно за нее, — Таня просто не представляла себе, как можно будет целый год высидеть, когда ежеминутно волнуешься так, словно и в самом деле присутствуешь на представлении и чувствуешь, что актриса вот-вот сорвется...

Однажды Милославской передали по рядам записку, и сперва она только развернула ее, не глядя разгладила на крышке кафедры и тут же о ней словно забыла, и лишь потом, когда закончила тему, плавным жестом приподняла крошечный клочок бумажки и громко, чуть насмешливо прочитала: «Елизавета Всеволодовна! Это правда, что вы — дворянка?»

Она опустила записку на кафедру, сложила пальцы замком, поднесла их к горлу, а потом повернулась боком и медленно пошла по краю невысокой эстрады. У противоположной стенки выпрямилась, подняла голову, тихо, будто что-то прочитала наверху, улыбнулась, и тут же моложавое лицо ее опять сделалось строгим и значительным, она, не торопясь, так же неслышно пошла обратно, постояла теперь у кафедры и только потом разомкнула руки и развела их приподнятыми ладонями в стороны.

— Полагаю, — громко сказала, как всегда нараспев, и сделала паузу, — что история... моего происхождения... не имеет большого... как теперь принято говорить, общественно-политического... значения. — Она сомкнула пальцы и тут же разомкнула, оставив руки недалеко одну от другой. — Однако... надеясь на то, что ваш интерес вызван не праздным любопытством... но размышлениями, — руки у нее напряглись, словно что-то приподнимая,

и дрогнул одновременно голос, — о судьбах родины!.. о судьбах соотечественников!.. я хочу напомнить вам о старинном присловье, которое гласит: На Руси дворянин... кто за многих — один! — Помолчала, как будто давая им время вникнуть в смысл поговорки, потом вскинула руку, и помолодевший ее голос пронзила звенящая нотка: — В этом высоком смысле... горячо желаю вам всем... стать... русскими дворянами!

И, когда тонкая ее, со вскинутыми пальцами ладонь еще была приподнята, властно повела другою рукой, утишая вспыхнувшие в маленьком зале хлопки...

К Елизавете Всеволодовне все вдруг привыкли, на лекциях ее была тишина, и у Тани после них оставалось такое ощущение, словно сама она, прикоснувшись к чему-то торжественному, одновременно и радостному и горькому, с каждым днем становится и благородней, и будто умней.

Однажды Елизавета Всеволодовна стала рассказывать о граде Китеже, и Таня опять слушала ее так, словно эта легенда была очень хорошо известна ей со всеми подробностями и раньше, и тут она вдруг впервые спросила себя: откуда она все знает?

Помнила твердо, что ничего об этом никогда не читала, а только лишь мельком слышала, но память ее никак не могла успокоиться, и несколько дней потом Таня все возвращалась к чему-то смутному, что шевельнуло ей душу, все пыталась в него вглядеться.

Ей в те дни было некогда, но она отложила домашние дела, пошла в библиотеку. Долго рылась в каталоге, перебрала гору книжек, но о граде Китеже упоминалось лишь кое-где, и то вскользь. Единственный сборник нашла она по спискам литературы в конце книг, заказала его по межбиблиотечному абонементу и все ждала потом и волновалась, что никак не приходит.

Все это время легенда не выходила у Тани из головы, нетерпение ее, казалось, достигло предела, и, когда она раскрыла наконец тоненькую, в твердой обложке «Повесть и взыскание о граде сокровенном Китеже», все, что было вокруг, отступило от нее, разом смолкло, остался только гордый и печальный строй древней речи, за которым слышался и глухой стук рубивших красные терема плотницких топоров, и тоненький звон колоколов над златоглавыми храмами, и веселый шум торжища, а потом вдруг и ржанье чужих коней, и крики однолико

жестокого воинства, и прервавшая беспощадный бег событий тишина неожиданного чуда.

Замирая вдруг посреди лекции на факультете или отключаясь от суеты бесконечных домашних дел, Таня потом шептала вслух или произносила про себя: «И с того времени невидим бысть град той и монастырь».

Может быть, в ней проснулась память ее далеких предков, может быть, случилось еще что-нибудь столь же таинственное, но Таня теперь была до ощутимого стука сердца, до тихих беспричинных слез убеждена, что история древнего города, укрывшегося от врагов под толщей ключевой воды на песчаном дне Светлояр-озера, каким-то странным образом тесно переплетена с ее, Таниной, жизнью...

На экзамене ей достался билет, в котором первым вопросом были предания о борьбе с внешними врагами в двенадцатом — четырнадцатом веках, и она не стала готовиться, села отвечать сразу. В первые мгновенья себя не помнила, голос у нее то вздрагивал, а то поникал совсем, но Елизавета Всеволодовна протянула свою худую, однако теплую ладонь, положила ее Тане на запястье, и под взглядом ее, и ласковым, и ждущим, Таня успокоилась, и в душе у нее возникла светлая и высокая ясность.

Когда она закончила отвечать, старуха помолчала, потом медленно приподняла руку и тихим, набирающим силу голосом, с паузами, как всегда, произнесла:

— Попущением божиим... грех ради наших... прииде на Русь воевати... нечестивый и безбожный... царь Батый!

Придвинула Танину зачетку, не спрашивая дальше, крупно вывела «отл.», и тут Таня уронила голову на руки и беззвучно заплакала...

На следующий день она осталась дома, и рано утром пришла к ней подруга с курса, Танина ровесница Элеонора, такая же, как и сама она, запоздалая студентка. Детей она не имела и, несмотря на годы, была словно картинка, только к зимней сессии чуток пополнела, — говорила, потому, что перестала бегать по магазинам.

Молча поцеловала Таню у порога, не глядя, накинула на крючок французскую шубку, швырнула на полку норковую, с широкими, как у мушкетера, полями шляпу, рывком распустила «молнии» и перламутровые сапоги один за другим стряхнула небрежно, словно не оставляла их тут, под вешалкой, а просто выбрасывала. Только

потом заговорила громко, будто сдерживаться до сих пор стоило ей большого труда:

— Танька! Да успокойся ты, все у тебя с головой в порядке. Спрашивала я у своего. Знаешь, что он сказал? Что был случай, когда один деятель... ну, в смысле простой мужик... человек просто. Упал с коня — и что б ты подумала? Вдруг по-гречески закалякал, представляешь? Оказывается, в роду у него черт-те когда еще были греки, и как-то где-то в башке отложилось, а когда его хорошенько тряхнуло... Слушай! С крана со своего ты не падала?

— Интересно, что бы тогда от меня осталось? — невольно улыбнулась Таня.

— Н-ну, я понимаю... не с этого, как его... Не с самого верха, одним словом, а так? — Плюхнулась рядом с Таней на диван, обняла ее, наклонила голову, соломенные свои локоны рассыпала на Танином плече. — А вообще скажу тебе честно. Мой очки приподнял и рассуждает, а я ему про себя: мол, говори-говори! Сотрясай воздух. А я-то знаю наверняка, что Танька чокнутая! Это же надо догадаться — в такие годы попереться на этот идиотский факультет! Зачем?.. Да это сейчас тебе, считай, повезло, учиться бросишь к чертям собачьим, и все дела... Мне бы только что-нибудь про себя померещилось, я б ему устроила веселую жизнь! Что, сказала бы? Если ответственный работник, с женою можно и совсем не считаться? Ну, ладно, в университет без очереди устроил, а все эти талмуды читать? Здоровье гробить — и только из-за того, чтоб можно было, видишь ли, с дружками его культурно пообщаться. Сам с ними и толкуй! А чтобы с их женами язык найти, это надо не на филфаке учиться, а на промтоварной базе работать! И закатила серые, с плотными голубыми тенями на веках глаза. — Какое сейчас место на базе есть, Та-а-нь-ка-а!

Витя, когда вернулся из командировки и выслушал Таню, сказал ей мягко:

— Устала ты у нас, мать, вот и все. Такой темп взяла, ты что, шутишь? Нервишки твои и сдали. Все от них! А давай-ка мы знаешь что? Достанем путевку и отправим тебя, мать, в санаторий, как следует отдохнешь...

Тогда она и спросила: а может, лучше съездить в станицу? Вон сколько она дома не была, Клава давно зовет...

— А что? — Витя по привычке склонил голову набок и посмотрел искоса. — Тоже вариант.

Кое-как сдала остальные экзамены и в первый же день каникул села в автобус до Отрадной...

Когда Таня вернулась в дом и снова села около стола, Клава бросила на нее короткий взгляд.

— Ты чего это, сестра? Или плакала?

Она попробовала улыбнуться как можно беззаботней:

— Немножечко.

Клава с шумом втянула воздух — «ужахнулась»:

— Та-ня!.. Да неужели уже и Витя?

— Что?

— Да водку начал пить?

— Да нет, что ты!

И Клава, уже поднявшая было руки над столом, с таким же шумом выдохнула:

— Ну, слава богу! Лишь бы, сестра, не это. Уж лучше пусть дом сгорит, пусть дети сразу разбегутся...

— Ты, Клава, скажешь!

— Да, а то нет? Это потому, что не знаешь, какое у нас житье, у баб у этих, что мужики пьют! — И до шепота понизила голос: — Моего возьми. Салом да колбасой домашней набил вчера чемодан, канистру самогонки в машину поставил — рады-ый! Ну, как дите. За запчастями поехал в Армавир. Дней пять там с дружками не будет просыхать, ладно. Дак ты ж потом вернешься, хоть недельку отдыха и себе дай, и семье, если у тебя сердце, а не камень... Даст, думаешь?

Жалея сестру, Таня покачала головой, и Клава выпрямилась, приподняла было руку, но потом только слабо шевельнула пальцами:

— Чего ж теперь? Это мое, никто со мной не разделит. Ты-то чего такая сумная?

Танины горести вдруг показались ей совсем малыми, проговорила виновато:

— Приболела я, сестра.

— Ну? И что признают?

— Да ничего еще... К врачам пока не иду.

— А так — что? — допытывалась Клава. — Что болит? Не по-женски?

—Да нет, нет.

— Ну, и слава богу.

— Ты понимаешь, Клава, — Таня подыскивала слова. — Заучилась, наверно...

— Болит? Голова.

— Да болеть-то не болит, а что-то... такое со мной

творится... Ты старше, ты больше знаешь. Не было, скажи, в нашем роду? Таких, понимаешь... С заскоками, что ли? Ну, со странностями?

Клава перестала резать тесто:

— Это с какими ж?

— Вот изучаем мы фольклор. Народное творчество — песни, сказки. На лекции сижу, слушаю. Есть у нас удивительная старуха — это посмотреть надо, не расскажешь. И одевается, как в прошлом веке. И говорит... Ах, Клава, как хорошо она говорит! Руку вот так поднимет: «Что в поле за пыль пылит?.. Что за пыль пылит, столбом валит? Злы татаровья полон делят...» Н-ну, вот. Там дальше: «А как зятю теща доставалася, он заставил ее три дела делать: а первое дело — гусей пасти. А второе дело — бел кудель прясти. А третье дело — дитя качать...» Вот. Она все это говорит, а я, понимаешь, я заранее угадываю, что она скажет. Только она строку закончит, я про себя тут же следующую вспоминаю, а у самой бьется: так — не так?.. И она как будто повторяет за мной — точно так! А у меня сердце вот-вот, бедное, выскочит, до того волнуюсь: откуда все это знаю?.. Ну, откуда?

И так же запросто, как перед этим про женское, Клава спросила:

— Дальше-то в песне что? Про батюшку-матушку?

Таня сказала медленно:

— Ты по батюшке — злой татарчонок. А по матушке...

— Ну, ну, — обрадовалась Клава. — Внук он ей? Или кто?

— А по матушке — родной внучонок...

— Я и говорю: внук!

— Кланечка! — взмолилась Таня. — Ничего не понимаю — ты-то откуда знаешь?

— Интересное дело! — Клава с вызовом приподняла слегка припудренный мукой смуглый подбородок. — Вся улица, значит, может знать, а я — не могу?

— Да при чем тут улица, Клань?

Все это время сестра продолжала нарезать тесто для пампушек, говорила так же бойко, как и работала, а тут положила нож, отряхнула ладони и стала перед Танею руки в боки.

— Э-э, девка! Да ты, видать, все забыла?

Таня чуть не плакала:

— Что, Кланечка? Ну что?

— Да все! — отрубила Клава. — Все забыла. Как у нас во время войны беженка жила. Тетя Дара. Как она тебе без конца стихи да сказки эти рассказывала.

Тане вдруг тонким ознобом ожгло затылок:

— Постой-ка!

— А я что? — засмеялась Клава. — Я стою!

Конечно, Таня помнила тетю Дару, вернее, не ее самую, а больше, пожалуй, рассказы о ней, — стоило сестре произнести знакомое имя, как от еле различимого круженья неслышных дней детства тут же отделился медленный мамин голос, жалостливый и горький: «Бедная Дара, страдалица несчастная...»

Нынче вслед за этим, ставшим давно привычным воспоминанием вдруг промелькнуло летучее виденье: зыбкая тьма вокруг... крошечный огонек во тьме... шевеленье бесплотных теней.

— Свеча! — вырвалось у Тани. — Горела свечка!

— Свечек не было, — отрезала Клава. — Каганец.

— Каганец, да! Еле-еле горел.

Клава сложила на груди полные руки, локтями оперлась о край стола, глядела на Таню, посмеиваясь:

— Только из-за тебя, сестра, и зажигали... Мама начнет было ругаться: это черт-те что! Дышать ей, что ли, темно? Масло собирали по капельке. От себя отрывали... А тетя Дара заступалась всегда. Возьмет тебя на руки, пригорнет, подбородок на головку положит и давай тихонько рассказывать. Рассказывает, а сама покачивается, тебя баюкает. Ты уже уснешь давно, а мы забудем и каганец потушить, сидим, слушаем...

— И ты хорошо все помнишь?

— Да мне ведь уже девятый шел. Это ты совсем малявка тогда.

— А она много знала?

— Ну, а как же, если была ученая.

— Тетя Дара? — изумилась Таня.

А для Клавы все ясно, как божьим днем:

— Ну, а кто ж? Тетя Дара. Как раз по этим сказкам да прибауткам.

— Господи! — Таня кончиками пальцев сдавила виски. — Почему же я ничего на знала? Вот — что страдалица, что родные погибли...

— Говорю, малявка... А может, потому, что после сильно болела... Как ты, Танюша, болела, ох! По неделям была без памяти, думали — все. Это, спасибо, бабуш-

ка Михниха тебя выходила, а доктора уже махнули рукой. Да что доктора — дедушка наш уже и доски тебе на гроб вытесал. Помню, согнется над рубанком и плачет, аж плечи трусятся...

Клава все сидела, скрестив руки и навалившись на стол, с лица ее сошла обычная решительность, крупные черты сделались мягче и будто тоньше, большие, чуть темнее орехового цвета глаза смотрели участливо и грустно, — Клава была сейчас вылитая мать. С недавних пор Таня и в себе стала замечать много материнского — какой-нибудь знакомый жест, особенный наклон головы или взгляд с долгим прищуром , — но сейчас она вдруг поняла, насколько больше похожа на мать Клава и насколько она, Таня, пока и моложе ее и, наверное, беспомощней.

— А я как пошла учиться, дуреха старая, так и началось мученье, — сказала она, пожалуй, излишне весело: ей радостно было ощущать освобожденье от страхов и хотелось избавиться от них окончательно. — Представляешь? Постоянно чувствую, должна что-то вспомнить, и никак не могу... А то, что это из детства, я знала. Уж чего только не перебрала за последнее время, чего только не вытрясла... Приснилось недавно, ночью чеснок ем. Просыпаюсь, веришь, — губы горчит. Ударило вдруг: а ведь было такое. Ну, ведь было!

— Это в сорок шестом, ты тогда уже большенькая стала, — уверенно объяснила Клава. — Голод, в хате шаром покати, один чеснок уродился — от такой, головка чуть не с кулак. А много ты его съешь, если не с чем? Горький-прегорький! Зубков наломаем — и в карман. Как чуть перестало печь во рту, ошелушишь да кинешь. Вместо конфет. А на ночь из карманов под подушку выкладывали, а как же. Проснешься среди ночи, сосет под ложечкой — рукой под подушку...

— Ты как бабка-угадка, — радовалась Таня. — Добрая волшебница!

Глаза у Клавы — все ласковей.

— А раз я и правда — старше?

Таня торопилась:

— Или вот еще выплыло: будто я лежу среди кур. Вот я, а вот они рядом и не убегают, ничего...

— Ну, куры всегда у нас были, ты же знаешь, только вот в голод...

— Нет-нет! — перебила Таня. — Какие-то особенные куры... очень большие. Как индюшки. Даже больше.

— А может, это когда мы с тобой под бузиною от самолета от немецкого прятались? Как раз наши отступали, а он прилетел. Над станицей кругами носится и — из пулемета. А мама нам приказывала, надо сразу под кровать. Тогда, если бомба рядом упадет и хата завалится, под сеткой все равно живой будешь. Ее как раз дома не было, я — за няньку. Она сказала, из хаты не выпускать, а мы вышли. Когда он налетел, крикнула, и все трое бегом прятаться, а ты в ботве запуталась и упала. Что ты будешь делать!.. Я Зину затолкала под кровать, сама вся дрожу, а надо за тобой бежать, — выходит, растерялась, бросила сестричку! Только добежала, только тебя схватила, а тут — он, ну, вот летит прямо на нас! Около плетня был куст бузины, его потом срубили, а под ним куры повыгребали, они там в земле купались, от солнца в тенечке прятались. Вот мы с тобой упали в эти ямки под бузиной, а рядом куры, тоже в ямках, лежат, прижукли...

Обе девочки давно уже сидели по бокам от Клавы, одинаково обхватив ее за полные руки. Слегка отстраняясь, снизу заглядывали ей в лицо, слушали, снова прижимались тесней, с любопытством посматривали на Таню.

Мерно тикали на стене старые, еще мамины ходики с гирьками в виде еловых шишек, протяжно сипел отставленный на край плиты зеленый эмалированный чайник, в открытой настежь черной духовке щелчками потрескивала окалина, и от всех этих с детства знакомых звуков Тане было хорошо и покойно и хотелось, чтобы сокровенные минуты у родни в теплом доме длились как можно дольше.

И вдруг среди тихого блаженства возвращения души в далекие времена, которые казались теперь лишь страшною сказкой со счастливым концом, ее кольнула острая вина, Таня как будто опомнилась:

— Клава, да!.. Расскажи про тетю Дару.

Клава вздохнула и пригорюнилась:

— Ну, что про тетю Дару? Привез ее дедушка. Он тогда уже старенький, но еще бодрился, от молодых чабанов не отставал. А горы он хорошо знал, всю жизнь по горам. Наши уходили, ему было задание — угнать коней в горы. Он погнал. Сдал там их кому-то, а сам обратно. Бумагу за отца мы тогда уже получили, уже отплакали, его ж еще в сорок первом убили. Остался

кормилец — дедушка. Вот и спешил домой... Со своим закадычным дружком, с дедом Лаврушей, верхи ехали, а перед этим немцы перевал разбомбили, народу погибло, говорит, ужас сколько. А чем поможешь? Погоревали да и дальше. Ехали без дороги, как поскорей, и где-то, говорит, совсем в диком месте догнали молодую женщину. Идет куда глаза глядят, а на руках девочка мертвая, годочка, говорит, два или три. Осколком убило...

Таня провела рукою по лбу и под ладонью на миг зажмурилась.

— Посоветовались они с Лаврушей — ну, что делать?.. Выкопали кинжалами могилку, кое-как оторвали девочку, схоронили, а женщину дедушка силком к себе на лошадь, да так напеременку до станицы и довезли. Только подъехали к нашему двору, а тут немцы — вот они... Так у нас и осталась. Сказали полицаю, родня, а чтобы на работу не гонял, дедушка ему барана отвел... Она тогда слабая, в чем душа. Руками коленки обожмет и сидит на постели, в стенку смотрит. Только через неделю добились как звать да откуда...

Клава, словно что-то припоминая, замолчала, и Таня сперва откашлялась, попробовала горло, потом тихонько спросила:

— Из Ленинграда?

— Ленинградка, да. Крылова Дарья Дмитриевна. Она себя называла Даша, это уже дедушка с мамой ее по-нашему: Дара.

— А потом?

— Позвали бабушку Михниху. Она и хлеб заговаривала, и на воду шептала, и в курник под насест теть Дару ночью водила, чтобы бессонница прошла...

Обе девочки, снова слегка отстранившись, одинаково посмотрели на Клаву, спросили разом:

— Прошла?

— Начала она спать, кушать помаленьку, а потом и потихоньку вставать, по хате ходить... Когда наши пришли, совсем было ожила, давай куда-то письма писать, разузнавать про мужа... А у мамы как чуяла душа! Встретила почтальона. «Дядя Коля! — говорит. — Да если нашей Даре будет какая бумага, ты ей в руки не отдавай, а дай сперва мне». Потому что теть Дара в любую погоду у ворот дежурила, дядю Колю с сумкой ждала. А он в тот раз заболел, а внучке наказать за-

был — она ему, когда болел, помогала. Внучка бумагу вынимает и прямо теть Даре в руки. Мы только услыхали крик... А потом уже что только не делали, как ни бились — все. Тает и тает на глазах. Кушать и совсем перестала. Мама ей, кажется, ну, прямо в рот положит: Дара, миленькая, ну съешь!.. Я съем, говорит, Полечка, я съем. А потом видим — уже ты с этим кусочком бежишь! Все прятала, все для тебя, Таня, оставляла... Мама тебе уже и приказывала: не смей у Дары брать! И стыдила тебя. Один раз побила. А ты такая ненаеда была!

— Правда? — с виноватой улыбкой спросила Таня. И вытерла глаза.

— Ну, а что ты хочешь — дите! Дедушка за столом всем поровну хлеб разделит, скажет: на кусаку — три хлебаки. Чтобы с борщецом хватило. Все слышали?.. Не успеет договорить, а ты свой уже проглотила.

Таня опять вздохнула и покачала головой, а Клава грустно сказала:

— Не в этом дело, сестра. Кабы хотелось ей жить, или не поддержали бы? Последнее бы на хлеб променяли... А то мама станет ее утешать да уговаривать, а она: Полечка, ну, а зачем мне оставаться на этом свете, если все мои близкие уже — там? Это только слегка и оживала, когда попросишь ее рассказывать про старину. Вот она, Таня, рассказывала!.. Особенно про город, что под водой скрылся, когда татары пришли да на этот город напали.

И Таня, не скрываясь больше, заплакала.

2

Клава работала приемщицей в обувной мастерской и на следующий день ранешько, еще девчата не успели уйти в школу, сбегала отпросилась, а потом они с Таней, не торопясь, позавтракали и стали собираться на кладбище.

— Может, надо что-нибудь взять с собой? — спросила Таня.

С коробочкой пудры в одной руке и с ваткой вместо пуховки в другой Клава стояла перед невысоким комодом, сосредоточенно вглядывалась в раскладное зеркало и потому откликнулась не сразу и как бы нехотя:

— Что взять?

Таня приподняла плечи:

— Конфет... или?

Наклоняясь поближе к зеркалу, Клава повернулась к нему крепкой щекой и скосила глаза:

— Да, а кто там сейчас будет — зима! Это на пасху или на родительский день...

— Так без ничего и пойдем?

Сестра энергично ткнула ваткой в коробочку, и оттуда фукнуло облачко пудры.

— Так и пойдем. Без ничего.

Таня ощутила себя от чего-то, не совсем ей понятного, незащищенной и тут подумала: а может, за старым обычаем она просто хотела спрятаться? В самом деле: положила в чужую ладонь две-три карамельки и будто уже исполнила долг. Хотя бы малую часть того, что надо исполнить... Или это не совсем так? Или в любом случае необходимы еще и обращенные к чьей-то памяти сокровенные слова?

Какие это слова?.. Хватит сердца найти их?

Она все прислушивалась к себе и дома, и когда они шли потом по улице, и оттого ей казалось, будто каждый встречный что-то знает о ней и посматривает с немым вопросом и ожиданием.

Кладбище было за станицею по пути на аэродром, и в маленьком, спешившем к самолету автобусе Таня тоже не могла избавиться от ощущения, что все вокруг приглядываются к ней слишком внимательно. Лишь когда Клава попросила остановить и они, спрямляя дорогу, пошли через широкое и пустое поле, к ней жадно подступило молчаливое, тихое одиночество.

Снег лежал неглубокий, но был покрыт зализанным тонким настом. Острый, словно сквозняк, низовой ветерок и сейчас потягивал через поле, и то ли от морозного хруста под ногами, то ли от колючего ветра Тане сделалось знобко.

Краем скованных настом, тоже заледенелых могил они дошли до тропинки, которая вывела их к неширокой дороге посреди кладбища. Дорога была разбита, здесь и там в рыжей колее чернели изрубцованные, с грязными хвостами выбоины, и Тане стало еще бесприютней и тут же сделалось совестно: с такою ли душой должна подходить к тете Даре, которой она обязана неожиданным поворотом в своей судьбе — поворотом, смысл которого, Таня была убеждена в этом, полностью ей только предстояло еще понять.

— Сюда, — негромко позвала Клава.

Ступила на запорошенную хрусткой крупою тропинку, между высоких, крашенных в синий да в зеленый цвет железных оград пошла первая. Остановилась, когда они вышли к разгороженному островку, где, помеченные сиротливым крестом, белые холмики лежали под серыми заматеревшими кустами или под черными раскидистыми деревьями.

— Ну, вот. Недалеко от мамы.

«Тетя Дара, — мелькнуло у Тани, — тетя Дара, страдалица».

Она неловко раз и другой шагнула вбок, опустилась на высокую от лежалого снега скамейку и замерла, глядя на оплывший, с блестками, как на ватной шубе у елочного Деда Мороза, бугорок.

«Тетя Дара, — бегло подумала опять. — Тетя Дара».

Прошлую ночь она долго не спала, думала обо всем, что узнала, уже готовилась невольно к этой и печальной, и светлой для себя встрече, и тогда ей казалось: до такой, что можно захлебнуться от нахлынувшего, вершины волнение ее дойдет тут, у могилы страдалицы тети Дары, что именно здесь ей нечто, может быть, самое важное, откроется, но теперь она сидела окаменев и очнулась только тогда, когда совсем рядом услышала мощно нарастающий рокот.

Шею ей морозцем кольнул озноб, снова тронул на затылке у кожи волосы. Вскинув голову, увидела косо уходящий вверх двукрылый самолет с лыжами под зеленым брюхом и невольно встала и вытянулась.

Самолет набирал высоту, и она погналась за ним глазами, но тут он, словно уступив ей дорогу вверх, резко лег набок, скользнул в сторону, а она устремилась ввысь уже с иной скоростью, пока вознесенная толчками крови душа ее не застыла на миг в такой беспредельной вышине, откуда, казалось, можно рассмотреть не только землю целиком со всем, что есть на ней простого и сложного, но различить прошлое и будущее, узреть и умерших давным-давно, и тех, кому только предстояло еще родиться. В коротенький этот миг, когда вырвалось Танино сердце из немоты, когда побывала душа среди необычайного, все проникающего света, она ничего не успела ни увидеть толком и не успела понять, но ей приоткрылось, что душе необходимо стремиться вверх — чтобы научиться и видеть и понимать...

А правда, ей подумалось, правда! Сколько должно было всего с ней произойти, чтобы с бьющимся сердцем стояла она сегодня у этой могилы!.. Старшая сестра спасла ее от немецкого самолета — такую кроху, что уместилась тогда в куриной ямке под кустиком, — а после восьмого класса пошла работать, помогать матери, лишь бы выучить младших. И бабушка Михниха, знахарка, выходила ее и поставила на ноги. И не задушил голод в сорок шестом. И мама, рано изработавшаяся вдова с десятью сиротскими рублями за погибшего мужа, сумела-таки, несмотря ни на что, ее вырастить. И люди потом в Краснодаре на стройке попались добрые. И муж достался непьющий. И дети народились хорошие. И не ушла еще на покой, а все учит пониманью самих себя удивительная старуха Милославская... А сколькому сперва счастливому, а затем бесконечно страшному суждено было случиться с беженкой тетей Дарой, с ее маленькой дочкой, с мужем и еще со многими и многими, со всем народом, со всей землей?

Ей представился крошечный огонек над самодельным каганцом, только горел он будто не в тесной комнате, а бился и трепетал на юру, под голыми вселенскими ветрами.

Как не погас?... Как спасся?

Таня низко поклонилась и приподняла голову.

— А плакать, сестра, не надо, — негромко сказала Клава. — Чтобы ей душу не потревожить. Пусть не переживает, а только обрадуется, что мы с тобой, живые, к ней пришли. И что помним.

— Весной приеду, — не только Клаве, но будто бы и кому-то еще пообещала Таня. — Обязательно. Посадим цветов. И тут, и у мамы...

— И у дедушки, — подсказала Клава.

Таня спохватилась:

— И у дедушки. У всех родных.

— Это правильно, — одобрила сестра. — А то ты давно не была.

Когда они по старым своим следам уже прошли через поле обратно, Клава, как о чем-то само собой разумеющемся, сказала:

— Помянуть надо.

Тане было жарко, она давно уже расстегнула верхнюю пуговицу, а теперь слегка подтянула вверх концы

пухового платка, которые прятала под пальто, поправила под платком волосы.

— Сама думаю, — откликнулась торопливо. — Только не знаю как.

— А чего тут знать? Наша мама как говорила?.. Худом не поминай, а добром — как хочешь.

— Надо и ее заодно помянуть, — сказала Таня. — Можно вместе?

Для Клавы и это было просто:

— А почему нельзя?

Они помолчали, потом Таня заговорила не очень уверенно:

—Может, что-нибудь купить бабушке Михнихе?

— А мне один раз приснилось, — оживилась Клава. — Вроде наша мама, покойница, говорит мне: ты, доча, посмотри, какие старенькие у Михнихи галоши — и нитками зашиты, и бечевочками поперевязаны... Ну, я утром встала, и первым делом — в магазин. Купила новые, приношу ей, Михнихе. А она говорит: глянь, и как догадалась?.. Я сама собиралась сегодня за галошами, а то у меня такие старенькие. А я ей: мама приказывала во сне, чтобы я вам купила... Она заплакала, ну, давай, говорит, раз мама приказывала.

— Может, на платье теперь купить?

— Оно ей там нужно, платье?

— Платок тогда.

—Да у нее этих платков знаешь сколько?.. Все внуки как сговорились: кто ни едет, обязательно платок везет. Она мне показывала — полный сундук, ты веришь. На всей улице бабам покрыться хватит. Я ей говорю: а чего ты им, бабушка, не скажешь?.. Пусть вон когда лучше колбаски хорошей из города или еще что... Да неудобно, говорит, ладно! Так я вот это сама. Встретила не так давно Мишку, младшего, недавно приезжал. Чего, говорю, дурака валяете? Лень подумать, что бабке привезти? Ты, говорю, загляни-ка к ней в сундук, есть у вас у всех совесть или нету?.. Лишь бы, говорю, отделаться!

— А мы давай что-либо...

— Да нету ее сейчас дома, — перебила Клава. — Внучка маленькая заболела, Мишкина как раз дочка... Михниха: не могу, говорит, усидеть, поеду!

— А я хотела зайти.

— Да тебе надо. Заодно и про Дару бы расспросила. Они с ней дружили. А старые люди знаешь как? Что

было вчера, уже не помнят, а что сто лет назад... Она часто, Михниха, Дару вспоминает.

— Приеду потом, обязательно зайду.

— Нет, — твердо сказала Клава. — Не успеешь.

— Почему?

— Она помирать надумала. А раз надумала — все. Она решительная.

— Как будто это только от нее? — улыбнулась Таня.

— А от кого же? — удивилась Клава. — Она себя лучше понимает. Так, говорит, вроде еще здоровая, только, говорит, детка, слова я стала в молитвах путать — какая от меня теперь польза?.. Постояли мы с ней, поговорили, а через несколько дней опять встречаемся, в церковь бежит, она и говорит: ну, вот, моя детка, теперь и правда, помру, мне уже и покликушка была.

— Это что значит?

— Покойники окликали: пора!.. К себе звали.

И обе надолго затихли.

Уже дошли до первых домов на окраине станицы, когда Клава громко сказала:

— Вот!.. Дядю Пашу Христюкова ты помнишь? Что ни руки, ни ноги нету, а он все на велосипеде ездил...

Тане живо припомнился этот чудной велосипедист, без которого несколько лет назад, кажется, нельзя было и представить себе станицу: вот он на велосипеде, у которого нет второй педали, — с этого бока ровно и тяжело висела деревянная культя, — с какой-то, похожей на почтальонскую, сумкой, через плечо проезжает, что-то весело покрикивая, мимо стайки инвалидов, с костылями да палками сидящих, как всегда, на скамейке возле аптеки в центре; вот ведет свой велосипед с тугим, набитым зеленой травою мешком на раме, к которой веревочками привязана сложенная коса, по улице Мостовой, от реки; вот неторопливо шкандыбает рядом со своею незаменимой машиной, у которой на багажнике укреплена теперь плетеная корзинка, мимо базарных рядов в воскресный день.

— До сих пор ездит? — удивилась Таня.

— Теперь ему ни к чему, — голос у Клавы набирал строгость. — Это раньше, когда семью кормить... Сына, а потом внука. Вот и катался на велосипеде. А теперь что? Теперь он один как перст. С тех пор, как померла тетя Поля...

— Ты же училась вместе, погоди, — вспомнила Таня. — Это в каком он к нам, когда ты в девятом, приходил?..

— Он в девятом, — усмехнулась Клава. — Я уже работала.

— А, ты работала, да. Борис его?

— Борис, да... Бросил его и Борис, и внук, что они с теть Полей выкормили, тоже бросил...

— Почему бросили?

— Это он тебе сам потом расскажет... Один сейчас живет, грязью зарос, что скоро не видать станет. Может, сходим да уберем у него маленько? Перестираем, вымоем, хоть порядок какой-то наведем?

— Только сперва на почту, — попросила Таня. — Телеграмму домой дам.

— Давно не виделись? — усмехнулась Клава. — Вы как молодожены.

— Витя волнуется. Может, думает, жена у него и в самом деле, с приветом...

— Ну, так тогда и отбей, — и в этот раз решила за нее Клава. — Здоровьем порядок. Подробности письмом. Так же?

И Таня взяла ее под руку и молча на ходу к ней прижалась.

3

Стоило Клаве протянуть руку к низенькой калитке, из-за угла дома с лаем выскочила маленькая худая дворняжка и с разбегу бросилась на ворота, как будто пробила их ощеренной пастью.

— Давай погромче, — сказала Клава. — Зови хозяина.

Дворняжка отскакивала от забора, взвизгивала, бросалась снова и тут, пока оскаленная ее морда подрагивала между почерневшими штакетинами, от самой высокой ноты спускалась до хрипа, а из дома так никто и не показывался.

— Может, ушел куда?

— А то ж, — махнула Клава крепкой ладошкой. — В Верховный Совет. Куда ему идтить?

Голос ее опять до того был похож на мамин, что Таня подумала: Клава и «идтить» сказала, чтобы не отрываться от ее интонации.

— Может, к соседям?

— Дядь Паша! — громко крикнула Клава, вытягивая над калиткой руку и потряхивая ладонью. — Тебе лечиться надо! Ты что, совсем оглох?

Осторожно переставляя со ступеньки на ступеньку самодельный протез, боком спускался с крыльца невысокий человек в накинутой на плечи старой стеганке и без шапки. Он был давно не брит, седые волосы всклокочены, словно только что оторвался от подушки, серые выцветшие глаза смотрели кротко и терпеливо.

— А я слушаю: кто это может быть? — спрашивал на ходу со стариковской хрипотцой.

— Кто, кто!.. Ревизия! — выговаривала Клава. — Народный контроль.

— Так ему бы в другое место, контролю!

— Решили сперва к тебе.

Собака все еще задыхалась от лая, и он крикнул:

—А ну, цыть, Мушка! Не видишь, добрые люди?

Дворняжка тут же смолкла и лениво пошла к дому. Старик открыл калитку, пропуская их во двор, и, когда они уже стояли на заледенелой, с остатками асфальта дорожке, виновато сказал:

— Я ж пока засупонюсь, Клав...

— А ты бы, дядь Паш, давно был засупоненный. Люди уже на обед идут, а он все рассупоненный...

Он посмотрел на Клаву, тихонько покачивая головой, пошевелил губами и виновато приподнял на плече старую свою стеганку.

— Неправда, что ль? — добивалась Клава.

Он перевел взгляд на Таню:

—А это ж кто?

—Да сестра моя родная. Таней звать.

Дядя Паша потрогал седую щетину на подбородке:

— Ага, ага.

— Ты в хату нас зови, — командовала Клава. — Мы к тебе надолго.

Глаза у старика потухли.

— Звать-то стыдно... У меня как в хлеву.

— Вот мы и пришли к тебе грязь вывозить.

— Ага, — тихонечко сказал он опять, — ага.

Снова взялся за небритый подбородок и, прихрамывая, пошел впереди.

В доме Клава первым делом разделась сама, потом взяла пальто у Тани, повесила рядом со своим на вешалку

у двери. Обе остались в стареньких спортивных костюмах, которые Клава отобрала дома у дочек, и старик, глянув на них, качнул головой:

— Вы правда что.

Клава сказала твердо:

— В общем, так. Мы с сестрой одну добрую женщину, покойницу, помянуть хотим. И маму заодно. Так что ты нам, пожалуйста, не мешай.

— Доброе дело! — тихонько откликнулся дядя Паша. И опустил голову.

— Ладно-ладно! — прикрикнула Клава. — Потом горевать будешь. А пока слушай. Покажи нам, где у тебя ведра, тряпки, где веник, где все это хозяйство. А сам на все четыре стороны. Хоть пиво в «гадюшник» пить.

— А я в «гадюшник» не хожу, — возразил дядя Паша.

— Ты дома, правильно.

— Да и дома... Ну так, другой раз.

Клава, закалывая на затылке волосы, презрительно фыркнула:

— А то ж!

В комнатах и правда был страшный беспорядок, но больше Таню поразил запах, который услышала еще на улице. Когда дядя Паша подошел к ним, потянуло крепким куревом, пропотевшей одеждой и еще чем-то особенным, чем попахивало всегда тут, в станице, от стариковских рубах да стеганок.

— Раскардаш у меня, — дядя Паша виновато глянул на Таню, будто угадал, о чем Таня думает, и она почувствовала, что краснеет.

За́то Клава опять громко бросила:

— Мало, дядь Паш, сказать — раскардаш!

Потом они мели, скребли, мыли, чистили, а старик, неловко покряхтывая, все ходил за ними по комнатам и то пытался выхватить раньше них из-под кровати заскорузлый носок, то поднять из угла около печки черную от застаревшей плесени на остатках непонятного варева кастрюлю.. Клава в конце концов не выдержала:

— Мы тебе не девочки — чего менжуешься?.. Ты б лучше... а ну, иди сюда! — Подождала, пока старик к ней приблизится, взяла его за серую рубаху на груди, ближе к себе притянула и сморщилась. — Фу!.. Тебе не стыдно, дядь Паш? Я с тобой поговорю еще. Белье есть чистое? А ну-ка, собирайся, ступай в баню, хорошо, как

раз мужской день. И чтоб раньше шести не появлялся, не болтался тут под ногами, тебе все ясно?

Когда дверь за стариком захлопнулась, Таня улыбнулась:

— Ты с ним как будто он ровесник. Или родня какая.

Клава хотела, видно, что-то сказать, потом только вздохнула:

— Ладно. Давай так: я сейчас занавески поснимаю, другое какое барахлишко, замочу все — вода уже горячая. Потом известку поищу. А ты почисть картошки, попозже варить поставим, да пошарься в кладовке — есть там у него хоть что-нибудь на ужин?.. А после опять уж вместе возьмемся — тут еще делов да делов.

Сошлись опять вместе мыть да скрести, обе с мокрыми руками, Клава задела Таню плечом, коснулась мягко, а когда уже отошла, уже стала лицом к окошку и медленно повела тряпкой по стеклу, очень тихо, но с какой-то рвущей душу ноткой негромко завела:

Сро-ни-ла-а-а... ко-леч-ка-а-а-а!
Со-пра-вой ру-ки-и-и-и-и!

И Таня тихонечко подхватила:

За-а-би-ло-ось сер-де-еч-ка-а
По ми-ил-лам друж-ке-е-е-е!

Песня была Клавина любимая, Таня знала, но сейчас в голосе у сестры было столько тоски и к самой себе жалости, что у Тани вдруг навернулись слезы: что с Клавой?..

Куплет она пропустила, потом кое-как допела песню. А когда закончили, подошла к Клаве, тоже потерлась плечом, спросила тихо:

— А, сестричка?

— Ой, да ну его, хоть попеть в чужой хате! — снова в свой обычный тон вошла Клава. — Дома много ли попоешь? А за работой бабы всегда... Теперь, правда, редко, а раньше, ты помнишь, когда вся улица собиралась к кому-либо на помочь, как бабы пели, ты помнишь?.. Мажут, белят ли, а сами поют! Вот где душа-то в песне была — какой тебе клуб, какая самодеятельность. Разве там так споешь? Один раз, это сразу после немцев, ты еще маленькая, ты и это, конечно, не помнишь... У Михнихи как раз и собрались, им тогда ветер хату весной раскрыл. Ну, кто работает же, кто обед готовит, а тетя

Дара с детишками возится, чтоб не мешали, не бегали. Бабы петь давай. Да так ладно, так хорошочко. Да песни такие старинные. Дак она говорит потом, тетя Дара: вот, женщины, я наплакалась!.. Как хорошо поете. Была бы я здоровая, про ваши песни книжку бы написала...

— Обязательно в Ленинград съезжу, — сказала Таня.

— И правильно. Деньги будут, чего же не поехать?

— Даже если не будет.

— Это правильно, сестра. Съезди.

— Значит, говоришь, попрошайка я была? — снова как бы винясь, спросила Таня.

— Ну, а кто тогда был не попрошайка? — удивилась Клава. — Боялись с куском на улице показаться. Только вышел кто, уже бегут все: «Оставь сорокушку! Дай!» А ты тогда среди нас самая маленькая была, совсем кроха.

— Все равно стыдно.

— Господи! — громко и горячо сказала Клава, и в голосе у нее опять послышалась боль. — Да сделай так, чтобы детишки наши были хоть чуть счастливей, чем мы!.. Да у сестры бы потом не пили, а мои бы не повыходили за пьяниц! Не обдели их добрым сердцем и светлым разумом, да и нам не затми! Чтобы не получилось, как в этом доме, у Христюковых! У чужих рвется сердце, как подумаешь, а у старика у бедного? — Тыльной стороною ладони утерла с силой глаза, на Таню глянула. — Вот уж мастерица жизнь узелки вязать. Захотел бы, да не придумаешь!

— Я буду посуду потихоньку, а ты...

— Да тут, если начать, и дня не хватит! — махнула мокрой рукой. — А коротко, Таня, так: Бориса ты, значит, маленько помнишь...

— Он же к нам ходил одно время.

— Ходил, сестра, ходил... Эх, да что теперь. Как наша Зина говорит: уже проехали! Да не в том дело... Поступил же он учиться в Москве да вскорости и женился. На москвичке. Обезьяна, конечно, обезьяной, но так яркая, на не здешнюю похожа... С кем-то уже гуляла, с каким-то иностранцем, а он же, Борька, упрямый, взял да отбил. На свою голову. Потому что девка оказалась оторва. Клейма негде поставить. Приехала сюда рожать, родила мальчика, Борис из больницы забрал да и опять уехал учиться, а она осталась же у тети Поли с дядь Пашей, пока малыш хоть маленько подрастет, Валерой

назвали, Лериком. Ну, осталась — так ты же пеленки стирай да сына расти. Нема дураков!.. Пеленки стирает тетя Поля, тетя Поля из бутылочки кормит — молока у этой не было, а сама она с обеда до ночи в парке с ребятами волейбол бьет. Ну, бьешь, бей — не жалко. А потом вечером идем с девчатами, а она за сиренью со Стаськой Лютенко обжимается... Борис потом приехал — сказать, не сказать?.. Да он-то, видно, и сам уж все сообразил. Обратно вместе уехали, а мальчика оставили, пока чуть подрастет. Она и в Москве давай гулять, и в Сибири, когда он окончил да поехал туда на стройку. За это он ее оттуда и наладил. Решили расходиться, она Борису бумажку дала на суд, что сына ему отдает. И девятнадцать лет ни слуху ни духу — как схоронили. Ты представляешь, Таня, — девятнадцать! А тут за это время, конечно, всякого было у Христюковых. Тетя Поля сперва боялась, что эта — прости, господи! — мама еще одумается да заберет Лерика. От себя ни на шаг не отпускала. А ну, говорит, он на улицу без нас выскочит, а она на такси подкатит, цоп мальчика да в Армавир на поезд — только его и видели!.. Думала, бедная, что с невесткой придется его делить, а вышло так, что с родным сыном не поделили! Он же все у стариков, Лерик... Ну, сперва, понятное дело, Борис остался один, когда разошлись, куда мальчика в Сибирь брать? Второй раз женился, тетя Поля ему опять: да ты сперва посмотри, какая она, новая жена, да хоть чуть одни поживите, попривыкайте друг к дружке, а тогда уж мальчика и возьмешь. Потом у них дите появилось. Тут снова: да пусть второй мальчик хоть слегка подрастет, тогда уже вам Лерика и отдам... А как отдашь, если привыкли с дедом — от себя не оторвешь?.. То и Борис почаще приезжает, какая командировка в Москву — он обязательно сюда, к Лерику, заскочит. А увезет мальчика — часто потом приедет?.. И начала теть Поля помаленьку хитрить. Мальчик уже большенький стал, уже понимать начал, она и давай нашептывать: ты, мол, бабушку не бросай, тут тебе хорошо, бабушка с дедушкой никогда тебя не обидят, а как там будет у папки с мамкой — еще неизвестно... Они ему ничего не говорили, вторую жену Бориса мамой звал. Вот тетя Поля и давай: они от тебя небось отвыкли, папа с мамой, жалеть, как бабушка, никто тебя так не пожалеет... Борис приедет, она давай ему жаловаться на Лерика: и такой он, и сякой, и немазаный. И дома бабушку с де-

душкой не слушает, и в школе не учится. Как накрутит, накрутит — они ведь это умеют, старики!.. Борис да и не вытерпит, да за ремень. А она потом шепчет: вот, внучек!.. Поедешь к отцу с матерью — так и будешь битый ходить, видишь, какой он сердитый бывает, какой невыдержанный... Грехи наши! Боялись одни остаться... Ну, мордовались, в общем, они, мордовались, то мирились с Борисом, а то ссорились, и так решали, и эдак. Одно время теть Поля с дядей Пашей надумали даже дом продавать да тоже в Сибирь тронуться. Борис там уже и квартиру большую получил, пять комнат. Да разве стариков с места сдвинешь? И кончилось у них тем, что Борис бросил там хорошую работу, в Армавир переехал, а оттуда, если что, — сюда на машине: и в школе с учителями поговорить, а то и сыну ремня всыпать... Закончил Валерик школу, отдал он его в военное училище под Москвой — хорошее, с высшим образованием, инженерами оттуда выходят. А сам с семьей в Москву переехал. Лерик и на праздники к ним, и на каникулы первым делом до папы с мамой, а потом однажды не зашел домой, а прямым ходом — к ней, к этой стерве... Он-то, конечно, давно знал, Валерик, что у него есть другая мать — и дружки говорили, одноклассники, что от своих родителей слышали, и сами эти родители, кто от доброго вроде сердца, вроде от жалости, а кто по дурости в чужие дела встревал, а то и по злой душе... Он-то, Валерик, сперва, говорит, хотел, мол, только взглянуть, что за такая мать, которая девятнадцать лет назад сына бросила и с тех пор ни гугу, хоть бы какую весточку, а вышло, видишь, как?.. Оно представить себя на ее месте: другой муж тоже бросил, оставил с больною девочкой — что-то, говорит, с нервами. Сама нигде не работает, на алименты живут. Старая уже — она на пять лет старше Бориса. Годы-то прошли. Кому она теперь?.. И вдруг заявляется мальчишка — здоровяк да красавец, без пяти минут офицер. Разрыдалась, на шею бросилась, ключ от своей квартиры дала — это, мол, и твой дом, всегда приезжай, живи. А у мальчишки-то ни опыта, ничего — много ли надо?.. Приезжает к бабке на зимние каникулы, достает из чемодана две этих коробки, что по нескольку пачек — сигареты американские... Это что ж такое? А это, говорит, мамины любимые. Чтоб тебя к черту!.. Так ты ж, Лерик, вроде не курил? Ну что ж, а теперь курю...

— Мама научила? — не выдержала Таня.

— Ну, а то кто ж?.. Да кабы еще только это, а то ведь понаплела мальчишке, понаплела, забила памороки, что он теперь, бедный, сто лет будет разбираться! Тете Поле говорит: ну, все, бабушка! Теперь все знаю про отца — ты раньше говорила мне, а я дурак был, не верил тебе... А что ж про отца знаешь?.. Да знаю, говорит, как с другой женщиной связался, что разбила нашу семью. Как маму бросил. Как меня у нее отнял, а с нее расписку потребовал, чтобы со мной никогда больше не виделась!.. Бабка, где стояла, бедная, тут и села. Лерик, говорит, да как же так — ты подумал? Да что она — в заключении была, что не могла к тебе понаведаться?.. Да нет, говорит, слово нарушить не могла, какое у нее, говорит, отец силой вырвал, — сама ведь, бабушка, сколько раз говорила, какой он грубый!

Таня даже посуду мыть бросила:

— Вот повернулось!

— Ну, Таня!.. Говорю тебе, совсем памороки забила. Это мы пожили, дак за версту видать, что брехня: какая б это мать выдержала, даже если и дала слово? Что за чепуха?! А у них же в голове еще каша: сигарет, что нигде нету, дала, эти чертовы джинсы пообещала... Уже заботливая! Тетя Поля Валерику: ты хоть отцу пока не говори: что был у нее, тут подумать, как ему и сказать! А он: а я уже письмо написал и все высказал! Вот как сумела дитя поджечь! Тут дед встрял, дядя Паша: сопляк, говорит, да разве так с отцом можно?.. А он: был сопляк!.. А теперь хватит. Да как с дядь Пашей закричали, да как заскублись. Бабка, бедная, в обморок, еле откачали, да каждый день потом плохо и плохо, каждый день «скорая» под двор, а тут как раз письмо от Бориса, ну, спасибо, дорогие мама и папа, что вырастили Валерика да хорошо воспитали — отца своего, сына вашего родного, на проститутку променял!

Клава замолчала, только терла сухою тряпкою так, что оконное стекло под нею поскрипывало.

— Так тетя Поля оттого небось... — начала Таня, и сестра живо обернулась.

— Ну, а какое сердце выдержит, Танюша!.. Полжизни, считай, отдать одному, полжизни — другому, а что из этого вышло? Соседки говорят, умирала и только одно все время, только одно: за что мне, спрашивает, за что?

— Подумаешь другой раз, — тихо сказала Таня. — Вроде бы столько уже о жизни знаешь. В свои-то три-

дцать шесть лет. А потом вдруг как приоткроется: а что знаешь-то?.. Да ничего ровным счетом.

— Тот-то и оно!

Потом сильно зазвонил в доме накрученный до отказа будильник, и они чуть не наперегонки бросились в другую комнату нажать кнопку — до того пронзительный и резкий был звук. Таня поспела раньше.

— Сколько там, сестра?

— Ровно четыре.

— Чего это он его — на четыре? — не понимала Клава. — Или на зорьке встал да тут же заткнул? Или до четырех дня поспать собирался?

Неожиданно для самой себя Таня спросила:

—А ты Бориса давно последний раз видела?

Клава не обернулась, так молча и дошла до места, где только что стояла с работой, только тогда заговорила нарочно бодро.

— Ну что, еще песнячка! Или раньше домой сбегаешь? Банку с огурчиками возьмешь, девчата тебе покажут где. Банку с помидорками. Сальца кусок, яичек, сколько там есть, куры еще нанесут. И еще знаешь что?.. Там скаточка белой бумаги стоит в кладовке в углу, тоже ее возьми. А я тут побуду, постираю пока...

Старик вернулся бритый и подстриженный, лицо чуть порозовело, морщин на нем поубавилось, и теперь видны стали на косых скулах крупные оспины.

— Чи можно в чистую хату, чи такого неряху и не пустите? — заметно повеселевшим голосом громко спросил от двери.

— Да тебя бы и правда не стоило, — в тон ему из другой комнаты откликнулась Клава. — Одних сухих тараканов по углам — полное ведро.

Таня подошла к старику:

— Давайте, дядя Паша, помогу.

На согнутой руке, на той, что не было кисти, у него висела черная дерматиновая сумка, но он не стал ее отдавать, а только стряхнул с левой ноги просторный валенок и так, в шапке и в черной короткополой «москвичке», остановился посреди кухни, осматриваясь. Чтобы сделать приятное, нарочно долго, качая головой и прицокивая, оглядывал и подбеленную печку, и сверкавшую чистотой посуду на полках.

В спальне тоже все сверкало, красовались там и тут вырезанные из бумаги салфетки с краями зубчиком, а в

зале под большим фикусом с отмытыми, тугой зеленью блестевшими листьями стоял уже накрытый стол, и это обрадовало старика заметно больше всего другого.

Слегка припадая на самодельную свою высокую культю, раз и другой прошелся мимо, поглядывая на аккуратно расставленные тарелки, в которых розовело нарезанное ровными ломтиками сало, лежали горками красные помидоры да огурцы в пупырышках. На краю стола стоял на сложенной газетке прикрытый свежим полотенцем чугунок, в котором допревала сваренная с лучком да с лавровым листиком картошка, и старик раз и другой потянул носом, спросил так радостно, как будто было в чугунке бог знает какое редкое кушанье:

— Картоха?!

— Не томись ты, — сказала Клава. — Доставай.

И он теперь быстренько разогнул руку, из сумки, соскользнувшей на табуретку, вынул поллитровку, определил в центре стола и еще потом и раз, и два переставил, чтобы видна была этикетка — лицом к людям.

— Так и сядешь за стол в пальто?

И он торжественно поднял указательный палец:

— Сей момент!

Не было дяди Паши довольно долго — сестры уже успели и сесть за стол, и, припомнив, зачем они тут, согласно помолчать.

Старик появился в белой, чуть зажелтевшей от долгого лежанья рубахе с неразглаженными складками — не вынималась из комода, видно, годами. Воротник ее был наглухо застегнут. На груди висела не совсем ровно приколотая медаль «За отвагу». Сел на табуретку, расправил плечи, посмотрел по очереди на девчат и негромко, но значительно кашлянул.

Вид у дяди Паши был не только чинный, но даже как будто строгий, однако на Клаву это не произвело впечатления.

— Да-а! — сказала насмешливо. — Как же тут, без отваги, на поллитру-то кинуться?.. Это я просто себе не представляю, как все наши отраденские мужики без медалей ее одолевают.

Старик еще раз откашлялся:

— Твой-то где?

— В «сельхозтехнику» побираться поехал. Любимое дело: и не хотел бы выпить, да придется.

— Запчастя все-таки! — как можно строже сказал старик.

Клава фыркнула:

— А я что?

— Ну, не ругайся, дочка, — сказал он уже помягче. — Не ругайся.

Переставил бутылку к себе поближе, обхватил горлышко тремя пальцами, а большим да указательным взялся за язычок.

— Помогу уж, — предложила Клава.

— «Бескозырку» открывать не могу. Эту — сам.

Ловко надорвал опояску, положил теперь ладонь поверх горлышка, а всей пятерней стащил «белую головку».

— Ишь, приспособился! — не унималась Клава.

Старик опустил голову и посидел молча, все еще сжимая в руке металлическую пробку, потом резко, как доминошную кость, выложил ее на стол, сказал, закипая:

— А, бодай вас!..

Рывком встал из-за стола и захромал торопливо, застучал деревяшкой из зальца, протукал через кухню, толкнул дверь в сенцы.

Таня посмотрела на Клаву:

— Может, зря?

— Ничего-ничего, — успокоила Клава. — Я знаю.

— Куда он после бани на улицу?

— Лишнюю чарку потом выпьет.

— Позвать, может?

— Сразу видать, что Витя твой не пьет, — ты, Таня, как дите! — грустно усмехнулась Клава и показала глазами на бутылку без пробки. — Куда от нее уйдет?

Дверь снова скрипнула. Старик с плетеной корзинкой в руках споро шагал обратно.

— Простудитесь, дядь Паша, — пожалела Таня.

Он молча плюхнул старую корзинку на край дивана, тут же сунул руку, вытащил из нее что-то похожее на кусок пожарного шланга, бросил на диван.

— А это — не «приспособился»?! — и снова ткнулся рукой в корзину. — Вот это — не «приспособился»?! А это?! А вот это?!

На диване лежали в ряд нарукавники из старого брезента, к которым были пришиты разных размеров карманы-вкладыши.

Старик подвернул на левой руке пустую манжету

от рубахи, сунул культю в один из нарукавников и другой рукой тут же поправил его, натянул до локтя и пальцем оттопырил край вкладыша.

— А сюда держак от лопаты — раз!.. Налопатник у меня был. — Одним махом стащил его, кинул на диван, ткнул пальцем в другой нарукавник. — А это косарь— для косы, значит... А вот наломник... Да что лом! Или молот, к примеру? Чертовина! Ямку выбухать, огород вскопать, ветку спилить — ума не надо. Кадушки делал!.. Да все, все. Любой инструмент держал!.. А недавно наткнулся на эти причиндалы, хотел выкинуть, а потом жалко: семью спасли! Поля после войны хворала, лежала, не поднималась. Борька тоже болеть начал! Мне старый доктор Гречухин говорит: хочешь, чтоб сынишка выжил, чтоб окреп — купи корову!

Таня невольно вздохнула, и старик глянул на нее.

— И родычей — никого. Кто б крепко на ногах... Браты все погибли... Ихним семьям помогать надо...

— Ты, может, сядешь, наконец? — спросила Клава.

Он все не остывал:

— «При-спо-собился-я»!.. Врачи уже несколько лет за мной ходят — со здоровой ногою в больницу положить... Вена — одни комки. Скажешь, потому, что сам я такой тяжелый? Или потому, что тяжелую работу работал? Как, а?..

— Картоха твоя остынет.

Старик сел, расстегнул воротник белой рубахи, здоровой рукой положил культю на стол, слегка нагнулся над ней и стих, только медаль все еще покачивалась.

— Я ничего и не говорю, — сказала Клава миролюбиво. — Ты трудяга, дядь Паша, был, каких поискать. А вот в последнее время дал себе поводок...

Он вскинул голову:

— Дак душа, Клава!

— Ну, наливай, чего ж теперь сидеть?

Старик приподнял бутылку:

— А ваша посуда?

— Мы не будем, — сказала Таня.

— У-у, так не годится! Тогда б я «малыша» взял. Тем боле помянуть пришли...

Клава встала, принесла еще две рюмки, и обе старик налил всклень. Поставил бутылку, здоровой рукой опять положил на край стола левую, пятерней поправил

рубаху на груди, помолчал, потом выше приподнял голову, по очереди посмотрел на притихших сестер.

— Спасибо, дочки. А матери вашей, покойнице, царствие небесное. Ее я хорошо знал... И этой, другой женщине, родне вашей...

— Она, правда, и не родня, — начала Таня и запнулась.

— Беженка она была, — сказала Клава. — Ученая. В старине разбиралась. У нее в горах дочку убили под бомбежкой, а мужа на фронте. У нас она и жила, и померла потом тут. Сестра тогда маленькая была, она с ней нянчилась, потому что на дочку похожа. Стихи рассказывала давнишние. Былины. А недавно сестра учиться пошла по этой же специальности. Думала, случайно, а оно — видишь...

— Дак, а ничто на свете не пропадает, — тихо сказал старик, и Таню опять тронуло то отрешенное от всего земное спокойствие, которое так отчетливо слышалось теперь в его хрипловатом голосе. — Просто человек часто не знает, откуда у него что.

— А она вот узнала.

— Это хорошо, дочка, что узнала.

— Спасибо вам.

— А как ее звали, беженку?

— Дарья Дмитриевна. Теть Дара.

Старик приподнял рюмку, и Таня только сейчас вдруг увидела, какая у него изработанная, какая корявая рука.

— И рабе Дарье — царствие небесное, — взгляд у него сделался такой, словно, проговорив это, очутился он в другом мире.

Глядя на старика, Таня негромко повторила эти непривычные и вместе с тем такие знакомые слова, опустила глаза, задумалась, и на короткий миг душа ее как бы перенеслась неведомо куда и тоже ощутила совсем другой мир... Находился ли он далеко-далеко или, может, существовал в ней самой, но перед чертой его пропадало все, что есть в живом суетного, дурного и темного, а за ней была вспышка ясности, освещавшей бесконечность добра и разума.

Таня так поглядела на старика, будто он приоткрывал ей тайну.

А дядя Паша уже высасывал помидор, сладко щурился, и значительности в лице у него как не бывало.

Она вздохнула и отпила чуток.

— Тут-то до дна! — оторвался от помидора старик.— Чокаться — нет, а так обычай — до дна.

— Н-ну, вот! — Клава передернула плечами. — И нам с тобой, сестра, надо повесить — за отвагу.

— А ты как в воду глядишь, право слово, — качнул головой старик. И оттопыренным большим пальцем ткнул себя в грудь рядом с медалью. — Знаешь, за что она у меня?.. А за присказку. По теперешнему сказать — за анекдот.

— Ну да?! — не поверила Клава.

Старик положил в рот ломтик сала и отщипнул хлеба чуток, тщательно прожевал, не торопясь, стряхнул с края стола крошки, только тогда посмотрел на девчат, и по взгляду его Таня поняла: станет рассказывать.

— Уже в сорок третьем. Потрепал он нас тогда крепко. Дал так дал!.. Был полк, и нету. Эскадрон, может, наберется, и то неполный. Коней почти всех поубивало, а на тех, что остались, по двое раненых, кто не может идти. Остальные плетутся еле-еле, на ходу спят. За лошадиный хвост или задок от брички подержаться — это ж какой отдых... Очередь была! А потом все, конец, дальше уже никто не может. И идти-то всего ничего, до наших рукой подать, и немца впереди нету, знаем, только гонится следом — а уже все! Кончились... Командир полка — от казачура был! Двужилин Василь Корнеевич. На жеребце вдоль колонны — туда-сюда, туда-сюда! Где душевным словцом, а где и плеткой, если что из амуниции бросил. Сперва слушались, а потом и тут притерпелись — он уже за шашку хвататься... А я все про мирное время думал, станицу вспоминал, ну, тут она само собой и пришла, присказка. Я громко так: а помните, говорю, братцы казаки, как в мирное время?.. Идут по станице люди, а сзади собачка... Вы куда это? На покос! А собачка зачем? Куски доедать! А через неделю обратно — чуть не рачки. Вы откуда?.. С по-ко-са!.. А где ж ваша собачка? Да съели! От так, говорю, братцы казаки, и мы сейчас.

Клава с Танею заулыбались, и для старика это была, видно, лучшая похвала.

— О, видишь, засмеялись!.. И тогда так. Сначала мой сосед как зарегочет!.. Другой ему: ты что?.. Да, говорит, черт рябой присказку вспомнил. А меня только так и звал: черт рябой... Передал ему мою присказку, тот еще громче засмеялся, другому взялся рассказывать. Тот — третьему. И как пошел по колонне смех, как по-

шел. И в одну, и в другую сторону... Гляжу потом, Василь Корнеич скачет. Рядом со мною — повод на себя, жеребец — гопки, а командир полка: приставь ногу!.. Налева! Все стали, повернулись, он кричит, рябому черту за присказку от командования — медаль «За отвагу»! Так и надо, говорит, казаки. Орлы!.. А теперь: напра-ва!.. Быстрым маршем! За-пе-вай! И сам песню как ударит! Песельник был... Откуда сила — как подхватили!

Клава сама налила старику, пододвинула рюмку.

— Выпей, дядь Паша, за себя, какой был.

Он вскинулся:

— За себя нельзя! Самому.

— Ну, за товарищей, что вместе из окруженья выходили.

— Это другое дело. — Он взял рюмку и опять ушел глазами в себя. — Царствие им всем небесное.

— Они все тогда погибли? — спросила Таня.

Старик вздохнул:

— Тогда не все... Дак, а после? Кавалерия!..

Снова наполовину высосал помидорину, доел ее, чему-то насмешливо улыбнулся, и опять от задумчивости его не осталось и следа.

— И вот как нарочно! — приподнял заскорузлый палец. — Какая серьезная штуковина не нашлась, а висюлька, что почти всем дают, — тут, пожалуйста! Кабы не она, дак можно сказать: не воевал.

— А было еще за что? — уже без подначки спросила Клава.

И опять старик сперва нарочно медленно закусил, и опять сперва, не торопясь, смахнул крошки.

— Про Кущевку слыхать не доводилось? Да оно, конечно, откуда? Сталинград или Берлин, или вот теперь Новороссийск, — это всем ясно, а тут Кущевка какая-то! А для нашего брата, для казака, Кущевка — все, можно сказать. Потому что до этого он нас как хотел колошматил. Попомотал он на гусеницы кишок — что людских, что конских... Попомотал! Отсечь пехоту от танков!.. А как ее отсекешь, если он развернется — и давай прямой наводкой долбать. Без танков впереди и не ходил, гад. Достань ты его шашкой!.. А под Кущевкой у них промашка вышла. Жадность подвела. Хотели по кукурузе — нашим наперерез, тут кто-то и скумекал... А кукуруза в тот год стояла — как лес!.. Да много — море зеленое. Ни конца и ни краю. Вот он в кукурузу вошел, тут и

мы. «Эдельвейс», что в наших горах тут жизни никому не давал. Егеря. И как пошли мы их по кукурузе крошить, как пошли!.. Сверху все видать: где колыхнулась будылка, ты туда. Я до войны на скачках столько лозы не порубал, сколько этого «эдельвейса»!.. Земеля в эскадроне был, тоже отраденский, еще парубковали вместе. Тот на меня всегда тоже — черт рябой, а тут из кукурузы вышли, он кинулся: Павлик! Раненый?! А я как пьяный — ничего не чую. Куда? — кричу. А вон пятно на боку! Глянул, а это с шашки в подмышку натекло...

— Страсти какие рассказываешь, — подняла Клава ладони. — Дядь Паша, ну тебя, а то и ночью приснится...

— Э, дочка!.. А думаешь, мне до сих пор не снится? Хоть та же Кущевка. Или как он нас потом танками загнал на минное поле — полк целиком. Это мне еще как повезло — искромсало, зато живой. А остальные где? Где?

Взгляд у него сделался тягучий, от глаз, в которых тяжело качнулась глухая ненависть, Тане сделалось смутно, сделалось нехорошо, как будто, пока смотрели со стариком друг на дружку, в нее успела перелиться часть этого, что грозовою тучей висит над всем белым светом, вселенского зла. Робея от этого взгляда, она отвела глаза, но старик, словно почувствовав свою вину пред ней, уже очнулся, мягко сказал уже другим тоном:

— Эх, дочка!.. Я вот щас из-за ноги своей перетруженой стараюсь поменьше ходить, лежу все, радио слушаю: военная машина, говорят. Военная машина!.. Почему это, маракую про себя, так прозвали?.. А потом дошло: да а не так, что ль? Это как молотилка. Или как мельница. Если попал, то все. Про себя забудь — что ты можешь? Ты как зерно. Бросает из стороны в сторону, жмет, давит. Пока от тебя ничего не останется, и это как так и надо. Это редкое ить зерно скрозь жернова целым прошмыгнет... на то и машина!.. Только кто ее придумал, что она уже столько веков все хитрей, эта машина, и хитрей? Если теперь начнется — что будет? — Он, не обернувшись, повел рукой на диван, где все еще лежали нарукавники. — Я вот причиндалы свои когда достал... Хотел было в самом деле выбросить, а потом стукнуло: вдруг опять что?.. Такая война, что никаких протезов не напасешься. А я ить месяцами сидел, раскидывал, как сшить, чтобы сподручней работать. Может, на всякий случай отдать куда? Вдруг да пригодится!..

А потом думаю: да кто там после такой войны останется? Кому оно вот то будет нужно?

— Ну тебя, дядя Паша, ну тебя! — опять замахала на него руками Клава. — Тоску нагоняешь. Ты вон лучше поешь сперва, а потом, если захочешь, давай-ка лучше про мирное время!

Таня взяла у старика тарелку, стала накладывать картошку.

— Давайте, дядь Паша, пока не остыла.

Старик сидел, поникнув головой, потом вскинулся опять:

— Вишь как: не получилось у меня мирное время!

— Неправда, дядь Паша, это неправда, — перебила Клава. — Ты-то все сделал, что мог. Для Бориса и для Лерика... И что не мог, тоже сделал. А что так вышло... Тут не твоя вина. Дай срок, оба одумаются...

— Я ить не сомневаюсь: одумаются! — громко, почти на крике, проговорил старик. — Токо — когда?.. Поле уже всё равно. А скоро и мой черед...

Таня еще ближе к старику пододвинула тарелку:

— Пока горяченькая.

— Когда станешь распутывать узелок за узелком — все вроде понятно, — будто сама с собой заговорила, пригорюнившись, Клава. — И тетя Поля: боялась старости одинокой, потому и Лерика хотела под своим крылом удержать, а около него — и Бориса. И Лерик — зеленый еще совсем, несмышленый. У самого дети будут — тут все сообразит. И Бориса грех не понять: разве не старался как лучше?.. А вот она-то, она-то что?.. Неужели за девятнадцать лет так до нее и не дошло?

Старик ладонью махнул:

— Думал я!.. Это ведь ее счастье, что такая. Бывало, Поля... пойдет в центр, вернется расстроенная, чуть не плачет. Что, спрашиваю, такое? Да вот, говорит, как неудобно получилось, господи!.. Дохожу до продовольственного, а из него как раз выходит Сидорин, женский врач. Одной рукой дверку в машине открывает, а в другой, говорит, большой такой сверток. Я, мол, поздоровалась, спрашиваю: что там, Аркадий Викторович, сегодня хорошенького дают?.. Он так плечами непонятно пожал, а я, говорит, тут как спохватилась: да дура ты, дура набитая! Или забыла, что ему девчата все всегда из-под прилавка достают? Вся станица об этом знает, а ты надумала спрашивать! Подумает еще, хотела посмеяться.

Затронула, чтоб приятное человеку сделать, вроде не так просто поздороваться, а уважительно, как со старым знакомым, а вышло — ни за что человека осрамила! Я ей: плюнь да разотри. А она до вечера ходит убитая, сама себя казнит — это ни с чего!.. А если бы с таким дурным характером да в самом деле кого обидеть, подлость ли сделать, обмануть ли? Да ее бы через неделю совесть замучила — ложись да помирай... А если бы Лерикова мать да была бы с таким характером, как у Поли? Что бы ей тогда оставалось делать?.. К нам Борин товарищ приезжал. Это давно еще, когда Боря в Сибири жил. С женой да с детишками на своей машине ехали куда-то в Кисловодск или в Минводы да заскочили Валерику от отца подарок передать. Ну, посидели, выпили, я давай потихоньку спрашивать: а может, Борька, говорю, сам хороший? Может, не ее — его во всем виноватить надо? А он: да Борька, говорит, Павел Кондратьевич, и половины правды не знает!.. А они и учились вместе, и работали, стал рассказывать. Только, говорит, Борис за порог, у нее тут же — гости. Да еще какая натура: обязательно не нашего подавай. То, говорит, мадьяр был, то румын, турок, а после какой-то дымниканец... негр, одним словом. Ефиоп. А мальчик пусть у свекрови живет, ей и без мальчика неплохо!.. Да тут бы только один раз на себя хорошенечко посмотреть и — мот на шею. А ведь человек тоже!.. Господь и такого бережет. Ему и такой нужен. Вот и не дает им ни тихой души, ни долгой памяти: нельзя им с ними! Замучаются. Потому и живут и разуменья не имеют, что стыдно. Плюнь в глаза, скажет — божья роса. Что ты тут такому докажешь? Он ведь никого не обманывает, никому не брешет, того и греха, что кажется ему: так и надо! И сам в это верит, и другого кого хочешь убедит... А что Лерик? По доброте пожалел ее. А на отца пыхнул — тот сейчас не бедно живет, вон стал какая шишка! С него вроде можно и спросить.

— Одумается Валерий! — горячо поддержала Клава. — Клянусь тебе, дядя Паша, одумается!

— Да головой-то понимаю: надо, чтоб время прошло. А сердце уже не может ждать. Старость, дочка... Я уже себя и так и так успокаиваю: это скажи, говорю, спасибо, что был у вас с Полей мальчик, да около него вы погрелись да хоть чуть дольше прожили на белом свете. Толкую себе, толкую, обида маленько, вроде от-

пустит, а потом снова от тут как запечет! Как же, думаю, так?.. Зимой, бывало. Вечером метель начинается. Хурта. Мете-ет! А мы с коровой уже управились, молоком парным внучека уже напоили. Сидим теперь в теплой хате... Поля ему носочки вяжет, а он, кроха, на стуле стоит, ручонки тянет. Подойду к нему, спиной стану, он прилипнет, на шее кулачки сцепит, а я его руками — под коленочки... Хожу с ним так по хате, а Поля: а что там дедушка хроменький продает?.. Горшки продаю! А ну, покажи-ка свой горшок, дай потрогать. Пощупает: горшок-то с дырочкой!.. А он хохочет, он заливается!.. И вдруг — на тебе: сигареты, говорит, мамины любимые... Как так? До того, бывает, задумаешься — боишься, и в себя уже не придешь. Веришь, начал будильник заводить... Забьет, дак хоть очнешься!

— Нас напугал своим будильником.

— Нарочно звонок ему переделывал.

— Да ты у нас, дядь Паш, на все руки.

Глаза у старика опять построжали:

— А знаешь, кто Лерика-то с матерью с родной свел? — спросил, наклоняясь над столом. — Петька Резников!

— Петька! — не поверила Клава. — Сосед ваш?

— Дружили с Борей, я молчал, ладно: мало ли что в жизни бывает? Институт закончил, два или три года отработал не Севере, потом как-то прибегает мать: выручай, Кондратьевич! Что такое? Да Петю хотят послать за границу, а сам знаешь, какое у нас было несчастье. Теперь небось ему и припомнят! Петя написал, должны сюда бумаги на проверку прийти, дак, может, ты до Мирошниченки сходил бы?.. Ладно, говорю, дай подумать. А у Петьки отец полицаем был. Ну, не Петька же ему, думаю, это присоветовал. Мы вот с ним до войны дружки были закадычные, а разве знал я, что с немцами уйдет? Да скажи кто, в драку полез бы! А при чем Петька? Сын за отца не ответчик, известное дело... Ну, и что, надел я вот эту рубаху. Медаль эту нацепил. Пошел к Мирошниченке. Он тогда в райкоме вторым секретарем, а до войны мы трое дружили... Увидел меня с медалью — ну, говорит, для серьезного разговора, видать, пришел! Так-то оно так, говорю, только я не за себя просить, Ваня. А он: ну, и дурак. А за себя и просить нельзя? А из меня гордость ну так и лезет, ну так и прет. Характер ить тоже — не дай и не приведи... Чего мне за

себя, говорю?.. Рука-нога есть, как-нибудь и сам перебьюсь. А давай-ка с тобой поговорим за сына нашего бывшего дружка, за Петю Резникова... Его сперва аж передернуло, Мирошниченку. А я и так и сяк давай его уговаривать. Сдался наконец. Туда-сюда позвонил — есть, говорит, такая бумага. Пришла. Ну, так что, пускай, говоришь, парень поедет?.. И поехал тогда Петя сперва в Венгрию, а потом и еще стал ездить, теперь-то вроде проверенный. И я за него радый был: думали, дядь Паше цена — пятак в базарный день?.. А он, видишь, пригодился — навел справедливость... А потом у Лерика, когда на каникулы с этими сигаретами приехал, спрашиваем: а как же ты нашел ее, мать?.. А дядя Петя, говорит, помог. Резников! Он-то тут при чем?.. А они, говорит, как давно еще с мамой в Отрадной познакомились, в волейбол играли, так до сих пор и дружат. Дядя Петя, когда был в отпуске в Отрадной, мне, говорит, и передал: ты бы хоть зашел до мамы — она ждет!.. Адрес мне дал. И телефонный номер... Это как по-вашему, дочки!.. Не предатель? Приезжал когда, в гости заходил, видел, как с бабкой из кожи лезем, из сил выбиваемся, чтобы только хорошо было мальчонке, а когда вырастили — зашел бы до мамы!.. Да я на себе потом волосы рвать готов был!.. Ах ты, старый дурак, ходил до Мирошниченки, просил за этого Петю!.. Да неужели, думаю, предательство — оно по родству передается и, выходит, не будет ему на земле ни конца и ни краю?..

4

Утром Таня вышла из дома и остановилась на верхней ступеньке крыльца, прищурилась.

Под ярким солнцем сверкал еще нетронутой белизною выпавший ночью снег, в снегу были пронизанные светом деревья, едва заметно синели меж ними тени на скатах крыш, а выше них, выше серебристых крон опять виднелась полоса густой белизны, плотно укрывшей гряду пологих гор за станицей. Над горами держалась размытая сверху голубизна, в этой далекой и тихой голубизне стыла слегка омытая розовым молочная макушка Эльбруса.

Неизвестно отчего Таня заволновалась, нащупала за спиною щеколду, торопливо открывая дверь, крикнула в сени:

— Клава! Клава!..

Сестра выбежала к ней, вытирая передником распаренные руки.

— Оденься! — спохватилась Таня.

— А что такое?

Таня повела подбородком:

— Ты только посмотри!

Клава глянула мельком:

— Первый раз увидела, что ли?

— Да почему?

— А чего ж как оглашенная?

— Обрадовалась! — рассмеялась Таня. — Не знаю...

Клава посмотрела теперь подольше:

— Без шапки. К погоде, значит.

— Кто без шапки?

— Да гора, кто. Это дедушка всегда. Примета у чабанов: если чистая гора, будет солнце. А облачко на макушке — значит, к непогоде шапку надела...

— А как правильно, Клав? — спросила Таня. — Эльбрус?.. Или Эльбру́с?

— Всю жизнь Э́льбрус был.

— А по радио, по-моему, Эльбру́с говорят... Почему я и спросила.

Клава плечи приподняла:

— А при чем радио?.. Оно там, а мы тут.

— А не знаешь, что это значит: Эльбрус?

Клава вздохнула:

— Все-таки ты и правда ненормальная.

— Самую малость, Клав.

— И то хорошо! — От рук у нее все еще отлетал парок. — Стоишь на сходцах, и ладно. Зинка посмотреть на Эльбрус на крышу лазила...

— Вот видишь.

— А она нормальная, что ли? Позаезжают черт те куда, а после приедут, как будто только на свет народились! — громко сказала Клава, и по голосу ее нельзя было понять, шутит она или говорит и правда в сердцах.

Но Таня опять только рассмеялась...

Это погожее, с некрепким морозцем утро словно осветило для Тани что-то давно позабытое, но не уходившее от нее никогда, а только тихонько ждавшее своего часа, и потом, когда она, не торопясь, шла к центру станицы, в родную школу, души ее то и дело тонко касались легкие крылья летучих воспоминаний...

Слышала ли стук пустого ведра о деревянный сруб колодца, ловила ли вдруг наплывший от дома, мимо которого проходила, теплый запах горелых семечек, видела за штакетным забором скакнувшую с ветки на ветку белобокую сороку, — вслед за этим тут же возникали ускользающие, как дымка, почти незримые, но дорогие видения, от которых ей становилось все теплее и все уютнее.

Станица за последнее время заметно отстроилась, и здесь и там виднелись во дворах кирпичные, с высоким фундаментом дома, но мазанки, в которых люди жили до этого, не были сломаны и стояли теперь, как старые матери, доживающие свой долгий век рядом с молодыми и крепкими сыновьями.

Тане нравилось смотреть и на кособокие хатенки, и на эти выросшие в ее отсутствие незнакомые дома, сердце ее радостно встречало всякую новую примету, и даже стоявшая поодаль от просторного Дворца культуры маленькая, с одинокой трубой котельная, в подвале которой, словно в преисподней, томились местные алкоголики, тоже показалась ей достойной и уважения и дочерней любви.

Из дверей котельной вышел человек в коротком черном пальто и в старой, с обвислыми краями шляпе, у порога надел темные очки и, сунув руки в карманы, торопливо зашагал мимо Дворца культуры.

Таня присмотрелась и окликнула негромко:

— Толик?!

Он как будто споткнулся на ходу, глянул на Таню и быстро пошел теперь к ней.

— Здравствуй, Толик! — заговорила она радостно. — А я иду мимо, гляжу...

Не снимая очков, он вынул правую руку из кармана, направил на Таню согнутый, с обломанным ногтем палец, спросил почему-то с вызовом и с обидою:

— Знаешь, что такое колотун?..

— Колотун? — машинально переспросила Таня, глядя на изрезанное глубокими морщинами, небритое лицо бывшего своего одноклассника.

Голос у него стал громче, и обиды в нем заметно прибавилось:

— Нет, знаешь, я спрашиваю?.. Что такое колотун?!

Она все не могла оторвать взгляд от этих стариковских морщин: может, это вовсе не он, не Кудельников?

— Н-нет, не знаю, — сказала медленно, — только...

Направленный на нее согнутый палец резко выпрямился:

— Дай рубль семнадцать!

Из внутреннего кармана пальто она торопливо достала кошелек:

— Два рубля.

Он снова повысил голос:

— Сказал, рубль семнадцать!

Она отсчитала мелочь, вместе с бумажкой протянула Кудельникову. Он подставил замаранную, с набрякшими от работы подушечками ладонь. Сунул деньги в карман и уже голосом поспокойнее, даже, пожалуй, довольным голосом негромко сказал:

— Пока!

У Тани невольно вырвалось:

— Вы Кудельников... или?

— Потом, — сказал он, — потом... — И словно не удержался: — Надолго?

— Я уже три дня, — заторопилась Таня. — Не знаю, может, и еще...

— Ну, пока, — снова перебил он ее. — Пока!..

Поправив очки, быстро пошел через дорогу, но на середине остановился.

— Шокинг! — насмешливо проговорил, произнося слово на английский манер и явно кривляясь. — Шокинг!..

Нет-нет, сказала она себе, это, конечно, не он, не Толя Кудельников!.. Только почему так свойски спросил: надолго ли? И голос при этом стал совсем человеческий и будто бы даже его, Толькин, голос... И все-таки это не он, нет! Ведь это надо пешком пройти через Сахару или на лыжах до полюса, чтобы заработать такие морщины. Или бросать уголь в топку маленькой котельной при районном Дворце культуры — тоже не такое простое дело. Нет-нет, сказала Таня, конечно же это не Кудельников, мало ли на свете алкоголиков?..

Школа, бывшая когда-то в станице чуть ли не единственным двухэтажным зданием, тоже выросла, лет пять или шесть назад к одному из ее торцов сделали пристройку, но Таня в ней ещё не была — до сих пор стеснялась, что много лет назад она срезалась и тем самым как бы подвела учительницу литературы Юлию Филипповну. Зато теперь, когда так неожиданно для себя стала студенткой, невольно захотелось прийти в школу, отыскать

класс, в котором будет вести урок Юлия Филипповна, постоять у подоконника в пустом коридоре, дождаться звонка и сказать потом любимой учительнице, что нет, не забыла она ее, все эти годы с благодарностью помнила, просто как девчонка побаивалась встречи.

Звонок ударил, когда Таня стояла у порога в учительской, и две молоденькие преподавательницы наперебой втолковывали ей, где находится кабинет литературы. Она прикрыла дверь, повернула налево и стала подниматься на второй этаж школьной пристройки.

Коридоры уже наполнились гомоном, навстречу ей, пытаясь схватить друг дружку за шкирку, неслись подростки в галстуках, потом в живот ей ткнулся стриженой головою малыш, которого догоняли две рассерженные ровесницы.

Дверь в кабинет литературы была открыта, вокруг учительского стола толпились рослые мальчишки и хорошо одетые девочки, и Таня сразу определила: десятиклассники. Юлии Филипповны не было видно, только слышался ее мягкий, словно слегка виноватый говорок:

— И все-таки вы меня не убедили, Сергей, нет, не убедили...

Из толпы, держа над головой тонкую тетрадку, выбрался высокий парень в кримпленовом костюме; Юлия Филипповна возвращала сочинения.

Таня отошла к подоконнику напротив, прислонилась к нему, стала ждать.

Из кабинета литературы вышел еще мальчишка, мельком глянул на Таню, и она вдруг выпрямилась и вслед ему протянула руку... Что такое? Сердце у нее забилось: парень из ее класса!.. Да ну, сказала она себе, какая чепуха, о чем ты, мать? Но как похож! Может, младший брат т о г о, из их класса? Тот совсем недолго с ними учился — то ли оставался на второй год, то ли откуда-то приехал...

А мимо чинно шли под руку две девчонки в толстых свитерах и коротких юбчонках, и одна из них, казалось, и точно, была Танина одноклассница.

Таня вспомнила имя, хотела окликнуть, но голос ее не послушался, и она только откашлялась, потерла глаза и стала теперь жадно всматриваться в лица проходивших мимо и пробегавших девочек и мальчишек.

Ну, вот, сказала она себе насмешливо, но так и не понимая до конца, что происходит, — вернулась ты, баба

Таня, в собственную юность... Может, Юлия Филипповна назовет сейчас твою девичью фамилию и тоже отдаст тебе тетрадку с сочинением?

Кто-то, проходя или пробегая мимо, оглядывался на нее, кто-то ее не замечал, зато сама она ищущим взглядом провожала каждого, и ей все казалось, что ловит и ловит в лицах старшеклассников такие знакомые ей черты...

— Мальчик, погоди! — остановила вдруг торопливо проходившего мимо паренька, и другой тут же догнал его, взял за локоть.

Первый выдернул руку, посмотрел на Таню изжелта-зелеными дерзкими глазами.

— Погодил, а что?

— Твоя фамилия Петрухин?

Он, показалось ей, даже носком ботинка начал притопывать:

— Петрухин, а что?

— Так на папу похож!

Он, и точно, слегка притоптывал:

— Похож, а что?

— Так вы теперь в Отрадной живете?

— Живем, а что?

— Да нет, ничего, — сказала она, готовая рассмеяться. — Извини, что задержала.

Тот открыл было рот, но дружок, снова цепко державший его за локоть, потащил парня вбок, и он только слегка махнул раскрытой ладонью.

«Дуреха ты, старая дуреха! — смеялась над собой Таня. — Да это ведь просто пришла такая пора, когда детишкам многих живущих в Отрадной твоих ровесников сегодня как раз по шестнадцать-семнадцать лет. И эти детишки повыше ростом и постройней, и черты у них тоньше и взгляд независимей, и одеты все как на праздник — куда вам до них, куда?!»

По коридору, держа журнал в опущенной правой руке, медленно шел математик Алексей Сергеевич Колесник, издали хитренько глядел на Таню через очки, и на неправильном его, с крупной челюстью и широкими скулами лице поигрывала понимающая улыбка. Глянул на ходу в кабинет литературы, посмотрел на Таню и только сказал:

— Зайди потом, Селезнева. Я там, где написано: завуч.

Ей вдруг захотелось догнать Колесника, радостно

рассказать ему, ставившему ей бесконечные двойки, о том, что поняла сама всего минуту назад: что выросли мальчишки и девчонки, так удивительно похожие на них, бывший десятый «А», и так непохожие...

Он уже начал спускаться по лестнице, ладно. Да он ведь может и не понять, сухарь-математик, другое дело — Юлия Филипповна!

Таня еще посмотрела вслед учителю, перевела взгляд выше и под самым потолком, под белым-пребелым школьным потолком увидела несколько прилепившихся к стене ласточкиных гнезд. Откуда они, подумала, в школьном коридоре, внутри?

Юлия Филипповна уже встала из-за стола, взяла журнал и переложила его в левую руку, прижала к груди — всегда ходила с ним так, словно был он бог знает какое сокровище...

И Таня улыбнулась, шагнула навстречу.

Ах вы, учительницы литературы, добрые волшебницы, хранительницы любви к родному слову, а значит, и хранительницы души!.. Шла она, высокая и такая нескладная, в не очень удачном темном платье с низким, как у школьницы, прикрытым кружевною полоской воротничком, который слишком открывал худую шею, отчего такими беззащитными казались и тонкий подбородок, и заметно очерченные скулы, и маленькие ушки под гладко зачесанными, стянутыми в пучок на затылке, уже с заметной проседью волосами. Зато как она улыбалась!.. Так, словно чуть не до слез смущена была или дорогим подарком, или очень приятными, только что сказанными ей словами... «Вечная школьница!» — почему-то, как старшая, вдруг подумала об учительнице Таня — с благодарностью за эту встретившую ее чистую улыбку, за этот искренний, будто чуть виноватый говорок:

— Мне о вас уже рассказывали, Таня. Кто-то из наших... Выходит, как вы ни бегали от филологии...

Правой рукою Юлия Филипповна взяла Танину ладонь, придерживала ее, легонько сжимая, около журнала на груди.

— Я не бегала! — громко сказала Таня, потому что зазвенел звонок и шум вокруг поднялся невообразимый. — Это она от меня!

— Так или иначе, теперь вы друг друга нашли.

— Кажется, да!

— Я очень рада за вас, Таня. Вы не спешите? Тогда

мы спустимся в учительскую, у меня «окошко», и если нам там ничто не помешает...

А Таня снова увидела под белым потолком черные гнезда. Она улыбнулась учительнице, показывая глазами:

— Это что, какой-нибудь экспонат?

Странная эта Юлия Филипповна! Сколько бы ни говорила с тобой, а радостное смущенье и в глазах у нее, и в голосе все не проходит.

— Почему вы так, Таня, решили? Самые настоящие гнезда.

— И в них живут ласточки?

— А помните, когда школа была поменьше, на торце под крышею всегда они у нас жили?

И голубой весенний день детства стремительно разрезал косой полет ласточек...

Юлия Филипповна взяла Таню под руку:

— Пока делали эту пристройку...

— Пришколу! — подсказала Таня с серьезным видом.

— А вы не забыли? — тихонько рассмеялась учительница.

Это, наверное, в седьмом... Проходили приставки, и Юлия Филипповна попросила назвать существительные с «при»: при-морье, при-станище, при-город. Штатный двоечник Горохов выше всех тянул руку, и она его вызвала наконец: «Ты, Вася!..» Он выпалил, гордый: «Пришкола!..»

И до выпускного вечера, до последней минутки вместе его так и звали потом: Пришкола.

Они очень медленно шли рядком. Юлия Филипповна то поглядывала на Таню искоса, то поворачивалась лицом, а Таня тоже или посматривала на учительницу, или глядела перед собой, но каждую секунду, встречались они или не встречались глазами, она ощущала, как греет ее тихая и долгая, все еще словно смущенная отчего-то улыбка учительницы.

— Он недавно приезжал, Вася Горохов. Работает директором большого рыбного завода на Азовском море. Говорят, что по нынешним временам это почему-то очень большая должность. Но он ничего, не заважничал, кажется.

— Пришкола! — повторила с восхищением Таня, и в восхищении этом не было ни капельки зависти, а было

лишь радостное удивление: надо же, Горохов Вася — директор!

— Пока строили «пришколу», — мягко подхватила Юлия Филипповна, — ласточки продолжали селиться, и никому до этого не было дела. А потом, Таня, случилась история грустная. Следующей весной они прилетели перед самым маем, а там пошли сплошные праздники. В школе никого, а форточки открыты... В общем, когда начались занятия, в коридоре уже висели гнезда, и ласточки носились под потолком. Представляете, сколько было восторгов?.. А Павел Федорович, завхоз, решил, что это его недосмотр. Приказал принести лестницу и разорить гнезда. Форточки до одной позакрывали, и бедные птахи прямо-таки бились о стекла... Леонид Сергеевич, когда узнал обо всем, слов не находил... Вы, наверное, не знаете нового директора?

Чтобы не перебивать, Таня только приподняла плечи.

— Очень любопытный человек! — Голос у Юлии Филипповны сделался еще мягче, сделался тише — она почему-то волновалась за нового директора, и Тане тоже передалось это волнение. — Не то чтобы с изюминкой — пожалуй, грех будет так сказать. Потому что тут не изюминка — тут судьба... Тоже заканчивал десятый класс в нашей школе, это лет за десять — двенадцать до вашего выпуска, я тогда только что приехала в станицу и хорошо помню его еще мальчиком. Пошел в морское училище, был командиром подводной лодки на Тихом океане. Где только не плавал, у него ордена; правда, надевает их только по праздникам. А потом что-то с ним случилось, он об этом не любит рассказывать. Команда еле спаслась, и сам он тоже пострадал. Ушел на пенсию и вернулся из Владивостока в Отрадную. Долго болел, но не поддался, институт закончил, исторический факультет, стал педагогом. Четвертый год наш директор.

Таня все поглядывала на Юлию Филипповну, все кивала внимательно, словно вникая во что-то для себя очень важное. Ей вдруг подумалось, что Юлия Филипповна наверняка похожа на беженку тетю Дару, — надо будет спросить у Клавы.

— Так вот, когда Леонид Сергеевич увидел, что гнезда разорили, он действительно слов не находил. Тут же велел открыть форточки, а всех, кто занимался на втором этаже пристройки, отпустить по домам. И ласточки все поняли и простили — снова начали лепить свои

гнезда. А на следующее утро Леонид Сергеевич собрал всех учеников и всех педагогов во дворе, и в этот день был учрежден еще один школьный праздник — Праздник возвращения птиц. Отмечаем его каждый год, когда прилетают ласточки. Всякий раз Леонид Сергеич говорит взволнованную речь, и послушать ее приходят люди со всей станицы... Он очень хорошо, Таня, говорит: о том, чтобы ребята помнили всегда, как из жарких стран в школьный коридор возвращаются ласточки... Чтобы сами они потом, где бы ни жили, обязательно возвращались хоть ненадолго — навестить родителей, в школе побывать, посмотреть, это он так говорит, «на зеленые холмы и долины своей родины»...

Хорошее с утра Танино настроение все набирало чистоты — как будто она, ни разу пока не оглянувшись, все поднималась и поднималась на высокую гору, откуда ясно видать вокруг...

И вот она оглянулась наконец, вот посмотрела.

Сновали по школьному коридору еще беззаботные мальчишки и девчонки — куда потом, в самом деле, улетят? Каких пределов достигнут? Какими возвратятся потом? Все ли вернутся? Или многие, покинув родное гнездо, так и будут носиться по белу свету, не догадываясь, что душа у них болит оттого, что устала от одиночества дальних полетов в полузабытое детство?

Они с Юлией Филипповной уже спустились на первый этаж, уже проходили мимо закрытых дверей спортзала, когда там, за их широкими створками, знакомо лязгнул турник, и Тане представилось, как обступили, чтобы разобрать его, мальчишки, как потом девочки в черных трико вымоют пол, поставят скамейки, а вечером здесь соберется почти вся школа, будут сидеть даже на задвинутых в угол брусьях, и на низенькую сцену с вытертой посреди крашеного пола белесою плешкой выйдет со скрипкой в руках умница и всеобщий любимец Толя Кудельников...

5

Автобус уходил рано утром.

Сестры уже определили в багажник небольшой Танин чемодан, придвинули к нему объемистую корзину с гостинцами и теперь стояли неподалеку, то переговаривались тихонько, а то помалкивали.

В окруженье родни шумно подходили к красному, с широкими окнами «Икарусу», громко распоряжались, куда деть сумки да мешки, кто возвращался из гостей или ехал в гости; запасливо покуривали перед дорогой уже оставившие в салоне на сиденье портфель редкие командированные; отрешенно глядели в окошко давно сидевшие на своих местах пожилые мужчины с направленьем в краевую больницу или, может, с повесткой в краевой суд и закутанные в тяжелую шаль старухи, наверняка едущие за внуками. Чуть в стороне негромко бренчала гитара, вокруг солдатика, у которого на каждой руке повисло по девчонке, стайкой держалась молодежь. Приезжал проведать больную мать?.. Или забрать из роддома дочку?

Тане отчего-то весело было угадывать, кто ее попутчики, куда они едут, и приподнятое от близкой встречи с мужем да сыновьями настроение омрачала лишь неожиданная Клавина задумчивость.

Все эти дни, которые пробыла Таня в Отрадной, сестра и подбадривала ее, и как могла наставляла, а нынче как будто выдохлась. То никогда не горбилась, а тут уронила голову, потухшими глазами смотрела куда-то себе под ноги. Когда пыталась Таня растормошить ее, Клава, словно желая поделиться с ней, вскидывалась, но потом только вздыхала.

— Ну вот, сестричка, ну во-от! — укорила ее Таня. — Меня, считай, вылечила, а сама упала духом, ты что это?

Клаву вдруг прорвало:

— Ну, кто я им, Таня, кто?! Хоть дяде Павлику, хоть Борису... А душа болит, не могу! Что ж мы за дикой такой народ, что друг друга не жалеем, сами себя едим поедом?

Таня взяла ее за локоть:

— Может, напиши Борису?

Клава с обеих сторон затолкала под платок выбившиеся волосы, надвинула его пониже на лоб, стянула на скулах, и вид у нее сделался решительный.

— Я телеграмму дам.

— Телеграмму?

— Не хотела тебя перед дорогой расстраивать... Соседка утречком прибегала. Дядю Павлика вчера в больницу забрали — тромбофлебит. Ногу отрезать грозятся... Дотянул!

Танин голос упал:

— Тогда телеграмму.

— Ну, буду я ему передачи носить! — говорила Клава так громко, что на них оглядывались. — Ну, бабы-соседки сварят курицу... Разве это для него сейчас главное?

— Дай телеграмму. Дай.

— И не хотелось, конечно, в чужие дела встревать!.. Если Борис ничего такого не подумает, жена вдруг неправильно поймет...

— А чего тебе этого бояться? У вас ведь вроде ничего такого и не было.

И Клава вскрикнула, как подстреленная:

— Да ничего, Таня, кроме любви!

Те, кто стоял с ними рядом, уже махали сидевшим в автобусе, и там кивали в ответ и тоже приподнимали руки. Красный «Икарус» задудел пронзительно и качнулся.

Клава крепко обняла Таню, обожгла губами, потом отстранила порывисто, перекрестила:

— Езжай, сестричка!

В низко, почти до смоляных бровей надвинутом шерстяном платке, по-монашески строго открывавшем лишь смуглый треугольник сурового лица с наполненными болью глазами, Клава сейчас так была похожа на мать, что Таня, уже было отступавшая спиною к автобусу, стремительно вернулась и снова припала к старшей сестре.

— Езжай, Танюша, и ни о чем не думай, езжай!

Автобус, плавно покачиваясь, переваливал через мерзлый бурт гравия на краю площадки, выкатывался на асфальт, и Таня, еще не добравшись до места, потянулась к широкому окну, чтобы еще раз махнуть Клаве, слегка коснулась грудью плеча молодой женщины в светлой дубленке и цветастом платке, и та выставила локоть и молча отстранила Таню.

Таня извинилась и быстро пошла по проходу дальше. Попробовала глянуть в другое окно, но «Икарус» уже успел развернуться и медленно разгонялся на асфальте.

Мимо неслись смутно белеющие над темными заборами дома с пятнами света над круглыми номерами, отлетали назад корявые стволы черных акаций.

Таня второпях прошла дальше своего места и теперь вернулась и села рядом с солдатиком неподалеку от женщины в дубленке и цветастом платке. Солдатик,

ткнувшись головой в ушанке в оконное стекло и прикрыв глаза, чему-то улыбался и шевелил губами. Таня слегка откинулась в удобном кресле и тоже прикрыла глаза.

Автобус, мягко покачиваясь, все набирал скорость, и было похоже, что сидишь в большом самолете, который по длинной взлетной дорожке так и будет мчаться мимо еще полусонных хуторов и станиц, мимо небольших, только недавно начавших расти вверх просторных кубанских городов.

Как случается в первые минуты пути, к Тане вдруг пришло ощущение, что для нее начинается новая, еще неизведанная жизнь, и сердце защемило: какая?.. Подумала, что, несмотря ни на что, она счастлива, счастлива ее семья, счастливы дети, и в ней шевельнулось и заныло тихонько бабье: как счастье это сберечь?

Впереди сказали громко:

— Что у вас в кошелке?.. Дышать нечем.

Капризному женскому голосу ответил неуверенный мужской:

— Да что там может? Вроде ничего такого...

— Ну, что вы там везете, что?

— Мы-то? Что везем?

— Ну, а кто ж еще?

Таня открыла глаза и выпрямилась.

Эта, в дубленке, сидела, выгнувшись в сторону, а сосед ее, пожилой мужчина с длинным сухощавым лицом, растерянно посматривал на нее сбоку.

— Харчи там... на дорогу.

Эта, не оборачиваясь, допрашивала:

— Какие харчи?

— Обыкновенные.

— Яички вареные, — подсказала сидевшая позади них немолодая женщина в новеньком полупальто из плюша. — Сальца кусочек.

Соседка ее негромко добавила:

— Пирожки с квасолью.

— Откуда тогда — кислятиной?

Мужчина вдруг обернулся, лицо у него разгладилось:

— Дак это от меня... Силосом! Днями как раз открыли еще ямку.

Эта, в дубленке, фыркнула:

— А переодеться нельзя было?

— Ужли не переоделись? — все радовался теперь

чему-то ее сосед. — На свадьбу едем, а не куда-нибудь! — приподнял плечом черную куртку из нейлона, повел выбритым до синевы подбородком. — Рази я в этим — на кошаре? Конечно нет. Да только от его такой дух, что все с себя скинь, останься в чем мать родила, а пахнуть все равно будешь... с овечками так!

— А почему другие страдать должны?

Таня поймала себя на том, что на мелкие ромашки, которыми расшит рукав дубленки, на кисти от платка, красиво рассыпанные по плечу, смотрит чуть ли не с ненавистью.

А пожилой сказал мягко:

— Разве то, дочка, страданье?

И Тане тоже захотелось быть терпеливой и всепрощающей.

— Послушайте! — сказала дружелюбно, слегка наклоняясь к женщине в дубленке. — Если хотите, давайте местами поменяемся?

Та глянула на Таню мельком, и голос был такой, словно великое одолжение делала:

— Пожалуйста!

Автобус, когда они пробовали разминуться в узком проходе, сильно качнуло, и Таня свободной рукой поддержала женщину и потом улыбнулась ей:

— Вот и хорошо.

«А ты ведь, девка, здешняя! — подумала, еще продолжая улыбаться. — И с «кошелкой» своею, и с «кислятиной»... ишь, светская дама!»

«Икарус» резко наклонило опять, и мужчина, спокойно дремавший с краю на другой стороне Таниного ряда, тяжело повел головой и вскинулся:

— Что?! А?..

Женщины, ехавшие на свадьбу, сказали почти в один голос:

— Ничего, Петя, спи, Петя, ничего!

Новый сосед смотрел на Таню так радостно, словно выручила его из невесть какой беды:

— Может, вас к окошку пустить? А я поближе к Петру.

Она согласилась весело:

— Спасибо!

Свет в салоне погас, и, когда привыкли глаза к зыбкой предрассветной мгле, она протерла варежкой отпотевшее стекло и за смутно белеющими полями увидела невдале-

ке иссиня-темную, с уступами по гребню горную гряду, над которой едва заметно голубела тонкая полоска зари.

Отчего-то ей стало еще веселей, среди этого веселья неожиданно вспомнила: а как же, в самом деле, бедная Клава?.. Как?

Задремавший было мужчина снова вскинулся, она поняла это по хриплому голосу:

— Мимо гэса едем?..

И женщины опять одинаково откликнулись:

— Мимо гэса, Петя, мимо гэса, спи.

— В сорок втором, когда он пришел, — негромко сказал мужчина, — в райисполкоме штаб устроили, а мы через улицу наискосок — у нас переводчик жил, Курт. Ласковый такой, хоть за пазуху сажай. Вежливый. И не жадный. То хлеба кислого даст в золотой бумажке. То конфетку. По-русски лучше наших знал. А меня по-ихнему кликал: Пе́тар. Один раз пальцем подзывает — это в сентябре уже. «Пе́тар! — говорит. — Хочешь посмотреть, как наши солдаты будут жидов стрелять?» А я-то откуда знал?.. Хоть тогда уже ухорез был, а ума нема — семилеток! А как же, говорю, конечно, хочу! Он тогда: бери, мол, дружков, пойдем со мной на канал, я покажу, где будете стоять. Я обрадовался!.. Всю пацанву со своего края собрал: у всех прящи за пазухой, камушками карманы понабивали... Приходим на канал, он показывает ветки на бугорке: там ложитесь. Легли. Смотрим, подкатывают машины эти тупорылые. Одна за одной!.. Одна за одной! Слезают с них люди. Женщины с детями. Старики. Наши все. Обнимаются почему-то, плачут. Выстроили их немцы повдоль канала в один ряд, напротив ручной пулемет поставили, один за его лег, а другой рядом на одну коленку стал. Что ж, думаем, дальше?.. А тут — др-р-р-р!... И как начали наши падать!.. А мы, дураки, думали, они будут по птичкам... А тут кровь, крики! Пацаны эти, дружки мои, уши ладонями позакрывали, в землю лицом поутыкались... А меня рвет, ну, наизнанку выворачивает, думал, задохнуся...

Женщины за его спиной взмолились:

— Петечка, родненький, ну, не надо!

Он спросил строго:

— А почему это?.. Я всегда вспоминаю, когда мимо канала еду. Пацан мой с меня смеется, что я от телевизора отвертываюсь, если там война...

— Пе-еть?..

Он отозвался тише:

— Ладно, раз такое дело.

Таня отняла лоб от жгучего стекла, широко открыла глаза, смотрела в редеющий сумрак за окном.

А счастье-то, подумала, кончилось!.. Какое может быть счастье? Как она, глупая, могла об этом мечтать? Если лежит в больнице покинутый Христюков дядя Паша?.. Если страдает сильная Клава?.. Если подружка задушевная Вера так и не захотела говорить откровенно, а только улыбалась Тане и улыбалась, хоть губы у нее горько подрагивали?.. Если бросил свою скрипку Кудельников Толя?.. Если этот мужчина рядом до сих пор не может забыть, что случилось в далеком сентябре?

И счастье всегда на этом кончается, когда начинаешь думать и хоть что-нибудь понимать.

А может, понимать — это счастье?.. Только непростое. Не просто бабье. Особенное. Печальное.

Но ведь должен кто-то печалиться обо всех?

Горел каганец, горел...

1980

ПОД ВЕЧНЫМИ ЗВЕЗДАМИ

ОЗЯБШИЙ МАЛЬЧИК

То ли из-за холодов, то ли потому, что рейс этот последний, народу в автобусе почти не было, лишь несколько человек сидели на передних местах, постукивали ногами.

У меня были большой чемодан и пузатая сумка, и я пошел назад, чтобы поставить все это там, где вещи мои никому не помешают, и тут его и увидел: сжавшись, он одиноко сидел на заднем сиденье — руки засунуты в карманы и локти чуть-чуть расставлены и будто приподняты вверх, козырек надвинут на глаза, голова, туго обтянутая верхом кепки, опущена, уши оттопырены, ткнулся в грудь подбородком, а воротник торчит, шея голая... И сесть где придумал — у самой задней двери, а она плотно не прикрывается, щель такая, что запросто можно просунуть кулак... Сидит, нахохлился, бездомный воробей, да и только!

Я определил свои чемоданы, устроился на сиденье над задним колесом, там, где два кресла стоят одно напротив другого, обернулся к нему:

— Садись хоть поближе, а то совсем замерзнешь!

Он охотно перешел, сел напротив. Щупленький мальчишка, совсем худерба. Подбородок остренький, и нос тоже маленький острый, глаза хорошие, внимательные. Лет, наверное, одиннадцать мальчишке.

— Холодно небось?

— Холодновато...

— А чего это ты так поздно надумал ехать?

Он как-то по-взрослому сказал:

— Да вот пришлось.

И тут же пристукнул зубами, задрожал, прогоняя холод.

— А ты разомнись, пока стоим. Зарядочку быстренько — раз, два!

— О-ой! — сказал он, пытаясь слегка приподнять одну руку и морщась. — Не получится у меня зарядка... До сих пор все тело гудит.

— Чего это оно у тебя гудит?

— После тренировки.

Пошел разговор:

— Во-он как! А чем занимаешься?

— Боксом, дядь.

— Ну, ты молодец. И давно уже занимаешься?

— Третий год.

— А сколько тебе?

— Да вот двенадцатый пошел...

— И правда молодец.

Автобус катил теперь по освещенным улицам, поворачивая, притормаживал, и за полузамерзшими стеклами подрагивали и смутно расплывались огни — то белые, от далеких уличных фонарей, а то зеленые и синие — от реклам. Как ни всматривался, я не узнавал мест, по которым ехал, и только потом вдруг понял, что автобус идет другою дорогой и как раз сейчас мы будем проезжать мимо нашего дома.

Меня словно какая-то сила подняла с места, толкнула к затянутому морозом окну на противоположной стороне, но было уже поздно, машина снова поворачивала за угол, и я только торопливо повел головой, а потом, придерживаясь за спинки кресел, вернулся на свое место, присел, и оттого, что я не успел проводить взглядом свой дом, на душе у меня вдруг стало тревожно. Как будто это было очень важно: успеть.

Странно, совсем недавно я ездил чаще и ездил куда как дальше, хотя бы потому, что ко всем маршрутам каждый раз мне надо было прибавить еще и путь от Сталегорска до Москвы, откуда у нашего брата начинаются почти все дороги, но вот поди ты: никогда раньше я не уезжал из дома с таким бьющимся сердцем, как теперь. Может быть, уже давал себя знать возраст? Или это было что-то другое, связанное все с тем же — с переездом из Сибири, где я прожил больше десятка лет, с возвращением сюда, на Северный Кавказ. На мою родину.

Тут творилось со мной что-то непонятное.

Жили мы теперь в чудесном маленьком городке,

который утонул в зеленой и теплой котловине у подножия недалеких гор с розовато-синими пиками. Во всякое время года был этот городок хорош до того, что при ощущении красоты его тонко щемило сердце.

Меня особенно трогали удивительные его, давно исчезнувшие в больших городах необыкновенной чистоты запахи. То зимой, когда черную наготу каштанов да ясеней прикроет первозданной белизны снег, среди легкого морозца уловишь вдруг витающий над пивным заводом сытый парок ячменного солода. То весной, когда промчится гроза и улетающий вслед за ней прохладный ветер рассыплет на мытых улицах крошечные лепестки отцветающих вишен, ты поймаешь вдруг мятное пряничное тепло, плывущее из раскрытых окон кондитерской фабрики. Летом сладкий дух древней «изабеллы» будут покачивать на себе горячие дымки шашлыков, а осенью, когда закаты цвета молодого вина уже поблекнут, вечерняя сырость остро пропахнет первой прелью да горьковатым куревом окраинных костров, на которых сжигают бурьян и палые листья.

Чего, казалось бы, живи теперь да живи, но меня то мучила тоска, то одолевали страхи и неуверенность.

Сначала я относил все это за счет нашего неустройства на первых порах, но потом, когда все более или менее утряслось, спокойствие ко мне так и не пришло.

Казалось, все было хорошо, но вот в умиротворение зимних сумерек врывался грохот прокатного стана. Городок, замерший у синих предгорий, словно молнии, озаряли красноватые сполохи плавки, и мне вдруг нечем становилось дышать... Или убаюкивающее тюрюканье сверчков в осеннем саду родной моей станицы неожиданно взрывал тысячеголосый крик, и вслед за ним слышался хрусткий удар шайбы о промерзший борт хоккейной коробки, и я крепко зажмуривал глаза, как от внезапной боли.

В такие минуты все эти благодатные запахи игрушечного городка я бы, не раздумывая, отдал за то, чтобы не в воображении, а наяву лишь на секунду ощутить тот самый аромат, который ты вдруг уловишь, когда моторная лодка будет похлестывать днищем о перекат еще за тридцать километров от очистных сооружений за нашим поселком.

Необычные для юга холода и небывалый снег этой зимы я принял как дружеский привет издалека, и долгие

метели были для меня словно старый и надежный союзник, одна мысль о котором прибавляет сил. По улице в эти дни шагал я с особым настроением, и, даже когда занят был разговором или на чем-то сосредоточен, где-то на втором плане то мгновенно проносились, а то плыли медленно и безмолвно обрывки знакомых видений: скованное льдом и уже заметенное порошей широкое плесо, отороченное зубчаткой ельника. Сизые дымки над крошечной, утонувшей в снегу деревенькой и первая над тайгой зеленая звезда. Собака, только что ворошившая рыхлый сугроб, подняла карие глаза, и горячая морда у нее еще залеплена белым...

В скверике в центре города однажды я увидел покрытую куржаком сосну и вдруг остановился как вкопанный. Было синее, с колким морозцем утро, и освещенная ранним солнцем пышная крона с блестками инея на концах веток показалась мне вдруг хорошо знакомой, и знакомыми были и две растущие рядом березки, и смутные очертания кустарника чуть поодаль. Пройти еще самую малость, и начнется молодой осинничек с развалом лосиных следов посередине и с петлями заячьих набродов, а за ним тебе откроется внизу узкий и длинный лог с тугими гривами пихтача на крутых взлобках и там, в самой горловине его, у ручья совсем почти незаметное издали зимовье дяди Саши Тимакова, и высокие сопки над ним, и бескрайняя тайга, и дальние гольцы...

Я постоял еще немножко и пошел вбок, туда, где тянулась широкая, со скамейками по бокам аллея, и ни разу не оглянулся, и ни разу больше не приходил сюда, словно боясь обмануться, но всегда теперь помнил, что есть одно такое местечко, куда я, может быть, еще приду, если станет мне совсем плохо.

До сих пор я был легок на сборы, но здесь любая поездка, даже самая близкая, стала для меня вдруг проблемой, и, собираясь, я нервничал и, пожалуй, в последние день-два надоедал своим домашним настолько, что, провожая меня, они еле сдерживали вздох облегчения. Так и нынче.

У порога жена подбадривала меня взглядом, ей хотелось, чтобы напоследок в окружении троих наших ребятишек я увидел ее улыбающейся, уверенной в себе и в том, что этот месяц, пока меня не будет дома, она и сама с ними отлично справится. Я все это понимал и был благодарен, но, ей-богу, больше, пожалуй, мне хотелось

уловить тогда какой-нибудь признак, из которого можно бы заключить: без меня им тут будет нелегко.

Со старшим у нас был на днях серьезный разговор о его школьных делах, и сейчас он стоял с учебником геометрии в руках и тихонько покачивал головой, словно все еще что-то про себя повторял и никак не мог оторваться, и вид у него был нарочито глубокомысленный, но я-то знал, что тут же, как только щелкнет замок, он бросится в детскую и учебник с шелестом полетит в угол, а сам он — бедные наши соседи! — с маху опрокинется на тахту и задерет ноги.

Средний рассмешил нас вчера. Мы сидели на столом, ужинали, все как-то притихли, и он вдруг со вздохом сказал:

— Хоть бы недельку пожить без всех этих вопросов.

Я так и застыл с открытым ртом:

— Это без каких же вопросов?

— Ну, «вытряхни, пожалуйста, из пепельницы», «подай тапку».

Теперь мать выжала из него наконец, что он «будет скучать», но по глазам его очень хорошо было видно, что он отлично понимает: с моим отъездом «вопросов» для него станет вдвое меньше.

А младший наш, Митя — совсем кроха, — сидя у жены на руках, усердно делал мне «до свиданья, до свиданья», и все они вместе с ней демонстрировали, в общем, такую твердую решимость без меня продержаться, что, казалось, не могли дождаться, когда дверь за мной захлопнется.

И я спускался по темной лестнице и грустно думал, что младший мой, как говорится, не одинок, что все трое моих мальчишек ничего еще пока не понимают, и с внезапной тревогой бросился потом к замерзшему окну, когда автобус катил мимо нашего дома.

Теперь мы были уже за городом, но ехать стали заметно медленней. По заиндевелым стеклам то и дело ползли желтые блики от встречных машин, ползли еле-еле — покрытая наледью полоска асфальта здесь совсем сузилась, а на обочину не съедешь, там теперь тянутся белые островерхие хребты, и черные стволы голых деревьев вдоль дороги сиротливо торчат над горбатыми сугробами.

Зима и правда для здешних мест просто небывалая.

До сих пор я и сам себе не желал признаваться, что мне, как и всем, тоже холодно, все держал сибирскую

марку и ни разу не появился на улице ни в ушанке, ни в теплых ботинках.

В этом городе, где я теперь жил, в обычае медлительная беседа где-нибудь посреди тротуара на улице, и я, привыкший к торопливому ритму рабочего поселка, на первых порах все куда-то невольно спешил и чувствовал себя неловко, когда понимал, что беспокойством своим этот здешний обычай я безжалостно нарушаю. Но теперь я уже пообвык. Порассуждать о коварстве нынешней зимы останавливался на улице с двойным удовольствием и только начинал настраиваться на благодушный разговор, как вдруг замечал во взгляде у своего собеседника некоторую нервозность, и становилось неловко мне теперь оттого, что опять я словно чего-то не понимал, продолжая задерживать на холоде озябшего человека. Я тут же протягивал руку, а мой знакомый, поспешно подавая свою, другою виновато тер уши или проводил по влажным от изморози усам.

А сейчас я, кажется, впервые пожалел, что не оделся теплее, пальцы на ногах у меня уже вконец занемели, острый сквозняк, бежавший над металлическим днищем автобуса, немилосердно жег лодыжки.

А мальчишка напротив и совсем, видно, застыл. Ткнул в грудь подбородок да так и замер.

— Вот, брат, как нынче дает.

— Дает так дает.

— Нам с тобой надо было валенки надеть, а мы в туфельках.

— А вы, дядя, пальцами шевелите, а потом — пяткой в пол или вот сюда.

Он уперся подошвами в ножку моего сиденья, а плечами прижался к спинке кресла, напрягаясь всем телом, и маленький его острый подбородок слегка приподнялся и задрожал.

— Уф, знаете, как сразу тепло.

Я невольно прищурил глаза, улыбаясь ему: ишь, теоретик.

— Ну, а в дневнике-то у тебя как? Терпеть можно? Или сплошные двойки?

— Да нет, как сказать.

— Одни пятерки, что ль?

— Да нет, не одни, но есть. — И тут же вздохнул: — Верней, были. В той четверти. А в этой не было.

— Что ж ты так?

Он снова ответил, не вдаваясь в подробности:

— Так получилось. — Помолчал немного, а потом словно решил-таки досказать: — Бокс много времени отнимает, вот в чем беда. А бросить его я не брошу.

И лицо у него стало строгое.

— Это ты правильно. Ни в коем случае не бросай. Сам я бросил. И чем дальше, тем обиднее почему-то об этом мне вспоминать.

А начиналось так хорошо. В новом здании университета на Ленинских горах был прекрасный зал, и занимался с нами не кто-нибудь, а Виктор Иванович Огуренков, тренер сборной страны, и ребята из сборной, когда съезжались в Москву перед поездками за границу, работали у нас в зале, и тогда тут было на что посмотреть. Нет-нет, время то было замечательное, жаль, что его нельзя повторить, нельзя прожить заново.

У меня вроде бы получалось, и раза два или три Виктор Иванович проворчал что-то такое, что можно было понимать как похвалу, а потом произошла такая штука: на тренировке у меня украли часы.

Как-то после разминки я на минуту вышел из зала, зачем-то заглянул в раздевалку и тут увидел, как дверцу моего шкафа закрывает рыжий высокий парень, — он стоял еще без перчаток, только ладони были перебинтованы. Тогда-то я не придал этому значения, ни о чем таком не подумал: может быть, человек ошибся, да мало ли! В те счастливые времена я был яростно убежден, что одно только слово «московский» уже как бы является надежной гарантией против всего дурного, иначе и быть не могло, а как же — здесь, в стенах университета собрались самые достойные, и все они вместе — это тоже своего рода сборная, и это чудо, что в нее вдруг попал и я...

И когда я заметил рыжего около моего шкафа, мне и в голову ничего не пришло. Только потом, когда пропажа обнаружилась, тот миг увиделся мне как бы заново, и как в зале кино, когда смотришь фильм второй раз и замечаешь уже гораздо больше подробностей, так и я теперь уловил, теперь припомнил, что, увидев меня, рыжий как-то странно сжал ладонь...

Не знаю, что я сделал бы, если бы это дошло до меня сразу, но как обвинить человека в воровстве задним числом.

Вот они, ладные ребята, уже одетые после душа,

затягивающие галстуки, поправляющие виски, — влажные волосы ровно расчесаны, и у каждого по тогдашней моде — кок, и от всех прямо-таки пышет чистотой и здоровьем. И вдруг подхожу к ним я — в тюбетейке, которую вынужден носить, потому что иначе прическа моя тут же рассыплется, как плохо сложенная копна, и с прыщиком на подбородке, в черной вельветке на «молнии» и в широченных брюках.

Я вообще заикаюсь, но, допустим, мне удается внятно произнести:

«Ты взял мои часы — отдай».

Все лица уже повернуты к нам. «Слышали, что он сказал?» — сощурившись, спрашивает рыжий. Плотная стенка вокруг меня смыкается. «Что тут происходит, молодежь?» — это Виктор Иваныч. «Он говорит, что у него украли часы!» — «Эй, парень, — скажет Виктор Иваныч, — а ты перед тем, как сказать, подумал? На кого ты хочешь поклеп возвести? На одного Динковича или на всю секцию? А может, и на... ты подумал, где ты учишься?»

А я был тогда и правда парнишка не очень испорченный, и ночью, когда ворочался на своей койке в общежитии на Стромынке, все представлялось мне таким образом, словно, подозревая Динковича, я невольно замахивался и на наш высокоглавый университет, и на светлые идеалы, и на что-то чуть ли не самое святое.

На следующую тренировку я пришел с тяжелым сердцем. А у Динковича заболел партнер, мой тоже почему-то не появился, и в спарринг Виктор Иваныч поставил нас вместе.

Мне было стыдно и за Динковича, и за себя, и за весь белый свет, я мучился и пропускал удары, а он бил и бил без промаха, и, перед тем как все закрывала тяжелая его кожаная перчатка, в совиных глазах у него я каждый раз ловил белые вспышки какой-то непонятной мне дурной ярости.

Конечно, это была слабость — на секцию я больше не пришел.

А ты ходи, мальчик, ходи — может быть, и я тогда устоял бы, если бы в спортзал впервые попал не в восемнадцать, если бы запах пропахшей пóтом кожи на перчатках вдохнул бы раньше и раньше ощутил все то, что я, кажется, так ясно ощущаю и сейчас — и прилипшую к телу майку, и мокрый свой подбородок на горячем плече,

и боль в скулах от тупого удара в челюсть, и солоноватый привкус во рту, и шнурки, которые вдруг хлестнут по щеке, и тугую резинку на поясе, все!

— Ты не бросай. Подтянуться, брат, с учебой надо железно, но секцию не бросай.

— Кружок...

— Да, кружок.

— Другой раз я боюсь, что не выдержу, — сказал мальчишка. — Но пока я держусь. Правда, мне сейчас ох и здорово достается!

— Почему?

— Да просто мне не повезло. К нам новенький пришел в этом году. Тренер поставил его со мной и говорит: а ну-ка, Толя, покажи ему, как надо работать. А он такой же вроде, как я. И рост, и все. А потом я чувствую, что-то не так, точно — не так! Больно он крепкий. А сколько тебе, говорю, лет? А он: четырнадцать. Представляете, дядь, он почти на три года старше меня.

— Д-да, слушай, это, наверно чувствительно!

— Еще как! Он так колошматит!

— А он давно занимается?

— Говорит, нет...

— Но ты-то видишь?

— В том и дело, вижу. Мне кажется, он давно не новичок, он такие вещи знает...

С высоты своих тридцати пяти я решил дать ему совет:

— А ты уходи... — И не очень ловко повел шеей, на которой был туго застегнут воротничок с крошечным квадратиком материи, где стояла цифра сорок четыре. — Ты уходи — раз!

— Не, дядь, я не могу от него уйти.

— Почему?

— Да в том и дело, что он видит. Вы понимаете, я только собираюсь, а он видит. Я только финт, а он разгадывает. Я — на обманку, а он — не идет. Понимаете, он по глазам меня видит.

— Да, слушай, попал ты в положение.

Все-таки ему было всего одиннадцать, он вздохнул:

— Другой раз думаю, попасть бы к нему домой, посмотреть: есть ли у него грамоты за бокс?

— А ты спроси у него. Так, будто между прочим: а ты, наверное, уже занимался боксом?

— Но он-то при мне сказал тренеру, что нет. А если

я спросил, значит, он меня одолевает? Чего б я иначе сомневался? Так же?

Мне ничего не оставалось, как согласиться:

— В общем, так.

— Вот я и держусь. А что дальше... Прошлый раз он мне саданул, я сначала подумал, у меня челюсть треснула, — в тоне у него, конечно, появилась гордость. — Раз потрогаю, два потрогаю — ну, точно треснула. Потом неделя, две — нет, вроде прошло.

— И ты все это время ходил на бокс?

— А что ж он тогда подумает? Вот я и прикрывался.

— Слушай-ка, — сказал я ему очень решительно. — Ты поговори с тренером.

— А что я ему скажу?

— А так и скажи. Как мальчишку, твоего партнера?

— Борька.

— А Борька, мол, на три года старше.

— А вдруг тренер скажет: а я знаю. Ну и что?

— Как что?

Мальчишка сказал очень просто и очень грустно:

— Он ведь поставил меня и сказал: ты покажи ему, Толя. Выходит, я не могу показать? И он ведь видит, как мы боксуем. Он, наверное, все понимает. Но раз надеется на меня...

Тот, старший, мне здорово не нравился.

— Ну, слушай, если он занимался боксом, ему просто должно быть совестно выдавать себя за новичка!

— Если бы я знал точно.

— А ты спроси.

— Выходит, я ему не верю? Или так сильно напугался...

— Да-а, брат... Но это тоже не дело, чтобы он колотил тебя.

— А мне, думаете, хочется? Вот я и думаю все время, и думаю.

— Да, тут ты, ей-богу, попал.

Он подышал на оконное стекло и приник глазом, а когда снова повернулся ко мне, лицо у него было задумчивое.

И все-таки ты не бросай, мальчик, нет, не бросай, ты держись.

С этим рыжим, с Динковичем, у нас потом сложились странные отношения. Наша университетская многотиражка напечатала мой рассказ, очень слабый и сентименталь-

ный до того, что мне и сейчас еще вспоминать об этом неловко...

У меня был друг Дарио, из тех испанцев, которые детьми еще приехали в Россию. Мать у него умерла еще там, на родине, а об отце ничего не было слышно, и Дарио давно уже считал себя круглым сиротой. И вдруг его разыскал отец, бывший капитан торгового судна. Оказалось, он увел корабль на Кубу, и жил там, и тоже плавал, и поднял на своем «купце» красный флаг тут же, как только Фидель занял казармы Монкадо, и в Москву он приехал с самой первой делегацией новой Кубы.

Дарио рассказывал, как отец хотел, чтобы он вспомнил тот день, когда они расстались, наверное, для него это было почему-то очень важно, — он снова и снова рассказывал о давке в порту, о бомбежке, о том, как над французским транспортом, увозившим детей, завязался воздушный бой. А Дарио, как ни напрягал память, видел только большой оранжевый апельсин, который тогда кто-то сунул ему в руки, а отец, конечно, не помнил этого апельсина, и мой рассказ был обо всем этом, только я почему-то решил, что все должно происходить в ночь под Новый год — и расставание в Барселоне, и встреча в Москве... И сын с отцом медленно шли по заснеженным улицам, и под ноги им бросалась метель, и парень-испанец, выросший в России, вспоминал огромный золотисто-красный апельсин.

Оказалось, этот рассказ понравился Динковичу, и как-то он подошел ко мне и заговорил. Пожалел, что я бросил секцию, предложил вернуться и под конец сказал, что он берет меня под свою защиту, что-то такое. В общем, это было и удивившее меня, и, признаться, растрогавшее предложение дружбы, растрогавшее, пожалуй, потому, что тогда я впервые стал догадываться о тайной силе слов, твоею волею сведенных вместе.

Странно эта дружба началась, и странно она закончилась.

Мы были с разных факультетов, он с юридического, а я тогда еще не ушел с философского, и Динкович ревновал меня к нашим ребятам и при них вел себя особенно покровительственно, как бы отделяя меня от моих однокурсников, как бы отгораживая от них, как бы от чего-то защищая. В общежитии все это было еще не так заметно, но когда все вместе мы оказались на сборах...

Есть, наверное, у казармы такое свойство — чего-то она нас сразу лишила, чего-то тут же прибавила.

А может быть, это было возмужание, не знаю, — так или иначе, в нас сильнее стал жестокий дух соперничества.

Динкович привез на сборы перчатки.

В первый же день он предложил мне заниматься, и мы начали, и вокруг нас стали собираться «юристы» и «философы». А наши бои отчего-то вдруг все меньше стали походить на тренировку, на каждый мой удачный удар Динкович молниеносно отвечал такой серией, что у меня в глазах начинали плыть круги. Болельщиков становилось все больше, и «юристы» валялись вокруг на траве и покуривали, а наши очкарики стояли, сбившись в кучку, и даже не пытались меня подбадривать.

Дело, пожалуй, еще и вот в чем: состав курса у «юристов» был, как нигде, однородный, и теперь-то, издалека, я хорошо вижу — учились там крепкие мальчики, уверенные в себе и в будущем своем предназначении. А на наш философский, кроме всего прочего, шел все больше народ, который успел уже усомниться в том, что мир можно перестроить одними несложными командами. Как ни на каком другом факе, у нас было много бывших фронтовиков или ребят, уже прошедших через армию — старослужащих. На сборы вместе с нами они не поехали, и сразу же наш курс стал почти вдвое меньше и как будто осиротел. Или мне просто хочется оправдать чересчур мирных моих сокурсников?

Только после отбоя кто-нибудь из них вдруг со вздохом говорил, что Динковичу, мол, конечно, повезло — еще бы, такой терпеливый ему попался «мешок»!

А Динкович и правда совсем уже обнаглел, даже не считал нужным держать руки в защите — тогда была эта мода, работать с опущенными, как у Енгибаряна, перчатками. Иногда мне казалось просто нечестным этим воспользоваться, но однажды, когда, бросив руки вниз, он приплясывал передо мной, с насмешливой улыбкой глядя, как я прихожу в себя после любимого его крюка «по печени», я бросился на него, забыв обо всем, и удар получился крепкий, он упал, и впервые за все это время «философы» мои радостно закричали.

Потом он бил меня так, что белая исподняя рубаха была сплошь покрыта бурыми отпечатками перчаток, и «за неряшливый вид» наш молоденький лейтенант вкатил

мне три наряда вне очереди. Динкович знал, что у меня слабый нос, советовал есть чеснок, которым от него попахивало почти постоянно. В тот раз он этим воспользовался.

С этого дня мы отдалились друг от друга, а потом судьба и вовсе развела нас: я получил направление в Сибирь, на стройку. Динкович уехал в Ростов, сперва работал в милиции, потом ушел — говорили, не по своей воле — и с тех пор подвизался в каких-то организациях, которые занимались не то снабжением, не то коммерцией; один из его однокурсников сказал мне как-то с усмешкою, что знание законов Динковичу необходимо теперь вовсе не для того, чтобы следить, как их соблюдают другие...

Так, нет ли — во всяком случае, пока он преуспевал, заметно продвигался по службе и довольно скоро перебрался в Москву.

Потом мы с ним встретились в Сталегорске.

Однажды зимой мне в поселок позвонил мой друг и сказал, что в восемь вечера «при полном параде» я должен быть в городе, в ресторане «Русский сувенир». Лучше один, без жены, потому что в принципе намечается мальчишник. В очень узком кругу. Состав? Пусть это будет для меня маленький сюрприз.

В тот вечер я увидел на столе закуски, о наличии которых в нашем городе я до этого, признаться, и не подозревал. Очень жаль, что мы с моим другом оба не были дипломатами; покачав головою, о щедрости стола я заговорил вслух и только тут понял, что свалял дурака. Ты слышишь меня, Геннадий Арсентьевич? Ты помнишь, какой урок преподал нам тогда Динкович?

Бесхитростные мои слова стали как бы эпиграфом к чуть небрежному и будто ненароком устроенному показу, как надо уметь жить.

Не знаю, кто в этот вечер подходил к нам чаще — официант или администратор. Знавший нас как облупленных и, ей-богу же, дороживший этим близким с нами знакомством, первому он еще издалека начинал улыбаться Динковичу — так, одними глазами, — и к первому потом к нему обращался, и одобрительные отзывы о качестве осетрины принимал с чересчур явным удовольствием.

Официант занимался нами тоже хорошо знакомый, я помнил его еще в потертой гимнастерке вместо отутюженного фрака — он был демобилизованный солдат,

работал у нас на стройке сперва бетонщиком, затем перешел в одно маленькое кафе там же, у нас, затем — сюда и, кажется, все сделал правильно, потому что, как говорится, нашел себя. Недавно, когда был телевизионный конкурс городов, за него болел весь Сталегорск, и в финале он обошел своего соперника, официанта из областного центра, и этим почему-то особенно гордились и сталевары наши, и шахтеры, и эта братва — строители: вот, мол, и мы — не лыком...

Он был действительно хороший парень, и сейчас мы с ним, словно вступая в заговор, перемигнулись, и все-таки теперь полные достоинства неторопливые его жесты нет-нет да и казались мне лакейскими... Грустный то был для меня вечер!

Все лица вокруг казались мне не то чтобы враждебными, но полными превосходства и высокомерия, и хотелось выскочить из душного, с пластами сигаретного дыма зала, выскочить, оставив пиджак на спинке кресла, и так, в одной рубахе, пойти по улице, а там вечерняя стынь, там колкий снежок, который мельтешит под фонарями и над витринами, и за седой пеленой метели неслышно подрагивает вдали багровое зарево над старым комбинатом, и в ту сторону спешат трамваи, в которые сейчас лучше все-таки не входить в чистой одежде, потому что какому-нибудь совсем зеленому, только что из училища рабочему человеку больно уж хочется прокатиться в черной, с блестками графита сталеварской куртке, чтобы все видели — парень, понимаешь, не пыль с пряников в гастрономе сдувает.

По улице катится знакомая толпа, и в окружении «вечерников», каменщиков да монтажников с нашей стройки неторопливо идет кандидат философских наук Кондаков, мой друг Стас, бывший мой однокурсник, который тогда, на сборах, первым бросился под перчатки Динковича и первым заступился за меня перед молоденьким нашим лейтенантом, за что и схлопотал те же самые три наряда, — мы вместе тогда собирали в расположении лагеря сосновые шишки, и глубокомысленной этой работы было много, потому что дул сильный ветер, и шишки все падали и падали...

Не знаю, чем бы кончилось наше застолье в «Русском сувенире», но к нам подошел один довольно крупный, скажем так, сталегорский чиновник и сперва, правда, кивнул нам, потом положил кулак на край стола:

— Борис Филиппович, машина внизу.

Он был в тяжелом драповом пальто с каракулевым воротником, а пыжиковую шапку, этот непременный атрибут власти, держал в руке, чуть отставив ее назад, и шапка была вся мокрая, с нее капало на паркет, и я подумал, что, перед тем как подняться сюда, он, пожалуй, постоял в вестибюле, подождал там. Почти тут же к нашему столику подплыла директриса, спрашивая, всем ли гости довольны, и Динкович только степенно покивал, не вынимая изо рта тонкого перышка зубочистки, потом зажал ее губами, раскрывая крошечный, из темного дерева полированный футляр, и тут вдруг на один миг куда девалась его респектабельность, лицо его, до этого строго значительное, вдруг как-то разом обмякло, отвисла вдруг нижняя челюсть, а рыжие совиные глаза стали совершенно дурацкие, такие, какими они бывали у него еще очень давно, когда ни с того ни с сего он мог стать посреди улицы в стойку и, не обращая внимания на прохожих, во всю глотку радостно заорать:

— А по пэчени — бэмз!.. бэмз!

Так и теперь — он вдруг кинул через стол руку с зажатым в ладони футлярчиком, из которого торчали белые хвостики зубочисток, сунул под нос мне, потом моему другу:

— Ты хоть понюхай!.. И ты! Сандал! Такое дерево!

Как лихо и весело мы с тобой, Геннадий Арсентьевич, могли под орех разделывать этих надутых индюков, этих в потном кулаке насмерть зажавших захватанное перо жар-птицы гавриков... А что с нами случилось тогда? Почему мы были словно потерянные?

Я, поперхнувшись, промолчал, а ты только сказал, посмотрев на этого, с пыжиковой шапкой в руке:

— Надо бы, Петр Евграфыч, попросить столичного товарища, чтобы он для музея оставил эту штуку, — славная, так сказать, страница в истории нашего забытого богом города.

А Динкович снова был сама респектабельность, фужер с минеральной взял этаким совсем «мидовским» жестом и подпортил только тогда, когда шумно прополоскал рот.

Потом он сунул ладонь за борт пиджака, и мы с другом тоже, словно наперегонки, рванулись рассчитываться, но директриса подняла пухлые руки:

— Что вы, что вы, товарищи... Уже все.

А Динкович раскрыл бумажник, и белый листок ви-

зитной карточки лег сначала передо мной, потом — перед моим другом.

— Звоните, для вас у меня время всегда найдется, — и глянул вверх, неторопливо определяя в карман бумажник. — Вы их тут не обижаете, Петр Евграфыч? Имейте в виду, что этим ребятам есть кому пожаловаться... Н-ну, имею честь!

И в том, как он вставал, чувствовалась школа — мы тоже вдруг невольно привстали, а наш солидный, скажем так, чиновник расправил плечи и шеей повел по каракулевому воротнику.

Они ушли, а рядом с нами остался стоять этот мальчишка в отутюженном фраке, наш бывший бетонщик...

На улице шел снег, густой и тихий, и отпечатки автомобильных шин у подъезда ресторана были уже плотно припорошены. Маленький скверик напротив пустовал, и каждая скамейка там была ровно застелена белым. Дальше, над теплой от комбинатовских сбросов речушкой высоко поднимался негустой пар, а над ним, над серыми громадами каменных зданий глухо ворочалось иссиня-багровое зарево.

Мы молча пошли по улице, миновали центр и у моста через теплую нашу речку, не сговариваясь, повернули направо, вошли в кафе. Раздеваться не стали — тут был буфет, в котором можно было не раздеваться.

Немножко подождали в очереди, потом все так же молча у высокой мраморной стойки ослабили галстуки, раздергали воротники рубах, постояли еще чуть-чуть, ни к чему не притрагиваясь и словно бы давая отдалиться от себя чему-то чужому и обидному.

И все, наверное, было бы потом хорошо, и об этом странном вечере мы просто постарались бы забыть, но тут случилась одна история, которая до сих пор не дает мне покоя.

Резко отодвинув меня плечом, мимо нас прошел невысокий худощавый мужчина лет тридцати. На нем был зеленый прорабский плащ, и, когда владелец его, кривя губы, обернулся и с головы до ног окинул меня тяжелым нетрезвым взглядом, я увидел и потертый кожушок под плащом, и обмотанный вокруг шеи шарф.

Мы с моим другом пожали плечами, но через минуту человек этот, шедший от буфетной стойки уже обратно, налетел на меня на полном ходу, и тарелка, которую он нес в руке, вдребезги разлетелась на каменном полу...

Он постоял, слегка пошатываясь и словно задумчиво глядя на свой мокрый кулак, в котором он сжимал совсем почти опустевший стакан, потом поставил его на столик со мной рядом, наклонился, подобрал с пола кильку и, держа ее за хвост, осторожно положил на мою тарелку.

— Э, парень, не забывайся! — строго сказал мой друг.

А он тяжело нагнулся, нашел среди фарфоровых осколков еще рыбешку и, приподнявшись, ткнул ею тому в лицо.

Я дернул его за плечо, поворачивая к себе, хотел ударить в подбородок, но промахнулся: кулак скользнул по выложенному поверх плаща меховому воротнику кожушка, и почему-то именно это совсем вывело меня из себя, и, когда я во второй раз ударил уже точно, этот бедолага отлетел под ноги к швейцару, и тот, молниеносно просунув голову между тонкими размалеванными под березу стояками, переливчато свистнул в сторону раздевалки. Там сейчас же выпрямился грудью лежавший на загородке старшина, и все, как назло, произошло в считанные секунды: швейцар, видимо за всем наблюдавший, только что-то негромко сказал старшине, и тот, даже не обернувшись в нашу сторону, быстренько потащил еще не совсем пришедшего в себя человека в брезентовом плаще на улицу.

А милицейский газик мы заметили, когда только подходили к кафе, — видно, ребятам надоело колесить по городу и они на минуту забежали сюда, где шум да суета, а может быть, у них закончилось курево...

По всем забегаловочным кодексам я был безусловно прав, и все-таки чересчур гадко было у меня на душе и в тот вечер, и особенно утром. Было совсем рано, когда я позвонил своему другу Бересневу, капитану милиции, все рассказал и попросил срочно узнать, как там и что с этим парнем. Минут через сорок раздался ответный звонок:

— Это прораб с электромонтажного, Сердюков... Не знаешь? Я тоже не знаю, он у нас недавно. Сам-то он молчит, а там какой-то или сосед его по дому попался, или с участка, — говорит, от него жена ушла, понимаешь, какое дело? Бросила двух ребятишек и с кем-то уехала, а он совсем один, ни матери, ни хоть какой старушонки, никого.

А я не понимал себя, я ломал голову: почему все так

произошло? Не скажу, чтобы после выпивки я был ягодка, вовсе нет, и все-таки бить — это было не в моих правилах, никогда я до этого не бил первым, и теперь я, ей-богу, мучился почти физически и, может быть, впервые понял, что такое — болит душа.

Не раз и не два мысленно возвращался я к этому вечеру и вдруг с уколовшей сердце остротою понял: да это ведь тот удар, который совсем другому был предназначен, вот в чем было дело! Просто этот прораб с электромонтажного подвернулся, что называется, под руку, а на самом деле все должно было случиться чуть раньше... встать бы из-за стола, слегка ткнуть его пальцем в плечо, как будто приподнимая с удобного кресла, спокойно сказать: «А это ведь ты украл тогда в раздевалке мои часы!»

Почему мы прощаем такие вещи? Почему вдруг стыдно становится нам — не им?

Тогда, еще студентом, тебе все казалось, что его грызет раскаяние и этого с него вполне достаточно, ты и сблизился-то с ним тогда больше всего из-за желания помочь пережить ему эти его выдуманные тобой самим угрызения совести... Или ты хотел наказать его добротой? Пусть так. Но теперь, когда пред тобою сидела уже совершенно законченная, с приличным стажем сволочь, у которой губы измазаны были начинкою того самого дармового пирога, который они поедают с таким чавканьем, что ж ты целый вечер просидел с ним за одним столом? Почему тот поединок, когда твоя исподняя рубаха была вся в бурых пятнах, вы с ним вспоминали со смехом? По каким таким законам гостеприимства?

Как все, в самом деле, устроено: в Москве у одного сопляка-мальчишки украли в раздевалке часы, а через много лет в далеком Сталегорске прораб, от которого ушла жена, получает в челюсть, и его тут же увозит милицейский газик... Наверное, мир полон такими странными связями, которые не так-то просто и проследить, — или эту связь я придумал тогда себе в оправдание?

И мне снова до боли жаль было этого бедолагу прораба, горе свое заедавшего килькой под майонезом, и жаль его до сих пор, и до сих пор за весь тот вечер мучительно стыдно. Я очень любил, а теперь, кажется, еще больше люблю этот город, Сталегорск, и на него мне тоже грех жаловаться, но тогда, когда появился Динкович, между нами словно промелькнула серая тень пре-

дательства — пусть не весь он, но что-то из него, из Сталегорска, меня предало. И я тоже предал — пусть не этот город целиком, нет, никогда, — но предал что-то ему безраздельно принадлежащее...

А ты, мальчик, не бросай, нет, не бросай свой бокс.

А он вдруг сказал мне, словно продолжая прерванный разговор:

— Мне бы только узнать, есть ли у него грамоты за бокс!

— Н-ну, может, как-нибудь будешь у него дома.

— А у него далеко дом.

— Как это — далеко?

— Да я ведь, дядя, в интернате живу.

— Во-он что! А где твой интернат? — И я назвал городок, откуда мы ехали. — Там, что ли?

— Нет, еще дальше.

— А куда ты так поздно едешь?

— Под Туапсе я еду. В Индюк. Там у меня мама лежит.

— Как то есть... лежит?

— Больная. Вот и лежит.

Этого я, конечно, не ожидал, на первый взгляд он был довольно благополучный мальчишка. И только теперь я увидел, что и пальтишко на нем совсем худое, и никакого, хотя бы плохонького свитерка, и верхней пуговицы нет на серой рубашонке.

— А что с мамой, Толя?

— Паралич. Из-за меня и разбил...

— Как — из-за тебя?

— Она правда и раньше... Пугливая она очень. За все переживает. А тут приехала в интернат, а у меня как раз такие синячищи... Это мы со старшеклассниками подрались. Двое против шестерых, и директор сказал, там все правильно... Они горбатого мальчика обидели. Ну, вот. Она приехала, а я как раз спал на койке. И все лицо в синяках. А она подумала, как у папы...

— А что с папой?

— Разбился.

Я только повел головой: и неловко его расспрашивать, и как теперь замолчать.

Он сам заговорил:

— Насмерть. Два года назад. Он у меня таксист был.

По всем этим дорогам ездил, по Черному берегу. Туапсе, Сочи, Анапа.

Мальчишка уже не сидел нахохлившись, он стоял в проходе между двумя нашими сиденьями, приподняв плечи, и, чуть отвернувшись, прятал подбородок, ткнув его в кончик воротника.

Автобус потряхивало, он вздрагивал, скрежетал, и я сидел, вытянувшись к мальчишке, и совсем перестал стучать ногами.

— Да-а, брат...

— Его большая машина сбила. «КрАЗ». И он упал в ущелье. Когда спустились туда, милиция говорила, дверка была уже открыта, только выпрыгнуть он не успел. Перевязали его всего... Он два дня еще пожил, только в сознание так и не пришел.

Стало вдруг очень холодно, — только сейчас наконец в полной мере я оценил этот морозный ветерок внизу, под ногами.

— А меня как раз дома не было, к бабушке ездил. Мать не сообщила. Приезжаю, а она в трауре. Кто, говорю, мама, у нас помер?.. Та, говорит, дальний родственник один, ты его, детка, и не знаешь. А где папка? Да где? Ездит, как всегда. Сама плачет. Я стану: чего ты, ма? Да так. А потом пасха была, а мне соседи говорят, пацаны: чего, Толян, пойдешь на могилки? Отца своего проведать...

Невыносимо холодно было в автобусе.

Он смотрел на меня, словно чего-то ждал.

— А ты один у мамы?

— Один... И она теперь одна. Правда, сейчас бабушка приехала. Потому что плохо. Она и письмо мне написала. Мне справку дали, я и поехал.

Я сперва не понял:

— Что за справку?

— Ну, чтобы милиция знала, что я ниоткуда не убежал, что к маме еду...

— Ты, я гляжу, совсем замерз.

— Да ничего.

Меня все не покидало чувство, будто я обязан что-то сказать ему...

— Если мама против, может быть, тут стоит подумать?

Он повел плечами.

— А я думал. Я и у врача спрашивал: что, если брошу? Будет маме лучше? А он замялся... Значит, не

будет. А я брошу. А мне отец говорил: никогда не бросай, Толька! Как бы там ни трудно, а ты не бросай.

На каждой остановке все вставали и принимались приплясывать. Две пожилые женщины, обе в цигейковых шубах, попеременно терли друг другу спины.

Я вдруг спохватился, мне стало неловко: разговариваю тут с ним, а он, бедняга, уже и «бублик», что называется, не выговорит.

— Иди-ка ты на переднее сиденье, а? У этого автобуса мотор впереди. Все-таки потеплей, иди, иди...

Он сел там рядом с полной женщиной в синем длиннополом пальто с хорошей чернобуркой. Она показала ему, что надо сунуть ладони в щель между сиденьями, откуда, видно, пробивалось тепло, и он подержал там руки, а потом снова опустил их в карманы, опять отставил локти, опять затих, уткнув остренький подбородок в грудь, и под оттопыренным его воротником даже сюда, издалека, видна была голая шея.

Я не мог сидеть, попробовал топтаться на одном месте, поджимал и разжимал пальцы — ноги у меня совсем заледенели.

Было и действительно очень холодно, но мне теперь казалось, что все-таки я не слишком замерз, а просто невольно склонен преувеличивать, чтобы не казаться сейчас самому себе таким чрезмерно благополучным.

Мальчишке этому и в самом деле живется нелегко, но, посмотреть, как он держится. Отчего же мы, которым уже за тридцать, тут же расклеиваемся от пустяковой обиды, и выбить нас из колеи может какое-нибудь не столь важное известие?

Каких только страхов не пришлось совсем недавно пережить, а так ли все было плохо?

Опять я мысленно возвращался в прошлое...

Дело в том, что мы с женой начинали на этой стройке в Сибири почти с палаток и, когда пошли ребятишки, хлебнули с ними достаточно. Досталось и обеим бабушкам, — им, может быть, даже больше, чем нам. То одна, то другая — у кого здоровье в ту пору было покрепче — ранним летом спешили в Сибирь за внуками, ахали тут, и вздыхали, покупая на углу за двадцать копеек тощий пучок черемши, и плакали потихоньку, глядя на безвитаминную нашу жизнь в этом поселке, в котором снег был уже изжелта-серым от заводской копоти. Потом, провожая нас осенью с Кубани вместе с детьми, они

съезжались в Армавире и рыдали тут в один голос, наперебой жаловались на плохое здоровье, и каждые такие проводы были похожи на прощанье.

А тут у меня работа действительно — сплошные поездки, уедешь и думай, как там они, вдруг кто из ребятишек приболеет, некому с ним дома посидеть, и ладно еще, если ребятишки, — а вдруг жена? Такое однажды случилось, я бросил все дела и срочно вылетел из Иркутска, и хоть друзья наши не дали мальчишкам пропасть, мы были здорово напуганы... И пошли разговоры о перемене климата.

А в общем-то, у жизни есть достаточно способов заставить человека переехать из одного места в другое, и тут мы должны лишь благодарить ее за то, что к нам она применила, может быть, наиболее милосердный.

Говорят, что в Сибири рубль длиннее обычного. Во-первых, истина эта прямо-таки очень сомнительная, а для нас, во-вторых, куда длиннее оказалась Транссибирская магистраль, по которой бабушки то и дело возили мальчишек. И жизнь тут, на Кубани, была у нас на первых порах не самая веселая, и все приходилось начинать сначала, и то многое, что этому сопутствует, иногда вдруг казалось не только трудным, но и обидным, и в общем не только потому, что секретарша Галя в приемной председателя Сталегорского горисполкома мило улыбнулась бы мне там, где эта, здешняя, смотрела на меня, как сквозь хорошо вымытое оконное стекло.

Это была моя родина, вот в чем дело, и я всегда ею гордился, и в трудные минуты припоминал свою кровную связь с казачьей вольницей, и метельными сибирскими вечерами столько рассказывал о ее ковыльных степях и синих предгорьях... А сейчас она меня словно не хотела узнавать, и мне, давно понявшему, что почем, теперь казалось, что взгляды многих живущих тут равнодушны от довольства местом своим под южным солнцем, от чрезмерного благополучия и теплой сытости... С тоскою я вспоминал свой последний день в Сталегорске.

Грузовик с контейнерами уже укатил. В опустевшей квартире я хорошенько вымыл полы и не успел еще переодеться, когда к подъезду подошла другая машина, и ребята из заводского профтехучилища потащили наверх видавшие виды столы и скамейки. Через две смежные

комнаты мы протянули длинный ряд, а в третьей и на кухне поставили столы без скамеек, это было «для работы по секциям», как сказал мой друг Славка Поздеев, начальник участка из цеха водоснабжения.

Себя он в последние дни именовал «председателем оргкомитета». Славка был из самых старых, первыми начинавших на нашей стройке комсоргов, и всякого рода мероприятий за десять с лишним лет он провел тут больше чем достаточно, но теперь меня так и подмывает сказать, что из всех них это было, пожалуй, лучшее...

На столах, застланных ватманом, стояли неглубокие столовые миски и рядом с ними лежали заслуженные, с гнутыми зубцами алюминиевые вилки, но, боже мой, чего только тут не было посредине — и дорогой коньяк делил компанию с буханкой ржаного хлеба и шматком сала, и пролетарский «коленвал» прочно соседствовал с квашеной капустой и солеными груздями, и магазинная колбаса «отдельная» без особой надежды ждала своей очереди рядом с кусками копченой лосятины и горкой размороженного хариуса. Это было похоже и на спроворенное снабженцами угощение по случаю досрочной сдачи объекта, и на холостяцкую пирушку в общежитии, и на охотничий ужин, и еще на что-то очень знакомое... Я все копался в памяти и вдруг вспомнил освещенную яркой переноской гулкую пустоту в громадной топке первого котла нашей ТЭЦ и калькою застеленный стол с такою же нехитрой закуской.

Говорить, все ли сделано, около такого стола уже нельзя, вслух сомневаться не полагалось, но лица у монтажников были сосредоточенные, и каждый как будто все еще продолжал сам с собой вести последний разговор о готовности, и это была словно молчаливая вечеря этих ребят, одетых в пропахшие карбидом да холодноватым металлом брезентовые робы и синие итээровские куртки, а потом их учитель, Виктор Петрович Куликов, плотный и широкоскулый начальник Сибэнергомонтажа, молча повел головою вверх, и по сварной времянке все стали по одному подниматься к люку, а он, оставшись последним, по традиции поджег стол с остатками еды и питья — который уже такой стол в своей жизни.

Я тогда работал редактором многотиражки с названием, которое не выговоришь натощак, и в редакции у нас считалось неписанным правилом: ни с аварий, ни с авралов, ни с незаладившихся пусков не уходить до тех

пор, пока «коробочка» не увезет последнего, самого злого до работы прораба. С парою брезентовых рукавиц в кармане — на всякий случай — мы толкались под ногами у слесарей, и там, где ума не надо, помогали, и коротали потом остаток ночи где-нибудь в углу выстывшего тепляка, умудрившись пристроить голову на перевернутой монтажной каске, и были счастливы и ссадиной на руке, и незамысловатой шуткой в адрес крошечной нашей газеты, и приглашением к алюминиевому бачку с горячими сосисками, в мороз и ветер краном поднятому куда-нибудь на отметку «семьдесят пять», и были счастливы затяжкой от последней, в четыре часа утра по кругу пущенной сигареты «Памир».

То были славные времена, и теперь, глядя на длинный ряд столов с пустыми пока скамейками, я вдруг впервые с пронзительной отчетливостью ощутил, что все это уже — безвозвратно в прошлом.

Вечером стали собираться друзья. Ребята слегка постарше меня и слегка помоложе, приехавшие на стройку чуть раньше меня и чуть позже... Одни из них начинали здесь с новеньким институтским «поплавком», и это они, сами почти ничего еще не умевшие, преподавали мне азы строительного дела, они были первыми моими консультантами и первыми бескомпромиссными критиками. Неспокойная жизнь быстро научила их засучивать рукава, и что такое ответственность, они поняли раньше многих сверстников. Все приливы и отливы большой стройки выстояли они неколебимо и, бывшие тонкоголосые мастера, теперь давно уже работали начальниками ведущих управлений, и каждый имел уже по десятку выговоров, и три-четыре года не уходил в отпуск — все как полагалось. Для меня всегда было как подарок, если кто-то из них поздно вечером, после какого-либо совсем разбередившего душу совещания, вдруг заезжал ко мне: «Не хочешь на денечек в тайгу?.. Ты веришь, уже на людей стал бросаться. Давай-ка у костерочка поваляемся, на звезды посмотрим...»

Потом, когда из редакции я уже ушел «на вольные хлеба», почти каждый из них считал своим долгом предупредить: «Ты, если что не так, имей в виду: мастером я тебя — в любую минуту... А за хорошим начальником участка и прорабом потянешь, ты только скажи!»

Другие начинали тут со значком отличника боевой и политической подготовки на порыжевшей от пота гим-

настерке, эти чертоломили за пятерых, и вечером шли на занятия в учебно-курсовой комбинат, и шли в техникум, и чудом каким-то успевали отхватить себе в жены такую, что кровь с молоком, сибирячку и нарожать с ней кучу детишек... Теперь они были известные на всю страну бригадиры, и перед поездкой в Москву на какое-нибудь очередное совещание они приходили ко мне притихшие и словно в чем виноватые, и я только вздыхал и садился за стол сочинять очередную речь, а они маялись рядом, заглядывали через плечо и, прощаясь, сдавливали ладонь так, что утром, перед тем как взяться за ручку, приходилось разминать себе пальцы.

А спустя месяц или два кто-либо из них звонил мне и голосом, не допускающим возражений, сообщал: «Сейчас за тобой «коробочка» придет. Я послал. Хоть на стройку посмотришь. А то сидишь там, пишешь бог знает что, — приезжай, тут ребята хоть паутину с тебя снимут, вон слышишь? Пыль, говорят, с ушей ему стряхнем...»

И почему-то виноватым чувствовал себя теперь я...

И тут были хлопцы из многотиражки и с телевидения, и земляки из управления механизации и из всех трех наших автобаз, бедовая братва, все, как один, записные «ходочки», и были старики из каменщиков да бетонщиков, и парни, давно перешедшие от них в доменный или прокатный, и врачи из нашей поликлиники, тоже ветераны стройки, будь здоров мальчики, и были все эти большие теперь люди из горкома партии, начинавшие в нашем комсомольском штабе на первой котельной промбазы, и вместе приехали наш отец родной, постаревший за последнее время и совершенно облысевший управляющий трестом Неймарк, и его заместитель по быту Иван Максимыч, щедрая душа и добряк, а там, где требовалось, — и пройда. И все это были ребята что надо.

В одной из комнат Славка поставил на подоконник громадный артельный чайник, в котором был слегка подкрашенный портвейном голимый спирт. К ручке этого алюминиевого чайника привязали тяжелую цепь. Другой конец ее прикрепили к шпингалету на окне. Рядом с чайником стоял с неровными краями стакан, сделанный из зеленой бутылки с отбитым горлом, а повыше висела полоска картона с не очень приличным текстом, призывающим каждого вновь входящего начать со знакомства с напитком в чайнике.

По мысли «оргкомитета», это должно было символи-

зировать неустроенность палаточных времен, и, странное дело, символ этот был принят, что называется, единогласно. Каждого, кто входил, брали под руки и под общий смех вели к чайнику, и это было как приобщение ко всеобщему нашему новостроечному братству.

В ближней от входа комнате на газетах, постеленных в углу на полу, уже лежала гора одежды, и здесь были и замызганные полушубки, и респектабельные пальто из ратина, нейлоновые куртки и синие ватники с желтою эмблемой «минстроя» повыше локтя, и откуда-то из-под полы продувного прорабского плаща выглядывал рыжий рукав дохи собачьего меха, а на самом верху рядом с потертой милицейской шинелью разлегся поролоновый мантель с заграничной этикеткой в половину подклада.

Определяя в угол очередное пальто, я глянул в окно и увидел, что служебный автобус, только что затормозивший у подъезда, пытается теперь задним ходом пробиться через большой сугроб и стать на крошечной площадке рядом с четырьмя или пятью легковыми машинами.

Я представил, как главный диспетчер треста, мой старый друг Никанорыч, подталкивая впереди себя шофера Володю, переступит через порог и с серьезною миной на лице заявит, что теперь-то можно и начинать, дежурный автобус на месте, и если кто-либо переберет, а кому другому не хватит... Потом его возьмут под руки, поведут к артельному чайнику, и это будет, конечно, зрелище, потому что ровно два дня назад Никанорыч, уже в который раз страшною клятвою поклялся, что свой лимит по этому делу на стройке он давно исчерпал, и хватит — не будет больше ни капли!

Они с Володей только поднимались по лестнице, отряхивая снег, топали за стеной — они еще не вошли, а мне вдруг стало до боли ясно: и это, что случится только через три или пять минут, это все тоже для меня — уже в прошлом.

А потом были и дружеские тосты, такие в этот вечер откровенные, словно я уезжал туда, откуда никто не возвращается, и были нарочно веселые слова, от которых комок подступал к горлу, и были шутки, на этот раз не вызывающие у меня ничего, кроме долгого вздоха, и были руки на моих плечах и крупные, с проступившей к вечеру щетиной подбородки, царапавшие мне щеку. И сам я, ни

грамма в тот вечер не выпивший из-за истории с печенью, в конце концов неутешно заплакал, и мне за то нисколько не было стыдно.

Утром, когда мы стояля на перроне, я вдруг подумал, что странное получается дело: да, эти ребята остаются в Сталегорске — но разве они и не уезжают вместе со мною? Да, я уезжаю отсюда далеко — но разве не остаюсь я навсегда в этом городе?

И я незаметно повел головою, оглянулся. Около двери молоденькая проводница со скучающим видом зевнула, потом достала из кармашка круглое зеркальце... Разве она могла знать, что в это время мимо нее сплошным потоком идут в вагон и мои друзья, и знакомые, и спешат те ребята, о которых я когда-либо еще напищу — подручные сталеваров и хирурги, взрывники и навалоотбойщики, лесорубы, таксисты, пасечники, начальники партий, сплавщики, хоккеисты, дежурные монтеры, охотники. Кого только не было в толпе, которая шла и шла, — и те, с кем успели съесть вдвоем тот самый пуд соли, и те, с кем не собрался еще и парой слов перекинуться, а только обменялся когда-то понимающей улыбкой; и здесь были те, кто когда-либо давал мне ночлег и пищу, и кто ночевал и сидел за столом в моем доме; те, кто рассказывал мне о своих бедах, и те, кому исповедовался я сам; и садились те, кто меня когда-то не оставил в беде; и те, кого поддержал я; спешили те, кто меня когда-то обидел, и те, перед кем я сам был виноват; и торопились тоже и те, с кем я не был знаком, о ком мне только рассказывали, и они теперь были тоже тут — это просто удивительно, сколько народа могло войти в этот обыкновенный вагон скорого поезда!

Но на маленькой южной станции, где почти единственным признаком зимы был дотаивающий от косого дождя ноздреватый снег, который наш состав успел дотащить сюда на крышах вагонов, я сошел, конечно, один.

И состояние одиночества на многие дни стало для меня тогда обычным.

И в просторных кабинетах с ковровой дорожкою, и у скрипучих столов, отгороженных от остальных невыкрашенным фанерным щитом, стал я чрезмерно тих и, пожалуй, чрезмерно вежлив, и это казалось мне странным, потому что я всегда был непрочь и с кем угодно пошутить, и достаточно громко посмеяться.

С ужасом я обнаружил в себе однажды что-то, больше

похожее на раболепие, нежели на простую растерянность.

И тут я вспомнил, что на Кубани я не один, что вместе со мной приехали сюда эти ребята — прорабы и шоферы из Западной автобазы, начальники смен и егеря, бульдозеристы и слесари-сантехники, приехали все — и общий отец наш родной управляющий Неймарк, и его зам Иван Максимыч, и партком с постройкомом при полном кворуме, и главный диспетчер Никанорыч с шофером Володей, и молодой зам директора нового завода Федя Науменко.

Мне перед ними вдруг стало стыдно: и правда, как же это к своим друзьям за помощью и за словом поддержки я не обратился чуть раньше?

Теперь, когда я садился где-либо в просторной приемной, то одни из них спокойно устраивались рядом со мною, другие, поглядывая на меня, разговаривали между собой у окна, третьи подмигивали от двери, и под их взглядами я ощущал, как расправляются мои плечи, как поднимается выше подбородок.

И эти ребята приходили потом и подбадривали меня, когда мне бывало плохо и почему-то не работалось, и сидели у постели, когда я приболел, и вместе со мною, когда я решил, что хватит наконец болеть, они поехали в горы, и они теперь всегда шли рядом со мной по улицам южного городка — и ведущие спецы Сибгипромеза, и вертолетчики, и шел нападающий Каля, который отказался из «Металлурга» перейти в ЦСКА, и водитель тягача Гена Саушкин, который любит в тайге полихачить, и которому на откинутую крышку «бардачка» ставят стакан со спиртом, — он мог выпить его только через тридцать километров от буровой, уже в поселке, где все еще досыпала убаюканная мягкой ездой смена. И шел официант Валера, который на телевизионном конкурсе городов, несмотря ни на что, занял первое место.

Через год или полтора в Москве, когда со старыми друзьями мы собрались посидеть в одном хорошем месте, я рассказывал о том, как в незнакомом городе меня спасала вера в сибирское товарищество, и один из нашей компании, человек ума весьма делового и трезвого, с усмешкой проговорил:

— Да, конечно, наши звонки тут были и ни к чему — все дело в этом невидимом простому глазу святом братстве!

А звонки действительно были, и мне теперь стало неудобно, я и благодарил, и оправдывался, а он, коснувшись моего плеча, произнес:

— Ты знаешь, как это называется? Ну, все это вот... узы дружбы, святое рыцарство? Мечта о теплой спине! Понимаешь? Просто человек хочет, чтобы спину ему кто-то грел, чтобы она всегда у него была теплая.

Все ли так, все ли не так — не о том разговор. Сейчас, когда я встретил в автобусе этого озябшего мальчишку, который ехал к своей умирающей матери, мне вдруг подумалось: хорошо, а что «греет спину» ему, который пока не нажил столько друзей и не обзавелся такими связями? В чем такой, казалось, маленький и беспомощный, он черпает сейчас силу?

Положение мое в незнакомом городе было далеко не самое отчаянное. Что ж, если, оставшись без друзей, сам с собой разговаривал я чаще обычного? Если многое оценил как бы заново, и меня, выбитого из привычной колеи, вдруг настигло раскаяние в тех грехах, о которых я уже, казалось, не помнил? Что ж, если чаще, чем когда-либо до сих пор, наведывались ко мне те, кто мог надо мной зло посмеяться или посмотреть на меня с презрением, и чаще, чем прежде, в самые неожиданные моменты вдруг приходил ко мне рыжий Динкович и бросал на пыльную траву мне под ноги тяжелые, не просохшие от вчерашнего пота перчатки?

Стоило только вскинуть голову, и все обретало другой цвет, и было ясно, что дела мои не так плохи, что многие могли бы мне позавидовать. Но чего только я, и в самом деле, не напридумывал, чтобы обрести душевное равновесие! А этот мальчик?..

Я пытался составить программу действий. Надо будет сказать ему, чтобы обождал, пока я сдам вещи в камеру хранения. Потом быстренько решим с билетами, а после пойдем в привокзальный ресторан, где сейчас тепло и пахнет борщом, и поедим там горячего, а затем... Сам я раньше ужинать не собирался, но теперь надо будет купить чего-либо к чаю, и мы посидим в купе, и, может быть, мальчишка вздремнет — все-таки в Индюк мы приедем не раньше трех часов ночи.

Когда автобус остановился, то, подхватив чемодан и сумку, я живо прошел между пустыми рядами сидений и у выхода стал вслед за ним:

— Толя, может, подождешь меня? Я сдам свои вещи...

А потом мы хоть чуть погреемся да слегка с тобой перекусим.

Он уже выходил вслед за женщиной в длиннополом пальто с чернобуркой. На улице тут же поежился, и я сказал, догнав его:

— А ну-ка, застегнись, что это ты!

Он сперва поднес руку к горлу, а потом еще глубже надвинул на глаза козырек кепки, и уши его совсем оттопырились.

У камеры хранения я ему сказал:

— Погоди. Одну минутку. И мы сразу пойдем.

Он оглянулся:

— Я все думал и думал, дядя... Как мне быть?

Я замер, ожидая вопросов, ответить на которые наверняка не смогу.

А он слегка повел плечом.

— Надо мне попробовать еще один финт. Финт и потом — ответный удар. Чтобы держать его. А то он меня совсем забьет.

У меня отчего-то дрогнули руки, словно вещи мои разом потяжелели.

— Ты подожди. Я сейчас сдам сумку да чемодан...

Он махнул рукой в сторону вокзала:

— Я вас там, дядя, подожду.

Как водится в таких случаях, сперва у меня не нашлось пятнадцатикопеечных монет, потом выяснилось, что автомат, выдававший чеки, заело. Торопясь, я предложил сам отнести свои вещи на полку, но закутанная в белый шерстяной платок женщина посмотрела на меня с видом вечной мученицы и молча потащила сама сперва сумку, потом чемодан...

Не заходя в кассу, я бросился искать мальчишку. Забежал в зал ожидания, где пахло и человеческим теплом, и пеленками, посмотрел по сторонам, прошел между рядами.

Потом кинулся в ресторан на перроне.

Конечно, он там. Залетел небось, как бездомный воробей в шумный и большой магазин, и сидит робеет, греется...

В ресторане мальчишки не было.

Только теперь я догадался посмотреть, что за состав стоит на втором пути. Это был здорово запоздавший поезд, который должен был идти к морю. Я-то о нем и не подумал, потому что он давно уже должен был пройти,

зато мальчишка, может быть, первым делом бросился сюда?

Я посмотрел в обе стороны, решая, куда сперва побежать. И там, и тут никого почти не было видно, но подальше и первые вагоны, и последние пропадали в морозной роздыми, и даже яркие фонари на перроне не могли отодвинуть глухой зимней мглы.

Быстро пошел я к голове поезда, и мне показалось, что впереди, около самых первых вагонов, рядом с толстой проводницей стоит крохотная фигурка...

А поезд тихонько скрипнул, словно за это время, пока он стоял тут, на станции, колеса его успели примерзнуть к рельсам.

Я бросился бегом и успел увидеть, как протянулась из двери рука проводницы, как быстренько ступил на подножку мальчишка, который, наверное, наконец, еле все объяснил и допросился, чтобы его взяли.

Поезд набирал скорость, потом, взметая снег, рванулся мимо меня последний вагон, и скоро огоньки его сперва смешались со множеством других, которые словно поеживались вдали над путями, а потом и вовсе пропали в морозной дымке.

Мне стало и грустно, и отчего-то неловко.

Там, в автобусе, я это представил себе и раз, и другой: и как мы с ним сидим за столиком в теплом ресторане, и как пьем горячий чай в уютном купе... Может быть, в голосе моем послышалась ему излишняя властность? Так нет вроде, говорил я с ним очень мягко. Или мама его, которую конечно же беспокоят эти поездки, наказывала ему не доверяться чужим людям? Или что-либо во мне его насторожило?

А может, он очень спешил и просто ему было не до меня? Кто я для него такой? Толстый усатый дядька с громадным чемоданом и пузатою сумкой, который разговорился с ним из праздного любопытства.

Тут я подумал: а кто для меня он?

И я уже знал наверняка: если почему-либо — за поддержкой, за советом ли, чтобы помочь кому-то другому — из страны нашей молодости я опять призову своих друзей, крепких, уверенных в себе ребят, преданных нашему товариществу, то вместе с ними придет и этот озябший мальчик, который едет сейчас к своей больной маме...

ОТЕЦ

1

Сперва, признаться, я сам не понимал, зачем они мне, усы...

Может, всякого поднакопилось в душе, захотелось перемены, оттого-то оно и вышло: сначала сказал, что выкуриваю последнюю сигарету, через месяц отставил стакан с выпивкой, а вслед за этим как-то раз погладил вдруг щетину над верхней губой и впервые ее не тронул бритвой.

Времена для меня настали — не пожелаешь врагу. По ночам снится, будто стрельнул у ребят окурочек и дожигаешь его в единый сладкий затяг. За дружеской пирушкой самые близкие товарищи твои чуть ли не пальцем в тебя тычут. А ты и без того сидишь как на иголках, платочек не выпускаешь из рук, потому что всякую минуту тебе кажется, что усы сметаной от салата испачкал... Я тогда и сам себя спрашивал не раз: это-то мне еще зачем?.. Тут-то за что страдаю?

Но однажды что-то такое мне приоткрылось...

Было это ранним летом, когда я приехал в родную свою станицу на Кубани. Станица наша лежит в предгорьях, и потому июнь здесь — пора неутихающих гроз. В июне над зреющими полями, над холмами, покрытыми ковылой, уже мреет, уже струится горячая марь, а над вековыми снегами Приэльбрусья в это время еще остро синеют холода... Может, густеющие там гордые тучки вслед за давно отступившей зимой хотят прорваться на север?.. Но над зелеными долинами, где лежат передовые казачьи станицы, уже вступившее в права жаркое лето дает им бой, и тут они проливаются обильным дождем или падают на землю карающим градом... Странная это в самом деле пора!

Каждое утро начинается такой тихою и такой ясною зарею, что невольно начинает казаться, будто нынче-то, наконец, обойдется без грозы... Благостное, как на иконах, встает солнце, и длинные его косые лучи вызванивают под росными травами тонким пчелиным гудом. Неслышно льется на теплую со сна землю забытая в больших городах чистая голубизна. Отодвигается горизонт, дали открывает неоглядные — увидишь и розовую в этот мирный час вершину Эльбруса, и белые пики снеговых гор...

Однако к одиннадцати, в половине двенадцатого нач-

нет парить, от влажной духоты оплывет окоем, голубизна размоется, и в глубине долины станет погромыхивать, потянет оттуда тороченная блескучим серебром темная синь.

Со сторожевых, обступивших просторную долину холмов одна за другой глухо ударят зенитки, над ними яростно раскатится гром, и два или три часа будет полоскать потом такой ливень, которого в другой какой стороне хватило бы на добрую половину лета, а то забарабанит град — тоже такой, что в ином краю о нем рассказывали бы потом от отца к сыну... А у нас оно каждый день, и каждый день после проливного дождя, после бешеной грозы тут же выглянет щедрое солнце, опять будет без устали сиять, греть в поле хлеба, спелым соком наливать в степи землянику, золотить в садах крутобокие яблоки... Отряхнут крылья пчелы, подсохнет земля, опять польется над нею тягучий медовый гуд, и вечерняя заря будет догорать с таким умиротворением, словно прошедшая гроза была наконец и в самом деле последнею.

От обильной влаги небесной да от яркого солнца пойдут по черной нашей землице такие буйные травы, что норовистые ветры-степняки будут колыхать их, будто волны в зеленом, с ковыльной пеною, море. Уж если не поломает в ливни, не выбьет градом, то вымахает в Предгорьях, как нигде, все, что зеленеет и что цветет, и самая пора цвести да зеленеть — это грозовой июнь...

В тот раз, едва я успел поставить на веранде тяжелый чемодан, едва нашел в старом сундуке залатанные свои брюки, как тут же отправился побродить по огороду и палисаднику. Дома я не был давно и соскучился не только по родным, но, кажется, и по каждому растущему в родительском саду дереву, по каждому цветку, по каждой травинке... После дымного, остро пропахшего коксовым газом Новокузнецка, после вялой от сладковато-горьких выхлопов машин летней Москвы у нас дышалось, словно пилось, и я сперва руки в боки постоял между грядками с луком, огурцами, болгарским перцем, только окинул взглядом заросли петрушки под плетнем да зеленую путаницу хмеля, посмотрел, обернувшись, на мамин цветник, который был куда обширнее всех этих вместе взятых грядок, обвел глазами огород, где под старыми деревьями посреди картофельных рядков начинали желтеть обвитые фасолью подсолнухи, а потом подошел к краю палисадника и один за другим начал обнюхивать

цветы, все подряд — петуньи, тюльпаны, георгины, табак, маргаритки, настурции, розы... Они были разной высоты, и над иными я сам нагибался, другие притягивал к себе, наклонял, а перед самыми малорослыми становился на колени, и так шаг за шагом обошел я каждую пядь, не пропустив ни кустика жасмина, ни разноцветки в саду, ни в огороде подсолнуха. Носом приникая к разомлевшим на солнце лепесткам, нюхал длинно, взахлеб — на долгую осень впереди, на бесконечную сибирскую зиму, на все времена вдалеке от родного дома...

Когда я снова стал потом посреди двора, мне почудилось, будто все, какие только мог вобрать в себя запахи, не улетучились, не пропали, а продолжали жить в каком-то новом для меня ощущении... Любопытное это было ощущение! И я притих, я прислушался к нему, стал слегка потягивать носом, и потом вдруг выпятил верхнюю губу и скосил глаза. Черные усы мои были желтыми от пыльцы, она лежала на них плотно, как лежит на бархатной грудке шмеля, и я в тот миг показался себе этим черным и усатым, все мамины цветки деловито облазавшим шмелем.

Спать я в тот вечер лег там, где спал, бывало, мальчишкой, — на старой двери, положенной около летней кухоньки на двух ящиках, — и, вглядываясь в обновляющее душу скопище звезд, прислушиваясь то к мерному тюрюканью сверчков, а то к шнырянию по картошке и к топоту соседских псов, которых наш Марсик непременно бы днем облаял, а сейчас мирно пропускал мимо, словно соблюдая одним собакам известный закон открытых ночью границ, я вдруг подумал с грустной усмешкой: а что, в этом дворе, где давно уже не копал, не сажал, не сеял, может быть, я сегодня хоть что-нибудь опылил?

На следующий день вернулся из командировки отец, и сперва мы расцеловались, а потом он, пытаясь сделать это помягче, сказал:

— Усы, усы, чебоксары, захотелось вам в гусары... так, что ли?

Я, конечно, строго прищурился:

— При чем — Чебоксары?

— Так в старину над усатыми пошучивали... Не знаю! Зачем ты их, сынок, отпустил?

Теперь-то я знал зачем. Да только не так просто все это отцу объяснить. И я стал о другом:

— Если не ошибаюсь, отец, на фотографии в нашем альбоме у одного лейтенанта — тоже усы?

— Сынок! — снова сказал он мягко. — Тогда ведь была война!

А мне хотелось раз и навсегда покончить с разговором на эту тему — я был нарочито сух.

— И что?.. Разница-то... Какая разница?

— Да как тебе?.. — развел он руками. — Может, опытней хотели себе казаться. Может, храбрей. А может быть хотели себя хоть чем-нибудь еще подбодрить... Как тебе, сынок? Это — война!..

Усы я, конечно, не тронул, и в следующий приезд все мои живущие в станице школьные дружки стали вдруг в один голос говорить: зачем они тебе? Сбрил бы!

Единодушие они при этом обнаруживали прямо-таки удивительное, я стал расспрашивать, в чем тут причина, пока не докопался наконец: оказывается, отец при случае за рюмкой или так просто, на улице с каждым из них поговорил. Меня, мол, не послушает, я для него давно не авторитет — так хоть вы бы, ребятки, своему дружку посоветовали!

Я переживал тогда трудные времена, и советчики мне были очень нужны, только по другим, конечно, вопросам... А усы — что ж? Теперь они стали будто бы такой же неотъемлемой частью меня самого, как и все остальное, расширив мир обычных ощущений, добавив к ним и некоторую остроту, и словно особую выразительность.

К тому времени я уже уехал из Новокузнецка, жил в тихом и чистом городке на Кубани и, прислушиваясь к самому себе, ловил теперь на усах то сонный аромат спелого яблока, а то домашнего сока из древней пахучей «изабеллы». Ленивый жарким летом ветерок сдувал с них то солоноватый, отдающий нагретыми водорослями запах теплого моря, а то сытый душок пропахшей дымком бронзовой рыбы — копчушки... Но иногда настойчиво шевелил усы прилетевший откуда-то, будто бы очень издалека, упругий ветер, и тогда они вдруг настраивались на прошлое, и словно это они извлекали тогда из памяти другие запахи — и полузабытые, и те, которые слышались так отчетливо, что перехватывало горло... По Сибири я тосковал, приезжал туда часто, и в те счастливые дни в усах моих поселялся то кисловатый запах остывшего металла, а то смолистый дух таежного костерка. Часто

мы с друзьями на прощанье устраивали баньку, и потом, уже в Домодедове, а то и в Краснодарском аэропорту я вдруг задыхался от внезапно прихлынувшей густоты, в которой была и легкая горечь сгоревшего на раскаленных камнях медка, и словно еще не остывшая теплынь березовых веников, и терпкость чая, крепко заваренного лесными травами... Все теперь было позади, но эта возможность еще чуточку продлить навсегда ускользающий миг, еще хоть на немного удержать около себя то, что уже стало прошлым, отзывалась в душе и радостью, и светлой печалью.

Тут я почти не коснусь деликатной темы, которая сама по себе могла бы стать и предметом особого интереса, и отдельного, если хотите, исследования... Однажды за дружеским столом, за вольной беседою к жене моей приступили с вопросами, заставившими ее смутиться, и, желая закончить шуткой, она с преувеличенной значительностью сказала об усах всего лишь слово: «Способствуют». К этому мне хотелось добавить только одно: как-то года три или четыре назад, теплым ноябрьским днем, солнечным и паутинным, она поцеловала меня на прощанье в крошечном аэропорту того самого маленького городка, в котором жили мы после Новокузнецка, и, с короткими пересадками пролетев потом часов около пятнадцати — над тихими кубанскими полями, над облетающими под Воронежом дубовыми рощами, над сырым и мокрым Подмосковьем, над замерзающей Волгою, над белыми хребтами Урала, над запорошенными вьюгой сибирскими лесами, над голубоватыми от морозной дымки сопками Забайкалья, — в другом аэропорту, в Улан-Удэ, я прислушался на секунду к чему-то очень знакомому и вдруг уловил сопровождающий меня так отчаянно далеко от дорогой мне женщины тоненький, ускользающий запах любимых ее духов...

Предки мои пришли на Кубань из разных степных краев — с Дона, из-под Орла, с Черниговщины, из Киева, — и под вольными, доносившими черкесские песни ветрами, под жгучим солнцем этот русско-украинский замес прибавил и резкости в чертах, и черноты... Когда же я отпустил усы, стал и совсем кавказцем, — где-нибудь в седом от куржака Красноярске или в домерзающем Кемерове, что-то радостное крича на гортанном своем языке, ко мне бросались грузины, толкали в плечо, громко смеялись, а я только улыбался и с какою-то невольной

виной, словно оправдываясь, говорил, что они ошибаются, что я — русский.

Некоторые только разводили руками, зато другие с укором качали головой и продолжали говорить на своем языке теперь уже что-то горькое, я примерно догадывался что... Однажды, когда меня приняли за грузина, я был с друзьями, и громко, чтобы они тоже слышали, маленький и носатый человек, в непременной этой, громадной кепке «аэропорт», сказал с плохо скрытой обидою: «Ты, наверное, земляк, так хорошо тут устроился, что забыл даже родной язык, э? И не узнаешь теперь даже кахетинцев?!» Может быть, чтобы сделать людям приятное, стоило хоть однажды выдать себя за грузина, с детства оторванного от родины и потому ни слова не знающего на родном языке? А вдруг тогда мне поверили больше бы и не отказались бы пойти посидеть за стаканом вина, как отказывались всегда, подозревая во мне отступника... На это меня, однако, не хватало, а им нужен был земляк, больше никто, и мы каждый раз так ни с чем и расходились. А ведь как радостны, как искренни были всегда первые возгласы, — у меня потом, когда вспоминал, отчего-то щемило душу, и я готов был и в самом деле пожалеть, что я не грузин. Как это, должно быть, славно — встретиться вот так за тысячи верст от дома, и разговориться на пустынной в холода улице, и пойти потом в старый уютный ресторан, где стоит в углу такая одинокая здесь пальма. И мы бы слегка выпили, и сидели бы рядом, положив руки друг другу на плечи, и вполголоса пели бы наши задумчивые песни, и вспоминали бы о теплой нашей далекой родине... Эх, думал я, как это и в самом деле, наверное, славно! И думал невольно о другом: а бросались ли мне на шею когда-либо настоящие мои земляки? В далеком чужом краю спешил ли обнять их я?

У этих моих сибирских встреч была как бы и другая, обратная сторона: в Гагре или Сухуми меня почему-то никто никогда не принимал за своего, никто ни по-грузински, ни по-абхазски не заговаривал, и я иногда не без ехидцы думал: вот-вот! В Сибири, выходит, ты им родня, а сюда приехал — как нет тебя! И сам над собой посмеивался: хорош!.. Там ты, значит, отказывался от родства, а здесь теперь его ищешь?

2

Однажды случилось так, что несколько моих друзей съехались на Побережье поздней осенью, и мы раз и два перезвонились, а потом собрались в маленьком деревянном ресторанчике в Пицунде. Ресторан был уютный, с настоящим очагом, от которого, перемешанный со сладким, о доме напоминающим чадом, плыл остренький горьковатый дымок, а толстые, выскобленные столешницы были так тяжелы и просторны, что придавали крепость лежащим на них рукам и сообщали им какую-то особенную, будто бы вековую силу.

На столе уже появилось сухое вино, сыр из овечьего молока и зелень. Тонкие, древние запахи, еще не утонувшие в изощренном роскошестве восточных приправ, придавали будущей еде и питью какой-то особенный, почти изначальный смысл, делавший каждого мудрей, а наше товарищество — и надежней, и старше... Они уже чокнулись, уже выпили по одной, уже, расслабляясь, закурили, и глаза у них заблестели и потеплели улыбки, а я сидел, глядя на них всех сразу, и душу мне начинала тревожно подмывать сладкая волна острой, почти юношеской любви и к ним, и к ближним своим, и дальним, и ко всему, что есть вокруг — от теплого хлеба под рукой до крошечной, почти неразличимой в высоком небе звезды.

С той поры, как сделался горьким трезвенником, я себя другой раз очень странно чувствовал за дружеским пиршеством. Видели вы, не знаю, как мчатся по рыжей стерне и бьют крыльями домашние гуси, когда раздастся привычный клич их улетающих в далекие страны диких сородичей? Так и я ощущал себя обреченной на то, чтобы остаться на земле, птицею, когда товарищи мои воспаряли.

О чем только теперь мне не думалось — по осеннему светло и печально!

Чего только не различал я в тугих толчках крови — и солнечный шум прибоя за желтыми соснами Пицунды, и посвист метели в пустых российских полях, и шелест книжных страниц, и полыханье безмолвных взрывов, и голоса троих моих сыновей, и азиатское молчанье курганов... И временами я не мог понять, отчего щемит сердце: от ощущения счастья или предчувствия бед?

Пал вечер. В темную зелень кипарисов за синим ок-

ном елочными гирляндами впечатались огни люстр. И запахло тонкими самодельными свечками с фитилем из суровой нитки. И припомнились плошки с осадками прогорклого постного масла, которые освещали праздники забытого теперь послевоенного детства.

У входа заиграла зурна, послышалось негромкое пенье. Товарищи мои обернулись. Около крайнего стола, вокруг которого с фужерами в руках стояли грузины, остановился седоусый старик в малиновой черкеске и в высокой серой папахе. На узком наборном поясе у него висел длинный кинжал в ножнах из черненого серебра, обут был старик в мягкие, чулком, ичиги, которые придавали юношескую стройность и ногам, и всей сухощавой его, молодцеватой фигуре. В правой руке, с которой свисал край широкого рукава, старик держал большой бокал с красным вином и, когда закончили петь, сперва приподнял его, а потом медленно и будто торжественно поднес ко рту, отпил глоток и опять приподнял. Выпил зурнач, которому подали фужер со стола, и все, кто был рядом, тоже сделали по глотку.

Старик с бокалом в руке шагнул к следующему столу, и компания, которая сидела за ним, тут же стала приподниматься. Опять запела зурна, к ней негромко, выкрикнув что-то молодецкое и одновременно грустное, присоединился старик, разом подхватили песню мужчины, повели ее сдержанно и стройно.

Что это была за песня, не знаю, но пели они, как братались, и приподнимали вино с такой истовостью, словно присягали чему-то священному...

Стол, за которым сидела пестрая компания длинноволосых юнцов, старик в малиновой черкеске обошел стороной, потом пропустил еще один и еще. Было ясно, что подходит он только к своим, только к сидящим мужскою компанией землякам.

И мне вдруг до лихорадочного сердечного стука захотелось, чтобы он подошел и к нам, чтобы мои притихшие товарищи тоже встали бы гордым кружком, и приподняли бы подбородки, и распрямили плечи... Хорошо, что я сижу лицом к старику — неужели на этот раз усы мои подведут?

Я стал глядеть то на старца, а то на зурнача, который иногда скользил по залу глазами.

Новокузнецк не помните, генацвале? Маленький городишко в тайге — Осинники? Ну вот, а теперь я тут.

И друзья мои — достойные люди, которые и толк в вине понимают, и знают цену товариществу!

Старик был медлителен и важен, в каждом плавном жесте его сквозила особая значительность, и красноречивых моих взглядов, конечно, он не заметил, зато с зурначом мы уже и раз и другой переглянулись и, кажется, друг другу понравились. Товарищи мои еще ни о чем таком не догадывались, а я взял бутылку и свой фужер, в котором было на донышке, налил почти всклень. Неизвестно зачем откашлялся, расправил грудь и, собираясь встать первым, ладони положил на край столешницы.

Они уже были рядом, но перед самым нашим столом старик приподнял голову, вглядываясь в кого-то, кто сидел в глубине, за нами, и наш стол остался как бы в мертвом пространстве... Что же вы, отец?!

Или так-таки ничего не значит, что земляки ваши говорили мне в Улан-Удэ и в Иркутске: где бы ты ни родился, усы все равно, мол, наши! И ничего не значит, что где-либо в Красноярске я каждый раз старательно махал им в ответ, когда они радостно вскидывались за окном набирающего ход скорого поезда. Я ведь, отец, придумал такое слово: с о у́ с н и к и. Товарищи, значит, по усам. Как братья по духу. Да и вообще, разобраться: разве все мы не родственники, живущие на зеленой нашей и теплой земле? А усы — просто повод подойти или улыбнуться дружелюбней обычного... Или нет?

Глядя на меня, зурнач дунул посильней, повел в мою сторону трубою, и это была словно просьба к старику остановиться.

Старик задержался, очень медленно повел головой, но глянул не на нас — на зурнача. И в тот же миг зурнач покорно сделал шаг за ним вслед, только труба его вскрикнула печальней.

Готов поклясться, что я уловил и обращенный ко мне дружеский взгляд музыканта, и недоуменный кивок над еле заметно приподнятым плечом... Потому-то, наверное, показалось, что это ко мне был обращен теперь пронзительный плач зурны.

О чем она, думал я, плачет? О том ли, что я не грузин?.. Что мне поэтому и не доведется почувствовать тепло плеча, которое больше, чем у многих других, чутко к братству по крови?

Или зурна рассказывала мне, что старец в черкеске мудр, его не обманешь, и одного почти неуловимого

взгляда ему достаточно, чтобы понять: а не лукавлю я? А все ли, связанное с грузинскими усами, я принимаю?

Товарищи мои не очень согласно, но крайне решительно затянули «Ермака»...

3

А ранней весной, в самом начале марта, у меня умер отец. Светлая тебе, отец, память! Спасибо тебе за все! И — прости...

До этого никогда и ничем он не болел — болела мать. Сколько раз она собиралась помирать, сколько уже прощалась с нами, с детьми, сколько наставляла, как должны мы будем жить без нее. До сих пор помню этот сладковатый душок, который держался в темной непроветренной комнате, — он казался мне тогда запахом смерти. Помню беспомощно склоненную набок голову на подушке, помню грубую льняную рубашку на исхудалых ключицах матери и пожелтевшие ее руки поверх одеяла. Помню слабый, затухающий голос, заклинающий меня защищать от злой мачехи младших братца с сестренкой...

Времена вольного студенчества, а потом заботы самостоятельной жизни потихоньку затушевали было память об этих тягостных минутах, которые я провел у постели тяжело больной матери. Сперва мне казалось, что после, когда я уже уехал из дома, со здоровьем у нее стало получше, но потом, уже совсем недавно, спросил у брата: а что, когда он остался дома за старшего, ему небось тоже мама п р и к а з ы в а л а? Валера грустно улыбнулся: «Перво-наперво отрежешь Танечке косы. Чтобы вши не завелись...»

А Танечка потом прощаться с мамой летала из Ташкента или ночным автобусом приезжала в станицу из Краснодара.

Бывало, мать месяцами не выходила из больницы. Отец пошел в нее только раз — когда отравился из-за самодельной перепелиной дроби, которую станичные наши хитрячки да скупердяи катали из аккумуляторных свинцовых пластин. Вообще же ни лекарств, ни врачей он не признавал, с приобретенной на фронте убежденностью твердо веря, что панацея для русского человека — сорокаградусная. Он так всегда и говорил: встретил старого друга, и выпили, мол, с ним «по рюмашечке

панацеи». Рюмашечкой частенько не обходилось, и в словаре у нашей родни давно уже бытовало несколько на первый взгляд странных выражений. Те, кто помоложе, говорили в выходной день, что Степаныч опять, мол, явился с ярмарки «под панацеей». Старшие выражались менее изящно: «напанацеился». Сколько у нас по этому поводу было в семье скандалов!

«Что, отец, ты действительно решил выпить всю водку? Бедная мать! Когда ты наконец ее пожалеешь?»

Он только виновато извинялся: «Все, все, сынок, это в последний раз».

Не было случая, чтобы он свалился на улице, и дома, выпивший, никогда не сделал ничего предосудительного, это святая правда. Но мать «не могла терпеть», если от отца хотя бы слегка попахивало. Как тут все объяснишь... Не то чтобы нашла коса на камень, — наверное, у жизни много и других тупиков, куда она заводит умело и безжалостно. Может быть, матери, часто занятой мыслью о смерти, оскорбительными казались отцовские земные утехи?

Сколько я по ее настоянию провел с ним длинных разговоров! Сколько произнес горьких слов! Сам он за всю свою жизнь не сказал мне, пожалуй, и сотой доли того обидного, что ему, как старший из детей, как материн заступник, сказал я...

Потом, когда уже подросли мои сыновья, когда «воспитывать» отца мне с каждым разом становилось мучительней, я однажды сказал матери: все, больше не вмешиваюсь — мне стыдно!

В голосе у нее послышалась выношенная убежденность: «Отца тебе жалко — конечно, пусть он лучше доконает мать».

Ах вы, стареющие наши родители!.. Из-за ревности ли, из-за чего ли другого так безжалостно губите вы порой сердце взрослых ваших детей! Как жестоко вы испытываете на преданность!..

Случилось так, что за год перед смертью отца я прилетел в станицу, когда он был дома один — мать опять лежала в больнице у Валеры. Уже в дороге я почувствовал грипп и, едва добравшись до дома, на целую неделю свалился, — никогда еще меня не трепало так сильно, как в тот раз... Отец оказался в роли сиделки, и надо было видеть, как он, привыкший, по словам матери, «чтобы за ним всю жизнь ухаживали», теперь ухаживал сам!

Весь день он или стоял у плиты, или сидел на стуле возле моей кровати: «Ничего, если побуду около тебя? Не устал? Ты, когда захочешь спать, ты скажи... А я, знаешь, о чем думал? Ты как-то спрашивал, почему в станице у нас тот край, где я мальчишкой рос, называли Малахов куток. А еще — Лягушевка. Знаешь почему? Целая история. Я хотел тебе даже написать — а вдруг пригодится? Малахов был казак. Богатый. Много земли имел. А попивал крепко. Надумал один гектар продать, тут хохлы с кацапами и задумались: вот купить бы! Хорошая земля! Да только откуда взять столько денег? Решили в складчину. Собрались человек пятьдесят. Все до штанов попродавали — это дедушка твой, отец мой, рассказывал. Зато наскребли. На полоски поделили этот гектар — кому какой кусок, бумажки из шапки брали. Вся земля стала в заплатках! Сначала повыкопали землянки, а потом хатенки пошли расти. А там уж, известное дело, дети... Вот детей было! По восемь, по девять душ! А на том месте яма в Тегине, неглубокая, — в ней купались. Летом набьются — один на одном! Казаки смеются: хохлацкий лягушатник! Отсюда и пошло...»

На нем был просторный, в полоску пиджак от старого моего выходного костюма, надетый на майку. Длинноватые рукава он подвернул, но потертые полоски подклада все равно почти закрывали пальцы — такой он сутулый стал, такой сухонький. Поседел он уже давно, а теперь начал лысеть, волосы поредели, голова стала и в самом деле что одуванчик, только серые, с выцветающей голубизною глаза лучились, как прежде, а может, и посветлее, и подобрее прежнего, — давно уже он не смотрел на меня с такою лаской.

Поднимался вдруг со стула, долго щупал стенку около кровати — хорошо ли прогрелась? Потом торопливо, с озабоченным лицом шел к своим кипящим кастрюлям, гремел крышками и возвращался снова со щедрой улыбкой, — опять ему что-то припомнилось, опять хотел что-то рассказать. Говорил он тогда, говорил, и все, казалось, не мог наговориться...

Вкусы наши до этого, как правило, не совпадали: если я ему советовал что-либо почитать, он потом долго недоумевал, когда прочитывал; если что-либо пытался навязать он мне — я только морщился и заранее кисло улыбался: мол, знаем!.. А тут вдруг впервые ему понравилось то, что я с собою привез, а я неожиданно стал

зачитываться тем, что выпросил он для меня в районной библиотеке, — странно! Может быть, дело и всегда было не в книгах, а в нас самих?

«А ты правильно, что усы не сбрил, — сказал он мне, когда я уже поднялся и собирался вечером пойти посидеть с друзьями. — Мало ли что люди говорят, ты не слушай! Я вот, веришь, так привык, что теперь даже не представляю тебя без усов».

Потом, уже через год, когда все в нашем доме прилегли наконец на часок отдохнуть, а я один остался у гроба и как мальчишка наконец вволю наплакался, я вдруг с ужасом подумал: а что, если бы у нас не было этой недели, когда он кормил меня своими не очень удачными супами, когда приносил эти районными философами зачитанные книжки и даже газеты мне пробовал читать, и верно, как заправская сиделка?.. Меня и так сейчас гнула вина перед ним — а что, если бы не эта неделя?

Вот-вот, часто казалось мне, все у нас наконец-то образуется, вот-вот они с мамой что-то такое поймут, перестанут ссориться, и все мы тогда станем счастливы, и у нас еще будет время обо всем поговорить, и я скажу отцу совсем другие, чем прежде, скажу какие-то очень нужные ему слова и, не боясь материнской ревности, куплю ему наконец путевку в Дом творчества, чтобы там, в уснувшей зимою Гагре, он тихонько пожил бы без забот, и бережком походил бы по кромке прибоя, и выпил бы маджарки с настоящими писателями, со стариками, книжки которых ему нравятся и которые то же, что и он, пережили и о многом так же, как и он, судят... Солона ты, однако, запоздалая сыновняя благодарность!

Утром снова стали собираться люди, знавшие отца, и каждый, кто входил, сначала не замечал пришедших раньше него, первым делом, словно к живому, обращался к покойнику.

«Что ж ты, Степанович? — дрогнувшим голосом корил высокий, с жилистыми руками на суковатой палке старик. — Обнадеживал, составишь бумагу, чтобы пенсию мне прибавили, а сам, видишь... Эх, ты, Степанович, Степанович!..» Потом чубатый здоровяк, уже, видно, слегка хвативший с утра, долго стоял с опущенной на грудь головой, а потом вскинулся: «Дядя Леня!.. Думаешь, Витька Зайченко все забыл? Пацан был, после войны, в самый голод, залез на мельничный двор, пол-оклунка отру-

бей на горбяку, а тут меня — черк!.. Да в акте написали, что перед этим уже стянул у них да продал мешок сеянки. Привели к тебе, а ты широкий ремень с себя, да по заднице, а писанину эту на клочки да в корзинку... Думаешь, забыл Витька Зайченко?»

Древняя старуха, вскрикнув, точно подстреленная птица, заводила с порога плач, начинала причитать жалобно и стройно, голосила и голосила на простой, как у колыбельной, древний мотив, не то рыдала, а не то пела на одной и той же рвущей душу тонюсенькой ноте, и хоть ты понимал, что это плакуша, для которой заливаться слезами — привычное дело, однако захолонувшее от пробудившейся в тебе прапамяти предков сердце горько ныло от благодарности... Спасибо вам, спасибо, добрые люди!

В комнате было тесно от старух, от черных плюшевых кофт, от темных глухих платков... Одни с иконописной скорбью на пергаментных лицах молча сидели вокруг гроба у изголовья, другие тихонько, но деловитыми голосами продолжали распоряжаться.

— Почему платка нет? Надо в руку платок.

— Да ему он не пригодится...

— Все одно надо. Люди будут с платками, так чтобы и у него.

Сгорбленная, изломанная, с неразгибающейся ногой, о колено которой она постоянно опиралась при ходьбе, тетя Даша, родная отцова тетка, принесла носовой платок, бережно вложила в пожелтевшую его руку.

— Лицо на страшном суде утирать.

— Да с им-то господь будет милостив...

— Конечно, раз такую тихую смерть послал...

И тетя Даша будто самой себе негромко повторяла:

— Утром пошел за керосином, а керосин не подвезли... Встретил около лавки друга своего, обратно вместе. Шли, говорит, смеялись, а потом слышу, жестянка загремела... Оглянулся, а он руками за воздух и падает около столба, падает...

— Такая смерть у господа только любимцам...

И тихой, ясной печалью были наполнены смиренные голоса старух.

А чуть поодаль бесплотной толпой стояли товарищи отца — все худые, носатые, с косыми скулами, в старомодных очках, со стриженными под машинку затылками, с вихрами на шишковатых макушках, с тонкими шеями

над вытертыми воротниками тяжелых, надетых, как на вешалку, длиннополых пальто... Это с ними, с пенсионерами, которые уже не работали и на собрание теперь ходили в одну и ту же — при стансовете — организацию, отец делился книжками и обсуждал услышанные от заезжих лекторов мало кому известные подробности нашей жизни, с ними решал мировые проблемы или докапывался до истины в районном масштабе. Нет на свете, казалось, задачки, которая была бы им не по плечу... И только над главной загадкой стояли они теперь в задумчивости и в глубоком сомненье.

Опять раздавался в комнате жалобный всхлип: «Да что ж ты, Степанович, надела-а-ал?.. Да ты ж было куда ни едешь, всегда спросишь... Меня же все забыли, один ты-ы — нет. Кликнешь, а я думаю-ю... значит, кому-то еще нужно, что жива-а-ая! А кто ж меня теперь остановит да кто спро-осит?..»

И опять по обычаю сказанные над гробом эти безответные слова были так горьки и так безыскусно искренни, что тесно становилось душе, и она куда-то рвалась, горячо куда-то просилась и взмывала вдруг в запредельную высь, откуда можно было не только оглядеть пространство внизу, но и будто бы вернуться назад во времени...

Далеко раскинулись укрытые голубоватой дымкой рыжевато-серые холмы предгорий. Вились между холмами ручейки и речки, петляли дороги. По дорогам этим съезжались, чтобы навсегда потом отправиться за море, последние джигиты непокорного Шамиля, а потом катили груженные крестьянским скарбом брички с первыми переселенцами из России... Медленные быки тащили короба литой пшеницы... Проносились кавалерийские лавы под красными знаменами. Бездорожьем в глубь гор уходили банды. Останавливались заночевать в степи продотрядовские обозы. Соскакивали с телег, чтобы положить в платок горсть земли, высланные в Сибирь кулаки. Неслышно плыли по спелой желтизне первые комбайны. Ползли по ней серые немецкие танкетки. Выли «студебеккеры» с нашею морской пехотой. Спешили от поля к полю седые от пыли райкомовские газики. Неслышными стрекозами, оставляя за собой негустые шлейфы, снижались самолеты сельхозавиации... Или еще выше? Еще на несколько веков вглубь?! Когда ступали по горным тропам первые разведчики Мстислава... Когда еще не родился

Мстислав и аланы тут строили первые свои капища? Когда только учились ковать кинжалы меоты?..

Несколько лет назад среди пологих холмов за нашей станицей откопали скелет одного из самых первых здешних жителей — девятиметрового китенка цететерии. Тысячелетья назад над нашими холмами плескалось море... Зачем оно отступило? Зачем потом одно поколение стало сменять другое? Откуда все мы пошли? И куда мы должны дойти? Ради чего? Дойдем ли? И что увидят дошедшие?..

...В дверях посторонились, пропустили вперед нашего соседа, двадцатилетнего Гришу в яркой, петухами рубашке. В белом платье, с накинутым на плечи черным платком рядом с ним стала незнакомая девчонка. Сзади них появилась Гришина бабка, подтолкнула обоих поближе к гробу. Девчонка смотрела, оцепенев, Гриша оглянулся, туда и сюда повел головой, переступил с ноги на ногу. Бабка шепнула: «Ну!..»

— Мы к вам прощения просить, дядя Леня...

Бабка негромко подсказала:

— Разрешенья...

— Разрешенья, да... Давно еще на сегодня свадьбу наметили. Неделю назад приходил вас звать... Сказали, приду!..

И бабка в голос заплакала:

— Да кто ж знал! Ох-охо-хо!..

— А теперь вся родня съехалась... друзья из Ставрополя...

Бабка торопливо утерлась:

— Ребяты из техникума!.. Директор автобус дал, сказал, чтобы к понедельнику обратно. Да и наготовили, натаганили столько — разве не пропадет? Ты уж, Леонтий Степаныч, прости нас по-соседски... Христа-ради прости!

Отодвинула внука в сторону, проворно стала перед гробом на колени:

— Ты уж, Леонтий Степанович, разреши грешникам!..

Я смотрел в пожелтевшее, с запавшими глазами лицо отца.

— Вставай, Дуся! — попросила отцова тетка. — Он же не скандальный какой. Разве не поймет? Как мы со двора, так вы и начинайте...

И опять томилась, болела вечным вопросом душа, опять неслась к горним высям. И снова ей становилось

там зябко. Испуганная высотою, падала, возвращалась в осиротевший мой отчий дом, где люди сегодня были так едины в утвержденье добра, а значит, и в утвержденье предназначения...

Я и раньше никогда от них не открещивался, от своих земляков. Излишне горячий в юности, нынче я давно уже знаю, что хорошее во мне — все от них, а дурное — только мое. Среди голосов, первыми из которых я научился различать в себе голоса моих предков, я отчетливо слышу теперь и безмолвные речи не только тех, кто жил с ними рядом, корешевал, роднился, соседился, но и тех, кто с ними открыто враждовал или тихо их ненавидел... Но никогда еще не ощущал я такой неотделимости от всех, такой причастности ко всему вокруг, какую переживал теперь, стоя около гроба отца.

Поздно вечером у соседей гуляли, кричали песни...

Наши все потихоньку улеглись. Я взял старый альбом и стал перелистывать тяжелые плотные страницы. Нашел эту фотографию, сделанную в сорок втором, в тылу на переформировке: отец в шинели с лейтенантскими кубиками на уголках воротника и в фуражке. Молодой, тогда ему было тридцать два. Брови чуть-чуть нахмурены, но глаза смеются, и открытый взгляд откровенно радостен и светел. Голова, пожалуй, слегка приподнята — как раз так, словно он, сам над собой посмеиваясь, показывает так идущие ему сталинские усы...

Я перевернул фото. Как же давно я в наш альбом не заглядывал! Или, может быть, не читал этих строчек никогда?

Фотография была подписана мне: «Как ты поживаешь, сынок? Не скучай за мной и никогда не грусти. Я скоро вернусь и привезу тебе настоящий самолет».

Я почувствовал, как лицо мое стягивает горькая улыбка...

Наверное, это в них самих, давно уже отступавших, смертельно измотанных, потерявших столько товарищей, жила в сорок втором эта мечта — о настоящих самолетах. Что ж, им, и верно, приходилось тогда чем только можно себя подбадривать...

А вернулся он действительно скоро — в самом конце сорок третьего. Дома никого не было, мы с братом сидели на остывшей печке, когда кто-то завозился у нас в сенцах. Долго скребли дверь, искали щеколду. Потом она открылась, наконец, и вошел обросший, в черных очках

и в замызганной шинели человек с тросточкой в руке и с грязным вещевым мешком за плечами. Стоя посреди комнаты, хрипло позвал:

— Тоня?! Дома ты?.. А дети? Вы дома?

Мы замерли, спинами прильнув к холодной, оклеенной картинками из «Мира животных» стенке над печкой. А он услышал, видно, как зашуршала пересохшая бумага, расставив руки, сделал к нам шаг, поискал растопыренными пальцами, и в это время Валера, которому было три года, закричал как резаный.

Отступая на середину, отец звал нас по именам.

— Это я, ваш папа! Не узнали?.. Это папка!

Я верил и не верил — выходит, тоже забыл.

Он опять шагнул к нам, и опять мой брат в испуге закричал.

И тогда отец опустился на стул около стола, снял шапку, снял очки и, взяв голову в ладони, заплакал...

Через год он выбросил палочку и куда-то спрятал очки — не нравилось, когда мы играли в слепых... Из первой группы его перевели во вторую, и о ранении в голову, о контузии, все мы постепенно забыли.

Сперва он долго работал в прокуратуре, перебывал потом почти во всех, какие только есть в станице, этих самых номенклатурных должностях, однако вольнолюбивый его характер — он был мягок с подчиненными и часто резок в разговоре с вышестоящими — так и не позволил ему в конце концов ужиться с районным начальством, больше всего остального ценившим в человеке покладистость — скажем, так... А он не любил кланяться. И уехал работать в город, и вернулся домой уже только тогда, когда вышел на пенсию. Квартира, которую он там снимал, командировки, передачи домой, бесконечные поездки в выходной на попутках... Его хватало на все. Чего там, у него ведь бычье здоровье, недаром никаких болезней не признает, и на все про все у него лишь одно лекарство. И от простуды, и от усталости, и от плохого настроения, и от обиды — одно и то же...

И когда только он упал посреди улицы и загремела эта пустая жестянка из-под керосина, когда у него тут же побагровела шея и посинел иссеченный осколками затылок, все, кто знал его, вдруг припомнили: война!..

4

И все вдруг ловишь себя на том, что в душе ты еще мальчишка...

И сам спрашиваешь с усмешкой: до каких, интересно, пор?

Теперь тебе не на кого оглянуться — ты в роду старший.

Тебе ли искать человеческого тепла — около тебя давно уже должны греться другие!

И возраст такой, что самая пора за все отвечать. Как говорит мой друг — с о о т в е т с т в о в а т ь.

Не один я небось все чаще об этом задумываюсь. Вот и захотелось мне тем, кому это интересно, что-то такое дружеское сказать, и улыбнуться, хоть мы незнакомы, и, как говаривали в старину, подморгнуть усом. Вы уж поймите правильно, если улыбка при этом вышла немножко грустная...

ВОЗВРАЩАЙСЯ!...

Раньше я тоже так думал — когда в доме у кого-то только птичьего молока не хватает, когда такой человек начинает, что называется, беситься с жиру, тогда ему однажды приходит в голову: а не завести ли еще и пса?..

И вот он садится в собственную машину и едет на Птичий рынок, на то самое место, где друзей своих люди продают совершенно открыто и при этом, бывает, даже плачут; едет и покупает у какой-либо прожившейся старушки препротивную собачью морду с китайским названием породы и длиннющею родословной... Господи, да кабы так!

Прошлой осенью в начале октября погиб наш маленький сын Митя. Он был добрая душа, перед этим заступился за товарища, с которым сидел за одной партой, не дал его ударить, а потом крепко взял за руку и потащил за собой, говоря, что не надо связываться с плохими мальчишками, — что-то, жена потом рассказывала, такое...

Представляю, какая была короткая, какая воробьиная была у первоклашек эта драка, но жена расстроилась тоже, эти проявления злости в маленьких существах огорчали ее до глубины души, и теперь она шла за

двумя ребятишками, как бы прикрывая их от третьего, чуть отставшего драчуна.

На крошечном бугорке перед трамвайной линией, уже за кромкой асфальта, все, кто тоже тогда возвращался из школы, остановились, пережидая, когда промчатся два красных вагона... И как только они пронеслись мимо, двое мальчиков — наш Митя с товарищем — бросились через улицу: он, видимо, все еще волновался за своего дружка, все еще торопился подальше его увести...

Но промчался встречный трамвай.

И жена не успела ни руку поднять, ни крикнуть.

Что нам «подарила» судьба — Митю нисколько не изурадовало. Его ударило в затылок, отбросило, он умер в ту же секунду, только долго еще шла горлом кровь, и в осенних цветах он лежал потом с удивительно чистым личиком, тронутым лишь крошечными ссадинками на щеке и над бровью.

Считается, что день похорон — самый страшный день... Ох, неправда! Ведь в этот день он все-таки еще с нами, вот, кроха, весь он — можно макушку погладить, другою рукой придерживая за пяточки... А невыносимо потом — когда ты уже не можешь коснуться лба, не можешь поправить черную «бабочку» на белой, с кружевом рубашонке, не можешь ладонь положить на зеледенелые его пальчики. Когда еще потом начнет помогать тебе этот могущественный лекарь — время! А сперва тебе будет хуже и хуже, только хуже и хуже с каждым прожитым днем.

То мы с женою сидели и плакали, прижавшись друг к дружке, а то тихонько, чтобы не слышал другой, глотали слезы по разным комнатам. В такую минуту, когда я прятался ото всех, подошел однажды ко мне наш средний сын — Жора. Теперь он осиротел, пожалуй, больше, чем мы, — ведь это он и возил Митю на процедуры в дальнюю поликлинику, и водил потом в школу... Еще один подарок судьбы: в тот страшный день жена впервые пошла за Митей сама. А случись это, когда Митя шел с братом? Не лишились бы мы сразу двоих сыновей? Поняли бы? Хватило бы у нас и ума и сердца простить большего?..

Жора попросил собаку, сказал, что можно купить хорошую. Я машинально стал расспрашивать:

— Что за собака?

— Ньюфаундленд.

— А что она, для чего?
— Ну, водолаз. Спасатель...
Может быть, слово «спасатель» было для меня тогда магическим? Может быть, тут другое: собаку обещал я им с Митей купить давно, только Мите перед этим еще предстояло вылечиться — у него была астма на почве аллергии, которую вызывали и они, домашние животные, тоже.
— А у кого ты хочешь купить?
— У нашей учительницы биологии знакомая с мужем разошлась, ухаживать теперь некому. А щенок хороший, она говорит, первая выбирала, эта знакомая, когда они родились у Татьяны Федоровны...
— У нее собака есть?
— Ну да, Кора ее зовут, знаешь, что это за собака?..
В этом ли во всем было дело? Я дал сыну деньги.
Когда Жора привел его в дом, оказалось, что ростом щенок почти с годовалого теленка. Но и тут я еще не оценил предстоящих нам трудностей — все происходило тогда как в полусне.
Мы оставили щенка одного и пошли с Жорой в магазин купить костей. За это время жена вернулась с работы, и, когда мы открыли дверь, она с ногами сидели на тахте и в голос рыдала, а щенок бегал вокруг и все пробовал достать ее черным носом.
Жена сказала, что он хочет ее укусить и что она вообще не желает видеть его в нашем доме.
— Да Квета тебя лизнуть хочет! — сказал Жора. — Бывшая хозяйка с Татьяной Федоровной боялись, что она к нам еще и не пойдет, выть станет и в дверь царапаться, а ей тут сразу понравилось... Вот она и хочет лизнуть, ну, спасибо, что ли, сказать, что мы ее взяли — ей там плохо было, у старой хозяйки... Зачем ей кусаться — она тебя еще как любить будет!..
Но жена только заплакала еще жалобней.
Потом бывали всякие времена, мы то оживали на миг, если случалось событие, которому раньше все долго радовались бы, а то опять словно впадали в спячку, но присутствие в доме живого существа, о котором, хочешь не хочешь, надо заботиться, все больше мешало отчуждению. То сын звонил мне на работу, что он задерживается в школе, и просил заскочить домой на минутку, вывести Квету на улицу, то жена, жалея сына, просила меня передать ему, что в обеденный перерыв она уже,

так и быть, купила костей, и пусть-ка он в магазин не ходит, а занимается лучше математикой.

Когда мы с сыном по очереди прогуливали щенка, на улице встречались нам опытные собачники, останавливали, долго разглядывали Квету, давали советы, и я по привычке все еще относился к ним так, словно все они маленько «с приветом», но ответственность за живое брала верх, и приходилось, раз уж надо, не только увеличивать время прогулок с щенком, но и, чтобы «поставить ноги», бегать с ним. Бегали мы обычно поздним вечером, я уставал, потому, наверное, впервые стал засыпать без снотворного, и жена заметила это и практическим умом своим оценила, как оценила уже, вероятно, многое другое, связанное с появлением в нашем доме собаки... Разве, предположим, еще недавно не засиделся бы с друзьями допоздна, разве не позволил бы в утешение себе лишнюю с ними рюмку?.. Разве теперь, когда ушел с работы, не укатил бы тут же в Дом творчества?.. А каково им было бы без меня? И каково мне без них: стал бы работать или тайком от своих звонил бы товарищам, просил подкинуть деньжат все на то же — на убивающие душу размышления о несправедливости жизни?

Меня все больше привязывало к собаке другое — удивительно добрый ее характер. Не было в нашем громадном доме ни одного маленького мальчишки, перед которым она не вильнула хвостом, не было девчонки, которую она не лизнула бы в щеку. Она стала уже довольно большая и сильная собака, да и вид у нее, если не разглядеть морды, стал довольно-таки устрашающий, но вот в том-то и дело, что крупная эта лохматая башка с большими опущенными ушами и преданно глядящими на всех без исключения карими, чуть вытянутыми книзу треугольными глазами, делали ее не только миролюбовой, но даже ласковой, и это было так ясно для каждого в этих карих глазах написано, что малые ребята, которых матери подальше от большой и страшной собаки тащили за руку, пытались вырваться, чтобы неизвестно зачем ее потрогать... Конечно, тут сказывалась порода, сказывалось это много веков старательно выращиваемое в собаке сознание цели ее жизни — любить человека настолько, чтобы, ни секунды не медля, броситься за ним куда угодно. Но мне казалось, что дело еще и в другом, что Квета каким-то непостижимым образом ощущает:

она живет теперь в доме, где очень любили маленького мальчика, и что в благодарность за доброту и заботу о ней она тоже должна любить всех, какие есть на земле, маленьких ребятишек. И они это словно чувствовали, ребятишки, они к ней буквально липли, и часто вслед за собакой я останавливался где-либо на тротуаре или посреди аллеи и начинал обстоятельно объяснять какому-либо теребящему ее за хвост бесстрашному карапузу, что на ногах у Кветы есть перепонки, что уши такая собака, когда ныряет, умеет плотно зажать, оттого и не страшна ей глубина в четыре-пять метров...

Часто, когда ходили с ней, забирались в такие места, где мы раньше гуляли с Митею... Вот мелькнула знакомая афиша, и я вспомнил, как в один из последних дней коротенькой его жизни мы с ним шли мимо, и он спросил меня: «Скажи, скажи, а что такое «оник»?» До этого я все пытался научить его читать по крупным буквам рекламы, но это никак не удавалось. Удивительное дело, такой смышленый, так жадно слушающий всегда бесконечные мои рассказы, он словно чувствовал, что эта наука — читать — вовсе ему не пригодится... Потому-то, зная, какой из него чтец, я твердо сказал тогда: «Не знаю, что это такое, — такого нет». — «Но я прочитал! — теребил он за руку. — Вон, посмотри!» И я посмотрел на эту доску для афиш, на которую он показывал вытянутой рукой, и увидел крупно: «Кино».

Потом шли мы с собакой дальше, через Ленинградский проспект переходили на Беговую, и тут, когда слева мелькали теплые окна ресторана «Бега», у меня снова сжималось сердце: «Лошадром». Так он назвал однажды, когда мы с ним проезжали мимо в троллейбусе, ипподром. Я потом, смеясь, рассказал об этом одному из своих товарищей, и он написал шутливые стихи про «лошадром» и передал их Мите, чем окончательно укрепил дружеские отношения с ним; Митя мог иногда вдруг сказать: «Давно я не видел дядю Сережу, а давай к нему сходим?..» У него вообще была трогательная и чуть загадочная манера — на равных разговаривать с моими товарищами. Для него это было естественным, что мои дружки — это и его дружки тоже, и он часто подбивал меня: «А давай позвоним дяде Юре Апенченко, почему он к нам давно не приходит?» Два или три дня — это, по его понятию, было очень давно, и мы звонили, и дядя Юра приходил, мы пили чай, разговаривали о чем

попало, но чаще всего о вещах очень серьезных, а он сидел себе на диване, помалкивал и только поглядывал на нас — на одного, на другого.

И вот в ладони у меня не теплая его ручка, а жесткий брезентовый поводок...

Наверное, собаке было грустно ходить со мной, занятым теперь бесконечными своими мыслями, и она иногда тыкалась мокрым носом мне в руку или, чтобы обратить на себя внимание, прихватывала зубами поводок. Тогда я пробовал отвлечься, пробовал поговорить с ней, даже пытался что-то объяснить, если перед чем-либо она, бывало, останавливалась в недоумении. В этом своем внимании к собаке я в конце концов преуспел настолько, что однажды, увидев в Тимирязевском лесу молодую женщину, у ног которой, как мне показалось, играл крупный щенок, я вдруг с любопытством подумал: что за порода?..

И ткнулся лбом в сосну, когда понял вдруг, что это маленький, в серенькой шубке мальчик, и безутешно заплакал...

Вскоре старые друзья прислали нам с женою письмо, позвали в гости к себе в Сибирь, в Новокузнецк, где прошла общая наша молодость. Как раз в это время в очередной раз «повышал квалификацию» в Москве бывший мой однокурсник по философскому Стас Кондаков, тоже наш старый товарищ, и мы уговорили его перебраться из общежития к нам, присмотреть, пока нас не будет, за средним сыном, за Жорой.

Вернулись мы из поездки поздней ночью, и я не стал нажимать на звонок, решил открыть сам, но, когда вставлял в замок ключ, услышал за дверью странный тугой стук — это почуявшая нас Квета колотила по чем попало мощным своим хвостом. А с какой радостью она потом к нам с женою бросилась! И обхаживала каждого, и терлась, и, подпрыгнув, пробовала лизнуть в лицо, причем всякая такая попытка завершалась тем, что она — чего с ней давно уже не бывало — оставляла на полу лужу за лужей. До этого у нас никогда не было собак, никто нам об этом еще не рассказывал, поняли сами: от счастья.

Жена сердилась на Квету, не только ворчала, но и покрикивала, но в голосе у нее прорывалась ласка.

А утром она хмуро спросила у меня:

— Что вы с Жорой в конце концов думаете — с собакой?

И я в который раз понял, что она и мудрее меня, и глубже... Что это, может, последняя ее попытка запретить разбитому сердцу привязаться еще к одной живой душе в этом неустойчивом, полном тревог и несчастий мире.

В этот день приехал из Киева еще один наш старый товарищ, Миша Беликов, режиссер, с которым тогда мы работали над сценарием. У него был взрослый боксер, поэтому Миша хорошо знал, что это такое — иметь собаку, и вечером за столом опять возник разговор о судьбе Кветы. Настрадавшись с нею, пока нас не было, Стас осторожно начал говорить, что собака, мол, сделала свое дело, помогла нам, как бы там ни было, пережить самое страшное время, это так, но теперь, мол, надо посмотреть правде в глаза: кто у нас будет за ней ухаживать? Жора со своею тысячью поручений постоянно задерживается в школе, жена работает, она не то что собаке — нам, говорит, бедная, не успевает приготовить, а на меня надежда плохая, я, известное дело, — путешественник, чтож, у каждого свой хлеб, и никуда тут не денешься, это ясно.

Раньше я, и точно, проводил в поездках добрую половину года и, отзываясь на речи Стаса, завздыхал теперь и начал потихоньку соглашаться: да, мол, трудное это дело, держать такую собаку в большом городе.

Час был уже довольно поздний, а мы с Кветой еще не выходили, поэтому решили вместе с ней прогуляться все трое и потом, когда шли с собакой по улице, разговаривать продолжали все о том же: лишнее, мол, доказательство, пожалуйста, — нам бы еще хорошенько посидеть за столом, ан нет — вставай, надевай ей ошейник... Да и вообще, начал философствовать Стас, разве это естественно: ньюфаундленд — в московской квартире?.. Когда-то они жили на кораблях, и, если корабль выбрасывало штормом на скалы, такая собака с концом каната в зубах прыгала за борт, а рядом, держась за нее, плыл к берегу кто-либо из самых отчаянных матросов — чтобы там, на берегу, привязать канат, по которому переберется потом на сушу вся команда... Это другое дело! Такой собаке надо мчаться в упряжке или доставать с глубины сети — ньюфаундленд! Легендарная собака. Недаром же говорят, будто одна из них спасла в свое время не умевшего плавать Бонапарта!.. И вот, может быть, праправнучка спасшей Бо-

напарта собаки стоит сейчас перед светофором на грязном, перемешанном с солью московском снегу и нюхает гарь от проносящихся мимо вонючих автомобилей.

— Всё, Квета! — сказал я собаке, когда мы вернулись домой. — Это, в самом деле, не жизнь. Поедешь на Байкал. Простор. Воля!.. Там тебе будет хорошо. А мы станем приезжать к тебе...

Снял трубку и тут же заказал разговор на завтрашний вечер с Иркутском.

— А Жора не огорчится? — спросил Миша.

— Огорчится, конечно, да что делать? Давай поговорим потом вместе. Только сначала выясню, по-прежнему ли нужна собака в Иркутске...

Весь следующий день мы с Мишей просидели у меня в кабинете, обговаривали сценарий, а Квета лежала на полу, распластавшись, вытянув голову меж передними лапами, и все не сводила с меня глаз, пока я не заметил наконец, что они у нее слезятся.

Кивнув на собаку, я спросил у Миши: что это у нее с глазами?

— Как что? — переспросил он. — Плачет!

— А с чего бы ей плакать?

— Ну, ты же определенно сказал, что отдашь ее... Думаешь, она не понимает?

Я не поверил: ладно, мол!..

— А ты не знал, что ли? — Миша, кажется, не шутил. — Это само собой. Перемену судьбы любая дворняга почует, а у этой псины богатая, как говорится, натура — что ты хочешь?

Конечно, я человек внушаемый, предположим, но ведь до этого мы у нее и действительно никогда не видели слез. А сейчас нет-нет, да и покатится по черным, смятым о паркетный пол брылам прозрачная горошинка...

Когда возвращался из школы Жора, Квета обычно встречала его у порога, шла за ним в детскую и больше оттуда не появлялась, но нынче она только проводила сына в его комнату и тут же вернулась к нам, снова легла в той же позе. Это было настолько необычно, что Жора пришел нос у нее потрогать: уж не случилось ли чего?

Жена, когда вернулась с работы, тоже раз и другой поглядела на Квету, потом спросила у меня:

— Слушай, а она не приболела?

— Нет, нет, — сказал Миша. И, когда жена вышла,

повернулся ко мне: — Вот увидишь, ему нужна собака, этому твоему знакомому из Иркутска.

А я уже не находил себе места.

Говорят, собака выбирает себе хозяина в возрасте от шести до восьми месяцев. Того, кто кормил ее в это время, она запоминает потом на всю жизнь. Это как первая любовь, которой она никогда уже не изменит. Изменяет лишь человек. Так, как собираемся сделать это мы. Всем нам, выходит, собачка нужна была в самый горький час. А теперь, милая, как хочешь... И станет в мире еще одним предательством больше.

В общем, когда раздался длинный звонок междугородной, я не к телефону шагнул — шагнул к собаке.

— Ладно, — громко сказал, — ты уж, Квета, извини!.. Никому мы тебя не отдадим. У нас будешь жить. Тут будешь. Слышишь?

И она вскочила и завиляла радостно толстым своим хвостом.

Миша уже держал в руке трубку. Я сел в кресло у телефона, услышал далекий голос, поздоровался и спросил, как там у них, в Иркутске погода. Мой старый знакомый взялся было обстоятельно отвечать, потом рассмеялся и открытым текстом спросил: может, мне чего-либо надо?.. Да нет, говорил я, нет же, не надо мне ничего, просто хотел узнать, как он там. Он спросил: «Может, достал собаку?..» Да нет, сказал я, пока нет. Но договорился железно. Как только будут щенки, так — сразу. Ты не забывай, напомнил он, про собаку. И приезжай, наконец, на Байкал, договорились?

Спасибо, сказал я, конечно, хочу приехать, спасибо за приглашение, договорились.

Лохматая башка Кветы лежала у меня на коленях, собака смотрела на меня внимательными преданными глазами и все махала, без устали махала хвостом...

Так она у нас и осталась, и мы, как могли, делили обязанности в отношении нее, помогали друг другу и так в конце концов привязались к собаке, что ради нее чем-то жертвовали. Жена целиком взяла на себя кормежку, весь обеденный перерыв простаивала теперь в очередях то за костями, то за мойвою и домой возвращалась с такими сумками, что мы с Жорой, отбирая их у порога, только головою покачивали. Но за все то время, какое жила у нас собака, она ни разу не вывела ее погулять. Мы никогда об этом не говорили, но я понимал ее, да и

понимал, наверное, Жора, потому что никогда об этом не просил — нельзя ей было, конечно, появляться с громадной этой собакой на виду у нашего дома, в котором каждый знал всех нас и все о нас знал после несчастья... Гуляли с собакой только мы двое, а чаще всего один я, потому что у Жоры неважно стало с учебой. Как-то очень неожиданно для нас это вышло!

С первого класса у него было прекрасно с математикой, мы не знали забот, и я, расписавшись у него в дневнике, иной раз думал про себя: ну и великолепно! Ну и хорошо! Слава богу, что парень займется потом делом, а не пойдет по этой скользкой дорожке, на которую так неосмотрительно ступил когда-то его отец.

Когда мы переехали в Москву и Жора пошел в седьмой, то молодой, только из университета, учитель математики не мог нарадоваться, что у него появился такой ученик. Жора однажды рассказал нам, что вот уже в который раз Лев Николаевич, так звали математика, обидевшись на записных бездельников, оставляет класс на него, на Жору, и он, мол, сам дальше ведет урок и всё своим одноклассникам растолковывает... Я тогда всполошился: что за эксперимент? Педагогично ли? Но Лев Николаевич, когда я пришел в школу, успокоил меня: ничего, мол, ничего, все в порядке, тем самым он как бы подзадоривает ребят — представьте себе, стали заниматься лучше! За Жору тоже нечего волноваться, он остается на полчаса, на час после уроков, и они со Львом Николаевичем занимаются чуть ли не высшею математикой, только вот с книгами, жаль, неважно — может быть, я для общей пользы поищу?.. И я зачастил в магазин педагогической книги на углу Кузнецкого моста и Пушкинской улицы.

В восьмом пришел к ребятам новый математик — Лия Львовна. Была она из тех, кто убежденно говорит, что на пятерку предмет не знает даже учитель — чего в таком случае говорить об учениках?.. И она, скорее всего, решила сразу поставить Жору на место. Он принес вдруг одну двойку по математике, другую... Потом у нас случилось несчастье.

Может быть, в другое время я и понял бы, что у них там с Лиею Львовной происходит. Но тут мы с женою промедлили. И Жора сперва перестал заглядывать в те книжки, над которыми они сидели с прежним учителем, а после бросил, как потом уже до меня дошло, откры-

вать и учебники. Математику он возненавидел, разговоров о ней избегал всячески и только уже в конце года вдруг сказал нам с невеселой усмешкою: «Лия Львовна сегодня передо мной извинялась...» Я с сомненьем спросил: это за что же, мол?

Он замялся, подыскивая слова:

— Я, говорит, почему-то чуть ли не одна в школе не знала, что у тебя в начале года случилось... Была, говорит, слишком строга с тобой.

Примерно в эти же дни Жору вдруг избрали комсоргом школы. И я надел костюм, на белую рубаху нацепил галстук, пошел к директору.

Как же, мол, я его спрашивал, так? Мы с женою каждый день пилим Жору за то, что он стал троечником, а вы тут, оказываете ему, как говорится, такое доверие — не слишком ли?

Директор улыбнулся чуть снисходительно.

— Не забывайте, — сказал, — что у детей разные таланты. У одних, например, к учебе. А у вашего сына другой талант. К общественной деятельности.

Мне вдруг до зеленой тоски стало ясно, что тут уж ничего не поделаешь: бесполезно что-либо объяснять, бесполезно свое доказывать. И по дороге домой я только приподнимал иногда в недоумении плечи: не слишком ли у нас много, думал, и так этих самых талантов, который директор нашел теперь у моего сына?.. Хоть чуточку побольше бы нам других!

Летом со всякого рода объяснениями — почему да как, с большими нервами перевели мы Жору в другую школу, он снова взялся было за учебу, но тут схватил двустороннее воспаление легких, и целый месяц пришлось ему пропустить, а на зимних каникулах, в те самые знаменитые недавние холода, от которых не одна Москва пострадала, в школе полопались батареи, и ее залило, да так сильно, что пришлось поставить на капитальный ремонт — она старая и перед этим долго уже не ремонтировалась. С утра до полудня старшеклассники теперь заколачивали, чтобы отправить потом на склад, ящики с оборудованием да с приборами, а после обеда, к половине четвертого, ехали заниматься в другую школу, к черту на кулички, — в общем, и тут нашему Жоре не повезло.

Все последнее время я почти никуда не ездил, и теперь оно словно накопилось — мне надо было и туда, и сюда,

и все это обязательно, и почти срочно. И опять нас мучить стал этот вопрос: как быть с собакой?

Чего там говорить, конечно же мы с женой в последнее время оба издергались и все, что касалось Жоры, воспринимали предельно остро, — хорошо хоть у Сережи, у старшего, который учился в Рязани в автомобильном училище, все, слава богу, шло пока хорошо. Уже ненемного хлебнувши сам, теперь он без конца писал Жоре, чтобы тот не разгибал спины над учебниками, но вот оно — одно за другим... О том, чтобы оставить Квету на попечении Жоры, не могло быть и речи. Но что оставалось делать? Поздно было отправлять ее на Байкал, поздно идти с ней на Птичий рынок. Доброта собаки и удивительная, если это может быть применимо к ней, деликатность давно уже покорили не только нас, но и почти всех наших друзей, кто хоть раз видел Квету. Конечно, больше всех остальных она любила Жору. И спала около него, положив черный свой нос на его тапочки, и провожала до порога, когда он торопился в школу, и поднималась с пола, шла к двери, когда он только еще поднимался в лифте. Странная, в самом деле, штука: едет вверх и вниз лифт, вот он ходит и ходит, останавливается на нашем этаже, открываются и закрываются двери, но Квета и ухом не ведет, дрыхнет себе посреди комнаты... Но вот она сперва настораживает ухо, потом приоткрывает удивительно глупый со сна карий глаз, приподнимает голову, встает и, не торопясь, идет к двери... Лифта еще не слышно вообще, но я твердо знаю: сейчас он дойдет до нашего двенадцатого, остановится, и из него выйдет Жора.

В первый день после нового года она и растрогала нас с женой, и насмешила.

Мы пошли с ней провожать приезжавшего домой на праздники Сережу, дошли до автобусной остановки, расцеловались, а дальше, до вокзала, ехать с ним должен был один Жора. В последнее время у них появилось множество общих дел, они часто секретничали, но мы рады были, что ребята стали друг к другу ближе, и оставляли их вдвоем часто в ущерб себе, ладно.

И вот Сергей помахал нам из набитого автобуса, слегка приподнял руку Жора, дверь за ними сомкнулась, и мы, глядя им вслед, постояли еще немножко и пошли домой. Квета в последнее время слушалась идеально, и я отцепил карабин с ошейника, сказал, чтобы шла рядом, но

она вдруг побежала назад и села около автобусной остановки. Сперва я не стал звать ее голосом, просто хлопнул себя рукою с поводком по левому боку, приказывая, чтобы она подошла, но собака отвернулась, сделала вид, что жеста моего не заметила, однако, судя по тому, как перемялась она передними лапами, как слегка приподняла зад и тут же снова уселась, врать она еще не научилась.

Я снова ударил себя ладонью по боку, и она опять дернулась, выдав себя, и опять тут же отвернулась.

На ходу и укоряя ее, и успокаивая, я вернулся к остановке, но стоило мне протянуть руку, как она, мотнув своей лохматой башкой и вскинув передние ноги, и раз и другой отпрянула. Меня всегда удивляли эти ее как бы служившие знаком внутренней борьбы странные прыжки — она без поводка на ошейнике, но мечется перед тобою так, словно ты ее крепко держишь.

Мне прикрикнуть пришлось: «Сидеть!..» Но она, словно желая стать меньше, стать незаметней, сжалась, и виновато шмыгнула за стенку из стеклоблоков. Я шагнул за ней, мы сделали круг, и в это время подошел следующий автобус. Открылись задние двери, и я не успел ничего сообразить, как она, проскользнув между теми, кто толпился на остановке, первая юркнула в салон.

Можно представить, как торопил я тех, кто садился в автобус, как последних чуть ли не впервые в жизни подталкивал, как протискивался потом к передней двери, у которой спокойно сидела себе наша Квета.

Я тут же прицепил к ошейнику поводок, на следующей остановке мы сошли. Она уже пыталась заигрывать со мной, а я голосом как можно более суровым выговаривал громко: это что, мол, за штучки — без разрешенья садиться в автобус?.. Конечно, откуда тебе знать, что это не тот номер, что еще через квартал он поворачивает и идет совсем в другой конец города, — куда бы ты на нем, глупая твоя лохматая башка, уехала?!

Мне надо было тоном своим выразить ей недовольство и тем самым отбить охоту к путешествиям на будущее, и я старался говорить как можно строже, но не знаю, удавалось ли это, не ловила ли она чутким своим ухом, что в глубине души я доволен: разве это не проявленье любви?

Жора был для нее все, что там и говорить, но у Кветы хватало добра и участия и для остальных в нашем

доме, и если, например, она вдруг выходила из детский. шла к сидевшей на диване с вязаньем жене и укладывалась мордой ей на колени, я совершенно точно знал, о чем задумалась в эту минуту жена...

У самого у меня все длился этот мучительный период, когда я запрещал себе уходить в думы о Мите, чтобы не сойти с ума, чтобы где-либо среди тишины вдруг не закричать в голос... Вообще-то я многое за это время успел понять, как понял, например, задним числом свою давно умершую прабабушку, называвшую в старости меня, мальчика, то Кирюшею, то Афонькою — это были имена зарубленных в гражданскую ее сыновей. И я теперь точно знал, что если господь продлит мои лета, то Митя тоже обязательно вернется ко мне, и мы снова будем вместе, на этот раз уже неразлучно, и будем счастливы... Пока же он потихоньку начал возвращаться лишь ненадолго, и всякий раз наши коротенькие свидания с ним заканчивались тем, что я ронял голову на грудь.

Тогда я еще не писал о том, еще запрещал себе, но любой маленький мальчик, который встречался в моем рассказе, был конечно же он, Митя, и, когда я сидел над страничками, на которых он незримо присутствовал, душа моя разрывалась.

В один из таких моментов, когда я не справился с собой, когда отложил ручку и закрыл руками лицо, услышал, как собака, тяжело оскользаясь на гладком полу, стала подниматься в прихожей, где обычно лежала около двери. Она грузная, и всегда слышно, как она привстает, как ложится, рухнув на живот, в другом месте, как тяжело шлепает из комнаты в комнату. На этот раз она подошла к письменному столу и села напротив, положив черный тупой нос на край столешницы и уставившись на меня карими, будто бы все понимающими глазами.

— В чем дело? — спросил я. — Зачем пришла?

И она привстала, обогнула стол, ткнулась было ко мне, но дорогу ей преграждал стул с книжками, пролезть не смогла, и тогда она попятилась, вернулась на место, рухнула на пол, заползла головой под стол, положила морду мне на тапочки и длинно, взахлеб вздохнула...

Да ну, сказал тогда я себе, конечно же это воображение у тебя разыгралось, разгулялись нервишки, и все дела.

Но на следующий день, когда я споткнулся на том же месте и снова мне стало плохо, Квета опять поднялась в прихожей и опять пришла, чтобы положить морду мне между щиколоток и прерывисто, как ребенок, длинно вздохнуть.

Да нет-нет, как теперь с ним расстанешься, с этим молчаливым, ставшим грустным, как все в нашем доме, и как будто все понимающим существом!.. Разве вот только отдать на время... И жена бы за эти два или три месяца отдохнула от сумок, Жора поднажал бы с математикой, а я бы прежде всего съездил в станицу, где в доме у матери — несчастье ведь, как известно, в одиночку не ходит — лежала теперь парализованная моя младшая сестра, и съездил бы, наконец, в санаторий хоть слегка подлечиться, и выбрался бы наконец к старым друзьям и глотнуть вольного сибирского воздущка, и заодно коечто оживить в своей памяти, — зарплата мне ведь теперь не шла, и надо было работать, во что бы то ни стало работать...

Мы стали осторожно советоваться со старыми собачниками, и одни говорили, что лучше уж сразу расстаться с собакой, если начали одолевать такого рода сомнения, другие обещали разыскать старую знакомую, как-то однажды на целых полгода отдававшую на передержку королевского пуделя, третьи давали телефон собачьего тренера, который якобы на два, на три месяца за вполне умеренную плату берет собак домой и заодно их выучивает всяким необходимым премудростям. Это было тоже немаловажно, потому что однажды, когда я получал родословную Кветы в собачьем клубе, одна — да простится мне этот штамп! — модно одетая молодая дама стала рассказывать о том, что вышло из ньюфа, которого они не учили. «Представляете? — спрашивала она, ища сочувствия. — Прежде чем выйти из квартиры, любой из нас берет кусок колбасы. Бросаешь колбасу в дальний угол, и пока собака бежит туда, надо успеть выйти, иначе она потом не выпустит ни за что!.. А реакция у пса, должна вам сказать, прекрасная, старенькая мама, например, выйти за дверь не успевает, однажды просидела, не смогла встретить родного брата — Артон не выпустил, представляете?..»

Прощаясь, я тогда спросил у нее нарочно грустно: «Так мы с вами больше не увидимся?» — «Ах, почему же? — ответила она, явно кокетничая. — На следующей

выставке, в мае!..» Конечно, это было не очень остроумно, но уж больно не хотелось мне примыкать к этим, которые все-таки немножко «с приветом», собачникам, и я сказал убежденно: «Так ведь он вас к этому времени съест!»

Нам это, кажется, не грозило, но ведь были и другие сложности. Есть ведь люди, которые смертельно боятся собак, и представьте себе, что, ослушавшись хозяина, к одному из таких людей стремительно бежит черный огромный пес!.. Недаром же говорят, что наводившая ужас баскервильская собака тоже была из породы ньюфов.

И вот я каждый вечер садился в кресло у телефона и звонил, звонил до посинения то по одному, то по другому номеру, но оказывалось, что эта женщина, которая отдавала на передержку королевского пуделя, на этот раз уехала за границу на два года, а у кого она оставила собаку, никто не знает; что у инструктора уже живут дома три собаки и взять четвертую он никак не может, но и отдавать другим инструкторам ни в коем случае не советует, потому что один бьет собак смертным боем, а другой морит голодом...

Не было, вы скажите, у бабы хлопот — купила она себе поросенка!

Странная, на первый взгляд, наша проблема настолько выбивала меня из колеи, настолько все в нашей жизни осложняла, что однажды мне пришла и совсем сумасшедшая идея: а что, если на время отдать собаку в милицию? Лишь бы только взяли ее в питомник, а там можно будет поговорить по душам с каким-нибудь опытным, влюбленным в собак проводником, все ему объяснить...

«Угу, — сказал мне по телефону один мой имевший отношение к московской милиции знакомый, — угу. Знаешь, кто тут тебе смог бы помочь?.. Это железно — Феликс Бабкин! У него...»

И как я не подумал о Феликсе! А ведь всего недели полторы или две назад сам видел его в ресторане Дома литераторов за одним столиком с моложавым, одетым в милицейскую форму генералом. Да и вообще, если припомнить ходившие о Феликсе легенды или хотя бы то, что рассказывал о себе он сам... Есть, действительно, судьбы, с самого своего начала отмеченные яркой печатью необычайного, и она, печать эта, на все годы впереди

служит потом как бы пропуском в особую, совершенно недоступную кому-то другому жизнь. Если человек, чья судьба такой печатью хоть слегка тронута, даже и постарается, и приложит все силы к тому, чтобы жить, как все, случай все равно найдет его среди обыденной суеты и обязательно вернет на крутую тропу почти фантастического.

Отец у Бабкина был известный в свое время дипломат и журналист, и Феликс родился на океанском пароходе, идущем то ли в Соединенные Штаты, то ли оттуда, долго жил потом в разных странах, прилично изучил несколько языков, начинал студентом Сорбонны, но потом вернулся в Россию, стал военным, чуть ли не летчиком-испытателем, попал в катастрофу, вместе с орденом, еще задолго до тридцати, получил приличную пенсию, и чем только с тех пор не занимался и где только не успел побывать, пока не сделался, наконец, удачливым сценаристом. Он и сейчас легок был на подъем, мчался то к вулканологам на Камчатку, а то участвовал в каком-нибудь сумасшедшем рейсе в Антарктиду, каждый год проводил пару недель в Домбае или в Бакуриани, а если показывали из-за границы по телевизору хоккейный матч на первенство мира, то его можно было видеть и там, среди наших болельщиков, а то и рядом с ребятами. Словом, Феликс знал всех и все знали его, он был, по-моему, образцом того самого человека, которого теперь принято называть коммуникабельным.

Познакомились мы довольно давно, когда я еще жил в Сибири и в каждый свой приезд в Москву считал своим долгом два-три вечера просидеть за рюмкой в писательском клубе. Представивший нас друг другу наш общий знакомый, бывший боксер, Динкович, был порядочная дубина, я сперва заскучал, но Феликс, улучив минуту, с улыбкой из-под мушкетерских усов шепнул мне что-то такое: не правда ли, мол, что проблески бывают у всех — Пан Спортсмен, например, подружил двух хороших людей, вот, пожалуйста. То, что Феликс еще до знакомства прочитал одну из моих книжек, меня буквально потрясло: ведь этого часто не дождешься от самых близких товарищей, — посидели мы тогда на славу и с тех пор нет-нет да и обменивались дружескими приветами, а то и встречались все там же, в писательском клубе, причем всякий раз Феликс долго расспрашивал о житье-бытье, предлагал иногда воспользоваться его связями,

и, хоть близкими товарищами мы не стали, мне было приятно думать, что вот есть, есть в этом огромном городе симпатично смуглый, все еще, несмотря на то что ему уже далеко за сорок, похожий на д'Артаньяна человек, на уверенное плечо которого я всегда могу опереться.

Я позвонил Бабкину.

Пожалуй, это не проблема, сказал он, — устроить собаку в питомник МУРа. Можно снять трубку, и... Но хорошо ли будет бедной домашней псине среди овчарок, которые, ясно дело, не очень приучены к церемониям?..

Это была, как говорится, голая правда, я тут же скис, забормотал, что положение почти безвыходное, потому я ему и позвонил.

И правильно сделал, сказал он. Что, если мы не станем выручать друг друга? Но давай-ка поищем какой-нибудь более интеллигентный вариант. Могу я дать ему пару дней?..

Да о чем речь, сказал я, терпели дольше!..

Через пару дней, сказал Феликс, в это же время он будет ждать моего звонка.

До этого, может быть, потому, что очень редко звонил Феликсу, я почему-то не замечал, как быстро всегда он снимает трубку. Знаете по себе: пока оставишь какое-либо дело, пока подойдешь... А тут всего лишь один гудок — как «скорая помощь», как пожарная команда в хорошем городе.

Когда я позвонил на этот раз, Феликс сказал, что он разговаривал со старым своим приятелем, бывшим жокеем, который так же хорошо, как лошадей, знает собак. Старый приятель сообщил Феликсу, что в Подмосковье есть хитрый питомник при открытом совсем недавно НИИ и собак там содержат очень хорошо — он туда устраивал сеттера одного народного артиста. Но делал он это через своего дядю. Дядя сейчас в Кисловодске, но через четыре дня приезжает, и нет сомнений, что он нам поможет.

Я пообещал позвонить через неделю, но Феликс заявил, что такие дела надо решать единым духом, пока никто ничего еще не забыл, — мне надо связаться с ним ровно через пять дней.

И опять он снял трубку после первого гудка: все в порядке, дядя на месте, с ним уже говорили, но ему необходимо разыскать одного известного ученого, который всегда выручает его в подобных случаях. Дядя попросил

два дня. Следовательно, я должен перезвонить Феликсу на третий.

На третий день выяснилось, что мы совершенно зазря потеряли почти неделю, но кто знал, что этот самый известный ученый — однокашник Феликса. Но вот теперь они поговорили без посредников, и, хоть дело это оказалось не такое простое, как мы сперва думали, Феликс вырвал у него твердое обещание помочь. Однокашник, правда, попросил не торопить его, звонить своему бывшему сослуживцу, заместителю директора этого самого НИИ он не станет, а вот в субботу, когда они у дяди жокея соберутся на пульку... Кстати, спросил Феликс, не играю ли я в преферанс? Ах, я гуманитарий, а не технарь — понятное дело. И он, между прочим, не играет, хотя его-то можно отнести и к технарям тоже. Но у него другое увлеченье — пасьянс. Надо будет собраться как-нибудь, и он меня научит раскладывать, занимательная штука. При нашем чертовски напряженном ритме... Надо же как-то расслабляться!

Пора сказать, что разговаривали мы с каждым разом все дольше и дольше, от летающих тарелок переходили к событиям в Иране, от йоги к русской парилке. Что касается этой последней, мы оба, как выяснилось, были заядлые любители и потому договорились, что в первую же субботу после того, как сдадим собаку в питомник, соберемся на даче у Феликса и хорошенько, с домашним кваском и с травками попаримся и попьем чайку из старинного, доставшегося жене Феликса от прабабки-помещицы серебряного самовара.

Казалось, что это уже не за горами — пулька состоялась, и однокашник Феликса в принципе договорился с замом директора, но в последний раз, когда они с Феликсом перезванивались, у него под рукой просто не оказалось телефона НИИ, чтобы окончательно все уточнить, а наизусть он не помнил.

Когда я в очередной раз связался с Бабкиным, телефон, по которому мне надо было позвонить перед тем, как отвезти собаку, был наконец уже у него, но он записал его на листке календаря, а листок этот оставил на столе в редакции. Он предупредил меня, что завтра у него творческий день, следовательно, телефон я получу послезавтра, когда он появится на работе, а пока, чтобы не терять времени даром, я могу потихоньку собираться, куда мне надо.

Феликс был явно доволен, что все наконец устраивалось лучшим образом, не хотел этого скрывать, и, слушая его уверенный голос, я вдруг впервые ясно представил, как в хитром этом питомнике забирают у меня Квету, как бьется она на поводке уже в чужой руке, как тоскливо смотрит мне вслед... Мне припомнился рассказ одного знакомого старика: у него в тайге пропала собака и вернулась только через три года с металлической, заткнутой пробкою фистулой пониже груди.

Прекрасный сюжет, раскатился в трубке дружеский смешок Феликса, — я об этом еще не написал?.. Нет? Ну, ничего, будем думать, что это от меня еще не уйдет. Однако в нашем случае фистула ни при чем. Это новейший НИИ, который занимается психологией животных, поисками путей общения с ними, да, потому-что там все на самом высоком уровне, а главное, конечно, — совсем иное, нежели в милицейском питомнике, обращенье, согласен я? Правда, однокашник предупредил Феликса: надо быть готовым к тому, что собаке придется пробыть в питомнике никак не меньше полугода, и тут уж ничего не поделаешь, попутно их обучают, а это самый короткий курс. Где находится этот питомник?.. Он пока не знает, не вдавался в подробности — об этом я потом сам ему расскажу, когда оттуда вернусь.

Он, видно, почувствовал, что теперь, когда дело оставалось за малым, я слегка загрустил, и стал утешать меня: да ты что, мол?.. Недаром же столько усилий было затрачено — все будет, как говорили у них в авиации, тип-топ!

Мои тоже притихли, когда я передал им этот разговор с Бабкиным. Жена в последнее время все старалась подкормить Квету — мало ли как придется ей в питомнике, хоть он и «хитрый», — а тут, я понял, решила для нее чуть ли не прощальный ужин устроить: чтобы не забывала свой дом. Жора сказал, что вместе с Кветой надо будет отвезти в питомник полевую сумку, в которой хранились поводки ее и намордник и которую Квета часто таскала в зубах по улице, отвезти и попросить их там, чтобы они повесили эту сумку в вольере — тогда Квета иногда будет нюхать ее и вспоминать о доме, и думать, что скоро она к нам вернется.

А я помчался в кассу у «Метрополя» — покупать себе билет до Армавира...

Обидная получилась история, расстроенно говорил

мне Феликс через день. Пока его не было в редакции, в соседнем отделе перед концом работы решили скинуться, а чтобы им никто не помешал, открыли его кабинет и устроились, алкаши несчастные, за его столом. И вот он уже полдня ищет листок с телефоном и никак не может найти.

Листок так и не нашелся, пришлось Феликсу снова ловить своего однокашника, но тот успел улететь на симпозиум в Норвегию, благо, что ненадолго, всего на неделю.

Мы с женой посоветовались, и я решил сдать билет: восемь — десять дней погоды не делают, зато потом, когда пристроим собаку, на душе у меня станет спокойней, не буду волноваться за Жору и смогу пробыть в станице подольше.

Однокашник Феликса скоро вернулся, но за это время изменилась ситуация в подмосковном этом институте — лег в клинику на обследование заместитель директора, который обещал все устроить, а без него в НИИ нечего и соваться, Феликс ведь говорил и раньше, что дело это, как оказалось, не такое простое. Оставалось одно — ждать, что там, в клинике, решат с замом: будут оперировать или все обойдется. Ну да ничего-ничего, ждали больше. Зато потом я буду свободен как ветер, на все четыре стороны, пожалуйста, — разве Феликс не понимает, что в станице меня уже заждались и что в Сибирь мне тоже надо, что называется, позарез. Единственная ко мне просьба: задержаться потом все-таки еще на пару деньков в Москве, чтобы мы смогли съездить к Феликсу на дачу, хорошенько попариться, попить чайку и поразговаривать не торопясь, — а то всё по телефону да по телефону...

Есть люди, которым, пожалуй, все равно, из-за чего терзать себя — лишь бы терзать, и в последнее время я стал думать совершенно определенно, что я тоже из таких людей, это факт, потому что ко всякого рода проблемам, давно не дававшим мне покоя, прибавилась теперь и еще одна: наши отношения с Бабкиным.

Конечно же я давно уже начал сомневаться в искренности Феликса, но относил это за счет заскорузлой своей, как у старого станичника, подозрительности... В самом деле: разве подал он хоть малейший повод ему не верить? Ведь ни разу мне не ответили по телефону, что Феликса

неделю не будет дома, ни разу не слышал я этого неловкого молчания, когда малый ребенок, зажав кулачишками трубку, спрашивает у родителей: что сказать?.. Более того — довольно часто Бабкин звонил мне сам.

Никогда не слышал я от него и этих словечек из жаргона средней руки разбойников: что он-де, мол, вышел, наконец, на Иванова и будет пальцы держать на пульсе, а пока додавит и Сидорова, чтобы они с Ивановым вместе, двойною тягой...

Иной раз я начинал думать, что притормаживать дело таким образом — это просто принятая в этом большом городе среди интеллигентных людей деликатная манера отказа и мне давно бы следовало понять это, но концы с концами не сходились и тут: неужели, когда позвонит Феликс, передать через своих, что меня нет и не будет?

Не раз и не два за это время я решал для себя, что все, больше не стану Бабкина беспокоить, но потом приходил к кому-либо из общих знакомых, и тот мне вдруг говорил: «Да!.. Был у меня сегодня Феликс, рассказывал, как вы пробуете ньюфаундленда в питомник определить, и просил передать тебе... Стоп! Сейчас мы ему позвоним!..»

Странная и запутанная получалась история, и я, когда размышлял о ней, прямо-таки тосковал по простоте, пусть она будет даже такая, когда тебя без лишних слов просто посылают куда подальше...

Но ведь есть, думал я тогда, и другие отношения... Или только могли быть?

Перед тем как пойти ему в школу, в августе мы с женой отвезли Митю в подмосковный санаторий. По дороге все втолковывали маленькому, что скучать не надо, будем часто приезжать к нему, но там вдруг выяснилось, что на этот счет очень строго: всего один родительский день. Зачем, объясняли нам, заставлять ребятишек нервничать — ведь к одному, лишь разреши, приедут и завтра, и послезавтра, а другой только в окошко будет выглядывать, только ждать. И мы решили, что это справедливо, и даже в тот день, когда настала моя очередь привезти на всю группу фрукты и овощи, я не стал донимать нянечек просьбами увидеться с Митей, а только хорошенько обо всем расспросил.

В родительский день строго-настрого запрещалось угощать ребятишек, все гостинцы надо было оставить для

общего стола, и мы с женой первым делом выложили все до единого кульки и пакеты. Потом, когда мы втроем устроились на одном краешке низенькой скамейки, а на другом, точно так же усадив малыша посредине, расположилась еще пара, я заметил вдруг, что наши соседи по очереди достают из портфеля сливы и суют украдкой мальчонке в рот. Они были моложе нас, эти двое, мы с женой понимающе переглянулись, и я повернулся к соседям спиной, закрыл их от Мити.

Но он вдруг засмеялся, качнул головой, стрельнул глазками напротив:

— Совсем дырявая память у Наташки!..

Неподалеку от нас сидели под грибком тоже трое — худенькая вертлявая девочка с большим красным яблоком в руках, а по бокам двое уже пожилых людей, наверняка дедушка с бабушкой.

— Почему — Наташка? — укорила его жена. — Наташа!

— Наташа у нас другая! — возразил он уверенно. — А это Наташка.

Пока мы с женой переглядывались да разводили руками по поводу этой четкости — кто есть кто, — я забыл спросить, почему так плохи у маленькой Наташки дела, а затем нам стало не до того: почти все детишки вокруг, прячась за прикрывающим их родительским плечом, быстренько жевали, в подставленные ладошки сплевывали косточки, наклоняли мордочки к протягивающей арбузный ломтик руке...

Пожилая нянечка сперва подходила то к одним, то к другим и что-то недовольно выговаривала, издалека грозила пальцем, но вскоре ей это надоело — остановилась посреди площадки, где все сидели, демонстративно приподняла подбородок, стала глядеть куда-то поверх деревьев. Тут ее окликнули, она ушла, и началось открытое пиршество, началось обжорство...

— Может, пойдем отсюда? — шепнула мне расстроенная жена. — А то вдруг попросит еще...

Мы взяли Митю за руки, пошли, а он оглядывался, качал почему-то головой, весело смеялся, но так ничего и не попросил.

Потом, когда все еще судорожно дожевывающих ребятишек уже вели к корпусу, он бросился к кому-то из новых своих дружков, схватил за руку: «Олега, Олега, что — и у тебя совсем дырявая память, забыл, что Марья

Иванна сказала: будем кушать все вместе, что папа и мама принесут!..»

Лицо у него светилось: сам-то он не забыл!

И вот в самых неожиданных местах все еще находишь припрятанный им смятый остаток жвачки с остренькими его зубками, и над краем книжной стенки под потолком так и висит одинокий нос бумажного голубя...

Что, так и остался бы он — святая доверчивость? Или ушла бы она потом — вместе с детством?

Каким бы он был?.. Каким будет этот сидевший с ним за одной партою однокашник, которого удалось хирургам спасти? Какими будут эти мальчишки, которых тогда без удержу угощали клубникой да сливами?..

Где ты, маленький?!

Увидел я Бабкина в Доме литераторов в субботу. Пробираясь между столиками в верхнем буфете, он еще издали разводил руками, и я уже подумал было, хочет сказать наконец, что ничего у нас не выходит, однако лицо у него было радостное, а в голосе послышался обращенный ко мне дружеский укор:

— Где ты можешь — с утра до вечера?..

Он уже подошел совсем близко, взявши меня за локоть, наклонился, и хоть я ненавидел эту московскую манеру, целоваться на каждом шагу, тоже ткнулся губами ему в щеку.

— Звоню сегодня, звоню!

Я стал говорить обычное, что целый день, мол, в бегах, а он взял меня теперь за другой локоть, молча повел впереди себя в дальний угол. Там за столиком сидели тесной компанией пять или шесть мужчин, среди которых я узнал нескольких завсегдатаев.

— Не дадут соврать, мы о тебе только что говорили, — пододвинул Феликс свободный стул. — Вот местечко. Кого не знаешь, познакомишься потом, пока я буду ходить за коньяком. Но сначала вот тебе листок, пиши свой подробный адрес... Или тебе лучше водки, вкусы у нас с тобой как у настоящих гусар, а?

Он еще раз дружески сжал мне плечо и пошел к стойке, а я достал наконец из портфеля ручку и положил ее на осьмушку мелованной бумаги, которую Феликс только что вынул из записной книжки.

— Займитесь сперва делом — пишите! — кивнул мне сидевший напротив неопределенного возраста человек в

хемингуэевском свитере и с такой же, как у знаменитого американца, бородой.

— Кончились ваши мытарства.

Я посмотрел на этого, на второго, — русоволосый, со светлым лицом и серыми, с голубизною глазами, он был очень похож на одного моего жившего в Улан-Уде старого товарища — потомка пришедших когда-то в Забайкалье староверов из «семейских».

— Вы, наверно, еще не знаете — завтра Феликс заезжает за вами...

И я посмотрел на третьего.

Все дружеские, все такие открытые лица видавших виды ребят, с которыми не пропадешь... И обращаются эти ребята ко мне так, словно все вместе они здесь долго сидели и лишь о том и толковали, как мне помочь, когда, и вот, наконец, совершенно твердо решили: завтра!

Когда Феликс вернулся, я уже все знал, осталось только убедить его ехать в питомник не на его автомобиле, а на машине моего старого друга, всегда меня выручавшего: он прекрасный водитель, да и «Волга» у него не такая, как у Феликса, новая, — если собака где и царапнет, мало ли...

— О чем ты говоришь?!

Лицо у Феликса сделалось на миг такое грустное, что я вдруг устыдился своей мелочности. Он, видно, понял это и чуть-чуть помолчал.

— Поедем на моей, — сказал твердо. — Так надо. И приподнял рюмку.

Вернулся я домой поздновато, и жена стала было ворчать, но стоило мне заявить, что завтра мы отправляем наконец Квету в питомник, как она тут же переменила тон.

— Позвонил бы! — упрекнула почти виновато. — Я бы велела Жоре искупать ее, ты ведь видел, грязь на дворе... Тем более, повезете в чужой машине.

А я все еще настолько плотно был окружен атмосферой дружеского общения, этим кислородом братства, которым вволю мне посчастливилось подышать вечером, что я если не сурово, то во всяком случае очень строго спросил ее:

— Почему это, любопытно, — чужая?!

С утра я сел со свежим номером журнала у телефона, стал ждать. Отложившая все заботы жена приоделась и

с вязаньем устроилась неподалеку. Жора хорошенько расчесал Квету и в который раз сложил в полевую сумку ее пожитки.

Разговаривали о том, стоит или не стоит вместе с нами ехать в питомник и ему. Нет, решали, пожалуй, не стоит... Пусть уж собака думает, что единственный из всех нас злодей — это я, оставивший ее в питомнике. А Жора потом приедет, чтобы забрать ее. И Квета привяжется к нему еще больше.

Бабкин не звонил.

Может, около гаража сломался автомат?.. Может, висит без трубки? И Феликс подумал, что дольше будет искать телефон, решил подъехать так, без звонка.

Я стал выскакивать на балкон, глядеть вниз, искать глазами белую «Волгу».

Жена с каждым разом все заметней поеживалась.

Сыну позвонили мальчики из его класса, позвали в кино на две серии. Он сперва отказался, потом мы уговорили его, и Жора торопливо собрался, присел перед собакой: «Давай с тобой попрощаемся — а ну-ка, дай лапу!..»

— Ладно, ладно, — сказала жена, — ты еще успеешь вернуться.

Я промолчал. Только вдруг подумал про себя: а бывают ли серебряные самовары — у кого бы спросить?..

Квета проводила Жору до двери, потом вернулась, грохнулась около дивана, вытянула морду между передними лапами, закрыла глаза и почти тут же длинно всхрапнула...

Жена посмотрела на меня и непонятно усмехнулась.

Сын и в самом деле успел прийти из кино, а белой «Волги» под балконом все не было. Мне вдруг стало как никогда в жизни обидно. Так, наверно, и бывает в тот миг, когда человек, переживший что пострашней, готов потом застрелиться из-за того, что на ботинке у него лопнул шнурок.

Жена отложила вязанье и встала, чтобы надеть кофту.

— И долго мы так будем сидеть? — спросила потом не то чтобы насмешливо, спросила с какой-то совершенно уничтожающей ноткой.

Она всегда была добрый человек, с характером справедливым и спокойным, но в последнее время — я это замечал уже не впервой — в нее, случалось, словно все-

лялся неукротимый бес, который приплясывает обычно под чутким ухом нашего брата, и тогда ее начинало нести по всем правилам, как опытного какого-нибудь клейменого прощелыгу из ЦДЛ, — а то она за столько лет рядом со мною, бедная, не наслушалась!

— Одно мне непонятно: собака в глаза твоего Бабкина не видела, но совершенно точно знает, что он врет как сивый мерин. Никуда она с ним и не собиралась, посмотри, какая спокойная!.. Дрыхнет себе, и все дела. А ты?! Ты нам уши прожужжал с этим твоим Бабкиным, а так ничего и не понял, — кто из вас, интересно, больше психолог: ты или Квета?..

Она, конечно, понимала, жена, что я не стану больше откладывать свою поездку на Кубань, но и появиться в станице с этой громадною черной собакой тоже не появлюсь; понимала, что с Кветой, скорее всего, совсем рано утром, чтобы ни одна живая душа не видела, или совсем поздно вечером придется, если мы не предатели, выходить на улицу ей...

— А возьми другие дела, го-осподи! — нараспев говорила она, как плакала. — То он бросает все на свете, думает, что в самом деле поставят его пьесы — да кому они только нужны!.. То он хочет в Сибирь, верит, что в самом деле найдутся дураки, которые подпишут-таки договор на эту книжку — на что она сдалась тут, эта твоя Сибирь с твоею книжкою вместе!.. Кормить такую собаку! Да ты бы хоть как-то приспособился с ней советоваться — где что у тебя и правда возьмут, а где только пообещают, да тут же забудут. Один Миша Беликов, бедный, с ним возится, потому что сам — недотепа!.. А еще туда же го-осподи! Держали бы лучше поросят — больше пользы.

Ушла она наверняка затем, чтобы вытереть слезы.

А во мне перестала разом звенящей высоты набирать душа, непонятно отчего задышал спокойней. Бросил на пол журнал и отключил телефон. Сполз в кресло пониже, положил одна на другую, вытянул ноги.

А ведь и верно, подумал, усмехнувшись: это надо быть совсем идиотом, чтобы иметь такую собаку и позволять себя на каждом шагу обманывать!.. Вот оно что, эге! — темнят, конечно, опытные собачники, когда не говорят, что с помощью своих ротвейлеров или русских гончих на самом-то деле спокойненько обтяпывают самые разные делишки! Все при встрече — мол, шерсть вычесываете или

нет? — а о самом главном, жучки, ни слова. Как будто свитер из собачьей шерсти нужен мне больше всего на свете!.. Не озябну, глядишь, и без него, коли пойдут дела мои поживей! Ну, да все, теперь-то остановка за малым — придумать, и верно, способ с этой лохматой зверюгой советоваться, а там уж нас никто не обманет!

И заживем мы с женою тогда хоть чуточку веселей.

И станем счастливы, может быть, еще до того, как насовсем вернется к каждому из нас маленький...

1973—1978

БРАТ, НАЙДИ БРАТА!..

1

И настал день, когда Дружок наконец понял, чего хотят от него мальчишки. Стоило Никите негромко свистнуть, как собачонок вылетел из-за дома, цапнул Андрюшку повыше щиколотки, рванул за штанину, а потом еще вдруг упал кверху лапами и через спину перекатился — совсем как бешеный!..

Мальчишки громко закричали «ура», замахали руками, как футболисты по телевизору, а потом сели на верхнюю ступеньку крыльца, и Никита полез в карман за сухариком.

— Кому говорил, научится? А ты не верил!

Андрюшка только приподнял плечи: кто же и в самом деле знал, что Дружок таким способным окажется!

— На тебе за это сухарик, на! — приговаривал радостный Никита. — Ах ты, мой умница, ах ты, песик!

Передними лапами Дружок стал на ступеньки и вытянул лисью мордочку. Глаза у него были слегка прищурены, едва открытая пасть, когда он осторожненько брал сухарик, мелко подрагивала, и весь вид Дружка словно говорил: вы посмотрите, какой я дружелюбный да вежливый — разве я могу ни с того ни с сего кого-либо цапнуть?.. Это если уж очень просили — тогда, пожалуйста!

— Ну так что? — спросил Никита. — Кого первого кусать будет?

И Андрюшка Пинаев опять плечами пожал: не знаю, мол!

Рядом тягуче скрипнула дверь, и на штакетном заборчике повисла бабка Подьячиха:

— Чего орали как оглашенные?

Никита сразу нахмурился:

— Ничего мы не орали.

— Как же не орали, когда я слышала?

— Ну, крикнули тихонько.

— Да где ж тихонько, когда я тарелку уронила — упала да разбилась?!

Что ты тут скажешь? Никита промолчал. Но для бабки Подъячихи это плохо.

— А чего ты не разговариваешь? Чего сопишься, как сыч на крупу?

Встали мальчишки с крыльца, не сговариваясь, пошли к палисаднику. Андрюшка обернулся, спросил:

— Что ж теперь, и крикнуть уже нельзя?

— А ты не огрызайся! Ишь, взяли моду — огрызаться! — кричала в спину бабка Подьячиха. — А то я поогрызаюсь! Скажу матери, она тебе даст чертей! Иди в свой двор и там ори сколько влезет, там и огрызайся!

Но они уже завернули за угол.

— Не отдала стрелу? — спросил Андрюха.

— Отдаст она!..

Тут они сели на перевернутый пустой ящик, который стоял у стены для того, чтобы Никита мог достать до окна, когда закрывали на болт ставни.

— Вот бы кого первого надо укусить, да, Дружок? — сказал Андрюшка, поглаживая собачонку от макушки до хвостика.

Никита усмехнулся:

— Да ей-то все равно будет. Она же водку не пьет.

— Хоть напугать, и то.

— Ругается Капитоновна? — За проволочной сеткой, которая перегораживала палисадник, стояла со связкой прищепок на шее и с тазиком мокрого белья у бока другая соседка Веденеевых — тетя Женя. — Да что за жизнь такая, будь она неладна, бедному мальчишке и поиграть негде? Вот дожили, и правда, вот дожили!

Тетя Женя добрая, не то что бабка Подьячиха, да только голос у нее такой жалостливый, что станет говорить — плакать хочется.

— Ты хоть, Никитка, кушал?

— Ел, тетя Женя, ел.

— А то зайди ко мне, я хоть покормлю тебя, бедного.

И опять голос у нее был такой, что у Никиты отчего-то щипнуло в глазах.

— Что у нас, дома, что ли, есть нечего?

— Знаю, мама оставила. Разве такая мама, как у тебя,

уйдет да сыночку не оставит? — продолжала причитать тетя Женя. — Да только ты ж, моя детка, еще маленький, забегаешься — и про все забудешь...

— Чего это я — маленький?

Она наконец ушла, но настроение у Никиты окончательно испортилось, ему вдруг сделалось так тоскливо, что хоть из дому беги. И он вдруг спохватился:

— Послушай!.. А что, если это он случайно укусил, а больше не станет?

— А давай проверим, — рассудил Андрюшка. — Долго нам, что ли?

— Только, чур, не кричать потом.

— Мы, если что, прыгать будем.

— Давай лучше прыгать.

И Андрей опять пошел за калитку, там оглянулся по сторонам, но улица в этот час была пустынная, и тогда он раз и другой, словно был выпивши, качнулся перед калиткой, пнул ее ногой, и, пошатываясь, медленно побрел по дорожке к дому.

Никита снова тихонько свистнул.

Эх, как вылетел из палисадника Дружок, как он к Андрею бросился! И цапнул, как его учили, за щиколотку, и за штанину подергал, и даже опять через спину перекатился — ну что за пес, чудо какое-то, а не собака!

И пацаны запрыгали молча, один и другой запрыгали так высоко, что Никите показалось: взмахни руками еще сильнее — и взлетит он выше пожелтевшей акации, и вознесется над красной крышей, над серыми, вскопанными уже огородами, над пустыми садами, над всею притихшей под неслышным солнцем станицею.

— Это чего, как кони, топочете?!

Да что она, бабка Подьячиха, следила за ними, что ли?

Но они не стали с ней спорить. Юркнули опять за угол дома, и все дела.

— Ну?! — только спросил Никита.

И Андрюха только ответил:

— Что ты!

— Тогда так.

Никита подобрал с земли мелкий камушек, качнул его на ладони, завел руки за спину, подержал там, выставил перед Андрюшкой вниз пальцами сжатые кулаки.

Андрюшка хитрый: не на руки смотрел — смотрел в глаза. Смотрит, а сам в это время ладошкой над кулаками водит. Бац! — и не угадал все-таки.

— Значит, моего отца первого! — сказал довольный Никита, снова покачивая на ладони малюсенький камушек.

Андрюшка встал с ящика, потянулся и даже зевнул, как будто еще утро и он не выспался.

— Ну ладно. А то я еще уроки не выучил...

И не успел Никита ответить, как он уже стукнул калиткой и быстро пошел по улице... Еще чего выдумал! Кто бы ему поверил, что Андрюха станет учить уроки до того как мать силком его не усадит. Наверно, опять обиделся, он обидчивый. Может, надо было и в самом деле уступить ему очередь — пусть кусает Дружок сперва Лексашку Пинаева — Андрюхиного отца. Но они ведь решали честно, и разве Никита стал бы спорить, если бы Андрюха угадал?

Да нет, чего там, все правильно! Или это не он придумал, с Дружком? Он, Никита, а кто ж еще. Весною, когда отец с матерью в очередной раз поскандалили, мама крикнула: «Да хоть бы тебя собака бешеная укусила! И сам бы от этой водки отдохнул, и нам хоть чуть дал покою!» Тут Никита и вспомнил: а верно ведь! Было же такое два года назад, когда у соседей Копыловых сбесилась старая сучка. Тогда она тяпнула дядю Петю Копылова за лодыжку, и он долго ходил в поликлинику на уколы в целых полгода совсем не пил: нельзя было.

Весной Никита и начал Дружка натаскивать. Сперва один бился, потом решил Андрюшку позвать — у того отец тоже не часто трезвый домой приходит.

С весны и до осени — вон сколько времени ушло на Дружково ученье! Ну да ничего, зато теперь — будьте спокойны.

Цапнет Дружок сперва Никиткиного отца, вслед за этим Андрюшкиного, а там третий кто-либо попросит помочь, лишь бы только узнали, что есть такая собака — от пацанов отбою не будет. И Дружок сперва перекусает всех на своей улице, потом на своем краю. Потом в центре. А там будут приходить звать его с другого конца станицы. Будут приносить Дружку вкусную колбасу. Будут гладить. И перецапает он постепенно всех, кто в Отрадной пьет. Очередь будет в процедурный кабинет за уколами, а не в «гадюшник» за пивом. Начнут пиво или прямо на улице долой выливать, или увозить в другую какую станицу, потому что в Отрадной пить станет некому.

А из желтой бочки, что стоит рядом с рестораном, эти-

ми же большими кружками, только вымоют хорошенько, будут продавать пепси-колу.

С тех пор как начал Дружка учить, сколько раз представлял себе все это Никита!

— Внучек!.. А внучек!

Бабка Подьячиха зовет. Может, не откликаться?.. Опять или воды из колодца вытащить, или что-нибудь с чердака достать. Ругается, кричит, а как что надо, так сразу — «внучек».

— Никитушка!..

И голос у Подьячихи такой слабый, как будто зовет уже с того света. Махнул Никита рукой и вышел из палисадника.

Бабкина голова в теплом платке опять торчала над высоким, еще совсем новым штакетником, только на этот раз лицо у нее было не злое, глаза грустные, а лоб перевязан сложенной в несколько раз белой косынкою.

— Ты, Никитушка, не побежишь в центр?

Не говорит, а стонет. Но Никита все еще сердится на бабку.

— Чего мне там делать?

— Может, мамочка что приказывала?

— Ничего она не приказывала.

— Ну, может, сам сбегаешь, принесешь бабушке лекарство?.. Так, Никитушка, схватало, ну так схватало! Мокрую тряпку приложила — не помогает. Сбегай, внучек, не дай бабушке помереть! Сбегаешь?

И такой был у Подьячихи жалобный голос, что Никита не выдержал, кивнул.

Бабка тут же ожила:

— Возьми деньги. Валерьянки купишь. А если не будет ее — пустырнику. Не забудешь, как называется? — тут голос у бабки и совсем повеселел. — Купишь потом в ларьке два морожена по девять копеек. Одно съешь, а другое принесешь. Сдачу потом отдашь.

Подьячиха просунула в щелку между штакетинами скатанный в длину затертый рубль.

«Ишь, — подумал Никита, — какой забор эта жадина отгрохала — даже пальцы не пролезут, чтобы деньги подать!»

— Я одно мороженое куплю.

— А мне? — удивилась бабка.

— Вам и куплю.

— А сам — без морожена?

— Горло у меня, — соврал Никита.

— Ну, тогда себе лучше не бери, — живо согласилась бабка. — Вдругорядь возьмешь. — И вспомнила: — Вот что еще!.. Пустырник, он на спирту, пьяницы да алкоголики будь здоров его хлещут. Аптекарша если попадется знакомая, не станет тебе давать, ты ей скажи: это не папаньке, мол, а бабушке Подьячихе, что в нашем доме живет...

И как только удержался Никита, как не швырнул ей рубль обратно через забор? А может, потому и удержался, что под ногами у него вертелся Дружок, терся боком, оглаживал длинным и пушистым своим хвостом. Ничего, ничего, погодите-ка! Вот только бросит пить Никиткин отец!

За мной, Дружочек! За мной.

За калиткой ему бросился на грудь желтый, с красными прожилками, лапчатый лист, прилип, словно к родному, повисел и только потом, когда неизвестно отчего Никита улыбнулся, лист оторвался от рубашки и, переваливаясь с ребра на ребро, упал на заросшую усыхающим спорышем обочину.

В глубине улицы там и тут над ворохами бурьяна курились дымки, вились вверх, растворялись над черными кончиками деревьев, подкрашивали тонкой синью и без того голубое небо.

Клены уже остались позади, они росли только вдоль забора у Веденеевых. Никита задрал подбородок, шел теперь, все не отрывая глаз от глубокого неба, и ему казалось, по небу он и идет, и рядом нет ничего, даже облачка, и нету ничего под ногами. Спину ему тронул легкий озноб, он уже хотел оглянуться, когда почти в зените увидел летящую уголком гусиную стаю. Гуси шли высоко, махали крыльями молча, и он остановился и далеко-далеко, чуть не до самых теплых стран, проводил глазами улетающий караван.

«К-ке-гэк!» — раздался вдруг приглушенный крик. Никита обернулся.

За рекою, с рыжей стерни, которая пологим косогором нависла над темной кручей, сорвался гурт домашних гусей. Гуси еще только набирали высоту, еще заходили на первый круг, но уже было видно, как тяжело и неровно покачиваются они в середине стаи.

Снова испуганно крикнул вожак.

На этот раз весь гурт торопливо отозвался, тревожно

загоготал, загундосил, и из него, недвижно растопырив белые сысподу крылья и вытянув лапы, стали вываливаться и стремительно падать обмякшие птицы. Поплюхались одна за другой по разным дворам и тут же подняли крик, начали договариваться, как вместе собраться.

Никита вздохнул и снова посмотрел туда, где теплые страны, в которые улетели вольные дикари.

— Не надо колосками объедаться, правда, Дружок?

Все еще смотревший вверх собачонок повернул лисью мордочку и тут же заработал пушистым своим хвостом: а как же, мол, если ты говоришь, значит, правда!

И Никита нагнулся и слегка потрепал его по серой, с желтоватым подшерстком, холке.

— Только смотри — не подведи!

Валерьянка в аптеке кончилась, а тут же спросить пустырнику Никита не решился, хоть аптекарша была и незнакомая. Мало ли, а вдруг и правда откуда-то знает, что Никиткин отец пьет, не станет давать лекарство, громко начнет говорить что-либо обидное, а все в аптеке будут смотреть на Никиту, качать головами... А может, сказать Подьячихе, что и пустырника тоже нету? Принести ей одно мороженое.

Интересное дело: взрослая бабка, а мороженое уплетает, как первоклассница, — Никита уже не раз видал это собственными глазами.

А может, он уже забыл, как этот пустырник называется? Выходит, не забыл, если помнит.

Постанывала тугая пружина, постукивали двери, люди входили и выходили, и только Никита все стоял и стоял около витрины, где под стеклом лежало мыло, зубной порошок да еще всякое такое, что можно рассматривать без умного вида.

Дружок там ждет небось не дождется, его еще кто-нибудь обидит, собачники вдруг на своей телеге появятся, а он тут застыл как истукан, слово боится сказать, трус несчастный!

И громко выпалил:

— Й- есть кустарник?

Молодая, с ярким маникюром на длинных пальцах, аптекарша обернулась удивленно:

— Это какой же кустарник?

Никита спохватился:

— Кустырник!

Молодая аптекарша не удержалась, повела к пле-

чу смеющимся подбородком. Потом нарочно нахмурилась:

— Может, тебе — пустырник?

И он закивал и даже руками замахал: ну конечно же!

— Семнадцать копеек в кассу.

Удачно получилось, что он забыл все-таки название и насмешил аптекаршу — теперь даст!

И все-таки он старался не смотреть на нее, когда протягивал чек, и с пузырьком потом заторопился к выходу так, как будто за ним гнались. Ну, Подьячиха!

Только около сберкассы, когда Дружок догнал его, Никита пошел помедленней. Разжал потную ладонь, чтобы хоть глянуть, из-за чего настрадался, и на белой наклейке прочитал: «Настойка пустырника».

Подьячиха говорила про алкоголиков. Выходит, если Дружок укусит вдруг саму бабку, ей нельзя будет пить лекарство? Целых полгода!

И бабка столько без лекарства не выдержит, конечно, помрет. Сбежится ее родня, которая вскладчину купила у Веденеевых четверть дома, чтобы только дорогая бабка Подьячиха жила ото всех отдельно. Сойдутся соседи и просто чужие люди.

Подкатит к воротам грузовик с опущенными бортами и с ковром посредине. Поставят на него гроб с пышными цветами, из которых будет торчать только острый Подьячихин подбородок да длинный нос. Эти духачи из Дома культуры, которые зимой днюют и ночуют у Никиткиного отца в котельной, сделают грустные лица и поднесут к губам медные свои трубы. Там-пам-пам-та-рам-пам-пам-пам! И медленно двинется по улице траурная процессия. Под ноги идущим будут бросать с машины цветы, и все станут всхлипывать, и говорить друг дружке, какая хорошая была бабка, такими печальными голосами, что у Никиты тоже подкатит к горлу комок, и ему тоже захочется плакать...

— Чего ты согнулся, Веденеев, как будто бабушку родную хоронишь?

Никита вздрогнул.

Мимо быстро прошел Владимир Иваныч, учитель, который в старших классах по военной подготовке. Обернулся, приподнял подбородок, шире развернул плечи, глазами сверкнул:

— Та́к надо! Ты же будущий воин, Веденеев. Защитник Родины! А ты бабушку хоронишь.

И дальше пошел себе Владимир Иваныч — с приподнятым подбородком, с развернутыми плечами.

А Никита совсем остановился. Бабушка!.. Родная, милая бабушка! Если бы ты не умерла, разве сегодня пришлось Никите с пузырьком пустырника в горячей ладошке хоронить живущую теперь в твоей комнате чужую старуху Подьячиху?

Грех, ты бы сказала. Великий грех!

Тронул Никита голенью Дружка и пошел к синему, с облупившейся краской, ларьку покупать за девять копеек мороженое.

2

Поздним вечером полная луна, будто рыба в сети, шевелилась за окном в черных ветках облетевших деревьев.

Луна — рыба.

Никита следил, как в темно-синей воде рвет она одну за другой неровные, с узелками, ячеи, как медленно, но неутомимо выбирается из плена. Вот красный остренький плавник у нее на горбу прорезал наконец густую путаницу, приподнялся еще чуть-чуть выше, выше, теперь видна вся спина, и вот уже под желтым брюхом болтаются лишь оборванные веревочки — ура!..

Ишь, сразу засияла как. На свободе луна! На свободе рыба.

Позади осторожно цокнула щеколда, и через впустившую свет открытую дверь с веранды донеслось сердитое жужжание примуса, оттуда пахнуло разогретой его горелкой и кипящим борщом. Потом дверь тихонько закрылась, и стала слышна только нащупывающая что-то на покрытом клеенкой столе мамина ладошка.

Никита сказал:

— Свет зажги.

— Не спишь еще? — откликнулась мама. — Спи.

— Нет папки? — спросил Никита.

— Пока не пришел.

— Ну, ничего, — сказал он как можно бодрее. — Придет же.

Мама подошла и положила обе руки ему на плечо, стояла рядом, тоже, наверное, глядела на луну.

— Опять ты ставни забыл закрыть?

Он подергал головой, согласился.

— Или ты нарочно оставил?

Тут он на всякий случай просто притих.

— Ладно, спи.

Но легкие мамины пальцы по-прежнему лежали у него на плече, и он сказал:

— Вот увидишь, ма, скоро все будет хорошо.

По рукам понял, что мама закивала не очень уверенно.

— Я тебе говорю!

— Засыпай, — переходя на шепот, сказала мама. — И пусть тебе приснится хороший сон.

Вот какая интересная штука: стоит маме тихонечко произнести эти слова, как хороший сон тут как тут, всякий раз тот же. Будто он уже давно ждал где-то рядом... Или это вовсе не сон? Ведь все это было на самом деле. Было совсем недавно. Всего два года назад...

Вот они с отцом рядом покачиваются в седлах — отец на поджаром Красавчике, а Никита на широком, как печка, Воронке. Перед ними стелется зеленая степь, по которой волнистым плотным гуртом катится отара. Посвежевший к вечеру воздух пахнет овечками и размятой травой. Сзади садится за потемневшие холмы расплющенное каленое солнце, и перед отцом, перед Никитою подрагивают две длинные и острые тени. Иногда они достают до края отары, и тогда собаки начинают молча обегать ее и деловито покусывать, кто отбился.

Быстро темнеет, и в синих катавалах, которые называются так, наверное, потому, что с большой горы за станицей словно скатились вниз вал за валом и большие холмы, и малые холмики, вспыхивают маячком два крошечных окошка. И отец трогает коленом ногу Никиты:

— Запевай?

Никита собирается с духом и потом как будто вздыхает:

Там вдали за рекой... зажигались огни,
В небе ясном... заря догорала!

И отец негромким, но сильным голосом подхватывает:

Сотня юных бойцов... из буденновских войск
На разведку в поля поскакала.

Как им с отцом нравилась эта песня! Никита даже слова в ней немножко переделал — как раз потому, что она им очень нравилась.

Они ехали долго в ночной тишине
По широкой отра-днен-ской степи...

Сперва они допевали эту, буденновскую, и долго молчали, успокаивались, а затем отец заводил вдруг — словно печально вскрикивал:

В понедельник!.. рано утром... дождь со снегом попо-лам-ам-ам!
По ущелью пробирался... наш кубанский третий по-о-о-лк!

Песня была про то, как в старое время храбро дрались на чужбине казаки, как тосковали они по родной сторонке, которую им больше не увидать. Грустная была песня, но тоже им очень нравилась.

И они помалкивали опять, только вздыхали, и так доезжали до ворот коша. Около загородки рядом с воротами белела в сумерках кофта — это поджидала их бабушка Таня. Бабушкой она вообще-то была Никиткиному отцу, а Никите приходилась уже прабабушкой, но никто ведь это самое «пра» не говорит, и оба они, и отец, и Никита, звали ее одинаково: бабусь.

— Что, бабусь! — кричал отец так громко, словно бабушка Таня плохо слышала. — Дождалась родню?

Она серьезно соглашалась:

— Дал бог!

— А как твои травки-муравки? — радовался чему-то отец. — Насобирала?

— Насбирала, сушить повесила.

Бабушка брала под уздцы Никиткиного Воронка, и он сбавлял ход, тут же приноравливался к неспешным ее шагам. Около маленького домика, который стоял посреди коша, Никита спрыгивал с коня и сразу начинал стаскивать потную рубаху. Отец еще снимал с лошадей тяжелые седла, укладывал под навесом, а из сеней уже выходила бабушка с ковшом холодной воды в руках и с полотенцем на плече.

— Умывайся, внучек!.. Умывайся, мой труженик.

Она поливала на руки, а Никита фыркал и мокрою ладошкой пошлепывал себя по груди.

Потом отфыркивался и шлепал себя обеими руками отец, которому поливал уже Никита — бабушка собирала на стол.

Никита бросался ей помогать, но все уже было на своем месте — и белый хлеб, который в маленькой колхозной пекарне все еще пекли на капустных листах, и луковые перья, и молодой чесночок, и малосольные огурчики. Оставалось только поставить перед каждым исходившую

парком тарелку с шулюмом — густющим, почти из одного только мяса, бараньим супом.

Они с отцом хрустели сочным лучком, похрумкивали огурчиком, дули на ложки с обжигающим, под пленкой жира, бульоном, а бабушка одним глазком посматривала, как они едят, а другим следила за пузатым алюминиевым чайником, который грелся в сенях на газовой плитке. Какой чаек настаивался у бабушки в этом чайнике! На семи травах. С тридцатью тремя заговорными словами. От ста болезней.

Ни сам Никита, ни отец ничем не болели, но с каким удовольствием попивали они с колотым сахаром душистый бабушкин степной чай!

А бабушка негромко говорила за чайком:

— Ждала вас, слыхала, как песни играли... И как ты, Никиша, и ты, Мишка. Харо-шие песни! Эта вот, первая, какая-то новая, я ее недавно узнала, а что наша, кубанская, — она еще от папаши от моего, от Никиты Пантелеича. Ох он ее красиво играл! Люди, бывало, плакали, да и сам в конце не выдержит, слезу утрет. Услыхала теперь да вспомнила... Вы оба, мои внучки, в него, в Никиту Пантелеича!

Иной раз, когда упоминала бабушка Таня своего отца Никиту Пантелеевича, Никитка вдруг откликался, и тогда они все трое смеялись — это потому, что за чаем Никитка обычно начинал засыпать.

И бабушка поддерживала его за плечи, пока выходил он из-за стола во двор, пока забирался в бричку со свежим сеном, поверх которого был расстелен просторный, словно шитый на великана, лохматый тулуп.

Никита переваливался через высокий бок брички, опрокидывался навзничь, и прямо над ним нависало такое яркое в предгорьях и такое светлое посреди темно-синего неба коромысло Млечного Пути.

Бабушка подбивала подушку у него в головах, повыше подтягивала щекотавший подбородок край лохматого тулупа и, видя, куда слипающимися глазами вглядывается Никита, тихонечко, чтобы не отпугнуть сон, нашептывала:

— Опять господь старый месяц на звезды искрошил — вон стало еще больше! Веку-то белому свету, веку!

Потом была гроза.

Но на этом заканчивался хороший сон. Дальше начинался другой — горький.

Страшный не только для Никиты — для всех Веденеевых.

О том, что самые сильные грозы бывают в кубанском Предгорье, знает, наверно, каждый. Недаром же по всему Отрадненскому району стоят на холмах противоградовые пушки с длиннющими стволами. Что тут начинается, когда покажется сизая грозовая тучка!.. Одна за другой торопливо захлопают зенитки, станут отгонять тучку от полей, а она идет напролом, мечет на землю такие молнищи, что закрой глаза, и все равно в них будет светло, а грохот стоит — куда там пушкам — самое настоящее сражение, да и только! И продолжается оно до тех пор, пока зенитчики не разворотят тучке черное ее брюхо, и она, не успев ударить градом, прольется на поля обильным дождем.

Сколько таких сражений видел Никита, когда гроза заставала их с отцом в катавалах возле отары. И всегда они заканчивались победой зенитчиков. Но в этот раз верхушку взяла гроза — отыгралась за все.

Потом уже рассказывали, будто в тот день у зенитчиков испортилась рация, и они не получили предупреждения, а туча с гор надвигалась тогда такая, что ее надо было встречать ой-ой как. Другие говорили: неправда, все не так, рация работала себе, как всегда, просто день стоял очень жаркий, пушкарям захотелось пива, и они сели в машину, поехали в Отрадную и спохватились только тогда, когда град замолотил по ларьку. Так, нет ли, Никита точно не знал, его тогда не было в станице — на школьном автобусе вместе с другими ребятами на несколько дней в Домбай ездил. Но когда мальчишки вернулись, то сразу поняли, что тут без них произошло.

Сады остались без единого яблочка, шифер и черепица везде побиты, высажены стекла на всех верандах, и стенки с западной стороны на каждом доме так поколуплены, словно их специально обдирали мастерком, перед тем как пошпаровать — заделать трещины.

А что творилось в степи! Крыши на фермах сквозили, как решето, подсолнухи стояли без шляпок, а в лесополосах не только не осталось листвы — стволы деревьев были ободраны от земли до макушки. Оно и немудрено, если одна только градина, которую подобрал на поле пшеницы и привез в продуктовый магазин, чтобы ее там взвесили, шофер дядя Вася Тюрин, потянула на кило триста! А ведь в теплой кабинке грузовика, пока ехали от колхоза «Ясный путь» почти до самого центра, она еще чуть подтаяла!

По телевизору Москва, правда, говорила, что самая крупная градина весила тогда всего девятьсот граммов. Но зато в газетах, наверно, правильно потом написали, что Новороссийский шиферный завод целый месяц работал лишь на пострадавший от сил стихии Отрадненский район, — вот какая это была гроза.

Никиткиного отца она врасплох не застала. Про него ведь, как раньше, на каждом собрании: потомственный чабан. Потому что спокон века чабановали: и дедушка Никиты, и его прадед, и тот самый прапрадед, Никита Пантелеевич. И потому у отца душа чувствовала.

С самого утра, еще не начинало парить, погнал он свою отару поближе к Волчьим воротам. Есть там одна такая скала, которая, будто громадный козырек, нависла над бережком небольшого родничка. И как только к вечеру загромыхало, и показался из-за гор край черной, как уголь, тучи, отец загнал баранов под этот козырек, велел собакам сторожить их, а сам в седло и галопом к своим соседям-пастухам, там были молодые, только из армии, ребята, и один, помогавший им, вроде Никиты, школьник.

Когда отец к ним прискакал, град стегал уже вовсю, одного пастуха здорово ушибло, и отец спрятал маленького мальчишку под брюхом у Красавчика, а взрослым ребятам приказал взять за ноги по овечке накрыть себе ими голову да спину. Так они все грозу и переждали. В отаре у этих ребят убило несколько молодых ягнаков, зато сами остались целые, а за них-то больше всего отец и боялся.

Отцовы бараны даже шубу не намочили, хотя нигде так град не колотил, как у Волчьих ворот. Зато сам он, пока помогал соседям, конечно, уморился. Уже под утро пригнал он свою отару на кош и тут же как убитый уснул — думал, разбудят сменщики. Но разбудил его сильный собачий лай.

Отец выскочил на баз и увидел, что горцы в бурках выгоняют из загородки его овец. Он кинулся обратно в чабарню, схватил ружье и жахнул из обоих стволов над головами горцев. Они попадали на землю, а отец перезарядил ружье, подошел к ним поближе и тут-то увидел, что они не одни, с ними заведующий отделением Пархитька.

Пархитька с перепугу стал кричать, что у отца не хватает шариков, что он проспал все на свете — в колхозе с самого раннего утра работает комиссия по убыткам от града, председателю уже удалось убедить всех, что веденеев-

ская отара почти целиком погибла, потому остаток овец в порядке взаимопомощи он распорядился отдать горцам.

Отец сказал: чепуха, на его овечках нет ни царапинки, а если председатель такой щедрый и лучшую отару взаправду решил подарить чужому дяде, то пусть приедет на кош и сам скажет.

«Да пойми ты, дурья твоя башка! — ругался Пархитька. — Чем больше в колхозе убытку от града, тем больше денег получит он по страховке. А отара — куда она денется?.. Сегодня мы горцев барашками выручим, завтра — они нас».

Но отец взвел курки и сказал, чтобы все убирались с его коша.

И Пархитьке ничего не оставалось, как сесть в свою бедарку и уехать за председателем. Горцы же отошли к ближним кустикам, расстелили под ними свои бурки, подоставали из сумок сушеный овечий сыр и стали ждать, когда отец отдаст им отару.

Целый день на кошару никто не приходил. Напарник отца, дядя Серафим, еще до этого уехал на два дня в Армавир, а сменщиков с самого утра Пархитька нарочно послал по другим делам.

Только к вечеру к отцу прибежала мама. Кто-то из соседей сказал бабушке, что на коше у отца была стрельба и он убил двух горцев, а самого его сильно ранили. Бабушка как стояла, так посреди двора и упала, и ее отвезли с сердцем в больницу.

Отец показал матери на горцев, которые спокойно сидели на бурках под кустиками и опять жевали свой сыр, и сказал, что все это чепуха. Пусть-ка мама берет лошадь, спокойно себе едет обратно да хорошенько там присмотрит за бабушкой, а у него все нормально, только кое-какие мелочи, но вот-вот должен приехать председатель, и они разберутся.

Вечером на дороге к кошаре показалась председателева «Волга», и отец обрадовался, но председателя колхоза Воронкина в ней не было — приехал только его шофер Карповец, бывший одноклассник отца. Из багажника он достал портфель с водкой, и они сели в чабарне за стол и просидели чуть ли не до рассвета, а на заре, когда отец наконец уснул, Карповец забрал из рук у него ружье, вынул патроны, а с волкодавами он ладить умел, собаки почему-то его боялись. И горцы снова вошли в загородку, открыли ворота и угнали всех овец до единой.

Утром отец первым делом посреди пустого базка пострелял волкодавов, швырнул рядом с ними деньги, которые положил ему в карман бывший его одноклассник Карповец, потом разобрал ружье, сложил в чехол, кинул на плечо и пошел в станицу пешком. Но дома его дождались только к вечеру, потому что весь день-деньской просидел он в чайной на самом краю станицы.

Через два дня, чуточку не дожив до девяноста, умерла бабушка Таня. Отец на кош больше не вернулся.

И все у Веденеевых пошло кувырком.

Отец подружился с шабашниками, которые всегда вертелись у пивного ларька в центре станицы, стал приходить домой поздно и почти всегда сильно выпивший. Мама сперва терпела молча, а потом стала просить отца, уговаривать, и тут пошли у них ссоры. Отец все чаще теперь говорил, что в Отрадной он жить не будет, нечего тут ему делать, и звал маму на Камчатку.

— Ну куда мы из своего дома? — спросила его мама. — Ну куда?!

— Так тебе дом нужен больше мужа? — закричал отец. — Ты лучше дом будешь в Отрадной сторожить? Сторожи тогда свою половину, а мне моя не нужна!

И они разделили бабушкин дом, и отец свою часть тут же продал и стал собираться рыбаком на Камчатку. Сперва он купил зеленый рюкзак, а потом стал прощаться со своими дружками. С утра до вечера они сидели или на балконе в ресторане «Предгорье», или в маленьком буфетике аэропорта — отец каждый день ездил в аэропорт за билетом. Билет до Камчатки наконец ему выписали, но тут один за одним стали отменять рейсы до Краснодара, потому что весь бензин забрали на уборку свеклы. И многочисленная отцова компания окончательно переселилась в аэропорт, они даже ночевали там на веранде, хотя ночи уже стояли холодные.

Никита каждый день прибегал в аэропорт после школы, обязательно хотел проводить отца, и часто они сидели рядком где-нибудь на травке вдалеке от всех и подолгу молчали. Только когда отца начинали звать эти его дружки, алкоголики, он виновато говорил:

— Токо не ругайся, Никита! Не ругайся... Ну, такая полоса пошла — станешь большой, поймешь. И за дом не переживай. Нельзя, чтобы человека дом держал, если человеку плохо... А я на Камчатке заработаю, еще не такой куплю, а потом вас с мамой к себе выпишу, мы еще как

заживем, я ведь на все руки, Никитка, ты ведь знаешь!

Однажды самолет из Краснодара все-таки прибыл. Только попрыгали из него кто прилетел, как тут же стали влезать новые пассажиры.

— В темпе! — подгонял их стоявший у двери зеленого «кукурузника» молодой пилот. — Нам еще два рейса сегодня... В темпе!

— Постой! — громко сказал ему отец. — Дай еще разок на родину глянуть!

Он стащил с головы кепку и стал оглядываться. И такое внимательное, такое грустное сделалось у него лицо, что Никита вслед за отцом тоже невольно повел головой.

День был солнечный, но уже с холодком, и звонкая тишина стояла над желтой стерней рядом с аэродромом, над кладбищем с разноцветными памятниками, которое начиналось сразу за полем, над белыми и красными домами, прикрытыми облетевшими наполовину тополями. За станицей, за редкими в этот полуденный час дымами, за несколькими торчащими здесь и там грибками водонапорных башен и черными трубами котельных покато поднимались на той стороне реки рыжие холмы, взбирались выше и выше, словно хотели закрыть собой цепочку далеко встававших за ними молочно-розовых ледяных гор. Ни одного облачка не было сейчас над этими горами, будто это вовсе и не они посылали в долину летом одну грозу страшнее другой, — только стыла над ними ясная голубизна.

— Красивая у нас родина! — звонко сказал отец. — А, летчик?

И Никите вдруг до слез стало жаль отца. На Камчатке давно уже зима — куда он полетит в легком совем пиджачке, в парусиновых туфельках и с пустым рюкзаком?

— В темпе! — строго приказал летчик.

Но отец сказал ему, как старому другу:

— Слушай!.. Я знаю, что послезавтра начнутся дожди, потому что я щупал паутину, она уже волглая. И я знаю, что зимою навалит много снега, потому что там, за уборной, на кустике полыни очень высоко мышкино кубло! А рыбы такой я и не слышал, какую они теперь на Камчатке ловят, какой я рыбак, я — чабан!

И летчик вдруг протянул отцу руку, и они стали хлопать друг друга по плечу и громко смеяться, но в глазах у отца стояли слезы.

— Оставайся! — решил летчик. — Что ты там потерял?.. Мы сейчас, когда взлетим, качнем крыльями. Это тебе.

— Спасибо, — сказал отец.

— Оставайся. Ну ее к черту!

И «кукурузник» помчался по рыжему, с кустиками амброзии, полю, а они стояли, смотрели, как он разбегается, как лихо, почти сразу ложась на одно крыло, уходит он вверх. Над самыми головами у них, когда возвращался с круга, самолет выровнялся и почти тут же сильно раз и другой качнул крыльями. И Никита подпрыгнул и замахал летчикам рукой...

Чего там: конечно, сперва он думал, что отец вернется на свой кош или, на крайний случай, пойдет напарником к дяде Ване Корягину, крестному Никиты, — ведь звал же его дядя Ваня, как звал!

Отец пошел работать истопником в котельную Дома культуры, которая у отрадненских пьяниц была как штаб. Там отец сутками бросал в топку уголь и сутками потом отсыпался на голом матраце, положенном на старый кованый сундук, который выбросили из Дома культуры. В те дни, когда отец работал и выпивши бывал только слегка, Никита прибегал к нему, иногда приносил что-нибудь поесть — из того, что оставляла на обед ему мама. Она обо всем, конечно, догадывалась, потому что однажды пришла в котельную вслед за Никитой и попросила его на минутку выйти, чтобы они с папой могли поговорить. Никита все еще поплотней прикрывал рассохшуюся дверь, когда услышал, как мама негромко спросила:

— Или у тебя нет своего дома? Тебе не стыдно?

И отец снова стал жить вместе с ними в бабушкином доме, только что это была за жизнь — не жизнь, а сплошная мука.

Сперва в тот год ранней зимой в центре станицы он увидел председателя Воронкина, который садился в свою «Волгу». Отец подошел к «Волге» и взялся за ручку передней дверцы, но бывший его одноклассник Карповец дал газ, машина рванула с места, и отец упал и сильно ударился лицом об асфальт, стесал чуть не половину щеки.

А через месяц он дождался Карповца около универмага, куда тот пошел за сигаретами, и бил его до тех пор, пока не прибежала милиция. Отца отвезли в КПЗ

и целую неделю не выпускали, только раз в день с двумя милиционерами по бокам ходил он в поликлинику на перевязку — когда дрался, он разбил себе костяшки на правой руке.

Карповец несколько дней в колхозе не появлялся, а потом долго ходил с синячищем во все лицо, и в станице говорили, что Веденеева Мишку теперь, как пить дать, посадят, но председатель Воронкин и раз, и другой приехал в милицию, привез бумажку, что Карповец не в обиде, и отца в конце концов отпустили... А что ему, Воронкину, оставалось? Ведь на суде наверняка стали бы отца спрашивать: а из-за чего это произошло? С чего началось?

Весною, когда уже зацвели сады, под двор к Веденеевым верхами приехали два горца. Отец был как раз дома. Никита сбегал, позвал его, и он вышел на порог и сначала долго стоял, а потом медленно, со ступеньки на ступеньку, спустился с крыльца и молча стал открывать ворота. Горцы радостно между собой заджерготали. Натягивая уздечки на одну сторону, пришпорили коней, крутнулись оба перед воротами, и только потом торжественно, как на параде, стали въезжать во двор. Отец придержал коней за уздечки, и тут они оба соскочили на землю, и каждый громко сказал отцу: «Драстуй!» И каждый обнял отца.

Потом они сняли с лошадей сумки, которые по обе стороны свешивались за седлами, и вслед за отцом пошли в дом. Мама, давно уже уставшая от отцовских гостей, горцам почему-то очень обрадовалась, тут же накрыла стол, но сама не села, только подавала, за всеми ухаживала, зато Никита, как взрослый, сидел с мужчинами рядом, горцы гладили его по голове, подкладывали из своих тарелок лучшие кусочки, и чего только в этот вечер он не наслушался!

«Добрая весть ползет медленно, Михаил, — говорили горцы отцу. — Это плохая весть летит словно птица. Но о том, что у тебя не все хорошо, мы узнали только недавно. В горах нет такого закона — бросить человека в беде. Мы твои друзья, Мишка, твои кунаки. Ты — настоящий джигит, потому и не обиделся на нас. Выпьем за сказанное! Кто мы такие? — говорили горцы отцу. — Все мы простые пастухи, была бы у нас бурка да эта длинная палка в руке, ярлыга. Остальное решают большие люди — председатели, когда вместе кушают свой бешбармак. Это их дело, что они там решат. Наше дело —

оставаться мужчинами, как бы трудно не пришлось в этой жизни. За сказанное! Пусть нашим детям аллах пошлет жизнь немножко легче, чем досталась нам, но пусть они тоже всегда выручают друг друга, как выручаем мы. Может быть, Мишка захочет переехать в аул? Там примут его как брата. И он снова станет пасти овец. Снова будет, как и подобает настоящему джигиту, ездить на лошади. Это ничего, что немножко далеко будет от дома, ведь пророк Магомед говорил, наш дом всюду, где нам хорошо, э? За сказанное!»

Выложив из сумок сушеный сыр и копченую баранину, поздно ночью горцы уехали, а отец с матерью еще долго сидели за столом, и отец говорил: а что, может, и в самом деле податься к Ахмету да Исмаилу, вон какие ребята, эти горцы, такие и в самом деле не бросят. Неужели на этой Отрадной, и правда что, свет клином сошелся? А можно махнуть и еще дальше в горы, там такие места, где можно жить и горя не знать.

— Как мы из своего дома? — спросила мать.

Но в тот вечер они еще не поссорились — поругались позже, когда отец стал и правда собираться к горцам. И снова они поделили дом, вернее, то, что от него еще оставалось. И снова отец продал свою четвертушку, снова сидел с дружками в аэропорту, только на этот раз ждал самолета в другую сторону. Самолета все не было, потому что «кукурузники» забрали в сельхозавиацию поля подкармливать. Но потом приземлился зеленый АН.

— В темпе, в темпе! — говорил, стоя у лесенки, молодой пилот. — Нам еще...

— Тихо! — сказал ему отец и поднял палец. — Ты только послушай!..

И все на один миг притихли и услышали, как вверху, прямо над «Кукурузником», тонко заливается жаворонок.

И пилот спросил отца:

— А куда ж ты?

— Да вот и я тоже думаю: ну, куда? — грустно сказал ему отец. — Не хочу, брат, я красть — ну, не хочу!

— Ну его к чертям, это дело! — поддержал летчик. — Оставайся. Я тебе помашу, когда мы взлетим.

И самолет опять, пролетая над ними, качнул крыльями.

Все лето, пока шабашничал, отец прожил в летней кухонке у бывшего трубача из Дома культуры Сашки

Бобровского. Зимой, когда начались холода, мама опять привела его домой. И все пошло своим чередом.

Единственная надежда, которая у них еще оставалась, была на Дружка.

3

— Спокойно, Дружок, спокойно! — шептал Никита, обеими руками придерживая собачонку. — Вот когда он войдет во двор!..

Негромко чиркнул по деревянному столбу выпавший из петельки крючок, стукнула калитка, и Никиту обдало жаром, ноги у него ослабели. Из пересохших губ свист вырвался совсем тихий, и он посильней собачонку подтолкнул:

— Вперед!

Шагнул из-за дома и увидел, как Дружок, не добегая до отца, упал на землю, перекатился через спину, а потом на брюхе подполз, положил мордочку на носок ботинка и замолотил хвостом по земле.

— Ишь как встречает! — сказал Никите довольный отец и кивнул собачонку. — А, Дружище?.. Ну хватит тебе, хватит!

Любит Дружок отца, вот в чем дело. Да кто его не любит, особенно когда трезвый? Стоит, улыбается, и один черный ус поднялся у него чуть выше другого и подрагивает, а карие глаза так и светятся, так и смеются.

— Ну, Никита, — сказал отец, переступая через Дружка, который норовил лизнуть ему ботинок. — Держи!

Развернул серую бумагу, и под нею Никита увидал футбольный мяч — не какой-нибудь там, с покрышкой из дерматина, а кожаный, самый настоящий, весь из белых и черных шестиугольников.

Дождался он этого мяча! А что ты тут скажешь — именинник! Никите сегодня ровно десять исполнилось.

Утром он нашел под подушкой складной ножик с ложкой и вилкою, который подарила ему мама, — об этом ножике Никита мечтал перед этим целый год. Теперь — футбольный мяч, да какой! Взрослая команда «Урожай» играет, пожалуй, мячом похуже... А может им его отдать, большим футболистам? Хотя нет, подарки дарить нельзя. Ладно, сами будут гонять на лужайке около рощи.

— В Краснодаре не было, представляешь? — говорил

отец, тоже любуясь мячиком. — Пришлось тете Шуре, что в культтоварах, в Москве заказывать.

А Никита вдруг нахмурился:

— Знаешь что? С таким мячом все сразу лучше заиграют. И станут мне забивать.

— Ну да! — возразил отец. — Ты ведь тоже станешь играть лучше — его и ловить приятней...

— Вообще-то да.

Крупными своими пальцами отец легонько сжал Никитино плечо, пригорнул к себе:

— Эх ты!

Никита взял мяч под левую руку, правую положил отцу за спину, и они пошли рядом, а Дружок словно в цирке проскакивал, повиливая хвостом, у них под ногами... Если бы еще и он сделал нынче Никите подарок — цапнул все-таки папку! Или так не бывает, чтобы все кругом хорошо? Мама говорит, что не бывает. Тогда уж лучше подождал бы Никита и складной ножик в чехле на кнопке, и этот мячик из Москвы, потерпел бы без них — лишь бы только с сегодняшнего дня перестал папка пить!

— Миша! — окликнули с улицы. — Андреич!

Никита тоже обернулся: с той стороны калитки стоял их сосед дядя Гриша Дьяконов. Шея у дяди Гриши кривая, и от этого у него такой вид, словно еще давным-давно спросили его о чем-то, а он приподнял плечо — не знаю, мол! — да так с тех пор и остался.

— Слышь, Андреич? Ленька мой сейчас из центра прибежал, говорит, свеженького только что привезли! — дядя Гриша приподнял над калиткой в несколько раз сложенную газетку. — А у меня как раз две таранки...

«Ишь ты, — подумал недовольно Никита, — такая шея, а он туда же! Неужели папка пойдет?»

Но тот только вздохнул:

— Не могу, Гриша.

— А я и Серегу Матвеева позвал, вон он бежит следом... Говорю ему, захватим с собой Андреича...

Отец вздохнул и даже языком прицокнул:

— И правда не могу.

— Дело у нас, — как можно строже сказал Никита.

— Хо! — засмеялся дядя Гриша. — А то у нас безделье? Серега вон Матвеев третий день никак шибку в окно не может вставить, попростужались все, а я вон

только что сарай раскрыл, накрыть бы срочно, а вдруг — дождь?

— Так, может, сперва вернешься, накроешь? — отчего-то повеселел отец.

— Ну, змей! — и дядя Гриша погрозил ему завернутой в газетку таранкой.

Над забором поплыла вихрастая голова другого соседа Веденеевых — Сереги Матвеева. Он шел слегка наклонясь вперед, вертел перед собой раскрытой ладонью. Остановился рядом с дядей Гришею, объяснил:

— Прикидываю, сколько надо на одну шибку гвоздиков.

— Килограмма два, — усмехнулся Никиткин отец.

Но Серега Матвеев не улыбнулся в ответ, только спросил:

— Ну, дак ты готов? Кого ждем?

— Я вон уже сказал Грише, не могу я.

И в это время Серега Матвеев увидел в руках у Никиты футбольный мяч.

— Чего это у тебя, а, Никита? Где взял?

В голосе Никиты послышался вызов:

— Папка купил, а что?

— Дак ничего, правильно, обмыть надо, а то сразу лопнет. Давай, Андреич, давай!

Обмыть, ишь ты! Где он, Серега Матвеев, пропадал, когда отец стоял около чабарни с двустволкой в руке? Должен был прийти сменить отца, но он Пархитьку послушался, пошел по другим делам, а отца с овечками бросил, зато теперь каждый раз цепляется: «Пойдем, Андреич, по маленькой!» Напьется и станет говорить, что все они перед отцом виноваты: «К-козлы мы, Андреевич, к-козлы!» А чего теперь в пустой след говорить? Только расстраивать человека.

Но отец уже, видно, раскусил Серегу Матвеева — с другими выпить пойдет, а с ним не очень-то. Или нынче не вытерпит?

Когда они наконец ушли, Никита провел по лбу ладонью, даже, бедный, вспотел, пока они с отцом их спровадили.

А издалека донеслось:

— Надумаешь, Андреич, дак догоняй!

Надо какие приставучие!

Отец снова положил руку Никите на плечо.

— Ладно, — сказал. — Хоть ты и именинник, давай-ка,

слушай, начистим с тобой картошки. — И Никита по голосу понял, что тот снова улыбается и один ус, который сейчас выше другого, опять весело подрагивает. — А потом соленины из погреба достанем. Чтобы не возиться, когда придет дядя Ваня.

— А он придет? — обрадовался Никита.

— Тебе лучше знать. Твой крестный, а не мой.

— Но он же твой друг?

И по тому, как отец промолчал, Никита понял, что ус, который подпрыгивал, у него опустился. Снова они, конечно, будут с дядь Ваней спорить...

Дядя Ваня Корягин пришел, когда уже начало темнеть. Дверь веранды, чтобы не копился чад от примуса, была у них приоткрыта, и он еще от калитки крикнул:

— Чи можно к этому дому?

Никита с мамой заспешили на крыльцо, и тут мама осталась стоять на верхней ступеньке, а он побежал встречать крестного. Дружок подоспел раньше Никиты, начал около дяди Вани подпрыгивать, и тот, улыбаясь, громко сказал:

— Собака, не тронь пастуха, он сам — собака. Так, Никита?

Дядя Ваня давно уже был глуховат, а в последнее время стал слышать совсем плохо, поэтому Никита прокричал:

— Не знаю!

— Как это? — удивился крестный. — Сам пастух и не знаешь?

Отец сперва замешкался в комнате, но теперь тоже стоял на крыльце:

— Проходи, Игнатьевич, проходи!

На веранде дядя Ваня поставил у порога черную дерматиновую сумку, осторожно положил на полку над вешалкой серую новенькую шляпу и стал стаскивать такой же новенький, с шелковой подкладкою, серый плащ. Никита бросился помогать крестному, но как ты ему поможешь, если ростом он ничуть не ниже Никиткиного отца, а кажется, даже выше, потому что он — худерьба или, как он сам говорит про себя, — «одни мослы». Под плащом у дяди Вани был лучший его темно-синий костюм, белая рубаха с галстуком в горошек, для полного парада только орденов не хватало — там, где обычно они висели, виднелись дырочки.

Голос у отца стал насмешливый:

— Ты чего это причеченился? Или ходил в станице куда?

— А куда? — громко переспросил дядя Ваня. — До крестника собрался... Так-то оно мне многие: кум!.. Кум! А настоящий крестник один — Никита наш!

Эту историю Никита знал очень хорошо: как лет двенадцать или тринадцать назад дядя Ваня Корягин сильно заболел, куда только к докторам не ездил, но они ему так и не помогли, помогла в конце концов бабушка Таня — вылечила его своими травами. Он, когда стал на ноги, пришел к ней: чем тебя, Татьяна Алексеевна, отблагодарить? А в это время как раз родился Никита, и бабушка попросила дядю Ваню пойти крестным отцом к ее внучку. Дядя Ваня, который ни до этого, ни после в церковь ни ногой, в тот раз отстоял всю службу, или как она там, а после они пришли с бабушкой домой и только тут папе с мамой рассказали, что Никита у них теперь — крещеный. И папа с мамой не стали ворчать, потому что любили и бабушку, и дядю Ваню Корягина.

Была у Никиты еще и крестная, но она про него давно забыла, а вот дядя Ваня помнит всегда и каждый раз в день рождения обязательно придет Никиту поздравить.

— Это, Вера, тебе, — говорил он теперь, отдавая маме повязанную сверху марлечкой литровую банку с коровьим маслом. — Даша моя передала, чтобы попробовали нашего, хуторского. — Потом достал из сумки четвертинку. — Это, Михаил, нам, если Вера твоя не против... А это — крестнику, а ну-ка, бери сам, разворачивай!

И протянул Никите перетянутый шпагатом тугой сверток.

Все замерли, конечно, вокруг Никиты. Дядя Ваня и тот вытянул шею, будто и сам не знал, что там, под плотной, похрустывающей бумагой.

А там была красная нейлоновая куртка с капюшоном на шнурках и со множеством карманов, даже на рукаве был карман!

— Дядя Ва-аня! — только и сказал Никита, приподнимая перед собой за плечи красную куртку.

— К зеркалу давай, что же ты?

Пока они все вошли в комнату, Никита на ходу надел куртку, а там мама открыла дверцу шкафа, и на него глянул готовый улыбнуться худенький большеглазый мальчишка с темным ежиком и ушами торчком... А что за

куртка была на нем! Как будто он знаменитый гонщик или какой-нибудь чемпион.

Никита слегка повернул голову, чтобы стало видно темно-коричневое, с пятак величиною, родимое пятно на левой щеке под ухом. С ним чемпиону больше идет, с этим пятном, или все-таки без него?

— А мне давно уже завмаг с хутора: зайди да зайди! — громко говорил дядя Ваня. — Мы теперь во Францию маточкино молоко посылаем, в Париж, говорит. А те им оттуда прямым ходом одежку да все такое...

— Иван Игнатьевич! — с укором сказала мама. — Да разве можно такие дорогие подарки?

— Балуешь, Игнатьевич, и правда, — поддержал отец.

— Никитку-то? — переспросил дядя Ваня. — Крестника? Ничего я его не балую. Заработал! Это если рассказать, как он летом здорово мне помог. Сколько мы сена с тобою, Никита, накосили да на кошару перевезли? Ну-ка, вспомни.

Летом крестный, и в самом деле, придумал: все пасут овечек верхом на лошади, а он со своим напарником да с Никитой за отарой на бричке ездил. Одной пастьбы ему мало, еще работу себе нашел. Только где увидит траву посочней да погуще — тпр-ру! — стали. И замелькала коса. Подъехали к подсохшему сенцу, которое они скосили дня три-четыре назад, дядя Ваня — за свои вилы и — на бричку. Никита, конечно, давай помогать, выхватит у крестного вилы и за целый день так ими намашется, что они ему потом полночи снятся. Вилы у дяди Вани знатные, они похожи на него самого — держак сухой, тонкий, прогонистый и блестит точно так же, как заскорузлые ладони у крестного. Однажды в чабарне, когда шел дождь, и делать было нечего, Никита в шутку нарисовал дядю Ваню: вилы рожками вверх — это голова да туловище, от туловища двое вил растопыркой по бокам — это руки с длинными гребками, а двое вил рожками вниз — это ноги. Хотел было показать дяде Ване, а потом раздумал: еще обидится крестный!

— Так ты теперь что, Игнатьевич, и за косаря у них? — с усмешкой спросил отец, когда дядя Ваня кончил рассказывать, как они с Никитой запасали на зиму сено.

Крестный махнул длинной рукой:

— А что делать? Ка́к ягнакам весной каротин нужен, ты сам знаешь... А где оно, сено, если без ума хозяйновать?

— В том-то и дело, что без ума, — жестко сказал отец. — Ум у них — на другое!

— Все равно, Иван Игнатьич, такие деньги! — поспешила перебить отца мама.

— А он не только мне помогал... Василь Корнеич-то, доктор наук, знаете, что про него сказал? Из него, говорит, из нашего Никиты, ха-роший ученый выйдет!

— Так прямо и сказал? — обрадовалась мама. — Ай да Никита! Ну, давайте за стол, давайте.

— Во-первых, у него, говорит, большая усидчивость, — громко продолжал дядя Ваня нахваливать крестника. — А во-вторых, соображение.

Никита слышал тот разговор, потому и поправил:

— Воображение.

Крестный нарочно удивился:

— Да ты ж у нас вроде не воображулистый?

— Фантазии много, — подсказала мама.

И дядя Ваня согласно кивнул:

— Это да-а! Василь Корнеича при всех спрашивает: а почему порода овечек, что вы выводите, называется «кроссбредная»? Давайте по-другому назовем: «скрозь вредная». Тот так и закатился! Давно, говорит, я так не смеялся...

— А то неправда? — напуская на себя серьезный вид, сказал Никита. — Ни мяса, ни шерсти, а по кручам бегает — с собаками не догонишь...

— Да это ж такая порода, — заступился крестный. — Специально для наших круч — травку не подносить, а чтобы сама нашла...

— Как у Василь Корнеича болячка? — спросил отец.

— Да вроде отпустила чуть-чуть.

— А овцы эти-то его, «скрозь вредные», только у тебя сейчас или и по другим кошарам?

И они с отцом пошли, как бывало раньше, о колхозных делах, а Никита сидел напротив них, рядом с мамою, в красной нейлоновой куртке ему было тепло и уютно, и Никите вдруг представилось, что и все вокруг сегодня, как раньше: просто мебель стащили в одну комнату, потому что в трех остальных, может быть, ремонт идет, бабуси нет — на минуту вышла за дверь — поглянуть, как там на сковородке котлеты; а под столом сейчас завозятся эти ягнята — слабачки, которых отец в плетеной корзинке принес с коша, чтобы бабушка с мамой отпоили их тут овсяным отваром да парным молочком... Ну конечно же

все, как раньше, — вон и мама сидит снова такая молодая и красивая. Сбоку Никите видно только тугой пучок русых волос на затылке, маленькое ушко с крошечной золотой сережкой, выпуклую щеку с ямочкой да шелковые реснички, которые помаргивают так спокойно, что по ним видно, какое ласковое сейчас у мамы лицо... И вдруг на щеке у мамы исчезла ямочка, а реснички несколько раз подряд тревожно взлетели. И Никита очнулся.

— Гордый ты, Михаил, гордый! — говорил отцу дядя Ваня, и лицо у него было слегка виноватое, будто и не хотел это говорить, да вот — надо!

Наверное, Никита прослушал, как он опять звал отца к себе на кош, а отец опять отказался.

Качнул теперь головою, хмыкнул:

— Я — гордый. Я, значит, гордый... А ты — нет?

— Ноги вытирать и я об себя не дам, правильно! — согласился крестный. — Но тут край знать надо. Вроде того что — меру. А ты, Миша, дюже гордый, столько уже и не надо.

— Хорошо! — приподнял отец крупную пятерню. — Давай так! Ты вот даже ордена свои поснимал, дома оставил, когда с хутора ехал. Чтобы мне, значит, они глаза не кололи...

Дядя Ваня, держа около уха раскрытую ладонь, все тянулся к отцу, а тут вскинулся:

— Да при чем тут?.. Что у тебя, своих нету?

— Ну, был один, погоди!

— А куда он делся? — опять мотнул головою дядя Ваня, и жиденькие его прямые волосы рассыпались, упали с боков на лоб. — Или отобрал кто?

— В комоде лежит, в верхнем ящике, — подсказала мама. — Взять можно хоть сейчас да надеть... Другое дело, куда с ним теперь, Иван Игнатьич, пойдешь? Люди начнут...

— Хватит! — пристукнул по столешнице отец. — Запричитала.

Но мама только приподняла голову:

— А то неправда, Миша? Почему ты правду не хочешь выслушать?

— А я вам сейчас — сказочку! — снова поднял отец пятерню. — Как раз про правду. И еще — про Кривду. — Один ус у него пополз вверх, но улыбка вышла недобрая. — Идет, значит, по улице Правда. Худая, бледная, и одежонка на ней — можно бы хуже, да некуда. Заплатки

с лоскутками беседуют, спорят, выходит, кого из них больше... Ну вот. А навстречу ей — Кривда на собственном «жигуле». Сама толстенная, морда — во! Ну, притормозила, интересуется: чего у тебя, Правда, вид такой доходно́й? Та говорит: «А ты бы побыла на моем месте — тоже бы и холод, и голод узнала». Кривда ей: «Неужели и в самом деле не евши?» Та божится: «Третий день — ни крошки во рту». — «Ну, поедем, я тебя, говорит, накормлю...» Приехали в большой ресторан, за стол сели. Кривда как начала заказывать — у Правды и слюнки потекли, и голова закружилась. Ну, выпили, конечно, поплотнее закусили. Подходит официантка молоденькая. На счетах — щелк, щелк! «С вас, — говорит, — девяносто рублей, товарищи». На столько они вдвоем напили, наели... Кривда отвечает ей: «Хорошо. Значит, с тебя десятка сдачи». — «Дак, а где деньги?» — Как это, — Кривда, спрашивает, — где? Только что тебе отдала!» — «Да не давали вы никаких денег!» — «Как, — кричит, — не давала?» Ну, тут они закричали, заспорили, официантка молоденькая — в слезы. Да где же, говорит, правда?! А Кривда тогда привстает со стула: «А Правда, — говорит, — наелась — и молчит!»

Никите стало страсть как обидно за Правду: неужто и в самом деле не заступилась? Что-то здесь не так, нет, не так!

И мама с крестным не успели еще и рта раскрыть, как он первый выскочил:

— Да Правда у Кривды и крошки не возьмет — не то что с ней в ресторан! На то она и Правда!

Мама свое вставила:

— И пить с ней вместе не станет.

Отец на них внимания не обратил, ждал, что дядя Ваня скажет. Тот обеими руками поправил волосы, повел головою на Никиту и они снова рассыпались по лбу.

— Дите, а верно говорит!

Отец наставил на Никиту указательный палец, но посмотрел на крестного:

— Ему так, Ваня, и положено думать. Потому как раз, что — дите. Это у него как защита от жизни... Хотя нет-нет и подумаешь: а не надежней защита у других? Кому — папка с мамкой сызмала всю правду до подноготной, кого — вот с таких лет учат хитрить да приспосабливаться. Такие вы-ыживут! А эти-то дурачки вроде Никиты? Что их-то ждет? У Кривды он и точно — и крохи

не возьмет. Наша порода. Веденеев! А люди сегодня уже привыкли жить хорошо да спокойно, и с кем кушать, стало уже без разницы: с Кривдой так с Кривдой. Абы брюхо набить, да ковер в спальне повесить, да на «жигуль» сесть толстой задницей. Таким что: пусть другой наживается, как хочет, лишь бы и самим чуток перепало, а то нет? А мне, например, этого ничего не надо. Ни ковра импортного, ни «жигуля», да пропади он пропадом! А надо, Ваня, чтобы кругом все «без брешешь» было, как мой батька говорить любил. Так — дак так. Нет — нет. Один закон для всех. Чтобы не получалось, что на словах одно, на деле другое, а на уме третье!

И так отец волновался, пока все это говорил, такое у него горькое было лицо, что Никита в конце невольно кивнул: и верно, мол!

— А слышал, что дом у Воронкина отбирают? — спросил крестный?

Отец как-будто вскрикнул:

— Да, а в какой это уже раз, Ваня? Уже в третий. И что он, думаешь, четвертый себе за счет колхоза не построит? Только, может, не на виду теперь, чтобы глаза людям не мозолить, а где-либо в тихоньком проулке. — И как будто попросил крестного: — Ну, скажи, Ваня, ну не так?

Крестный тяжело сжимал на столе мосластые свои кулаки, силился что-то сказать, но все только переминался и вздыхал. А отец его прямо-таки молил:

— Ну положи руку на сердце, Ваня, скажи!

Крестный выдавил наконец:

— Зудится ему... дома строить!

— Очень хорошо! — обрадовался отец. — Ну, за свои денежки и строй!

Дядя Ваня насильственно улыбнулся:

— Дак ему как раз зудится — за колхозные.

— Ну так дать ему по шапке — и пусть-ка на все четыре стороны.

— И дадут, — выдавил из себя крестный. — Вот только разберутся... Дойдут руки. Ведь на чем-то он держится, что-то умеет...

— Дак и карманник что-то умеет! — снова чему-то обрадовался отец.

Но отцова веселость не нравилась крестному.

— Главного, Мишка, не поймешь! — сказал он уже в сердцах. — Думал же ты об этом? Когда не спится. Или

не думал? Вот, скажем, название! «Ясный путь». И все вроде правильно: ить ясно, куда хотим. Другое дело, что на пути колдобажины... И тут так: как ты через ее? Чисто прошел? Или замарался?

— Во-он ты куда! — прищурился отец. — Договаривай давай!

Но крестный только нахмурился и опустил серые глаза.

Мама положила ладошку на отцову руку:

— Ты, Миша, все по правде хочешь... А она ведь горькая. Ну не обижайся ты, потерпи, дай мне сказать!

Отец рванул руку из-под маминой ладошки:

— Опять: почему у меня овечек забрали, а у Ивана — нет?

— Только не обижайся, выслушай, — как можно мягче попросила мама.

Но он уже сорвался на крик:

— Понимаешь ты, что мы с ним за одной партой сидели? С Карповцом! Задачки вместе решали! А я тогда день до вечера с ружьем в руках на кошаре простоял — без нервов, что ли? Я этот стакан его первый выпил — только тогда чуть-чуть и пришел в себя...

— Выпил один стакан — и хватит.

Отец словно приподнял что-то в сжатом кулаке и тут же бросил перед мамой на стол, раскрыл пятерню:

— Э-э-эх!

— А то не так? — спросил крестный. — Ты ведь как прописался в этом ларьке — разве выход?

— А где выход?! Ну подскажи — где?.. К ним в шайку прибиться — государству очки втирать? Если не научилась пока Россия деньги считать, значит, драть с ее три шкуры, и все на себя, чтобы самому теплей было! Это — выход?

Крестный пальцем погрозил:

— Кто за Россию на самом деле переживает, около ларька не стоит, Мишка!

Но отец только снова выдохнул:

— Э-э-эх!

В дверь комнаты тихонько постучали. Мама, которая уже собиралась что-то сказать отцу, глянула на Никиту:

— Где же твой дружок? Не предупредил.

— Андрюха; может?

— Войдите, да! — разрешила мама.

И точно — был Андрюшка Пинаев. Заходить не стал, лишь приоткрыл дверь. Глядя только на Никиту, хмуро сказал:

— Говорил, заниматься...

— А может, и в самом деле на веранде позанимаетесь? — подхватила мама. — Чем тут сидеть... а торт откроем, мы вас позовем.

Когда они уселись на веранде, голоса за дверью зазвучали совсем тихо, и Никита, который одним ухом слушал условие задачки про двух велосипедистов, вторым невольно пытался уловить, что там, в комнате. Он вовсе и не думал подслушивать, да нет же, только по тону разговора хотел понять: всё спорят или перестали? Ну конечно: на шепот перешли, как только бедный крестный и слышит, а все продолжают что-то один другому доказывать. Вот дело какое: кого из них ни послушаешь, каждый прав, а договориться никак не договорятся. Может, дяде Ване Корягину повезло, что он с этим Карповцом в одном классе не учился? Или не в том дело? Просто волкодавы у него оказались злее, чем у отца? Когда подъехал к его кошаре с горцами Пархитька, крестный, говорят, приставил к уху ладонь и долго-долго Пархитьку выслушивал, а потом сказал: «Ну и забирай овечек, жалко, что ли? Только мы же их не одни пасем, а с собаками. Вот если собачки разрешат... Ты им все, что мне тут объяснял, расскажи, а я спать пойду». И дядя Ваня ушел в чабарню и лег спать, а собаки ни к овечкам, ни к двери в чабарню так никого и близко не подпустили. Они у него неделю потом лаять не могли, волкодавы, так в то утро охрипли, а крестному что — он же почти не слышит. Спал себе!.. Или, может, совсем не спал, а в окошко чабарни тихонько за Пархитькой да горцами поглядывал? Отец как про него, когда в котельной со своими забулдыжками выпьет: Ванька Корягин — «пень глухой» и «черт хитрый». Вот он, крестный, всех и перехитрил. И ходит себе со звездочкой на пиджаке, а вы — как хотите!

— Ну, ты че — совсем закемарил?

— Чего б это я закемарил? — вскинулся Никита. — Я думаю.

— А чего ж не отвечаешь? — допытывался Андрей. — Кто куртку, говорю, справил? Мать или пахан?

Во-он что! А Никите послышалось, в задачке надо было решить, откуда у двух велосипедистов новые куртки! Он даже тихонько засмеялся.

— Ну, чего лыбишься? Кто купил?

— Крестный мой.

Андрюшка откровенно позавидовал:

— Лафа тебе! — и тут же о другом: — А ко мне знаешь, кто приехал? Братан троюродный. Из Краснодара. Он там с дурной компанией связался — это мать его моей говорила, а мы с ним подслушали, его — Витан... Ну вот она его и привезла к нам пожить, чтобы дружки от него хоть чуть отстали. Перед дорогой, Витан говорит, они вместе с отцом его обыскивали. А он все равно привез пачку сигарет.

Голос у Андрюшки под конец такой таинственный сделался, что Никита невольно фыркнул:

— Подумаешь!

— Дак а какие сигареты? Простые, думаешь? Ему из Геленджика привезли. Турецкие.

— А потом не будешь расти, — посерьезнел Никита.

— Да чернуху училка лепит!

Никита даже заикнулся:

— К-к-как?

— Ну, брешет, значит.

Дверь в комнату отворилась, со стопкой тарелок в руках вошла на веранду мама.

— Занимаетесь?

Никита еще не сообразил, что сказать, как Андрюшка опередил его:

— Ага, теть Вера, задачку решаем. Про велосипедистов.

— Ну, решайте, — голосом похвалила мама. — Решайте. А торт будет — сразу вас позову.

Поставила тарелки и ушла.

— А я тебе хотел дать две, — прикрыв губы уголком учебника, негромко сказал Андрюшка.

А Никита снова тянулся ухом к двери в комнату, потому переспросил:

— Чего — две?

— Две сигареты таких... и знаешь за что?

— За что?

— За то, чтобы моего отца Дружок — первого.

— Опять пришел?

— Опять. Мать ему сказала, будем расходиться.

— Тоже дом поделят?

— Наверно.

— А он, ты понимаешь, не кусает! — вздохнул Никита. — Ну как нарочно! Недоучили, наверно. Снова надо учить. Сегодня я хотел, чтобы он папку... чтобы отца... и ничего не вышло. Не стал кусать.

— А может твоего не стал, а моего еще как укусит... может же?

— Давай попробуем.

— А когда? — обрадовался Андрей.

— Да хоть завтра, что я — не понимаю?

— Давай завтра, законно! А сигареты возьмешь?

— Да не нужны мне, вот пристал!

Андрей вдруг нахмурился:

— А слушай! Если б Дружок Витана укусил — может, он курить бы бросил?

— Не знаю, это в больнице надо спросить.

Дверь снова открылась, мама с порога спросила:

— Ну что, школяры, решили?

Андрюшка — опять первый:

— Да все уже! Нам же устно.

И где так ловко врать научился?

— Молодцы! — обрадовалась мама. — Тогда быстренько мойте руки — и за стол. Торт есть!

Потом, когда поели торта, они все вместе проводили до перекрестка дядю Ваню. По дороге обратно Андрюшка сказал им «спокойной ночи» и юркнул в свою калитку. Папа, мама и Никита вернулись домой, и тут мама предложила, чтобы они еще выпили по чашечке чая и съели остаток торта, но отец сказал, что не хочет, и стал ходить по комнате из угла в угол: туда-сюда, туда-сюда.

— Ну присядь с нами, — попросила мама.

Но он только заходил еще быстрей. Как лев по клетке, когда ему очень хочется домой, в Африку.

Наконец остановился посреди комнаты и не очень уверенно сказал:

— Ладно... оставайтесь тут.

Будто они на ночь глядя куда-нибудь собирались.

— А мне еще кое-куда надо...

Будто Никита с мамой не знают, куда это ему надо.

4

Как ушел тогда после дня рождения, так две недели с тех пор и нет его.

Маленькая котельная около Дома культуры опять задымила, и он опять сутки бросает там в топку уголь, а двое суток потом отсыпается на старом, окованном толстой жестью сундуке, а то сидит небось на нем с дружками, водку пьет.

Мама строго-настрого запретила Никите ходить в котельную: неужели, сказала, у него у самого не хватит сердца вернуться? Будем, сыночек, ждать.

И Никита с мамою ждут.

Только залает Дружок, только под окном заскребут подошвами о стальную полоску чистилки, оба они замирают: кто? Не он ли?

Вот и сейчас: стоило ударить калитке, как Никита оторвал голову от подушки: отец?!

Да нет, зачем бы он стучал в ставень...

Мама поскорее бросилась открывать: думает, Никита давно спит, боится — разбудят. Кто это к ним так поздно?

Почти неслышно вернулись в комнату и молчат, только легонько по полу шаркают. Мама, конечно, прикладывает палец к губам: тихонечко, мол. Подальше в угол переставила на тумбочке повернутую к Никите верхом металлической шляпки настольную лампу, так. Сели на стулья около столика, за которым он занимается, ясно. Зашелестел незнакомый шепоток:

— Ты, детка, не ругайся, что поздно. Раньше нельзя было. Только когда луна скроется, прийтить можно, иначе господь пользы не даст...

— Да что вы, бабушка, что вы! — тоже шепотом успокоила мама. — Спасибо, что пришли!

— Да как же, детка, не прийтить? Такое горе, вот горе. Ну, навязалось на вашу семью, прямо как только от него и отвязаться!

Теперь в голосе у старушки слышится Никите что-то знакомое. Или просто у всех у них голоса одинаковые? Сама шепчет, а все равно как будто поет:

— Откуда оно берется такое горе, а-а?

Бабка Алениха? Ведьма?!

Ну, точно, это она так говорит, когда к кому-либо подлизаться хочет. А на самом-то деле голос у нее куда грубей!

Никита даже глаза закрыл, чтобы получше представить: вот они с Андрюшкой в жаркий день мимо ее двора идут на Уруп купаться, а она стоит в огороде, молодую кукурузу ломает, а на них совсем и не смотрит.

— Давай? — шепотом предлагает Андрюха.

А Никите и очень стыдно, и вместе с тем ну прямо до смерти узнать хочется: а правда ли это, что у них на

улице про бабку Алениху рассказывают? Никита медлит, и в голосе у Андрюхи слышится бесконечное презрение:

— Трухаешь?!

Тут уж никуда не денешься, все!

Никита тоже сует руку в задний карман шорт, сворачивает там дулю. И почти тут же раздается скрипучий бабкин голос:

— Дураки здоровые! Аггелы! И не стыдно вам, а-а-а?

Ну как она, в самом деле, про дулю в кармане узнает? Как? Через штаны видит?

Ни ведьм, ни ведьмаков давно уже нет, это ясно, но вот вам с дулей в кармане — пожалуйста! Может, бабка Алениха — последняя на свете ведьма?

Никита лежит, не шелохнется. Надо бы еще чуть-чуть стащить с уха одеяло, но бабка Алениха наверняка почует, станет говорить совсем тихо, и Никита так ничего и не узнает. А узнать ему надо, чтобы в случае чего предупредить маму, не дать ее в обиду — она ведь ну такая доверчивая! В детском садике ее даже эти шестилетние карапузы обманывают: за кустик, когда она в парке с ними гуляет, попросится, а сам пулей — в ларек за мороженым. Она от них-то, бывает, плачет, а тут, пожалуйста, сидит себе, с ведьмой шепчется — нашла с кем!

— Я тебе присуху сейчас перескажу, а ты на бумажку запишешь, — опять зашептала бабка, и Никита прямотаки увидел сморщенное, как печеное яблоко, и такое же смуглое ее лицо — вытянутые трубочкой губы, нос крючком, юркие глазки под низко надвинутой косынкой. — Наизусть выучишь, а на молодик спать ляжете, как уснет, так три раза прочитаешь над ним. И так до полной луны.

Мамин стул тоненько скрипнул — приподнялась найти на Никитином столике бумагу да карандаш. Скри-ип — опять. Быстро нашла, смотри-ка.

— Пиши с верою. — Бабка помолчала, а потом уже другим голосом, как будто она пугала кого, протяжно завела: — Стану я, раба божия Вера, благословясь, пойду, перекрестясь, из дверей к двери, из ворот к воротам, выйду я в чистое поле. Попадутся мне три дороги, у одной дороги — змей летучий, у другой — черный воронкаркун, у третьей — злая старуха, заговорная кудесница...

Никите показалось, кто-то слегка приподнял у него

на спине теплое одеяло. Он съежился и только тут вдруг понял: мурашки!

Надо же какой у бабки у этой голос! Хорошо, что мама в комнате не одна, что рядом с нею — Никита.

Бабка опять зашептала с выражением:

— Заплачу я горькими слезами, а навстречу выйдут Петр и Павел и ветры буйные. Помолюсь и попрошу Петра и Павла и ветры буйные: возьмите дым-дымочек, свейте в клубочек, найдите божьего раба Михаила и вселите в него грусть, тоску, печаль, думу, сухоту в крепкую плоть неутомимую, в его ретивое сердце и горячую кровь, чтобы раб божий Михаил грустил, тосковал за рабой божьей, Верой как ребенок по груди, думал о ней дни и ночи, часы и минуты...

Если эта ее присуха еще длинная, Никита совсем замерзнет. Хоть бы мама случайно как подошла, подоткнула одеяло. То за вечер десять раз поправит, а тут — как нарочно. Некогда бедной маме — торопится, пишет! Ну да ничего. Никита и на айсберге готов сколько хочешь пролежать не то что в своей постели, лишь бы только дома у них все стало хорошо.

— А будь мое слово сильнее воды, выше горы, тяжелее золота, крепче горючего камня алатыря, могуче богатыря. Аминь. Аминь. Аминь.

Складно как! Интересно, это бабка Алениха сама придумала или научил кто?

Мама еще, видимо, дописывала, а старуха сказала уже обычным тоном:

— Если бы к этому заклятью да еще зелье! Нету Алексеевны нашей, о-хо-хо! Нету!

Хитрая! Была бы жива бабуся, она бы и сама отца вылечила, без всех этих «черных дымов» да «буйных ветров» обошлись бы. Уж кто-кто, а Никита в этом уверен — он ведь бабусе жизнью своей обязан. Об этом Никита совсем недавно узнал, когда бабушка Таня умерла, а через год пришли к ним со всей станицы старухи годовщину отметить. Все они были в черных, прикрывавших кофты платках, все в черных, чуть не до пят, юбках, да еще, как и все старухи, носатые и чуть сгорбленные. Ходили по дому, словно галки, и все заговаривали с Никитой, все пробовали приласкать его, пригорнуть к себе, будто галочьим черным крылом, прикрыть краем платка, а когда он уходил от них, поглядывали ему вслед, качали головами да одна с другою перешеп-

тывались. Тут-то он и услышал, что у папы с мамой очень долго детишек не было, целых десять лет, и тогда бабушка стала готовить и давать маме какие-то особенные травки. И Никита родился наконец.

Все эти старухи, или бывшие подруги бабуси, или те, кому она когда-то, еще очень давно, помогла, и теперь еще часто приходили к Веденеевым, в белом узелке на тарелочке приносили то какой-нибудь удивительно вкусный, пальчики оближешь, кулич, то кусок сладкого пирога. Иногда они присылали узелок с кем-либо из своих внучат или передавали гостинец через маму, и тогда она говорила Никите, что бабушка Таня кому-то из них приснилась или кто-то о ней подумал и решил помянуть.

Родная милая бабушка!

Как же так получилось, что ты померла и Никита веки вечные будет теперь без тебя? Почему это вообще хорошие люди помирают? Помирали бы только злые, помирали бы себе и помирали, а рождались бы только добрые, других не надо, и так на земле в конце концов стало бы здорово!

Мама, видно, кончила переписывать, потому что сказала Аленихе спасибо, а та опять зашептала:

— Спытай, детка, спытай. Должно помочь. Кто верит, всем помогает... Может, и на тебя господь не без милости глянет.

— Ой, бабушка, да хоть бы!

И столько было в голосе у мамы невысказанной мольбы, и столько было надежды, что Никита вдруг крепко-крепко зажмурил глаза, будто могли из них брызнуть слезы.

— Надейся, моя детка, главно — надейся, — уговаривала Алениха. — Воздастся тебе добром, что не бросаешь на произвол хорошего человека, спасаешь от ада огненного.

— В том-то и дело, бабушка! — горячо откликнулась мама. — Был бы плохой — может, давно бы уже и думать перестала. А ведь как вспомнишь, какой и добрый всегда, и ласковый был... А теперь — ну как подменили!

— Дак а что? — поддержала бабка. — Это обличьем остался тот же, а душа-то уже другая... Ты спытай пока, что я научила, а у меня нога болеть перестанет, я к одной старушке на тот край сбегаю, узнаю, чи отошла,

чи до сих пор, бедная, лежит. Когда последний раз ее видела, еле живая была, ей уже лет да лет, а она хорошо умеет от порчи, только тут надо, чтобы он сам до нее пошел, Михаил твой!

Еще что придумала — разве отец пойдет?

— Она воск растопит, пошепчет, а потом его в холодную воду выльет. Тут он и увидит лицо, кто порчу-то на его навел. Или на воду пошепчет, станет ей на камушки лить, и тоже тот человек покажется.

Интересно, кого отец увидал бы, если все-таки согласился к бабке пойти? Пархитьку? Шофера Карповца? Или, может, председателя Воронкина?

С Алешкою, с его сыном, Никита учился в одном классе. На днях ребята в школе расхвастались: у одного есть дома это, у второго — то, а у третьего — и вообще что-нибудь такое, остальные только рты пораскрывают, когда услышат. Чего только не насочиняли, лишь бы друг дружку переплюнуть. Ромка Балаян сказал, например, что у них живет говорящая обезьяна, хотя все-то ведь прекрасно знают, что говорящих обезьян вообще нету на белом свете. Хвастали-хвастали, Алешка Воронкин и кричит: а у моего папы дома железный сундучок, а если его откроешь, там пачки денег, много-много, и в каждой — только по двадцать пять рублей или даже по пятьдесят. «Нашел что придумать, — пацаны закричали. — Вот брехло так брехло!» Дверь в класс была слегка приоткрыта, а теперь открылась совсем — оказывается, Марья Станиславовна стояла в коридоре и все слышала. На следующей перемене Алешку Воронкина зачем-то потащили к директору, а когда его потом в классе стали спрашивать, зачем таскали, Алешка сказал: «Дерик говорит: запомни, Воронкин, никакого железного сундучка у вас дома нету, ясно тебе? Как будто он знает!» Все стали кричать: «И правильно — а почему? Да потому, что дерик умный, а ты, Воронкин, дурак». И тогда Алешка предложил: А спорим на что угодно?.. Завтра, когда мы начнем переезжать, вы приходите, а вещи станут выносить, тут я вам железный сундучок и покажу!» Ну, те, кто далеко живет, сказали, спасибочки, как-нибудь обойдемся, переживем, если и не увидим, а мальчишки, которые поближе, и в самом деле пришли. Во дворе у Воронкиных около двухэтажного их коттеджа стояла большая машина с откинутым задним бортом, рабочие приставили к кабине на попа громадный овальный стол из белого дерева и теперь

подпирали его таким же громадным белым шкафом. Вокруг уже было как на ярмарке: выстроились за своими заборами соседи, а напротив дома на улице толпились просто прохожие. Все говорили, что у Воронкиных восемь или десять больших ковров, и ждали, когда эти ковры начнут выносить, чтобы посчитать точно. Пацаны позвали Алешку, и он обрадовался, сказал, пусть никуда не уходят, скоро увидят, зачем пришли. Люди вокруг все еще считали ковры, когда к дому подкатила «Волга», из нее с двух сторон разом вылезли председатель Воронкин и его шофер Карповец. На несколько минут они скрылись в коттедже, а оттуда показались с небольшим, завернутым в байковое одеяло ящиком, который они держали с боков за перепоясавшие этот ящик веревки. За ними почти тут же выбежал Алешка Воронкин, догнал их и пошел следом. Шел он так, вроде бы от нечего делать — то пнет ногою камушек и слегка приотстанет, а то потом вприпрыжку отца с шофером догонит, но пацаны-то хорошо видели, что он то и дело наставляет на замотанный в одеяло ящик указательный палец и как будто долбит им: ну вот, мол! Вот же! Но пацаны ему не поверили, мало ли. Если, они сказали, у вас, Алешка, десять ковров, то почему только один-единственный цветной телик? «Горизонт» уже стоял тогда на грузовой машине, никто не спорит, но как докажешь, что батя с шофером тащили в «Волгу» этот самый железный сундучок с деньгами, а не второй телевизор?.. Вот если бы ты принес да показал хотя бы пачку! Но пачку Алешка Воронкин так и не принес — брехло несчастное.

Или это правда-то, что он говорил им? Или все-таки неправда?..

Пока Никита о Воронкиных думал, мама с бабкой Аленихой заговорили про Карповца.

— А что, моя детка, думаешь? — рассуждала шепотом бабка. — Может, и он спортил. У его и вид — ты токо на него погляди. Волосы как вороново крыло, аж лоснятся, мордатый да губастый, а глаза черные да, мало сказать, бесстыжие — это пускай, кто не знает, то так и говорит... А я, моя детка, точно знаю: дурной у него глаз, ох дурной! На том краю, где живет, женщины рассказывали: соседка его сажала лук, а он к плетню подошел. А чего ты, бабка, спрашивает, сажаешь? Он же у тебя не взойдет! И хоть бы одна стрелочка из земли показалась! Другая соседка скотину в стадо на зорьке выг-

нала, а тут он навстречу. Идет, говорит, прямо на корову, она от него аж отшатнулась. Дак, молоко, говорит, полгода было такое горькое, что в рот не возьмешь!.. Вера, детка моя, зачем бы люди стали брехать? Ну на тебя ж вот такое никто не говорит? А он по улице ехал на машине, а одна женщина молодая шла с ребенком, с грудничком на руках. Ну, не заметила, стала не там переходить, а он на машине сзади подкрался да как задудит! Та чуть ребеночка не выронила. Дак весь тот куток, где они живут, веришь, неделю глаз не смыкал — так этот ребеночек, бедный, кричал по ночам...

Неужели все это правда — и про лук, что на грядке не вырос, и про горькое молоко, и про маленького ребеночка, который так сильно плакал? И что ж теперь, если правда, — идти к какой-то дряхлой старушке и любоваться там на его и в самом деле противную рожу, которая выльется из растопленного воска или сложится из политых водою мокрых камушков? Эх вы!

И опять виделось Никите — уже в который раз!

Вот с ружьем в руках стоит у загородки на краю кошары отец, ладонью прикрывает глаза от жаркого полуденного солнца, смотрит в степь, но в степи — никого, только волнуется под ветром трава, только без конца и без края серебрится ковыль.

Чуть в сторонке горцы сидят на бурке под кустиком, жуют свой сушеный сыр, а около конторы председатель Воронкин и его шофер Карповец поставили в «Волгу» пузатый портфель с водкой, погрузили в нее железный сундучок.

Сменщики отца послушались Пархитьку и ушли далеко в другую сторону, мама повезла бабушку в больницу, и только Никита, которому стало известно о предательстве, вернулся из Домбая и теперь, задыхаясь, бежит по тропинке между пригорками, забирается, чтобы спрямить путь, на вершину большого бугра, останавливается там и тоже делает ладонь козырьком: близко ли до кошары? Успеет он?

Бежать ему еще далеко, ой далеко, а белая «Волга» пылит по дороге уже совсем рядом с загородкой. Нет, не успеть!

И только подумал так Никита, как тут же услышал позади бешеный лошадиный храп и громкий топот. Обернулся и увидел: вскачь поднимаются на бугор конники с алым знаменем впереди. Красная кавалерия!

Он ничего еще не успел сказать, как перетянутый ремнями командир протянул ему руку, рванул с земли, и вот уже Никита сидит перед ним на лошади, и тот поддерживает его левой рукой, а правой поднимает сверкающую на конце саблю и громко кричит: «Красные бойцы!.. Чапаевцы! Па-эс-кадрона-а!..» Или не так?

Нет, конечно.

Чего фантазировать зря — уже не маленький. Разве не ясно, что Чапаев гонял беляков по Уралу, а здесь — Кубань. Откуда тут чапаевцам взяться? Тут были свои красные командиры. Недавно Никита прочитал книжку про Кочубея. Там такая строчка была: «Лихо рубилась удалая сотня бесстрашных отрадненских казаков». Никита завел себе специальный блокнот и выписал в него эту строчку. А этим летом, когда он помогал дяде Ване Корягину, на коше почти месяц жил старенький отец крестного, дед Игнат, который воевал у Кочубея, и он рассказал Никите, что отрадненцев было куда больше, просто остальные служили по разным сотням. Так что хорошо, чего там, если бы отцу с Никитой чапаевцы помогли, но тут уж ничего не поделаешь, ладно.

Так что были это, конечно, кочубеевцы, красные казаки. Это они на храпящих своих, взмыленных от горячего бега жеребцах поднялись на бугор, и сотенный с алой ленточкой на кубанке поднес к глазам бинокль, а в это время его ординарец отвязал от задней луки седла ремешок, бросил конец Никите, отдал ему запасного командирского коня, а потом шашку протянул: «Держи, у меня две!»

Около кошары председатель Воронкин с Карповцом уже выгрузили из своей машины железный сундучок, уже вдвоем несли его к загородке, а Карповец тащил еще и набитый бутылками пузатый портфель.

Сотенный с алой лентой на кубанке только вытянул молча руку с ременным ушком плетки на запястье, и Никита, приподнимаясь на стременах, тоже взмахнул шашкою: «Ур-ра-а-а!» Глотку ему заткнуло обжигающим ветром — так они понеслись с бугра. Где они промчались, осыпались лепестки с головок у лазориков — так под копытами вздрагивала земля.

Услышали Воронкин с Карповцом тугой свист шашек, остановились как вкопанные, а потом побежали от кошары. Жалко им бросать железный сундучок, жалко бросить портфель, и они запинаются от страха ногами, лица у

них перекосились, но они все не расстаются со своим богатством — ах так?!

И красные казаки рвут из-за спины карабины, стреляют на полном скаку, а с коша, от загородки, метко бьет из ружья отец. Бац! — и из портфеля ударил целый фонтан. Бац! — и от железного сундучка отлетел замок, посыпались бумажки, и ветер понес их по степи, бросил под копыта казачьих коней.

Председатель Воронкин стоит с поднятыми вверх руками, а горцы, которые давно уже бросили жевать свой сушеный сыр, громко кричат красным казакам, кричат отцу: «Ай, хорошо!.. Молодец, кунак! Настоящий джигит! Теперь поедем к нам в аул, тоже есть одно дело, э?!»

Наша взяла. Но на душе у Никиты отчего-то неспокойно, конь под ним так и ходит, и Никита резко тянет уздечку в сторону, поворачивает по кругу и тут вдруг видит: среди кукурузы за дорогой мелькает полосатая рубашка Карповца.

Неужели уйдет?!

Никита поднимает шашку над головой и пришпоривает коня. Тот мчится стрелой, но Карповец несется как угорелый: ему срочно надо в станицу, чтобы успеть посмотреть дурным своим глазом на тот лук, что сажает сейчас на грядке его соседка... Неужели так и уйдет?!

Никита еще крепче сжимает гладкую рукоять шашки и сильнее бьет коня по бокам.

Разметался Никита, совсем раскрылся, вытянул по подушке руку со сжатым кулаком, шевельнул висящими над краем постели голыми пятками.

Мама увидала и так и ахнула.

— Целый день насаются, как кони, а потом не могут крепко заснуть, мстится всякое, — шепчет маме старая бабка Алениха, которая знает все на свете и очень любит давать советы на все случаи жизни. — А ты, моя детка, знаешь что? Ты ему вечерком чайную ложку маку — и будет тебе как ангел!

5

Утром она показала ему хозяйственную сумку, в которой стояли обернутые полотенцами кастрюльки да стеклянные банки: одна — с баклажанной икрой, другая — с четвертушкой вилка квашеной капусты — пилюстки, третья — с любимым салатом отца: залитые постным мас-

лом раздавленные красные помидоры с нарезанным соленым огурчиком и с луком.

— Отнесешь ему после уроков. Пусть хоть по-человечески покушает, да, может, вспомнит, что у него семья есть...

В общем, правильно. Раз уж мама решила присушить отца, ей надо, чтобы от молодика до полнолуния он дома ночевал. Никите нужно и того меньше: лишь бы хоть на часок вернулся. Да лишь бы только на глазах у него калитку открыл! А там видно будет, что скорее поможет — или бабкина присуха, или Дружок все-таки?

В последнее время Никита с ним столько занимался, что двоек нахватал видимо-невидимо. Мария Станиславовна пригрозила, что мать вызовет, а вчера не вытерпела, сама заявилась. И надо же как вышло! Они с Дружком настолько увлеклись — учительница, бедная, несколько минут стояла у ворот, на них любовалась, а они ничего не видели и не слышали. Мария Станиславовна даже рассердилась. То Никиту никогда по фамилии, а тут еще и прикрикнула:

— С каких это пор у тебя только собака на уме, Веденеев?

Хорошо, что мамы не было дома.

Сегодня Мария Станиславовна не придет — в школе педсовет. Завтра мамы опять не будет. А там Никита, глядишь, и все свои двойки уже исправит, недаром же классная сама говорит, что способности у него — исключительные.

И Никита, когда вернулся из школы, не стал садиться за учебники — решил прямым ходом дунуть сперва в котельную. Кликнул Дружка, хотел, чтобы вместе пошли, так бы оно, конечно, веселей, но тот опять почему-то заупрямился: куда угодно с Никитой пойдет, только не в котельную — туда его и калачом не заманишь. И вот что интересно: ты ведь не докладываешь ему, куда собрался, ничего такого не говоришь, айда, Дружок, да и только, а он все равно почует и станет прятать умные глаза, отворачивать хитрый нос, пушистый свой хвост поджимать и куда-нибудь прятаться. Не любит Дружок эту котельную. Да а кто ее любит?

Никита уже закрывал за собой калитку, когда вдруг вспомнил про одну штуку — хорошо, что так вовремя он вспомнил!.. Это бабушка Таня его учила: если идешь куда-либо и боишься, что тебя неласково могут встретить,

надо сделать вот что: на пороге надо сказать про себя: «Стены ваши, а верх мой, все в этой хате говорите за мной!» И будет тогда тебе удача. Сколько он потом пробовал — всегда ему помогало, и правда!

И Никита повеселел: пускай теперь в котельной будет хоть миллион пьяниц — все равно им не удастся помешать Никите с отцом поговорить, фигушки!

Он даже попробовал было по дорожке рядом с забором пройтись с подскоком, но вышло плохо, потому что поздней осенью, в грязь, эта дорожка всегда горбатая.

Несколько дней перед этим заморозки стояли только с утречка до обеда, потом теплело, но нынче после полудня холод не отпустил. Лужицы, на которых он давил ледок по дороге в школу, опять затянуло — потоптаться, жаль, по ним было некогда, и единственное, чем себе позволил Никита по дороге к центру заняться, — это угадывать запахи.

Какими четкими они стали на морозце, как далеко их нынче слыхать!

Конечно, он знал, что Сосиковы вчера кололи свинью, но если бы даже и не знал, все равно, как разведчик, по приметам догадался, что они сейчас топят нутряное сало — так ясно через открытую форточку тянуло горячими шкварками. В доме у Беляковых, у которых старый сибирский кот — это и все хозяйство, опять, наверное, недоглядели молоко, а их соседи парили тыкву или варили с ней кашу, но и там и тут еще и жарили семечки. С обеих сторон улицы семечками потом вкусно пахло до самого центра, да и здесь, на станичной площади, тоже попахивало — даже из высоких, слегка приоткрытых сейчас окон музыкальной школы доносился такой знакомый, такой свойский подсолнуховый дух, будто и они там под звуки «чижика» деревянною ложкой помешивали на раскаленной сковородке крупные, с белой полоскою, зубки...

И вдруг куда подевались теплые, как живое дыханье, родные запахи — холодно ударило в нос бензином, прогоркло завоняло тухлым угольным дымом, резко шибануло едучей хлоркой. Здесь, за гаражом Дома культуры, стояли рядом приземистая котельная с черной от копоти трубой на растяжках из толстой проволоки и кирпичная уборная с недоломанными деревянными загородками по бокам — царство отрадненских алкоголиков.

Перед обитой ржавой жестью дверью в котельную Никита остановился и сперва коротко выдохнул, а потом, набирая в грудь побольше воздуха, даже приподнял плечи — как будто собирался нырнуть на глубину. Хлынувшая изнутри жарища окатила его тяжелым духом нагретого железа и паленой резины. Уши плотно заложил густой гуд, через который еле пробивался глухой скрежет металла да тяжелое шуршание угля.

Из-под заслонки сверху уголь валился под ноги отцу, а тот, голый по пояс, быстро швырял совок за совком, как будто хотел закидать огонь, но в топке там и тут через черное крошево настырно курились струйки серого дыма, пробивались желтые языки, вспыхивали голубым да малиновым, разгорались, и отец бросал снова, а уголь опять сыпался и сыпался, гора его рядом с отцом росла и росла — Никите показалось, она тут же с головой укроет отца, как только тот хоть на единый миг остановится. Или это специально устроено, что остановиться нельзя? Как в аду, в котором, если он есть, вместе со всеми другими грешниками будут мучиться потом и все, кто пьет водку...

— К тебе, Андреевич, гости!

Ну как же, сидят на сундуке — высокий и тощий, с большим кадыком на тонкой шее и с глазами навыкате, дядя Павлик Посевин, низенький и лобастый, весь в морщинах на крупном лице, Эдик Зиборов и Лексашка Пинаев, сосед Веденеевых, торчащими в стороны ушами так похожий на Чебурашку, только очень большой и очень нескладный. Шабашники, отцовы дружки.

Никита снял шапку, невольно поклонился им, и тут его в жар бросило: да! «Стены ваши, — быстро сказал он про себя, — а верх мой, все в котельной говорите за мной!»

Хорошо, что вспомнил, а то было бы!

Уголь перестал сыпаться, стало тише. Отец отбросил лопату, подошел к Никите, одними глазами улыбнулся и посмотрел на свои большие ладони. Наверное, он хотел Никиту обнять, но руки у него были черные, а Никита как нарочно, надел красную свою курточку — и чего он как дурачок в нее вырядился?

Но отец сделал вот что: он приподнял левую руку и локтем слегка надавил на плечо Никиты.

— Ты разденься, — сказал негромко. — А то простудишься, как на улицу потом выйдешь, тут — как в Африке...

— Мама тебе передала, — протянул ему сумку Никита.

— Поставь на стол, я сейчас.

Это называется стол — верстак не верстак, козлы не козлы, а так, непонятно что. Плохо оструганные, в припорошенных угольной пылью потеках доски, на которых буровато-вишневым цветом тысячу раз отпечаталось дно бутылки. На досках разбросаны мокрые обрывки газеты, шкурки от колбасы, раздавленные окурки, соль просто так насыпана, стоят захватанные грязными пальцами граненые стаканы, пустые пол-литровые банки с плесенью на дне — бедная сумка мамина, куда ее тут поставить?

Отец вернулся, вытирая руки на ходу несвежим, с оторванным краем вафельным полотенцем. Сам не стал сумку разбирать, кивнул Пинаеву:

— Что там, Лексаш, поглянь.

Тот первым делом достал баночки с солениной, и рот у него стал до ушей:

— Во баба тебе закусь прислала!

Эдик Зиборов приподнял свою большую голову, потер ладонями:

— Не пора ли нам, пора... где он до сих пор шляется?

И тут Никита понял, почему это на столе не видно пустых бутылок — кто-то уже пошел их сдавать, чтобы принести еще выпивки.

— Ладно, мужики, — почему-то грустно сказал отец. — Угощайтесь так пока... Я не буду.

— А я Андреич, уже неделю не ем, — заговорил дядя Павлик Посевин, и его кадык прошелся вверх и вниз по тонкой шее. — И самое главное, что не тянет... Это плодово-выгодное, в рот пароход, весь аппетит перебивает.

Лексаша Пинаев одну за другой раскрывал кастрюльки:

— В энтой борщ, а в энтой котлеты, понял. А пахнут! Возьму, Андреич, одну?

Как будто мама для него старалась!

Отец подельчивый, такой, что последнее отдаст. Конечно, кивнул теперь: бери, мол.

— Оно ты чуешь, как пахнут, — дернул Эдик лобастой головой. — Еще сто лет назад небось нюх отшибло!

Отец опять как-будто насильно улыбнулся:

— Он по памяти.

— А чего, Андреич? — вскинулся дядя Павлик. — И правда. Вот возьми молоко. Когда попадется, пьешь, и — как вода, только знаешь, что вкусное, — пил же раньше.

— А чего ты не ешь? — спросил отец у Эдика.

— Всю не съем, — снова мотнул головой Эдик. — Мне Лексаша «сорокушку» оставит...

— Знаешь, что такое «сорокушка»? — обнял Никиту отец. — Или не знаешь?

Эдик Зиборов махнул рукою:

— Откуда им? У него попроси — он тебе целое отдаст, если не жадный. А сам у папки с мамкой еще возьмет... так, Никита? Или не так? Это мы после войны, помнишь, Андреич? С куском макухи кто-нибудь на улицу выйдет, ты бросаешься со всех ног, еще за километр кричишь: «Сорок!» С кукурузным чуреком кто-нибудь выскочит...

— Да он, думаешь, знает, что такое макуха? — повел глазами на Никиту Лексаша.

Никита хмыкнул:

— На кош привозили.

— Овечкам, правильно. А то и нашему брату, пацанве, за первый сорт в голодуху.

— Не половинку просишь! — клонил к Никите лобастую голову Эдик Зиборов, и от него сильно несло вином. — Понимаешь, Никита?.. Просишь — «сорок»!

— Проценты проходили уже? — все улыбался грустно отец. — Выходит, сорок процентов.

— Меньшую половинку просишь, да!..

— И хорошо, что они теперь не знают, — с набитым ртом сказал Лексаша. Снова взялся жевать, и его большие уши заходили еще быстрее.

— Так ты мне не оставил? — поглядел на него Эдик.

— Я еще съем, от нее потом оставлю....

Так отцу ничего и не достанется!

— У их другое плохо! — приподнял палец дядя Павлик, и кадык у него опять дернулся. — В станице живут, а что они, кроме техники, теперь видят? Летом сижу как-то на лавочке в палисаднике, слышу, пацан соседский за забором с дружком своим разговаривает. Такие ж вот, как Никита... Слышь, говорит, Петька. Мы вчера в ночном были. А тот: да брешешь! Нет, правда. А кто был? Да кто. Борька Миронов, браты Сидоренки... набрал человек двадцать, со всего кутка ребят. А тот, другой-то, и спрашивает: а коня где достали?

Лексаша проглотил остаток второй котлеты и потянулся за третьей:

— Двадцать душ — на одного коня?

— Ну! Да еще где, спрашивает, достали. Не верит!

— Конь нынче — дефицит, — сказал Эдик. — Только по большому блату... А раньше, Андреич, помнишь? О колхозе и говорить нечего. А так — и в пожарке целый табун, и в райисполкоме. Садись, гони на Уруп, купай... А ночное и правда! — Опять сильно дернул лобастой головою, затих, только улыбался молча, и лицо у него постепенно разглаживалось, морщин на нем становилось меньше. — У костерка, а?.. Печешь картошку. А кругом ночь. Без единой звездочки! Хорошо, если вдвоем с дружком. А то — один! И тишина. Слышно, как травка под губами у них потрескивает. Пофыркивают вокруг, а потом оглянешься, а он стоит у тебя за спиной, тоже на огонь смотрит, и глазищи — во!

Лексаша Пинаев взял в руки салат из помидоров с огурчиком да с лучком, положил ладонь на белую полиэтиленовую крышку и зачем-то перевернул баночку вверх дном. Смотрел, как поднимаются вверх масляные прожилки.

— Съели итальянцы наших лошадей, правильно. Потому и молодежь теперь такая пошла. В железках понимает, а души в ей нету. Нету! А откуда ей взяться? Ну вот так прикинуть — откуда?

Хоть бы поставил банку на место — еще уронит!

Эдик вдруг передернулся, будто его ударило током:

— Куда он пропал — только за смертью посылать! — Небритое лицо его опять пошло морщинами, опять постарело. Положил грязную пятерню на другую банку, ловко приподнял крышку, двумя пальцами отщипнул от пилюстки. — Капустки подрубать пока, что ли?

— А мне Володька Степовой рассказывал, когда в отпуск приезжал, — сказал дядя Павлик Посевин, — у англичан так: до его придешь — уйдешь голодный. Хлеба дак и вообще не едят. Мол, от его поправляются. А если его к себе пригласишь, да еще под это дело, — в рот пароход! Жрет, как не лопнет...

Лексашка почему-то обиделся:

— Откуда, грю, душе взяться?

За спиной у Никиты что-то грохнуло, он вздоргнул. Опираясь кулаком о край сундука, с матраца, который лежал в углу, поднимался, покачиваясь, человек в сером

плаще — как его раньше там не заметил? Голова опущена, длинные седые волосы еще закрывали лицо, но Никита сразу узнал: Платонович, старый трубач из Дома культуры. Откинет сейчас со лба волосы, высоко поднимет густые, тоже поседевшие брови, отчаянно сверкнет карими глазами и, словно к чему-то прислушиваясь, замрет, а потом скрипнет зубами и заплачет: «Я столько народу за свой век похоронил!..»

Никите отчего-то всегда его было жалко, а сейчас, когда на чисто выбритом лице Платоновича, таком же дубленом и коричневатом, как высушенная тыква-кубышка, он увидел свежую царапину, ему стало и вовсе не по себе.

Рука у Платоновича вдруг подломилась, и он рухнул на одно колено.

— Да что ты будешь делать, опять! — хлопнул ладонью по колену отец.

Встал и помог Платоновичу подняться. Хотел было усадить его на сундук, но тот шагнул к столу, одною рукой цепко взялся за край, а другую вытянутым указательным пальцем направил сперва на отца:

— А теперь слушай, Михаил! И вы... вы! Тоже слушайте. Мальчик! Понимаете: ма-альчик! — Платонович вскинул брови, глазами сверкнул и тут же скрипнул зубами, однако не заплакал, только слезы навернулись. — Зачем он пришел сюда?.. Пришел, чтобы спасти своего папку! Чтобы забрать его отсюда. А вы спокойно жрете себе — прости мне, Никита, это слово! — да, спокойно жрете, что он принес своему папке, и еще при этом рассуждаете о душе, не стыдно вам?!

— Не выступай, Платонович! — миролюбиво сказал Лексашка. — Без тебя тошно.

Но старик вскинул растопыренную пятерню, и плащ на спине у него стал горбом:

— Ешь котлеты, а душа у мальчика разрывается: папке нес! У него сердце, как у птички, которая в руке, чуть не выскочит. А он помалкивает. Потому что он добрый... ласковый пока. Кто я для него? Платонович, старый алкоголик! А он встретит на улице, снимет шапку: здравствуйте, дядя! Почему он снимает шапку? Уважает меня? Нет, не уважает. Однако он видит во мне то, чего другие давно не видят — чело-века!

Лексашка — опять за свое:

— Ну и что? Мне дед покойный рассказывал. Пацаном, грит, был, шел по улице, а под плетнем старый казак си-

дел, хуражка на глазах, дремал на лавочке. Он и прошел молча. А тут навстречу — атаман, да — хвать за ухо! «Ты почему с казаком не поздоровался?» — «Да он спит!» — «А твое какое щенячье дело? Твое щенячье дело — казаку поклон отбить!»

Густые брови у Платоновича опять взлетели вверх и упали, губы дернулись, и послышался скрип:

— Можешь помолчать, неумный человек?.. Или я выведу тебя!

— Он выведет! — ухмыльнулся Лексашка. — Ну, к двери поведешь, за меня будешь держаться, а как — обратно?

Отец приказал Лексашке:

— Дай сказать.

Платонович постоял у стола, опустив голову и слегка покачиваясь, потом вскинулся, и глаза у него сверкнули, но голос послышался совсем тихий:

— Шел утром через парк. Гляжу — двое мальчиков. Бросают что-то вверх, следом идут. Найдут — и опять вверх. Подхожу, что такое? Вы что бросаете? Да ключ. Какой ключ?.. Зачем? Один говорит: да вот Вовка из магазина шел и ключ свой от дома потерял. Примерно на этом месте. Позвал тогда меня, и пришли. Разве, говорят, дядя, вы не знаете? Надо сказать: «Брат, найди брата!» И кинуть на этом месте другой ключ. И он обязательно рядом с первым упадет, — Платонович опять уронил голову, а когда приподнял, выговорил еще тише: — Я заплакал!

— Это у тебя недолго, — буркнул Лексашка, но отец только глянул на него, и тот осекся.

— Как у них все просто, у ребятишек! — старик всхлипнул, и голос его словно прорвался наконец через какую-то преграду в пути. — Это ты! — закричал, тыча пальцем в Лексашку. — Ты вот порастерял и найти не можешь! И братьев своих порастерял! И детей. И ты все на свете порастерял!.. И ты!.. А теперь хотите, чтобы и он — и Мишка Веденеев — все порастерял?

Платонович громко всхлипнул, и у Никиты тоже щипнуло в глазах: а что? Разве не правда?!

Но старик снова заговорил о нем, о Никите, и он сдержал в себе радость, потупился.

— Почему, скажи, Михаил, мальчик у тебя ласковый да хороший? Знаешь почему? Я скажу. Да потому, что кроме всего прочего, ты до сих пор вкладывал ему в душу

все самое лучшее, что в тебе самом было. Плохое в себе оставлял, а ему — самое лучшее, любимому сынку. Он— это ты, только без дерьма, прости меня, Никита, за это слово. Но теперь ты взялся за рюмку, Миша! Как вон он!.. Как он! И как я!

— Очнись, Платонович! — попробовал рассмеяться Эдик. — Ты когда в последний раз рюмку-то держал?.. Ты все больше из горла!

Лексашка — тут как тут:

— Или с баночки пол-литровой!

— Заткнись!.. — нахмурился отец.

И старик закричал:

— Правильно, браво!.. Миша, правильно, молодец! Пусть заткнутся все. И я в том числе. И гони отсюда всех — гони в три шеи. Понял, Миша? Гони всех. Меня первого. Потом его! И его!

Никита даже привстал с сундука: ага! Вот оно когда помогать-то начало, бабушкино: «Стены ваши, а верх...».

— Гони, Миша! — закричал старик и топнул ногой. — Начинай! Всех выгонишь, а потом сам уйдешь. С мальчиком! Не потеряй мальчика, Михаил! Держись за него — вот так! Тогда спасешься, а главное — его спасешь. Мальчика!

Распахнулась влажная изнутри дверь, и в котельную вошел человек в белой рубахе и без шапки, за ним шагнул кто-то одетый, потом еще один и еще. Слышались смех и голоса. Никита в растерянности снова сел на сундук: сколько же их там, батюшки!

— До меня родак приехал, — говорил, улыбаясь, в белой рубашке и наклонялся туда и сюда с потухшей папироской во рту, искал прикурить. — Посидели с ним... не хватило, конечно. Выскочил взять еще, а тут они... у нас, говорят, праздник!

Сказал все это и потрогал раздутую, с глянцем на желтоватом отеке, щеку — у него флюс какой, а он по морозу чуть не голяком бегает.

Вокруг с шумом раздевались, доставали из карманов свертки в серой магазинной бумаге, закуривали. Один ходил с большой плетеной корзинкой, из которой торчало в разные стороны что-то, прикрытое серым, в мелкую клеточку, платком, — он эту корзинку то о одном месте поставит, то потом оглянется, кому-то подмигнет и на другое тут же перенесет...

Говорили все сразу — попробуй тут разбери.

— Колотун бьет, а тебя нету и нету. Так и кондрашка хватит, пока дождешься.

— Какой там дождь — снег срывается!

— Он же ей жалобу сочинял, ну, а теперь из Москвы — ответ.

— Жинка за карманы — цоп, цоп! А там ничего. У него загашник такой, что с милицией не найдешь.

— Около Димкина моста встретили, а ну-ка, говорят, подойди сюда, а ну, подойди.

— Видали сейчас твоего Димку, идет, опять слюни распустил. Заврайоно, а? Что нам тогда, грешным остается?

— А она решила самогонкой отблагодарить. Из слив, говорит, поставила.

— Тихо... тихо! — кричал стоявший посреди толпы человек в черном костюме и в галстуке.

Никита видел, как перед этим он снял старое, все в пятнах на груди, пальто, как аккуратно расчесал жиденькие волосы и отряхнул плечи, как, приподнимая тяжелый, с шрамом наискосок, подбородок, подтянул галстук... Где его Никита раньше видал? Куда это он приходил и так же причесывался и так же, слегка задирая голову и выпячивая толстые губы, поправлял галстук? Похлопал теперь ладонью о ладонь:

— Тихо, товарищи... тихо!

— Объяви день справедливости, Петрович!

— Ага, прикажи всем по стопочке!

Заглохли вокруг голоса, и этот, в черном костюме и в галстуке, громко сказал:

— Дайте сперва обнять человека, который плюнул в мерзкое лицо стяжателей... Дайте!

И они с отцом крепко обнялись.

Или и отец там был, куда приходил этот Петрович и так же неторопливо, как и здесь, так же по-хозяйски снимал пальто и причесывался?

Сложил руки замком и приподнял их перед грудью, выпятил подбородок со шрамом:

— Праздник, если на то пошло, сегодня двойной. Одно дело, что восторжествовала, как говорится справедливость, и бедной старушке вернули пенсию... Думаю, господь меня не осудит, что я не устоял перед гонораром — тремя четвертями сливового первача...

— А пробовал, Петрович? — вскинулся заметно повеселевший Эдик Зиборов. — Спичку подносил?

Тот все продолжал покачивать сомкнутыми руками у себя перед грудью:

— Для меня важно другое событие: сегодня я наконец сел за письменный стол и написал первые строчки истории нашего Предгорья, да! — Петрович опустил голову и подержал свой тяжелый подбородок на узелке от галстука, а когда вскинулся, голос его сделался громче. — Я не буду, как Прокопий в Византии, писать два варианта: один для повелителя, а другой — для потомков. Нет! — и тут он на один миг разомкнул руки и одну слегка приподнял. — Он историк был... честный историк! Да, история — одна. В данном случае — история маленького клочка земли, который мог бы ярко расцвести и который в результате стечения самых различных обстоятельств сделался притчей во языцех не только в нашем крае, но и...

— Петрович! — свойски перебил Эдик Зиборов. — Мне Аркаша Караманов говорит, я не верю. Что в центральной газете про нас: Бермудский треугольник. Там сена воз пропадет...

— А там — целая отара! — громко сказал отец и нехорошо усмехнулся.

— Может сперва — по маленькой! — крикнул кто-то, выглядывая на миг из-за Лексашки Пинаева.

Был он черный, бородатый, нечесаный, приподнялся над плечом у Лексашки и тут же пропал — бес, да и только!

— Федя! — распорядился Петрович, и человек, который все переставлял корзинку с места на место и все кому-то подмигивал, подхватил ее с пола и понес к столу. — А я доскажу пока.

Но Эдик опять встрял:

— А правда, что самый отстающий район, помощи вечно просим, а денег на сберкнижках больше, чем в любом передовом?

Петрович глаза зажмурил и шрамом на подбородке затряс:

— Да, да, да! Страшное дело — какие деньги!

— А чего ж их, елы-палы, не будет? — закричал в белой рубашке, сунулся к кому-то со своей негоревшей папироской и опять потрогал свой флюс. — У меня сосед — дружинник... заправляет там. Мы, грит, если украл да пропил, передаем в милицию, а если украл для дела, к примеру...

— Вот раздолье!

— А где? — громко спросил Платонович, и густые его брови поползли вверх. — Где та мера: сколько можно... а сколько — это уже будет слишком, уже грех? Знаем мы ее? Меру? Или не знаем? Все порастеряли, все? Горные условия... трудности!

Петрович опустил сомкнутые руки:

— Уважаемый Николай Платонович набивается в соавторы?

— А думаешь, не знаю, о чем писать станешь? — живо откликнулся старик.

— Он полстаницы похоронил! — с усмешкой кивнул на старика Эдик Зиборов.

— Да! — рассыпал Платонович седые волосы. — Да! И потому о тех, кого хоронил, много думал.

— Кто еще ко мне в соавторы хочет? — улыбался Петрович. — Говорите сразу.

— А ты, Леня, не смейся, — поднял палец Платонович. — Ты не смейся! О том, как большой телескоп хотели у нас, а не в Зеленчукской поставить, академики на вертолете прилетали, а Горлачев даже из кабинета не вышел, — напишешь? Напишешь, правильно. А крупнейшее на Северном Кавказе парниковое хозяйство сперва где хотели? В Отрадной. А угощали изыскателей да проектировщиков где? В Ставропольском крае. И там теперь строят. А наши не могли барана для этого случая зарезать.

— Мы его лучше сами съедим, барашка!

— Напишешь об этом? Напишешь, правильно. Что Горлачев не хотел станицу открывать. Как когда-то японцы свою Японию... Стали бы к нам ездить. Увидели бы, что не все тут так хорошо, как по телефону докладываем... А зачем? Так оно, без высоких гостей, спокойнее...

— Дайте немому высказаться! — кричал Эдик Зиборов. — Насчет отрадненской нефти!

Ну и разговорились — Никита не успевал с одного на другого глаза переводить. Жаль только, не про все понимал.

— Ну ты как? — спрашивал бледный, с приплюснутым носом, дядька — нос у него был такой, будто он слегка прижал его к стеклу да так из окна и смотрит.

Другой, с густой красной сыпью на лице и с красным кончиком носа отвечал коротко и четко:

— Работа, сучок, сон.

— А как Женька?

— Женька завязал. Работа — сон. Работа — сон. А Иван как?

— Иван отрубился. Сучок — сон. Сучок — сон.

Может, какие-нибудь шпионы? В котельной у отца кого только не соберется, один раз Никита видел даже негра — тот был в станице на практике.

— Эврика! — радостно закричал вдруг щупленький человек в очках с треснутыми стеклами, перед этим его и не видно было, и не слышно. — Только сейчас стукнуло, Леонид Петрович! Почему мы кричим на корову: гэ! Пошла то есть. Почему? Да это ведь немецкое: гее!... Иди! Просто мы с нашими буренками по-немецки разговариваем.

— Прекрасная догадка! — похвалил Петрович. — Ты запиши, а то забудешь.

— Сейчас вот осенило! — радовался щупленький. — Это же немецкое «гее»!

Тут как раз все примолкли, может, соображали, и в самом ли деле мы с коровами по-немецки разговариваем.

Никита поглядел на одного, на другого, и ему вдруг стало не по себе... Большеголовый истукан Эдик Зиборов, кадыкастый, с глазами навыкате дядя Павлик. Эти двое — один с красной сыпью на толстых щеках, другой — с приплюснутым бледным носом. Космач — нечистая сила. Лысый и с синяком. В треснутых очках. У которого глаз дергается. И с флюсом. Как будто их нарочно вместе свели — ни одного лица человеческого!

Никите захотелось на отца глянуть... Про них с мамой раньше всегда: вот красавцы — пара так пара!

Неужели и отец сейчас какой-нибудь не такой? Никиту охватил испуг, ему вдруг показалось, что он из этой черной котельной, может больше не выйдет, а так и останется вместе со всеми жить в ней, — им тут только и не хватает маленького уродца с большим родимым пятном около уха!

Никита наконец осмелился, поглядел на отца. Нет-нет, у него, слава богу, нормальное лицо, только черное от копоти и очень усталое.

— Приглашай, Леонид Петрович, — сказал от стола Федя, не выпускавший из рук четверти с самогоном.

— Только одно слово! — выбросив руку вверх, просил Платонович. — Еще одно. Леня в своей истории писать будет: Горлачев!.. А я хочу, чтобы ты не забыл упомянуть

еще один факт. Важный, с моей точки зрения. Важнейший! Не знаю, Леня, известно ли тебе, что лет восемь или десять назад Рязанщина не выполнила одну важную поставку — они французам лягушек поставляли, ну, ты знаешь. И тогда пришла разнарядка на Кубань. Дело-то, можно сказать, международное... И в других районах согласились. Согласились, и точка. И в Лабинском, и в Курганинском... везде! А Горлачев наш — наотрез. Ты понимаешь: наотрез. А выйди сегодня вечерком на берег Лабы: думаешь, хоть одна лягушка заквакает?.. Или в Курганной? А? А теперь выйди к Урупу вечером? Концерт целый!.. Разве не так? Что ты на это скажешь?

И лицо у Платоновича сделалось, мало сказать, довольным — сделалось гордым.

Леонид Петрович разомкнул руки и одну протянул к столу:

— Давайте-ка за то, что не отдали французам своих лягушек!

— Гэ в кучку! — кричал Эдик, который уже стоял за столом с пол-литровой баночкой в руке. — Гэ — к своим родным стопарям!

— У-у, мужики! Вы поглядите, какой тут сегодня закусон!

Отец до сих пор как будто не замечал Никиту, а тут опять сел рядом, положил руку на плечо.

— Тебе тут, наверно, не надо, а? От одного табачища задохнешься.

Никита поднял на него глаза, глянул в упор:

— А ты придешь, скажи?

— Приду, Никит, приду.

— Когда?

— Завтра приду.

Никите было стыдно, но он попросил все равно:

— Дай честное слово!

Перемазанное лицо у отца и в самом деле было измученное. Он через силу улыбнулся и на секунду прикрыл грустный огонек в глазах:

— Честное слово. Завтра.

«Как пацаны! — по дороге домой думал Никита, окончательно оправившись от смутного страха и уже жалея пьяниц. — Те ведь тоже, как соберутся: и железную дорогу в станицу проведут — на новом кладбище хоронить запретили, потому что вокзал будет. И построят бетонную дорогу до моря. И громадный запасной аэродром,

на который самолеты станут садиться, когда из-за тумана нельзя в Минводах. И самый большой на Кавказе санаторий, где лечить будут грязями...

А что правда, так это лягушек на Урупе и в самом деле — тысяча тысяч».

Никите тоже нравилось почему-то, что их не отдали.

«Правильно, — думал Никита. — Чего там!»

Вытащил из кармана руку, протянул вверх ладонью. И на ладонь ему, как на запасной аэродром, тут же сели три или четыре снежинки...

6

Снежное царство начиналось у Никиты под старыми валенками и тянулось без конца на все четыре стороны света... Какое оно светлое было, какое чистое! А главное — и в самом деле волшебное.

Потом-то, конечно, подломятся прочные, в палец толщиной, стволы разноцветок, поникнут стебельки «нечесаной барыни», в конце концов сбросит густые листья плотный и кудрявый дубок... А пока все это стоит обсыпанное легкими, еще не потерявшими резную форму снежинками, пока что в палисаднике у них — белые, небывалой красы, цветы. За этими цветами, ростом чуть выше их, пушистые ветки нагнули к земле белые, похожие на застывший фонтан кусты жасмина, а над ними, над высоким забором, где каждая штакетина надела вязаную шапочку, над сахарной крышей дома поднялись в голубое небо белые деревья, такие сказочно-мохнатые, что почти не пропускают солнца, и оно, лишь бы только пробиться, рассыпалось на сотню больших и маленьких остро покалывающих глаз тонких лучиков.

Было бы всегда так хорошо вокруг и так радостно — Никита вон не хочет ступить лишнего шага, чтобы красоту эту не испортить, и все понимающий Дружок тоже никуда не бежит, а сел у Никиты под ногами, глянул по сторонам, поднял мордочку и тихонько, прерывисто заскулил — как будто отчего-то вздохнул. Да что Дружок, даже глупые галки, которые черной кучкой сидят на верхушке высокой акации и ждут, чтобы кто-либо вынес мусор из ведра, и те наклоняют голову и косятся на нетронутый снег внизу: мол, ничего не будет, если пройтись, — или достанется?

В той стороне, где школа, еле слышно прозвенело... Или ему почудилось?

В третьем «А» писали нынче диктант, и хоть Никита его ни капельки не боялся, на занятия решил не ходить. Будешь там пыхтеть над каким-нибудь трудным словом, а в это время и вернется домой отец, откроет калитку. Что тогда Дружок один сделает? И все старания Никиты даром пропадут, и все пойдет прахом.

Как нарочно, была суббота, мама осталась дома, и пришлось ей долго доказывать, что лоб у него, как печка, — какая с таким лбом школа? Лучше уж сегодня пропустить, а одеться хорошенечко, правильно, и постоять подольше на свежем воздушке, тогда голова пройдет быстренько. И он даже согласился обуть эти старые, давно ему жавшие валенки...

Позади что-то грюкнуло, потом хрустнула слегка приморoженная дверь — наверно, Подьячиха наконец выползла на свет божий.

Почти тут же на крыльцо вышла мама, что-то, видно, хотела сказать Никите, но увидела старуху, весело поздоровалась, ласково с ней заговорила, и обе они по разные стороны Подьячихиного забора, который не смог прикрыть как следует даже этот сказочный снег, пошли к воротам, около них стали рядом.

Правильно отец однажды сказал про этот Подьячихин забор: железный занавес. Все, что Никита ни придумает, все, что ни смастерит, обязательно летит через этот забор, обязательно через него прыгает, а как перелетело, как перепрыгнуло — так все. Старуха удавится, а не вернет. Поэтому Никита почти постоянно с Подьячихой ссорится, а бедная мама постоянно его грехи замаливает. Стоит ей увидать старуху, она с ней сразу как птичка: ти-ти-ти!..

Сидевший под ногами Дружок ткнулся носом Никите повыше валенка, а когда Никита посмотрел на него, собачонок мелко подрагивающей мордочкой потянулся вверх, и голова у него легонько дернулась: й-ав!..

И так он почему-то жалобно взвизгнул! Да и глаза у Дружка сегодня, как никогда, печальные и слезятся. Смотрит на Никиту не отрываясь и будто плачет. Уж и в самом деле на заболел ли?

— Идут субчики! — раздался у ворот насмешливый Подьячихин голос, и мама тоже наклонила голову, глянула вдоль забора.

Никита заторопился к ним: кто там такой идет?

— Это беда! — громко продолжала ругаться Подьячиха. — За весь октябрь две шибочки не мог вставить, весь ноябрь сквозняки по хате гуляли, пока вся семья засопатела да слегла... А теперь Катю да Ленку с крупозным воспаленьем — в больницу, а сам двух кролей забил да всех этих алкоголиков позвал: у него, видишь, тоже день рожденья — нашелся прынц!

Сунув руки в карманы черных курток — «москвичек» и чуть сгорбившись, от угла по дорожке шли дядя Павлик Посевин и Эдик Зиборов, а за ними тянулись и Лексашка, и тот, что с синяком, и Федя со своею корзинкой, и еще кто-то, кого он видел вчера у отца в котельной, — что ж они, как собрались, так до сих пор не расходились.

— Да какие, главно, бесстыжие, эти алкоголики, нынче стали! — не замолкала Подьячиха. — Это раньше скромней никого и не было. Как напьются, так прятаться. Или как Василь Иваныч, бывало, портной. Ты его, чтоб не стеснялся потом, за километр обходишь, а он все равно догонит, скинет шапку да кланяется чуть не до земли: я сегодня с наперсток выпил — простите, миленькая!.. А нынешнему сикай в глаза, скажет, божья роса! На улице с ног тебя собьет, мало прощенья не попросит — еще и обматюкает! Раньше рупь у тебя займет, дак потом на пятерку отработает, а этому рупь дашь, тут же забудет, на другой день уже троячку просит, а за что? За безделье! Раньше алкоголик — труженик, каких поискать. Пропьянствовал, а потом стыдится — грех, как же! Да вроде оправдаться старается, спину потом не разгибает. Тот же, бывало, Василь Иваныч... А эти месяцами палец о палец не ударят, а только жрут ее, проклятую, и жрут. Как с утра в шайки собьются, так весь день и прошатаются — скоро на людей, прости меня грешную, бросаться станут!

И в это время из-за угла показались Петрович с Платоновичем и рядом с ними — отец.

Мама сказала тихо:

— Я, Капитоновна, пойду.

Нагнулась и торопливо пошла от ворот.

Никита, все глядя на отца, пальцами нашел Дружка, ладонь положил ему на шею.

— За мной!

Забежали за угол дома и тут привычно присели — Дружок чуть впереди, а Никита на корточках над ним.

Одну руку он положил Дружку под горло, другою по голове поглаживал.

Спокойно, Дружочек! Посиди пока, посиди.

Собачонка уговаривал, а у самого сердце как не выскочит: неужели отец пройдет мимо? Неужели так-таки домой не заглянет?

Вот уж за штакетником молча, только снежок поскрипывал под ногами, проплыли дядя Павлик с Эдиком и Лексашка, за ними от щелки к щелке потянулась плетеная корзинка. Наверное, этот, в разбитых очках, сказал тоненько:

— Любопытно, что «врач» происходит от славянского «врать» — говорить, заговаривать...

Простуженный, с хрипотцою, голос спросил:

— Дак потому они и брешут?

Никита, удивившись, на секунду было задумался, но тут вдруг в дырку между двумя отодвинувшимися друг от дружки штакетинами сунулась косматая голова, и на него уставились два настырных немигающих глаза. Под их не по-людски пронизывающим взглядом волосы у него на голове как будто в рост тронулись, спину ознобило и все в нем замерло, все к чему-то прислушалось, а потом сердце испугалось, что долго простояло, кинулось догонять, и Никите сделалось жарко, во рту высохло.

Он покрепче прижал Дружка, и тот обернулся, посмотрел на него так жалостно, словно о чем-то молил. Никита невольно ослабил руки, наклонился, и влажным шершавым языком Дружок горячо лизнул его в ухо — может, успокаивал? Может, обещал ему сделать так, как давно уже просил его об этом мальчишка...

Неужели он не зайдет?!

Все трое остановились. Платонович негромко сказал нараспев:

— Такие, Миша, дела наши...

Отец раз и другой кивнул и повел рукою к калитке. Есть бог или нету? Ну, есть бог?! Видит он сверху мальчика с собакой? Понимает, почему это за углом по частице распроданного дома они прижались друг к дружке словно родные братья?

Толкнул наконец калитку.

Дружочек, миленький, больше некому, ну, спаси!

Свистнул он еле слышно, но собачонка словно швырнуло пружиною. Только что был тут, меж ладоней, и вот уже яростно рвет у отца штанину, а тот растопырил ру-

ки и пытается ногу приподнять, на которой повис Дружок.

Никита вдруг с ужасом понял, что он опаздывает, и, бросаясь из-за угла, на выдохе заорал:

— Бешеный!..

Заорал так, что сам испугался, глотку ему больно обожгла сухота, но он опять сквозь хрип выкрикнул:

— Бешеный! Он сбесился!

И почувствовал, что шапка ему стала маленькая, сжалась на макушке, приподнялась.

Продолжая стряхивать Дружка, отец нащупал палку, к которой в палисаднике был подвязан летом цветок, рванул ее вверх, и из-под нее брызнули на белый снег комья черной земли. Рубанул сверху Дружка по голове, и тот до рези в ушах заскавучал и завертелся на месте.

Никита обмер, словно это его ударили, еле разлепил губы:

— Ты за что?

Отец молча замахнулся опять, но на этот раз не попал, и, пока дубинка его какой-то миг прижимала к земле Дружков хвост, собачонок будто опомнился и сообразил, что надо бежать. Ткнулся к забору, отделявшему большую часть двора, лег на живот и проскользнул через дыру.

— Что там такое? — издалека кричали с улицы. — Что случилось?!

— Собака сбесилась! — громко отвечал от ворот Платонович. — Покусала Мишку, а теперь побежала в вашу сторону, вы там смотрите!

Оттуда донесся голос Сереги Матвеева:

— Это Дружок, что ли?

— Маленькая такая! — кричал Платонович. — Серенькая!..

И в это время собачонок заскавучал где-то у соседей, видно, тоже сильно ударили, а затем по обе стороны улицы здесь и там послышались по дворам возбужденные голоса, то испуганные, а то злые, и опять отчаянно заскулил Дружок.

Словно сквозь сон, когда не можешь пошевелиться, Никита видел, как задирал штанину и показывал маме щиколотку отец, как на улице Петрович с Платоновичем носками ботинок сшибали белые кочки, искали камни, как Дружок с перебитыми задними ногами, оставляя за собой испачканную красным ложбинку, полз потом через

белый палисадник, как окровавленной мордочкой тыкался в белые стебельки цветов и с них осыпался снег.

Никита бросился к Дружку, наклонился взять в руки, но его отшвырнули, он упал, и тут его прорвало.

Он закричал, что Дружок ни при чем, что никакой он не бешеный, а нормальный, это они дураки и пьяницы, и пусть убираются. Он бегал позади них, плотной кучкой стоявших около штабелька дров, куда забился Дружок, колотил по глухим спинам, но его не замечали, к нему не оборачивались, а только бросали и бросали на перемешанный с грязью снег корявые черные обрубки, и разгоряченные голоса звучали одинаково озабоченно:

— Отойди, а то хватанет еще!

— Да, тогда полгода будешь поститься! Вон Ваньку Копылова один раз...

Мама схватила Никиту за руку, потащила к крыльцу. Оглядываясь, он увидел Платоновича с Петровичем, которые так и стояли в сторонке, каждый с камнем в руке, увидел рядом с ними отца с опущенной головой и вдруг вспомнил большой зал, в котором очень много народу, и Петрович в черном костюме и в галстуке на белой рубахе, улыбаясь, жмет отцу руку, и гремит оркестр, а все кругом хлопают в ладоши...

Никита раз и другой рванулся, и его старый кожушок остался в руке у мамы, а сам он упал на колени перед Петровичем и сквозь слезы закричал:

— Дядя, родненький! Скажите, что не надо, он нормальный, я только хотел, чтобы папка мой больше не пил!

Оба они торопливо побросали камни себе под ноги. Медленно поднимал голову отец.

Платонович скрипнул зубами и тоже вдруг зарыдал:

— Миша! Я полстаницы похоронил, я знаю, мальчишка правду говорит!

Лицо у Петровича перекосилось и сделалось страшным, он крикнул так, что Никита вздрогнул:

— Прекратите немедленно!

Но они уже убили Дружка.

7

В начале декабря случаются в станице такие денечки, когда зима словно опомнится и вдруг сама себе скажет: что это я взялась? Как будто больше не будет времени!

Да пусть эти отрадненцы еще чуточек погреются, ладно уж!

Оглянешься, а снега как не бывало, и сухо на дворе, только в тени за домом волглый спорыш прячет остатки стужи.

В такой день пойдешь в школу в теплом пальто, а обратно тащишь его на себе, одним пальцем на плече за вешалку держишь. Бывает, что и пиджак скинешь, и галстук спрячешь в карман — такая на улице теплынь.

Вот и сидит Никита в своем дворике, на солнышке греется...

Из-за угла дома выглянула бабка Подьячиха. Увидала Никиту и поклонилась ему, как взрослому.

Интересная, оказалось, она бабка!

Сам Никита не видел — ему потом на улице рассказывали — как в тот день, когда убивали Дружка, Подьячиха подбежала к пьяницам с лопатой в руках и огрела по голове Лексашу Пинаева. Хорошо, хоть шапка Лексаше помогла, остался живой, но до сих пор ходит с повязкой, пока что ни капли не пьет, потому совсем замучил Андрюху — каждый день у него дневник смотрит и каждый день бьет. На улице часто слышно, как он дома кричит, грозится в суд подать на Подьячиху, но Подьячиха сказала, ей наплевать — уж если собственного зятя за то, что пьет, побила каталкой, то с Лексашей она уж как-нибудь разберется.

Все, кроме Лексаши Пинаева, теперь с Подьячихой вежливо здороваются, а Никитины игрушки как-то сами собой не стали перелетать к ней через забор. Правда, какие ему теперь игрушки. Сидит и смотрит перед собой, хорошо хоть нынче не в душной комнате.

За частым штакетником почти ничего не разглядишь, но Подьячиху ему хорошо видно: стащила на плечи платок, уши из-под седых волос выпростала, голову слегка наклонила набок, будто к чему прислушалась. Но что услышишь, если вся станица вокруг как будто тоже задумалась под тихим последним солнышком, и только с того края, где на покатом пригорке раскинулись уже совсем почти опустевшие площадки Заготзерна, все еще доносится тонкий шмелиный гуд — это старый двигатель от реактивного истребителя гонит под короба с кукурузой горячий воздух, досушивает початки.

Может, это он и нагрел воздух в долине, в которой раскинулась Отрадная?

Залезть бы сейчас на крышу и тихонько посидеть, поглядеть на отмытые дождями серые, как овечья шерсть, катавалы за станицей, на ровную, как стол, схваченную так и не растаявшим инеем Урупскую гряду, на молочно-белые зубцы далеких снеговых гор.

Заложить руки за голову, вытянуться на подогретом солнышком ребристом шифере и так полежать, посмотреть в голубое небо...

Но Никита сидит и сидит себе у крыльца, глядит сквозь штакетник на Подьячиху и опять задыхается от слез. Хорошо, что Андрюха с Витаном, которые пришли его проведать, — свои, и перед ними не надо скрываться.

Андрюшка ткнул его ладошкою в плечо:

— Ну, чего ты опять?

— Бабушку жалко, — глотая слезы, правду сказал Никита.

— Какую бабушку?

— Да мою. Которая померла.

Витан прищурился:

— А когда она померла?

Ответил Андрюха:

— Да почти три года назад.

И Витан хмыкнул:

— Самое время и поплакать!

Но Никита не обиделся. Вообще-то он добрый, Витан. Опять небось будет предлагать ему свои сигареты... А может, с ними и в самом деле веселей жить на белом свете?..

И к бугру, на котором с ружьем в руке закачался его отец, зеленые всадники рванулись по красной-красной степи...

1979

СОДЕРЖАНИЕ

Немченко Г. Л.

Н50 Под вечными звездами: Повести. — М.: Худож. лит., 1986. — 478 с., портр.

В книгу Гария Немченко «Под вечными звездами» вошли его повести «Зимние вечера такие долгие...», «Скрытая работа», «Праздник возвращения птиц», «Брат, найди брата!..» и другие.

Герои писателя — наши современники, кубанцы и сибиряки, люди ярких характеров, душевно щедрые, верящие в добро и человечность.

Н $\frac{4702010200\text{-}149}{028(01)\text{-}86}$

ББК 84Р7
Р2

ГАРИЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ
НЕМЧЕНКО

Под вечными звездами

Повести

Редактор
О. Дворцова

Художественный редактор
С. Гераскевич

Технические редакторы
Л. Изгаршева, Е. Полонская

Корректор
И. Кузнецова

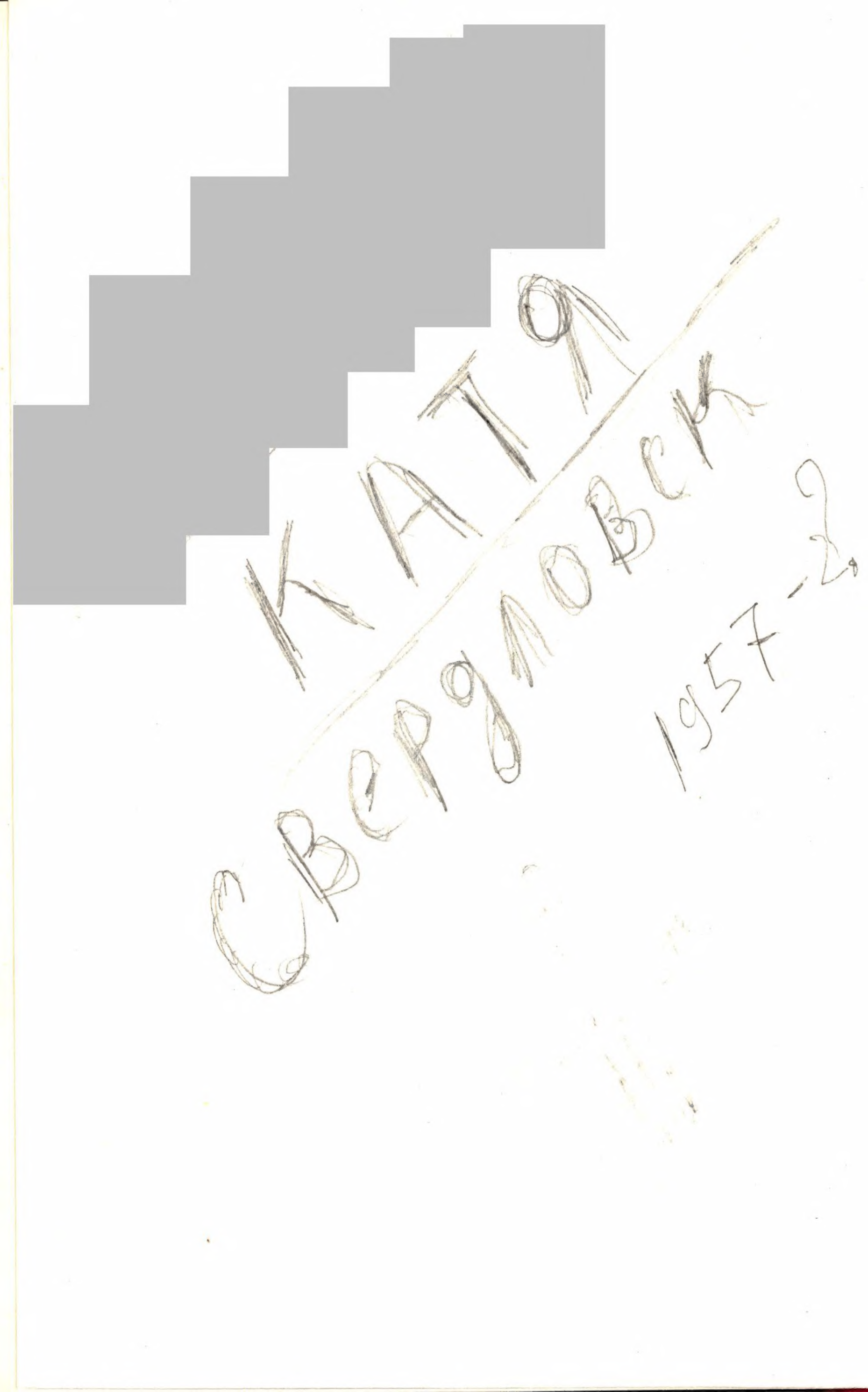
ИБ № 4261

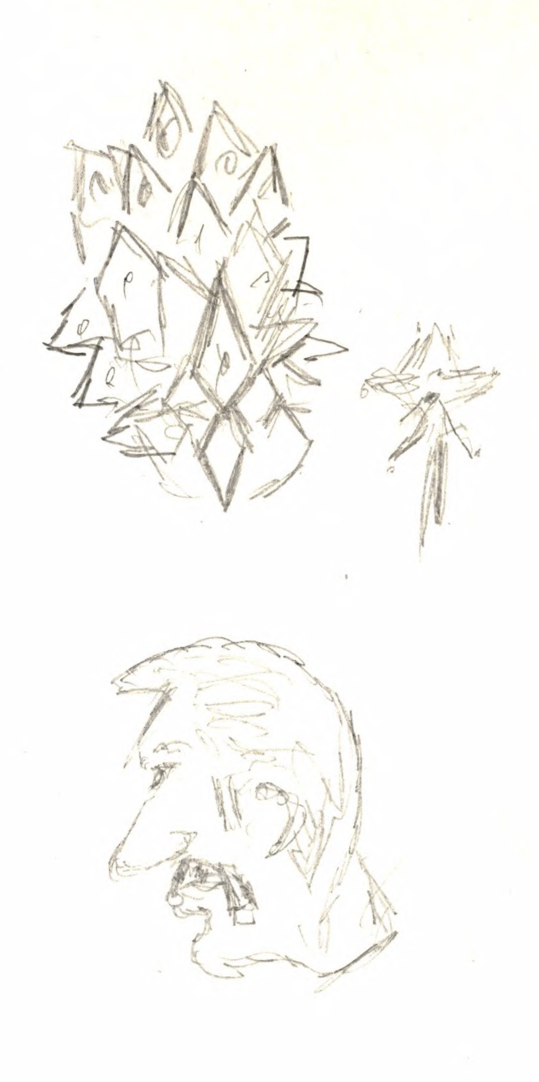
Сдано в набор 31.07.84. Подписано к печати 22.04.85. А 10357. Формат 84x108 1/32. Бумага офсетная № 1. Гарнитура „Таймс". Печать офсетная. Усл. печ. л. 25,2 + 1 вкл. = 25,25. Усл. кр.-отт. 50,5. Уч.-изд. л. 26,99 + 1 вкл. = 27,04. Тираж 100.000 экз. Изд. № 111-1829. Заказ № 271. Цена 2 р. 10 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство „Художественная литература". 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Диапозитивы изготовлены на Ярославском полиграфкомбинате Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 150014, Ярославль, ул. Свободы, 97.

Отпечатано на Минской фабрике цветной печати. 220115, Минск, Корженевского, 20.


Катя
Свердловск
1957-2.



ГАРИЙ
НЕМЧЕНКО
Под вечными звездами